ISSN 0130-6545

6. 1995

Иностранная литература

В номере:

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС
Из «Книги вымышленных существ»

ДЖУЛИАН БАРНС
Дикобраз

Х.М. ЭНЦЕНСБЕРГЕР
Взгляд на гражданскую войну

Журнал, называющий себя «лучшим в мире»

МОСКВА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 37 370 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.

Главный редактор
А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н.Я. КАЗАРЦЕВА — заведующая отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, И.А. БРОДСКИЙ, П.Л. ВАЙЛЬ,
Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ,
В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

6 ИЮНЬ 1995

СОДЕРЖАНИЕ

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — Из "Книги вымышленных существ" (*Перевод с английского Е. Лысенко*) 5

МАРСЕЛЬ СЕН-МАРТЕН — Стихи (*Перевод с французского Александра Давыдова. Вступление Татьяны Ворсановой*) 21

ЭЛЬЗА МОРАНТЕ — Улица Ангела (*Рассказ. Перевод с итальянского Н.Ставровской*) 26

РОБЕРТ ГРЕЙВЗ — Стихи (К 100-летию со дня рождения. *Перевод с английского Андрея Сергеева*) 32

Литературный гид

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: РУССКИЕ УШЛИ

ДЖУЛИАН БАРНС — Дикобраз (*Роман. Перевод с английского Е. Храмова*) 36

ДЁРДЬ КОНРАД — Весенние заметки (*Дневник-эссе. Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева*) 96

АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ. ЮЛИАН КОРНХАУЗЕР — Эссе и стихи (*Перевод с польского и вступление В. Британишского*) 106

Выступление Президента Чешской Республики ВАЦЛАВА ГАВЕЛА на открытии Международного конгресса ПЕН-клуба (*Прага, отель «Атриум», 7 ноября 1994. Перевод с чешского В. Каменской*) 112

ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ — Записки синего чулка (Фрагменты книги. *Перевод с венгерского и вступление В. Середы*) 115

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ — Миниатюры (*Перевод с болгарского В. Георгиева и М.Тарасовой*) 127

ЯН ПЕТРАНЕК — Чехия, предоставленная самой себе (*Перевод с чешского Е. Ермонской*) 132

Публицистика

Х.М. ЭНЦЕНСБЕРГЕР — Взгляд на гражданскую войну (*Перевод с немецкого А. Егоршева*) 141

Критика

Литературная пресса мира

Журнал, называющий себя «лучшим в мире» (*К 70-летию «Нью-Йоркера». Выпуск подготовил Петр Вайль*) 161

Возвращаясь к напечатанному

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ — Бессмертие путника (Милан Кундера и Итало Кальвино среди любимых призраков) 204

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ — История одного жеста 213

У книжной витрины 217

Авторы этого номера 222

© «Иностранная литература», 1995

***СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА** не совсем обычный - в июле «Иностранной литературе» исполняется 40 лет. В честь юбилея мы публикуем произведения авторов, появление которых на страницах «ИЛ» всегда было праздником для читателей.*

Читайте в номере:

Давно (и неоднократно) обещанный редакцией роман УМБЕРТО ЭКО **«Маятник Фуко»**. Действие происходит в наши дни, однако судьба героев оказывается загадочным образом связанной со средневековым братством тамплиеров, чья мистическая история, как выясняется, вовсе не закончилась с упразднением ордена в 1312 году...

Роман ЭМИЛЯ АЖАРА **«Голубчик»** — первое произведение Ромена Гари, подписанное этим псевдонимом. Скромный служащий волей случая становится владельцем африканского питона, к которому нежно привязывается, и это становится причиной многих забавных и грустных событий.

Новую пьесу МИЛОРАДА ПАВИЧА **«Вечность и еще один день»**, которая продолжает литературную игру, начатую в романе «Хазарский словарь».

Эссе ИОСИФА БРОДСКОГО **«Памяти Марка Аврелия»**.

А также рассказы ДЖОНА АПДАЙКА, ГЕНРИ МИЛЛЕРА, САЛЬМАНА РУШДИ и прочие юбилейно-праздничные публикации.

Цветные иллюстрации номера — работы современных венгерских художников:
На 1-й стр. обложки — ЛАСЛО ХЕГЕДЮШ «Малевичхегедюш».
На 2-й стр. обложки — ШАНДОР ЭНЕШ НАДЬ «Ангел, прикрепляющий крылья».
На 3-й стр. обложки — ДЮЛА ЮЛИУШ «Меланхолические фанты».

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 26.05.95. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.

Бумага типографская. Усл. печ. л. 19,6 Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 23,49 Заказ №816

Тираж 37370 экз. Цена по подписке 4500р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Из «Книги вымышленных существ»

Перевод с английского Е. ЛЫСЕНКО

А Бао А Ку

Если вы пожелаете увидеть прекраснейший в мире пейзаж, вам надо подняться на верхушку Башни Победы в Читоре. Там с кругового балкона открывается вид на все стороны света. К балкону ведет винтовая лестница, но взойти по ней дерзают лишь те, кто не верит легенде. А легенда гласит следующее:

Испокон веков на винтовой лестнице Башни Победы живет некое существо, чувствительное ко всем оттенкам человеческой души и известное под именем А Бао А Ку. Обычно оно спит на нижней ступеньке, но при приближении человека в нем пробуждается таинственная жизнь, и тогда в недрах этого существа начинает теплиться внутренний свет. Одновременно его тело и почти прозрачная кожа приходят в движение. Однако сознание пробуждается лишь тогда, когда кто-либо поднимается по винтовой лестнице, — тогда А Бао А Ку, чуть не прилипая к пяткам поднимающегося, следует за ним, держась того края ступенек, где они сильней всего стерты поколениями паломников. С каждой ступенькой окраска А Бао А Ку становится все более явственной, форма — более определенной и излучаемый им свет — более ярким. Но окончательной завершенности А Бао А Ку достигает лишь на верхней ступени, если тот, кто поднялся на нее, сподобился нирваны и дела его не отбрасывают тени. В противном случае А Бао А Ку останавливается, словно парализованное, не достигнув вершины, — тело его остается незавершенным, голубая окраска блекнет, излучаемый свет, мерцая, гаснет. А Бао А Ку страдает от невозможности достигнуть совершенства, и его стоны — едва различимый звук, напоминающий шелест шелка. Вспышка жизни в нем коротка: как только паломник начинает спускаться, А Бао А Ку скатывается вниз на первую ступеньку, и там, угасшее и утратившее определенность очертаний, ждет следующего посетителя. Говорят, будто его щупальца становятся видны лишь тогда, когда оно достигает середины лестницы. И еще говорят, будто А Бао А Ку способно видеть всем своим телом и на ощупь напоминает кожуру персика.

За многие века А Бао А Ку поднялось на балкон всего однажды.

Эту легенду приводит С. С. Итурвуру в приложении к его ставшему классическим трактату «О малайском волшебстве» (1937).

Ахерон

Лишь один человек однажды видел чудовище Ахерона — произошло это в ирландском городе Корке. Первоначальный вариант этой истории, написанный на гэльском языке, ныне утерян, но некий монах-бенедиктинец из Регенсбурга (Ратисбоны) перевел ее на латинский, и благодаря его переводу история эта была пе-

реложена на многие языки, в том числе на шведский и испанский. Сохранилось более полусотни рукописей латинской версии, которые в основном совпадают. Она озаглавлена «Visio Tundali» («Видение Тундала») и считается одним из источников Дантовой поэмы.

Начнем со слова «Ахерон». В десятой песне «Одиссеи» это одна из рек ада, текущая на западной окраине населенного мира. Ее название звучит в «Энеиде» Вергилия, в «Фарсалии» Лукана и в «Метаморфозах» Овидия. Данте запечатлел его в стихе «Su la trista riviera d'Acheronte» («На берегу печального Ахерона»).

Согласно одному мифу, Ахерон — это терпящий наказание титан; согласно другому, более раннему, он обитает у Южного полюса, под созвездиями антиподов. У этрусков были «книги судьбы», наставления в науке гадания, и «книги Ахерона», наставления душе после смерти тела. Со временем Ахерон стал наименованием ада.

Тундал был ирландским дворянином, человеком благовоспитанным и храбрым, однако не вполне безупречных правил. Однажды в доме у своей подруги он занемог, три дня и три ночи его считали мертвым, лишь в области сердца ощущалось немного тепла. Когда он пришел в себя, то поведал, что его ангел-хранитель показал ему подземное царство. Из многих увиденных им чудес нас сейчас интересует чудовище Ахерон.

Ахерон выше любой горы. Глаза его пылают огнем, а рот так огромен, что в нем уместились бы девять тысяч человек. Двое человек, обреченных проклятью, поддерживают, подобно столпам или атлантам, его рот раскрытым; один стоит на ногах, другой — на голове. В нутро его ведут три глотки — все три изрыгают неугасимый огонь. Из утробы чудовища исходят немолчные вопли бесчисленных проглоченных им проклятых душ. Демоны сообщили Тундалу, что это чудовище зовется Ахерон. Ангел-хранитель покидает Тундала, и его уносит в утробу Ахерона поток других душ. Там вкруг него слезы, мрак, скрежет зубовный, огонь, жар нестерпимый, ледяной холод, псы, медведи, львы и змеи. В этой легенде ад есть некий зверь, вмещающий в себя других зверей.

В 1758 году Сведенборг писал: «Мне не было дано увидеть общие очертания Ада, но было сказано, что, подобно тому как Рай имеет форму человека, Ад имеет форму дьявола».

Багамут

Молва о бегемоте достигла аравийских пустынь, где его образ был изменен и возвеличен. Жители Аравии превратили его из слона или гиппопотама в рыбу, плавающую в бездонном море; на рыбу они поставили быка, на быка — рубиновую гору, на гору — ангела, на ангела — шесть адов, на ады — землю, на землю — семь небес. Мусульманская легенда гласит:

«Бог сотворил Землю, но у земли не было основания, посему под землей он сотворил ангела. Но у ангела не было основания, посему под ногами ангела он сотворил рубиновую скалу. Но у скалы не было основания, посему под скалой он сотворил быка с четырьмя тысячами глаз, ушей, ноздрей, пастей, языков и ног. Но у быка не было основания, посему он сотворил под быком рыбу по имени Багамут, и под рыбой он поместил воду, а под водой — мрак, а далее знание человеческое не способно достичь».

Другие утверждают, что земля стоит на воде, а вода — на скале, а скала — на лбу быка, а бык — на песчаном ложе, а песок — на Багамуте, а Багамут — на удушливом ветре, а удушливый ветер — на тумане. Что находится под туманом — неведомо.

Столь громаден и ослепителен Багамут, что глазам человеческим не под силу его лицезреть. Все моря земные, коль поместить их в одну ноздрю этой рыбы, будут что горчичное зерно, брошенное средь пустыни. В четыреста девяносто шестой ночи «Тысяча и одной ночи» говорится, что Исе (Иисусу) было дано узреть Багамута и что, воспользовавшись этой милостью, Иса пал наземь без чувств и три дня и три ночи не приходил в себя. В арабской сказке есть продолжение: под безмерно огромной рыбой находится море, под морем — воздушная бездна, под воздушной бездной — огонь, под огнем — змея, именуемая Фалак, в чьей пасти размещены шесть адов.

Представление о том, что скала покоится на быке, а бык — на Багамуте, а Багамут — на чем-то еще, как бы служит иллюстрацией к космологическому дока-

зательству существования Бога. В этом доказательстве утверждается, что всякая причина должна иметь предшествующую ей причину, и, таким образом, дабы не прийти к дурной бесконечности, необходима некая первопричина.

Василиск

С течением веков василиск (известный также под названием «кокатрис») становился все более безобразным и пугающим, а в наше время о нем и вовсе забыли. Название его происходит из греческого языка и означает «царек»; по мнению Плиния Старшего (VIII, 21)[1], это змея с «белым пятном на голове, похожим на корону или диадему». В средние века он становится четырехногим петухом с короной, желтыми перьями, большими колючими крыльями и змеиным хвостом, который завершается крючком или же второй петушиной головой. Изменение облика отразилось в изменении названия: Чосер в «The Parson's Tale»[2] говорит о василикоке («василикок убивает людей ядом своего взгляда»). Одна из гравюр, иллюстрирующая «Естественную историю змей и драконов» Альдрованди[3], наделяет василиска чешуей вместо перьев и восемью ногами. (Согласно Младшей Эдде, у Одинова коня Слейпнира также было восемь ног.)

Что в василиске остается неизменным, так это убийственное действие его взгляда и его яда. Глаза горгон обращали живых существ в камень; Лукан рассказывает нам, что из крови одной из них произошли все змеи Ливии — аспид, амфисбена, аммодит и василиск. Приводим соответствующие пассажи из книги IX «Фарсалии»:

В теле ее губительный яд впервые природа
Произвела: из горла тогда шипящие змеи
Выползли, жалом своим трепеща с пронзительным свистом,
И по спине у нее разметались, как женские косы,
Плечи хлестали они ликованием полной Медузы.
Встали над хмурым челом, поднявшись дыбом, гадюки,
Яд изливался из них, когда волосы дева чесала.

Что было пользы проткнуть копьем василиска
Мурру несчастному? Яд мгновенно по древку разлился,
В руку всосался ему; поспешно меч обнаживши,
Он ее тотчас отсек, у плеча отделивши от тела,
И, наблюдая пример своей собственной смерти ужасной,
Смотрит, живой, как гибнет рука[4].

Василиск обитает в пустыне, или, точнее, он создает пустыню. Птицы падают мертвыми к его ногам, и плоды земные чернеют и гниют; вода источников, в которых он утоляет свою жажду, становится отравленной. О том, что одним своим взглядом он раскалывает скалы и сжигает траву, свидетельствует Плиний. Из всех животных одна лишь ласка не боится этого чудовища и может напасть на него спереди; было также поверье, что василиска повергает в смятенье крик петуха. Опытные путешественники, прежде чем углубиться в неизведанные края, благоразумно запасались либо петухом в клетке, либо лаской. Другим оружием было зеркало: василиска убивает его собственное отражение.

Исидор Севильский[5] и составители «Speculum Triplex» («Тройного зеркала») отвергали легенды Лукана и искали рационального объяснения природы василиска. (Отрицать его существование они не могли, ибо в Вульгате[6] древнееврейское слово «тсефа», название ядовитого пресмыкающегося, переведено как «кокатрис».) Наибольшее признание получила теория об уродливом яйце, снесенном петухом и высиженном змеей или жабой. В семнадцатом веке сэр Томас Браун счел это объ-

[1] Речь идет о многотомной «Естественной истории» римского ученого и писателя Плиния Старшего (23 — 79).
[2] «Рассказ пастора» (*англ.*).
[3] Улисс Альдрованди (1522 — 1605) — итальянский врач и натуралист.
[4] Перевод Л. Е. Остроумова.
[5] Св. Исидор Севильский (560 — 636) — ученый-богослов, архиепископ Севильи.
[6] Вульгата — латинский перевод Библии, сделанный Св. Иеронимом (331 — 420).

яснение столь же неестественным, как самого василиска. В те же годы примерно Кеведо написал свой романс «Василиск», где говорится:

Si está vivo quien te vió,
Toda su historia es mentira,
Pues si non murió, te ignora,
Y si murió no lo afirma[1].

Гибрид

У меня есть забавная зверушка — полукошка, полуовечка. Она досталась мне в наследство от моего отца. Но по-настоящему развилась только у меня — прежде это была больше овечка, чем кошка. Теперь она почти в равной мере и то и другое. От кошки у нее голова и когти, от овечки — размеры и форма; от обеих — ее глаза, диковатые и меняющиеся, ее шерсть, мягкая и плотно прилегающая, ее движения, то прыгучие, то крадущиеся. Лежа на освещенном солнцем подоконнике, она свертывается клубком и мурлычет; на лугу мчится как сумасшедшая, не поймаешь. Она убегает от кошек и пробует нападать на овечек. В лунные ночи ее любимое место прогулок — черепичная кровля. Мяукать она не умеет и ненавидит крыс. Может часами лежать в засаде возле курятника, но ни разу не воспользовалась возможностью совершить убийство.

Я кормлю ее молоком — это как будто ей всего полезней. Она пьет молоко большими глотками, всасывая его сквозь свои зубы хищника. Разумеется, она — чудесная забава для детей. Воскресное утро — время визитов. Я усаживаюсь с этим маленьким зверьком на коленях, и меня окружают все соседские ребятишки.

Мне задают самые странные вопросы, на которые ни один человек не сумел бы ответить. Почему существует только одно такое животное? Почему оно принадлежит мне, а не кому-то другому? Было ли когда-нибудь раньше животное вроде него и что случится, если оно умрет? Чувствует ли оно себя одиноким? Почему у него нет детей? Как его зовут? И так далее.

Я не утруждаю себя ответами, ограничиваясь тем, что демонстрирую свое сокровище. Иногда дети приносят своих кошек, однажды даже принесли двух ягнят. Но вопреки их надеждам сцена узнавания не состоялась. Животные спокойно глядели друг на друга своими глазами животных и явно воспринимали взаимное существование как некую божественную данность.

Сидя у меня на коленях, моя зверушка не испытывает ни страха, ни азарта погони. Счастливей всего она, когда прижимается ко мне. Она привязана к семье, которая ее вырастила. Разумеется, в этом нет признака какой-то особой преданности, это просто верный инстинкт животного, которое, имея в мире бесчисленных свойственников, не имеет ни одного кровного родственника, поэтому опека, которую оно нашло у нас, для него священна.

Порой я не в силах удержаться от смеха, когда она, принюхиваясь, вертится вокруг меня, путается у меня в ногах и не желает от меня отстать. Не довольствуясь тем, что она овечка и кошка, зверушка словно настаивает на том, что она еще и собака. Однажды, когда я, как со всяким может случиться, не видя выхода из своих денежных трудностей и их последствий, решил разом покончить со всем и, сидя у себя в комнате в кресле-качалке с моей зверушкой на коленях, случайно опустил глаза, я увидел, что с длинных усов капают слезы. Были это мои слезы или слезы моей зверушки? Неужели у этой кошки, наряду с душой овечки, еще и самолюбие человека? Не так уж много досталось мне от отца, но это наследство стоит того, чтобы им дорожить.

Моей зверушке свойственна непоседливость обоих этих созданий — и кошки и овечки, — как ни различны они. Поэтому ей вечно не сидится. Иногда она вскакивает на подлокотник моего кресла, кладет передние лапы мне на плечо и тычется мордочкой в мое ухо. Словно что-то говорит мне, и, действительно, она потом повертывает голову и смотрит мне в глаза, чтобы проверить, какое впечатление произвело ее сообщение. И я из любезности веду себя так, будто понял, и киваю ей. Тогда она соскакивает на пол и радостно прыгает вокруг меня.

Возможно, что нож мясника был бы для нее избавлением, но, поскольку это

[1] Коли жив, кто тебя видел,
Зря нам сказки говорит.
Коль не умер, то не видел.
Ведь кто умер, тот молчит *(исп.)*.

мое наследство, я должен ей в этом отказать. И придется ей ждать, пока дыхание само покинет ее тело, хотя иногда она смотрит на меня взором, полным человеческого разума, призывая сделать то, о чем думаем мы оба.

ФРАНЦ КАФКА. Описание одной битвы.

Джинны

Согласно мусульманской легенде, Аллах сотворил три рода разумных существ: ангелов, созданных из света; джиннов (в единственном числе «джинни», или «гений»), созданных из огня; и людей, созданных из земли. Джинны были сотворены из черного бездымного огня за несколько тысяч лет до Адама и делятся на пять видов. Среди этих видов есть джинны добрые и злые, джинны-мужчины и джинны-женщины. Космограф Аль-Казвини пишет, что «джинны — это воздушные существа с прозрачным телом, которые могут принимать различные формы». Сперва они являются в виде облаков или огромных, смутно очерченных столбов; затем они уплотняются и их форма становится видимой, имея облик человека, шакала, волка, льва, скорпиона или змеи. Одни из них правоверные, другие еретики или атеисты. Английский ориенталист Эдвард Уильям Лейн пишет, что, когда джинны принимают человеческий облик, они порой бывают гигантского размера, и «если они добрые, то, как правило, ослепительно прекрасны, а если злые, отвратительно безобразны». Говорят также, что они могут по желанию становиться невидимыми «благодаря быстрому расширению и разжижению частиц, из которых состоят», и тогда они могут исчезнуть, растворившись в воздухе или в воде, или проникнуть сквозь прочную стену.

Джинны нередко возносятся на низшее небо, где могут подслушать беседы ангелов о грядущих событиях. Поэтому они способны помогать предсказателям и колдунам. Некоторые ученые приписывают им сооружение пирамид и, по велению Соломона, великого Иерусалимского Храма.

Любимое местопребывание джиннов — развалины зданий, водяные цистерны, реки, источники, перекрестки дорог и рынки. Египтяне говорят, что столбовидные смерчи из взвихренного песка возникают в пустыне от полета злого Джинни. И еще говорят, что падающие звезды — это стрелы, которые Аллах мечет в злых джиннов. В числе совершаемых этими злодеями пакостей обычны следующие: они швыряют с крыш и из окон кирпичи и камни на проходящих мимо людей, похищают красивых женщин, преследуют тех, кто поселяется в необитаемом доме, и крадут провизию. Однако, чтобы предохранить себя от подобных неприятностей, достаточно воззвать к Всемилостивому и Всеблагому Аллаху.

Вурдалаки, посещающие кладбища и питающиеся человеческими телами, считаются низшей категорией джиннов. Отец джиннов и их глава зовется Иблис.

В 1828 году молодой Виктор Гюго написал сумбурную пятнадцатистрофную поэму «Джинны» о сборищах этих существ. С каждой строфой, когда присоединяется новый джинн, строки становятся все длинней и длинней, вплоть до восьмой строфы, когда они уже все в сборе. С этого момента и до конца поэмы строки уменьшаются, пока наконец все джинны не исчезнут.

Бертон и Ноа Уэбстер связывают слово «джинн» с латинским «genius»[1]. Скит это оспаривает.

Дракон западный

Огромная, громоздкая змея с когтистыми лапами и крыльями — вот, пожалуй, самое привычное описание дракона. Он бывает черный, но самое главное, что он также ослепительно блестящ, и еще ему свойственно изрыгать пламя и дым. Вышеприведенное описание относится, конечно, к его нынешнему образу — греки, похоже, называли драконом всякое крупное пресмыкающееся. Плиний сообщает, что летом дракон охотно пьет слоновью кровь, потому что она холодная. Он внезапно нападает на слона и, обвившись вокруг него, вонзает в него клыки. Обескровленный слон падает на землю и умирает, также умирает и дракон, придавленный тяжестью своей жертвы. Еще мы читаем у Плиния, что эфиопские дра-

[1] Гений, дух *(лат.)*.

коны в поисках лучших пастбищ регулярно переплывают Красное море, направляясь в Аравию. Для этого четыре-пять драконов, переплетясь, образуют некое подобие плота, причем головы их торчат над водой. Еще один раздел у Плиния посвящен лекарствам, изготовляемым из органов дракона. Мы узнаем, что из его глаз, высушенных и растолченных с медом, готовится мазь, помогающая от ночных кошмаров. Жир драконова сердца, обернутый в шкуру газели и привязанный к руке оленьими сухожилиями, приносит успех в тяжбе; зубы дракона, также хранящиеся на теле, обеспечивают благосклонность господ и милость царей. С долей скептицизма Плиний приводит рецепт снадобья, делающего человека непобедимым. Его изготовляют из шкуры льва, из львиного костного мозга, из пены коня, только что победившего в скачках, из когтей собаки и из хвоста и головы дракона.

В одиннадцатой песне «Илиады» мы читаем, что на щите Агамемнона был изображен синий трехглавый дракон; через много веков скандинавские пираты рисовали драконов на своих щитах и помещали резные изображения драконовых голов на носах своих длинных судов. У римлян дракон был значком когорты, как орел — значком легиона; отсюда происходят современные драгуны. На штандартах саксонских королей Англии были изображения драконов — дабы вселить ужас в войско неприятеля. В балладе об Атисе читаем:

Ce souloient Romains porter
Ce nous fait moult à redouter

(Их римляне несли перед собой,
От страха мы и проиграли бой.)

На Западе дракона всегда представляли злобным. Одним из классических подвигов героев — Геркулеса, Сигурда[1], Св. Михаила, Св. Георгия — была победа над драконом и его убиение. В германских мифах дракон охраняет драгоценные предметы. В «Беовульфе», написанном в Англии в седьмом или восьмом веке, дракон стоит на страже сокровища три сотни лет. Сбежавший раб прячется в его пещере и крадет кубок. Пробудившись, дракон замечает кражу и решает убить вора, но время от времени возвращается в пещеру — проверить, не поставил ли он сам кубок не на то место. (Удивительно, что поэт приписывает чудовищу чисто человеческую неуверенность.) Затем дракон начинает разорять королевство, Беовульф его отыскивает и, сразившись с ним, убивает, вскоре после чего сам умирает от смертельной раны, нанесенной клыками дракона.

Люди верили в реальность дракона. В середине шестнадцатого века дракон упоминается в «Historia Animalium» Конрада Геснера[2], труде вполне научном.

Время сильно подорвало престиж дракона. Лев для нас — это и реальность и символ, но минотавр — всего лишь символ, никак не реальность. Дракон, вероятно, самое известное, но также самое незадачливое из фантастических животных. Он кажется нам чем-то ребяческим и нередко портит истории, в которых появляется. Стоит, однако, вспомнить, что тут мы имеем дело с современным предрассудком, возникшим, вероятно, из-за избытка драконов в сказках. Св. Иоанн в «Откровении» дважды упоминает дракона: «Древний змий, называемый диаволом и сатаною...». Св. Августин в том же духе пишет, что дьявол — «это лев и дракон: лев по своей ярости, дракон по своему коварству». Юнг замечает, что в драконе сочетаются пресмыкающееся и птица — стихии земли и воздуха.

Животные шарообразные

Шар — наиболее правильная форма твердых тел, ибо любая точка на его поверхности равно удалена от его центра. По этой причине и благодаря его способности вращаться вокруг оси, не сдвигаясь с места, Платон («Тимей», 33) одобряет решение Демиурга, придавшего нашей Земле сферическую форму. Платон считает нашу Землю живым существом и в своих «Законах» (898) утверждает, что планеты и звезды тоже живые. Таким образом, он обогатил фантастическую зоологию огромными шароподобными животными и подверг осуждению тупоумных астрономов, которые не способны понять, что круговое движение небесных тел совершается по их же воле.

[1] Сигурд (Зигфрид) — герой германо-скандинавской мифологии.
[2] Конрад Геснер (1516 — 1565) — швейцарский врач и натуралист.

Через пять столетий с лишком в Александрии Ориген, один из отцов церкви, учил, что праведники воскреснут в виде шаров и покатятся на небеса.

В эпоху Ренессанса представление о небе как о живом существе появилось вновь у Лючилио Ванини; неоплатоник Марсилио Фичино говорил о волосах, зубах и костях земли, а Джордано Бруно чувствовал, что планеты — это огромные спокойные животные, теплокровные, с постоянными привычками и наделенные разумом. В начале семнадцатого века немецкий астроном Иоганн Кеплер спорил с английским мистиком Робертом Фладдом, кто первый подал идею о Земле как о живом чудовище, «чье дыхание, подобно китовому, соответствующее его сну и бодрствованию, является причиной морских приливов и отливов». Кеплер усердно изучал анатомию этого чудовища, его питание, окраску, память и способность воображать и создавать формы.

В девятнадцатом веке немецкий психолог Густав Теодор Фехнер (которого восхвалял Уильям Джеймс[1] в «Плюралистической вселенной») с детской наивностью разрабатывал вышеизложенные идеи. Каждый, кто не пренебрегал гипотезой, что Земля, наша мать, — это организм, причем организм высшего порядка сравнительно с растениями, животными и людьми, может ознакомиться с благочестивыми страницами «Зенд-Авесты»[2]. Там мы, например, читаем, что шарообразная форма Земли — это форма глаза, благороднейшего органа нашего тела. И еще, что «если небо действительно дом ангелов, то ангелы, несомненно, суть звезды, ибо в небе нет иных обитателей».

Ками

В одном пассаже у Сенеки сказано, что, по учению Фалеса Милетского[3], земной шар плавает в воде, подобно кораблю, и что, когда воду эту будоражит и волнует буря, происходят землетрясения. Японские историки и мифологи восемнадцатого века предлагают совершенно иную сейсмологическую теорию. В «Священных Писаниях» мы читаем следующее:

«Под плодородной землей Тростниковых Долин лежит Ками, имеющий облик рыбы-усача; когда он двигался, начинались землетрясения, пока Великий Бог Оленьего Острова не воткнул свой меч глубоко в землю и не пронзил голову Ками. С тех пор, если злобный Ками шевелится, Бог протягивает руку и нажимает на меч, пока Ками не угомонится».

Рукоять этого меча, высеченная из гранита, торчит фута на три над землею недалеко от святилища в Кашиме. В семнадцатом веке некий феодал шесть дней копал там землю и все же не добрался до верхушки клинка.

По народным поверьям, Джиншин-Уво, или Рыба Землетрясений, — это угорь длиною семьсот миль, который держит на своем хребте Японию. Он лежит, вытянувшись с севера до юга, голова его — возле Киото, а хвост — возле Аомори. Некоторые логически мыслящие ученые отстаивали обратную позицию, так как на юге Японии землетрясения более часты, и это легче объяснить движениями хвоста угря. Животное это в какой-то мере сопоставимо с Багамутом мусульманских преданий и с Мидгардсормом Эдды.

В некоторых регионах Рыбу Землетрясений заменяет — с сомнительным успехом — Жук Землетрясений, Джиншин-Муши. У него голова дракона, десять паучьих ног и чешуйчатое туловище. Его местопребывание не вода, а земля.

Карбункул

В минералогии карбункул — от латинского carbunculus, «уголек», — это рубин, что ж до карбункула у древних, то, по предположениям, так называли гранат.

В шестнадцатом веке в Южной Америке это название было дано испанскими конкистадорами таинственному животному — таинственному, так как никто никогда не разглядел его настолько, чтобы понять, птица это или млекопитающее, покрыто оно перьями или же мехом. Поэт-священник Барко Сентенера, утверждающий, будто видел его в Парагвае, описывает его в своей поэме «Аргентина» (1602)

[1] Уильям Джеймс (Джемс; 1842 — 1910) — американский философ, брат писателя Генри Джеймса.
[2] «Зенд-Авеста» — цикл священных книг, в которых изложено религиозное учение древнего иранского мыслителя Заратустры (Зороастра).
[3] Фалес Милетский (625 — 547 до н.э.) — древнегреческий философ.

как «небольшого зверька с блестящим зеркальцем на голове, похожим на пылающий уголь...». Другой конкистадор, Гонсало Фернандес де Овьедо, связывает зеркало или сияющий в темноте свет — и то и другое он видел в Магеллановом проливе — с драгоценными камнями, которые, по поверьям, драконы прячут в своей голове. Эти сведения он почерпнул у Исидора Севильского, писавшего в своей «Этимологии» следующее:

«Его добывают из головы дракона, однако он твердеет, становясь драгоценным камнем, лишь тогда, когда голова отсечена у живого чудовища; по сей причине колдуны отрубают голову у дракона спящего. Храбрецы, желающие проникнуть в логово дракона, берут с собою зерна, которые нагоняют на этих чудищ сон, и, когда драконы уснут, отсекают им головы и вынимают самоцветы».

Здесь можно вспомнить шекспировскую жабу («Как вам это понравится», II, 1), которая, хотя «уродлива и ядовита, Но ценный камень в голове таит...».

Обладание карбункулом приносит богатство и счастье. Барко Сентенера претерпел множество лишений, отыскивая на берегах парагвайских рек и в тамошних джунглях это неуловимое существо, однако так и не нашел его. До нынешних дней об этом звере с его таинственным камнем в голове нам больше ничего не известно.

Нимфы

Парацельс ограничивает их владения стихией воды, древние, однако, полагали, что весь мир населен нимфами. Они давали нимфам различные наименования соответственно их обиталищам. Дриады, или гамадриады, жили на деревьях, были невидимы и умирали вместе с деревьями. Другие же нимфы считались бессмертными или же, как мельком упоминает Плутарх, жили девять тысяч семьсот двадцать лет. Среди них были нереиды и океаниды — они владели морями. Нимфы озер и источников назывались наяды, нимфы пещер — ореады. Были также нимфы лощин, именовавшиеся напеями, и нимфы рощ — альсеиды. Точное количество нимф неизвестно; Гесиод называет число три тысячи. Это были строгие красивые молодые женщины; их название, возможно, означает всего лишь «девица на выданье». Тот, кто их увидел, мог ослепнуть, а если видел их нагими, умирал. Так утверждает один стих Проперция.

Древние приносили им в жертву мед, оливковое масло и молоко. Нимфы были второстепенными божествами, но храмы в их честь не воздвигались.

Пеликан

Пеликан в обычной зоологии — это водяная птица с размахом крыльев около шести футов и очень длинным клювом, нижняя часть которого расширена и образует мешок для накапливания рыбы. Пеликан легенд не такой крупный, и, соответственно, клюв у него короче и острее. Согласно народной этимологии, pelicanus — «белошерстный»: перья у настоящего пеликана белые, меж тем как у легендарного желтые, а иногда и зеленые. (Подлинная этимология слова «пеликан» — греческое «рублю топором», ибо длинный клюв его уподобили клюву дятла.) Но его повадки еще более удивительны, чем внешность.

Мать ласкает птенцов своим клювом и когтями так ревностно, что умерщвляет их. Через три дня появляется отец и в отчаянье от гибели своего потомства собственным клювом раздирает себе грудь. Кровь из его ран воскрешает умерших птенцов. Так повествуют средневековые «бестиарии», однако Св. Иероним в комментарии к 101-му псалму («Я уподобился пеликану в пустыне; я стал, как филин на развалинах») приписывает умерщвление выводка змее. О том, что пеликан раздирает себе грудь и кормит детенышей собственной кровью, говорится в распространенном варианте этой легенды.

Кровь, возвращающая мертвых к жизни, приводит на ум причастие и распятие — так, в знаменитом стихе из «Рая» (XXV, 112) Иисус Христос назван «nostro Pelicano»[1] — Пеликан человечества. Латинский комментарий Бенвенуто де Имола толкует это так: «Его называют Пеликаном, ибо он разъял себе грудь ради нашего спасения, подобно пеликану, воскрешающему умерших птенцов кровью своей груди. Пеликан — это египетская птица».

[1] «Наш Пеликан» (*лат.*).

Пеликан часто встречается в церковной символике, его поныне изображают на дарохранительницах. В «бестиарии» Леонардо да Винчи пеликан описывается следующим образом:

«Он горячо любит своих птенцов и, найдя их в гнезде убитыми змеею, раздирает себе грудь и, омыв их своей кровью, возвращает к жизни».

Птица Рух

Птица Рух (или, как ее иногда называют, «Рок») — это сильно увеличенный орел или гриф, а некоторые полагают, что его образ навеян арабам каким-то кондором, заблудившимся над Индийским океаном или Южно-Китайским морем. Лейн эту гипотезу отвергает, по его мнению, мы тут скорее имеем дело со «сказочным представителем сказочного племени» или же с синонимом для персидского Симурга[1] . Птица Рух известна Западу благодаря «Тысяче и одной ночи». Читатель помнит, что Синдбад (во втором своем путешествии), брошенный своими спутниками на острове, увидел

«Огромный белый купол, высившийся на фоне неба. Я обошел вокруг него, однако входа не обнаружил и не смог проникнуть в него ни силой, ни хитростью — слишком гладкой и скользкой была его поверхность. Итак, я приметил место, где стоял, и обошел вокруг купола, дабы измерить его окружность, и насчитал добрых полсотни шагов».

Немного спустя большая туча закрыла солнце, и Синдбад,

«подняв голову... увидел, что это было не облако, а огромная птица гигантского размера и с необычайно огромным размахом крыльев...».

То была птица Рух, а белый купол, разумеется, был ее яйцом. Синдбад привязывает себя тюрбаном к ноге птицы, и на следующее утро взмывает с нею ввысь, а затем, отвязавшись, остается на вершине горы, причем Рух ничего этого не замечает. Рассказчик прибавляет, что Рух питается змеями, да такими огромными, что они могли бы зараз проглотить слона.

В «Книге» Марко Поло о путешествиях (III, 36) мы читаем: «Жители острова (Мадагаскара) сообщают, что в определенную пору года из южных краев прилетают удивительные птицы, которых они называют «Рух». С виду они напоминают орла, только размерами куда огромней; они так громадны и могучи, что лапами своими хватают слона и поднимают его в воздух, а поднявши, бросают на землю, дабы его убить и потом расклевать вплоть до костей. Люди, видевшие эту птицу, утверждают, что крылья ее в развороте достигают с края до края шестнадцати шагов, а перья имеют в длину восемь шагов и соответственную ширину».

Марко Поло прибавляет, что китайские послы, возвратясь, доставили Великому хану[2] перо птицы Рух. На персидской иллюстрации в книге Лейна изображена птица Рух, несущая в клюве и в лапах трех слонов, «соотносящихся с нею по размерам, как полевые мыши и сокол», замечает Бертон.

Саратан

Существует легенда, обошедшая все страны и все эпохи, — рассказ о моряках, причаливших к неизвестному острову, который затем погружается в море и топит их, ибо этот остров — живое существо. Вымысел этот мы находим в первом путешествии Синдбада и в песне VI, строфе 37 «Неистового Орланда» («Ch'ella sia una isoletta ci credemo» — «Мы думали, что это маленький островок»); в ирландской легенде о Святом Брендане и в греческом Александрийском «бестиарии»; в «Historia de Gentibus Septentrionalis»[3] (Рим, 1555), написанной шведским священником Олавом Магнусом, и в следующем пассаже в начале «Потерянного рая»[4], где Сатана, его «чудовищное тело, по длине Титанам равное», сравнивается с китом:

Как великан морей — Левиафан,
Когда вблизи Норвежских берегов

[1] Симург — в иранской мифологии вещая птица.
[2] Имеется в виду монгольский властитель Кубла Хан (1215 — 1294), у которого Марко Поло находился в услужении шестнадцать лет.
[3] «История северных народов» (*лат.*).
[4] «Потерянный рай» — эпическая поэма английского поэта Джона Мильтона (1608 — 1674).

Он спит, а запоздавший рулевой,
Приняв его за остров, меж чешуй
Кидает якорь, защитив ладью
От ветра, и стоит, пока заря
Не усмехнется морю поутру, —
Так Архивраг разлегся на волнах...[2]

Парадоксальным образом одна из самых ранних версий этой легенды приводилась с целью ее опровергнуть. Ее записал в «Книге животных» Аль-Джахиз, мусульманский зоолог девятого века. Приводим его текст по испанскому переводу Мигеля Асина Паласиоса.

«Что до саратана, я никогда не встречал человека, который бы видел его собственными глазами.

Некоторые моряки утверждают, что им приходилось плавать у морских берегов, на которых они видели лесистые долины и расщелины в скалах, и они причаливали, чтобы развести костер, и когда жара проникала до хребта саратана, зверь этот начинал погружаться в воду вместе с людьми, которые на нем находились, и со всеми росшими на нем растениями, так что лишь те, кто умел плавать, спасались. Это превосходит самые смелые, самые причудливые измышления фантазии».

А теперь посмотрим текст Аль-Казвини, персидского космографа, писавшего по-арабски. Взят этот текст из его труда, озаглавленного «Чудеса Творения», и гласит он следующее:

«Что до морской черепахи, то она столь огромна, что люди на кораблях принимают ее за остров. Один купец рассказывал такое:

«Плавая по морю, мы обнаружили остров, поросший зеленью, и причалили к берегу, и выкопали ямы, чтобы развести огонь и сварить пищу, как вдруг остров заколыхался, и моряки сказали: «Скорее назад, на корабль! Это черепаха! Жар огня разбудил ее, мы здесь погибнем!»

Эта история повторяется в «Плаванье по морю» Святого Брендана.

«И тогда они поплыли дальше, и вскорости подошли к этому острову; у берега места были неглубокие и кое-где торчали небольшие скалы, но наконец они нашли заливчик, который им показался удобным, и развели там костер, чтобы приготовить обед, а Святой Брендан еще оставался на корабле. И когда костер хорошенько разгорелся и мясо начало поджариваться, островок зашевелился; перепуганные монахи бегом вернулись на корабль, оставив и костер, и варившуюся еду, и очень дивились этому движению острова. И Святой Брендан их успокоил, сказав, что это большая рыба, называемая Джаскони, которая ночью и днем старается ухватить пастью свой хвост, но из-за того, что она огромна, не может этого сделать».

В англосаксонском бестиарии «Книги Экстер» опасный остров — это «искусный в коварстве» кит, который умышленно обманывает мореплавателей. Они устраиваются на его спине, чтобы отдохнуть после трудов в море, и тут Дух Океана внезапно опускается в воду и топит людей. В греческом «бестиарии» кит — воплощение блудницы из Притчей[3]: «ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней»; в англосаксонском «бестиарии» он символизирует Дьявола и Зло. Такое же символическое значение он имеет в «Моби Дике»[4], сочиненном через десять веков.

Сведенборговы ангелы

Последние двадцать пять лет своей жизни, посвященной науке, знаменитый шведский философ и ученый Эмануэль Сведенборг (1688 — 1772) жил в Лондоне. Но поскольку англичане не слишком словоохотливы, он приобрел привычку беседовать с демонами и с ангелами. Бог даровал ему возможность посетить Тот Свет и ознакомиться с жизнью его обитателей. Христос говорил, что попасть на небеса могут лишь души людей праведных. Сведенборг к этому прибавил, что они также должны быть разумными; позже Блейк высказал мнение, что это должны быть художники и поэты. Ангелы Сведенборга и есть души, избравшие небесную обитель. Они не нуждаются в словах — ангелу достаточно подумать о другом ангеле, и тот оказывается рядом с ним. Пара влюбленных здесь, на земле, ста-

[1] Перевод Арк.Штейнберга.
[2] Книга Притчей Соломоновых 5,5.
[3] «Моби Дик» — книга американского писателя Германа Мелвилла (вышла в 1851г.).

новится на небе одним ангелом. Миром ангелов правит любовь, каждый ангел — сам по себе рай. Облик ангела — это облик совершенного человека, облик рая таков же. В каком бы направлении ни обратил ангел свой взор, он всегда лицом к лицу с Богом. А главное — они прорицатели; самое большое их удовольствие — это молитва и решение богословских проблем. Дела земные суть лишь символы дел небесных. Солнце — лик божества. На небесах время не существует, облик райских существ меняется согласно настроению. Одеяния ангела сияют соответственно возвышенности его ума. Души богатых богаче, чем души бедных, ибо богатые привычны к роскоши. На небесах все предметы, окружающая обстановка и города более телесны и более сложного состава, чем на земле, цвета более разнообразны и ярки. Ангелы английской породы выказывают склонность к политике, евреи — к продаже безделушек, а немцы носят с собой пухлые тома, куда заглядывают, прежде чем решиться дать ответ. Поскольку мусульмане почитают Мухаммеда, Бог снабдил их ангелом, воплощающим Пророка. Нищие духом и отшельники к утехам небесным не допускаются, ибо не способны ими наслаждаться.

Сведенборговы демоны

В сочинениях знаменитого шведского визионера восемнадцатого века мы читаем, что демоны, подобно ангелам, не особые существа, они человеческой породы. Это те люди, которые после смерти избрали ад. Там, в краю болот, безлюдных пустынь, непроходимых лесов, уничтоженных огнем городов, борделей, мрачных вертепов, они особого счастья не испытывают, однако в раю они были бы еще более несчастны. Временами с горних высот на них падает луч небесного света; он жжет демонов, им больно, им кажется, что он источает зловоние. Каждый из демонов мнит себя красавцем, однако у многих звериные морды или же вместо лиц бесформенные куски мяса. Они живут в состоянии взаимной ненависти и вооруженного насилия и если сходятся вместе, то лишь ради того, чтобы сговориться против кого-то или кого-нибудь уничтожить. Бог запретил людям и ангелам рисовать карту ада, однако мы знаем, что очертаниями своими ад подобен фигуре сатаны, равно как очертания рая подобны фигуре ангела. Самые мерзкие и проклятые области ада находятся в западной стороне.

Свинья в оковах и другая аргентинская фауна

На странице 106 своего «Словаря аргентинского фольклора» Феликс Колуччо пишет:

«В северной части провинции Кордовы, особенно вблизи Килиноса, народ верит в существование свиньи в оковах, которая, мол, обычно появляется в ночные часы. Люди, живущие вблизи железнодорожной станции, утверждают, будто эта свинья скользит по рельсам, другие говорят, будто она иногда бегает по телеграфным проводам, оглушительно грохоча своими «цепями». Однако никто в глаза не видел это животное — как только вы попытаетесь на него взглянуть, оно странным образом исчезает».

Поверье о свинье в оковах (chancha con cadenas), которая также известна под названием «жестяная свинья» (chancha de lata), бытует также в провинции Буэнос-Айрес, в прибрежных трущобах и поселках.

В Аргентине существуют два варианта оборотня. Один из них, распространенный также в Уругвае и на юге Бразилии, — это «lobisón»[1]. Но поскольку в этих краях волки не водятся, то, согласно поверью, люди принимают облик свиньи или собаки. В некоторых селениях провинции Энтре-Риос девушки чураются парней, живущих вблизи скотопригонных дворов, считая, что в субботние ночи эти парни превращаются в вышеупомянутых животных. В центральных провинциях идет слух о tigre capiango. Этот зверь — не ягуар, а человек, который может по своему желанию принимать облик ягуара. Обычно он это делает с целью в духе сельской шутки попугать друзей, однако этим приемом пользуются также разбойники с большой дороги. Во время гражданских войн прошлого века верили, что у генерала Факундо Кироги есть целый полк «капианго».

[1]От испанского lobo — волк.

Сирены

С течением времени образ сирен менялся. Первый их историк, Гомер, в двенадцатой песне «Одиссеи» не описывает их наружность; у Овидия это птицы с красноватым опереньем и лицами юных дев; у Аполлония Родосского они кверху от пояса женщины, а нижняя часть туловища у них, как у морских птиц; у испанского драматурга Тирсо де Молины (и в геральдике) они «полуженщины, полурыбы». Не менее спорен и их характер: Лэмприр в своем классическом словаре называет их нимфами; в словаре Кишера они чудовища, а в словаре Грималя — демоны. Живут они на каком-то западном острове, вблизи острова Кирки, однако мертвое тело одной из них, Партенопы, было прибито волнами к берегу Кампаньи и дало имя славному городу, ныне называемому Неаполь. Географ Страбон видел ее могилу и наблюдал игры, периодически справлявшиеся в ее память.

В «Одиссее» говорится, что сирены завлекают моряков и топят суда и что Улисс, дабы слышать их пенье и все же остаться живым, заткнул уши своим спутникам воском, а себя приказал привязать к мачте. Сирены, соблазняя его, обещали ему всеведение:

Здесь ни один не проходит с своим кораблем мореходец,
Сердцеусладного пенья на нашем лугу не послушав;
Кто же нас слышал, тот в дом возвращается, многое сведав,
Знаем мы все, что случилось в троянской земле и какая
Участь по воле бессмертных постигла троян и ахеян;
Знаем мы все, что на лоне земли благодатной творится[1].

В одной легенде, записанной знатоком мифологии Аполлодором[2] в его «Библиотеке», говорится, что Орфей на корабле аргонавтов пел слаще, чем сирены, и по этой причине сирены побросались в море и были превращены в скалы, ибо им было суждено умереть, когда их чары окажутся бессильными. Также и сфинкс, когда его загадку отгадали, бросился в пропасть.

В шестом веке в северном Уэльсе поймали сирену и окрестили ее, и в некоторых старинных календарях она значится как святая под именем Мерджен. Другая сирена в 1403 году проскользнула через брешь в плотине и жила в Харлеме до самой своей смерти. Ее речей никто не мог понять, однако она научилась ткать и как бы инстинктивно поклонялась кресту. Некий хронист шестнадцатого века утверждает, что она не была рыбой, ибо умела ткать, и не была женщиной, ибо могла жить в воде.

В английском языке различается классическая сирена и русалка с рыбьим хвостом. На создание образа русалки, возможно, повлияли тритоны, младшие божества в свите Посейдона.

В десятой книге «Республики» Платона восемь сирен управляют движением восьми концентрических небесных сфер.

В одном грубо откровенном словаре мы читаем: «Сирена — вымышленное морское животное».

Стоглав

Стоглав — это рыба, порожденная сотнею бранных слов, произнесенных в течение жизни, во всем остальном безупречной. В одной китайской биографии Будды рассказывается, что он как-то повстречал рыбака, тащившего из воды сеть. С большим трудом рыбак выволок на берег огромную рыбу, у которой были головы обезьяны, собаки, лошади, лисы, свиньи, тигра и так далее — всего сто голов.

— Ты Капила? — спросил Будда у рыбы.

— Да, это я, — ответил стоглав и испустил дух.

Будда объяснил своим ученикам, что в предыдущем воплощении Капила был брахманом, который стал монахом и был непревзойденным знатоком священных книг. Когда его собратья и ученики неправильно читали какое-то слово, Капила имел обыкновение обзывать их «обезьянья голова», «собачья голова», «лошадиная голова» и тому подобное. После его смерти, по закону кармы, он из-за столь многих бранных слов должен был воплотиться в морское чудовище, обремененное всеми теми головами, которыми он награждал своих собратьев-монахов.

[1] Песнь двенадцатая, 187 — 191. (*Перевод В.А.Жуковского.*)
[2] Аполлодор (II в. до н.э.) — древнегреческий писатель и историк.

Сцилла

Прежде чем стать чудовищем и обратиться в скалу, Сцилла была нимфой, которую полюбил Главк, один из морских богов. Дабы ее покорить, Главк попросил о помощи Кирку, которая славилась знанием трав и волшебства. Однако Кирка сама влюбилась в Главка, да только никак не могла заставить его забыть Сциллу. И, чтобы наказать соперницу, она вылила сок ядовитой травы в источник, в котором нимфа купалась. Далее, по словам Овидия («Метаморфозы», XIV, 59 — 67),

> Скилла пришла и до пояса в глубь погрузилась затона, —
> Но неожиданно зрит, что чудовища некие мерзко
> Лают вкруг лона ее. Не поверив сначала, что стали
> Частью ее самое, бежит, отгоняет, страшится
> Песьих дерзостных морд, — но в бегство с собою влечет их,
> Щупает тело свое, и бедра, и икры, и стопы, —
> Вместо знакомых частей обретает лишь пасти собачьи.
> Всё — лишь неистовство псов; промежности нет, но чудовищ
> Спины на месте ее вылезают из полной утробы [1].

Она чувствует, что стоит на двенадцати ногах, что у нее шесть голов и в каждой голове — три ряда зубов. Такая метаморфоза настолько ее устрашила, что Сцилла бросилась в пролив, разделяющий Италию и Сицилию, где боги превратили ее в скалу. Когда во время бури ветер загоняет суда в каменистые расщелины скалы, моряки, по их словам, слышат доносящийся оттуда жуткий рев.

Эту легенду можно также найти у Гомера и у Павсания.

Талос

Самые ужасающие создания фантастической зоологии — это живые существа из металла или камня. Таков яростный бык с медными ногами и рогами, изрыгавший пламя, которого Ясон с помощью волшебницы Медеи запряг в плуг; одушевленная статуя из чувствующего мрамора у Кондильяка [2]; лодочник в «Тысяче и одной ночи» — медный человек со свинцовой табличкой на груди, испещренной талисманами и цифрами, который спас третьего календера [3], увезя его в челноке от Магнитной горы; «девы из мягкого серебра или из ярого золота», которых в мифологии Уильяма Блейка богиня поймала в шелковую сеть для утехи своего возлюбленного; металлические птицы, выкормившие Ареса.

К этому перечню можно еще добавить тягловое животное, проворного дикого кабана Гуллинбурсти, чье имя означает «златощетинный». Ученый-мифолог Пауль Герман пишет: «Это живое создание из металла было выковано в кузнице искусных карликов; они бросили в огонь свиную шкуру и вытащили золотого кабана, который мог передвигаться по суше, по морю и по воздуху. Как ни темна ночь, путь кабана всегда хорошо освещен». Гуллинбурсти вез колесницу Фрейи, скандинавской богини любви, брака и плодовитости.

И еще есть Талос, страж острова Крит. Некоторые считают этого гиганта творением Вулкана или Дедала; Аполлоний Родосский говорит о нем в своей «Аргонавтике» (IV, 1638 — 1648):

«И Талос, бронзовый человек, отбив глыбы от твердокаменного утеса, помешал им привязать судно, когда они вошли в гавань Дикте. Он был породы людей из бронзы, из ясеневого дерева, последний уцелевший из сыновей богов; Хронос подарил его Европе, дабы он был стражем Крита и трижды в день на своих бронзовых ногах обходил остров. Все его тело, все члены были бронзовые и неуязвимые; лишь под одним сухожилием на лодыжке была кроваво-красная жилка, и эту жилку, в которой заключалась жизнь его и смерть, покрывала тонкая кожица».

И разумеется, из-за этой уязвимой жилки пришел Талосу конец. Медея околдовала его убийственным своим взглядом, и когда гигант снова принялся ворочать глыбы на скале, «он поранил себе лодыжку острым обломком, и оттуда, подобно расплавленному свинцу, хлынула сукровица — вскоре он так и застыл, высясь на выступающем утесе».

---

[1] Перевод С. Шервинского.

[2] Этьен Бонно Кондильяк (1715 — 1780) — французский философ-сенсуалист, автор «Трактата об ощущениях».

[3] Календер — член мусульманского монашеского ордена, живущий подаянием.

По другой версии мифа Талос, раскалясь докрасна, убивал людей, обхватывая их своими ручищами. По этой версии бронзового гиганта постигла смерть от рук Кастора и Поллукса, братьев Диоскуров, которыми руководила колдунья Медея.

Фаститокалон

В средние века приписывали Святому Духу сочинение двух книг. Первой, как всем известно, была Библия; второй — весь мир, в коем каждое создание заключает в себе нравственное поучение. Для объяснения этих поучений составлялись «физиологии», или «бестиарии», где рассказы о птицах и животных перемежались с аллегорическими толкованиями. Приведем отрывок из англосаксонского «бестиария»:

«Ныне я, по моему разумению, хочу также сказать в стихе и в песне о некоей рыбе, о могучемките. К огорчению нашему, он часто оказывается свиреп и опасен для мореплавателей. Имя ему дано «фаститокалон» — плавающий по океанским водам. Видом своим он подобен утесу или же громадному сплетению водорослей, опоясанному песчаной отмелью, поднявшемуся со дна морского, так что мореплавателям кажется, будто бы они воочию видят перед собой остров; и тогда они привязывают свой высокогрудый корабль к мнимому острову, стреножат коней на берегу моря и бесстрашно отправляются в глубь острова. Корабль стоит у берега на причале, вокруг него — вода. Затем, утомившись, моряки делают привал, не чуя опасности. Разжигают на острове костер, раздувают пламя посильнее; истомленные трудами, они веселятся в предвкушении отдыха. Когда же искушенный в коварстве кит почувствует, что путешественники твердо на нем обосновались, что они разбили лагерь и наслаждаются погожим деньком, тут эта океанская тварь внезапно опускается вместе со своими жертвами в соленую воду, погружаясь в самую пучину, и предает утопленный ею корабль и людей в чертоги смерти.

У этого горделивого океанского странника есть и другая, еще более удивительная привычка. Когда его допекает голод, этот страж океана разевает пасть как можно шире. Из его утробы исходит приятный запах, который обманывает рыб других пород. Беспечными стаями они заплывают в огромную пасть, пока она не заполнится. Так бывает со всяким человеком, который дает себя заманить приятным запахом, нечестивым желанием, — и совершает грех противу Царя славы».

Схожая история рассказывается в «Тысяче и одной ночи», в легенде о Святом Брендане и в Мильтоновом «Потерянном рае», где описан кит, «дремлющий на пенистых волнах». Профессор Гордон рассказывает, что «в ранних вариантах легенды таким коварным существом была черепаха и называлась она «аспидохелон». С течением времени имя это было искажено, и черепаху заменил кит.

Фауна Чили

Главный наш авторитет по теме животных, порожденных воображением чилийцев, это Хулио Викунья Сифуэнтес, в чьем труде «Мифы и суеверия» собрано множество легенд, почерпнутых из устных рассказов. Все нижеприведенные фрагменты, кроме одного, взяты из этой книги. Очерк «Кальчона» напечатан в «Словаре чилеанизмов» Соробабеля Родригеса, опубликованном в Сантьяго-де-Чили в 1875 году.

Аликанто — ночная птица, которая добывает себе корм в золотых и серебряных жилах. Ее разновидность, питающуюся золотом, можно узнать по золотистому сиянию, исходящему от ее крыльев, когда она их раскрывает (летать она не умеет); аликанто, питающуюся серебром, как можно догадаться, узнают по серебристому сиянию.

Тот факт, что птица эта не летает, объясняется не ее крыльями, они у нее совершенно нормальные, но тяжестью металлической пищи, которая тянет ее к земле. Голодная аликанто быстро бегает; наевшись же, едва ползет.

Геологи-разведчики и горные инженеры почитают себя богачами, если им посчастливится заполучить аликанто в проводники, — птица может им помочь

обнаружить неизвестное месторождение. Однако геологу-разведчику следует быть очень осторожным — едва птица заподозрит, что за нею кто-то идет следом, она гасит свое сияние и скрывается в темноте. Она также может вдруг изменить направление и завести своего преследователя в пропасть.

Кальчона — животное вроде ньюфаундленда, более лохматое, чем нестриженый баран, и более бородатое, чем козел. Шерсть у него белая, и, чтобы явиться путникам в горах, оно выбирает темные ночи, крадет корзины с провизией и бормочет зловещие угрозы; оно также пугает лошадей, преследует бродяг и причиняет вред где только может.

Чончон имеет вид человеческой головы; огромные уши служат ему крыльями для полетов в безлунные ночи. Считают, что чончоны наделены всеми способностями колдунов. Они опасны, когда им досаждают, и о них рассказывают множество всяческих историй.

Есть несколько способов заставить этих летающих существ опуститься, когда они проносятся над вашей головой, напевая свое зловещее «туэ, туэ, туэ» — единственный признак их присутствия, ибо они невидимы для всех, кто не владеет колдовскими чарами. Знающие люди советуют следующее: напевать песню или молитву, известную лишь немногим людям, ни за что не желающим сообщить ее другим; дважды произнести нараспев некие двенадцать слов; начертить на земле Соломонову печать; и, наконец, расстелить особым образом куртку. Чончон падает, отчаянно хлопая крыльями; как ни бьется, он не может взлететь, пока на помощь ему не явится другой чончон. Как правило, на этом дело не кончается, раньше или позже чончон мстит тому, кто над ним надсмеялся.

Достойные доверия очевидцы рассказывают следующую историю. В одном доме в Лимасе собрались вечером гости, и вдруг они услышали, что снаружи кричит чончон. Кто-то из гостей начертал знак Соломоновой печати, и тогда на заднем дворе плюхнулось наземь что-то тяжелое — это была большая птица величиной с индюшку, голова у нее была с красной бородкой. Люди отрезали голову, дали ее собаке, а тушку забросили на крышу. И сразу они услышали оглушительный шум летящих чончонов и в это же время заметили, что брюхо собаки раздулось, словно она проглотила человеческую голову. На другое утро хватились тушки чончона — она с крыши исчезла. Немного спустя городской могильщик сообщил, что в тот день на кладбище явилось несколько человек хоронить кого-то, а когда они ушли, могильщик обнаружил, что труп был без головы.

Шкура — это осьминог, который живет в море и по размерам и виду своему похож на распластанную коровью шкуру. На концах щупальцев у него множество глаз, а в той части, где вроде бы находится голова, еще четыре более крупных глаза. Когда в воду заходят люди или животные, шкура поднимается на поверхность и втягивает их в себя с силой неодолимой, а затем в единый миг пожирает.

Косолап — земноводное животное, очень сильное, свирепое и пугливое; ростом около трех футов, голова теленка, туловище овцы. Он мгновенно покрывает овец и коров, после чего у тех родится детеныш той же породы, что мать; кто его отец, можно определить по искривленным копытам, а иногда — по искривленной морде. Если беременная женщина увидит косолапа, или услышит его мычание, или увидит его во сне три ночи кряду, она произведет на свет уродливое дитя. То же самое случится, если она увидит скотину, которую покрыл косолап.

Сильная жаба — вымышленное животное, отличающееся от прочих жаб тем, что спина его покрыта панцирем, как у черепахи. Жаба эта в темноте светится вроде светляка, и такая она сильная, что единственный способ ее убить — это сжечь дотла. Названием своим она обязана необычайной силе своего взгляда, которым привлекает или отталкивает всех, кто попадется ей на глаза.

Феи

Они чудесным образом вмешиваются в человеческие дела, и название их связано с латинским словом fatum (судьба, жребий). Считают, что феи самые многочисленные, самые красивые и самые примечательные из всех второстепенных сверхъестественных существ. Вера в них не ограничена какой-либо одной страной или эпохой. Древние греки, эскимосы и краснокожие индейцы рассказывают истории о героях, завоевавших любовь этих созданий фантазии. В такой удаче таится, однако, опасность — когда прихоть феи удовлетворена, фея может своего любовника погубить.

В Ирландии и в Шотландии феям для жилья отведены подземные обиталища, где они прячут похищенных ими мужчин и детей. Ирландские фермеры, выкапывая на полях кремневые наконечники стрел, полагают, что они когда-то принадлежали феям, и наделяют их целебными свойствами.

В ранних рассказах Йейтса часто встречаются упоминания о том, как крестьяне попадали к феям. Так, один сельский житель сообщил автору, что «она не верила ни в ад, ни в духов. Мол, ад — это выдумка попов, чтобы держать народ в узде; а духам, говорила она, не разрешается без дела шататься по земле когда вздумается, зато на земле есть феи, и карлики-гномы, и водяные лошади, и падшие ангелы».

Феи обожают пение, музыку и зеленый цвет. Йейтс пишет, что «эльфы и феи в Ирландии порой уступают нам ростом, порой бывают выше нас, а порой, как мне говорили, в них около трех футов». В конце семнадцатого века шотландский священник, преподобный Роберт Керк из Эйберфойла, написал книгу под названием «Тайное сообщество, или Очерк о природе и о действии подземного (и в большинстве своем невидимого) народа, известного у шотландцев долин под названием «фавны» и «феи» или «оборотни», как описывают их люди, наделенные вторым зрением». В 1815 году сэр Вальтер Скотт выпустил второе издание этой книги. О мистере Керке говорили, что феи похитили его за то, что он раскрыл их тайны.

На морских просторах вокруг Италии, особенно в Мессинском проливе, Фата Моргана насылает миражи, чтобы сбить с толку моряков и заманить их на мель.

Цербер

Если ад — это дом, дом Гадеса[1], в нем, естественно, должен быть сторожевой пес; столь же естественно, что этот пес должен внушать ужас. В Гесиодовой «Теогонии» у него пятьдесят голов; чтобы облегчить задачу пластическим искусствам, их число сократили, и три головы Цербера стали ныне общепринятым их количеством. Вергилий говорит о трех глóтках; Овидий — о троезвучном лае; Батлер[2] уподобляет трехкоронную тиару папы, стража у врат рая, трем головам пса, стража у врат ада («Гудибрас», IV, 2). Данте наделяет Цербера человеческими чертами, что только усугубляет его инфернальную природу; грязная черная борода, лапы с когтями, которые под градом плетей раздирают души обреченных. Он бичует их, лая и скаля зубы.

Вытащить Цербера на дневной свет — таков был последний подвиг Геракла («Он вытащил наверх Цербера, адского пса», — пишет Чосер в «Рассказе монаха».) Зэкерай Грей, английский писатель восемнадцатого века, в своих комментариях к «Гудибрасу» толкует это деяние следующим образом:

«Пес с тремя головами означает прошлое, настоящее и будущее время, которое встречает и, как пес, пожирает все на свете. Геркулес одержал над ним верх, и это показывает, что героические Деяния всегда побеждают Время, ибо остаются в памяти потомства».

Согласно древнейшим текстам, Цербер приветствует своим хвостом (а хвост этот — змея) входящих в ад и разрывает на куски тех, кто пытается убежать. В более поздней легенде он кусает новоприбывших; чтобы его умилостивить, в гроб умершего клали медовый пряник.

В скандинавской мифологии забрызганный кровью пес Гарм сторожит дом мертвых и готов сразиться с богами, когда адские волки пожрут луну и солнце. Некоторые наделяют этого пса четырьмя глазами; у собак Ямы, брахманского бога смерти, также по четыре глаза.

Как в брахманизме, так и в буддизме, ад полон собак, которые, подобно Дантову Церберу, терзают души умерших.

■

[1] Гадес (Аид) — в греческой мифологии — владыка царства мертвых.
[2] Сэмюэл Батлер (1612 — 1680) — английский поэт, автор поэмы «Гудибрас».

МАРСЕЛЬ СЕН-МАРТЕН

Стихи

Перевод с французского АЛЕКСАНДРА ДАВЫДОВА

Марсель Сен-Мартен, будучи поэтом милостью божьей и одновременно тонким, талантливым художником, предпочитает и в стихах пользоваться приемами живописи. Меньше всего, как в поэзии, так и в рисунках, он стремится к самовыражению. Исповедальные мотивы ему чужды изначально. Его занимают не собственные переживания и не собственная личность, а то, что окружает повседневно его и нас, причем смысла вещей он не ищет, он его ощущает интуитивно и, ничего не объясняя, дает почувствовать его нам и в графике, и в стихах; этот глубинный философский смысл становится и нашим достоянием.

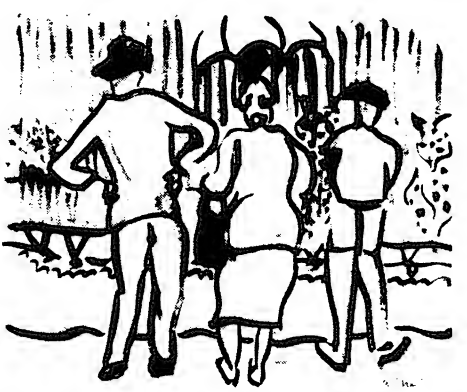
Его стихи — это тоже своего рода графика, только словесная. Он не дает названий ни своим стихам, ни картинам — видимо, стремясь окончательно самоустраниться и не давать никаких оценок. Зато его творчество заслужило множество оценок, и очень высоких.

Марсель Сен-Мартен — художник известный, за плечами которого чуть ли не три десятка выставок по всему свету, он — автор четырех сборников стихов, получивших восторженные отзывы самых суровых критиков. Его картины знают во Франции и в Швеции, в Бельгии и в Перу и, как это часто случается, совсем не знают у нас.

Журнал «Иностранная литература» восполняет этот пробел, публикуя одновременно стихи из сборника Марселя Сен-Мартена «Сверкание времени» (1988) и репродукции работ, представленных на его выставке 1994 года в Монфоре, на родине Сен-Мартена.

Говоря о его стихах, нельзя не сказать о невероятном его человеческом обаянии и скромности, которая в них чувствуется, о богатстве артистического воображения и способности прозревать суть самого простого и потому — вечного.

Именно поэтому яркий талант позволил ему еще в молодые годы сблизиться с такими мастерами, как Пикассо (кстати, в 1967 году работы Марселя Сен-Мартена



Фотопортрет Сен-Мартена работы Жака Тюкуа

© Les cahiers des brisants, 1988

соседствовали на выставке в Париже с картинами Пикассо, Макса Эрнста и Джакометти), Андре Бретон, Жан Кокто и Марсель Жуандо.

Именно поэтому среди его друзей и почитателей — поэты Пьер Сегерс и Бернар Ноэль, философ Гастон Башляр, актер Жан Маре.

Можно назвать не один десяток знаменитых поэтов, как наших, так и французских, которые оставили свой след и в пластических искусствах. От классиков — Лермонтова, Шевченко, Анри Мишо, Макса Жакоба и Антуана де Сент-Экзюпери — до концептуалиста Пригова. Но рассказ о Марселе Сен-Мартене невозможен без упоминания о третьем виде искусства. Ни стихи, ни рисунки его не были бы так безупречно организованы ритмически, если бы в них не ощущалось присутствие музыки. А музыка в доме Марселя Сен-Мартена была не гостьей, а хозяйкой. Дело в том, что его женой, чьей памяти посвящен сборник «Сверкание времени», была Жанин Бертий, композитор, автор песен на слова Бориса Виана и Пьера Сегерса. (Книга не просто посвящена ей, по словам Жана Маре, Жанин присутствует там в каждом слове. «Я взволнован и растерян, — пишет он Марселю Сен-Мартену, получив в подарок «Сверкание времени». — Твоя поэзия чиста, велика и проста одновременно».)

Без музыки немыслимо представить себе Сен-Жермен де Пре пятидесятых годов с его бурной интеллектуально-артистической жизнью. Марсель и Жанин органично вписались в нее. Но времена и моды меняются, поп-культура постепенно стала завоевывать и Сен-Жермен де Пре.

Сен-Мартены оставляют Париж и поселяются на родине Марселя, в одном из самых живописных уголков земли, в Ландах, в Гаскони, где бури Атлантического океана не нарушают спокойствия волшебно-зеркальных озер, а в самом большом в Европе лесу не спрячешься (разве что в розово-лиловом папоротнике), ибо лес этот насквозь прозрачен.

Именно здесь, наверное, Марсель Сен-Мартен и нашел ту красоту и свободу, за которые воевал в Гаскони во вторую мировую войну.

Некогда Гастон Башляр, прочитав стихи Марселя Сен-Мартена, написал ему:

«Если мне скажут, что Вы умеете вышивать, я поверю, потому что стихи Ваши делаются мелкими точечками и создают прекрасные образы. И еще: Вы умеете подбирать нитки к краскам мира. Все это настолько подлинно, что у меня пропало всякое желание читать сегодня газету. Я пойду вместе с Вами гулять в Ландах».

ТАТЬЯНА ВОРСАНОВА

***

Голубая мельница
и два холмика
рядом
один пшеницей порос
другой виноградом.

Ручей игривый
напоен небесным
благоуханьем.

Здесь Вергилий
схоронил
свое сердце.

***

Этот звук подсказал мне
время.

Надо выйти купить
хлеба.

Пуст мой почтовый ящик

Десять бьет
на часах белых.

Победно сияет небо.
Живут там родные души.

***

Дорога всегда
сумерки разрежает
сумерки делаются болтливы
словно ручей
протекающий
сквозь
музыкальные пальцы.

Хлеб знает
прошлое воды
и зерна
прошедших дорогой огня
и человеческих пальцев.

***

Как бы узнать
этой женщины имя.

Он семенит и что-то
бормочет.

На самый гребень холма
за ней следом взобрался мужчина.

Потом он спустился
и стоит вблизи гаража.

***

Справа тис.
Слева тис.

Эту аллею
пройти ль до конца?..

Нету дома
нет крыльца...

Море...

Пространство...

Время...

Справа тис.
Слева тис.

***

Я бодрствую
я не спящий.

Я не пишу
я исчерчиваю страницы.

Я гляжу с умиленьем
как струится блестящий
след
проскользнувшей мокрицы
на коврике банном.

***

Красиво
лежит на столе
солнечный зайчик
словно
нерукотворное
блюдце.

Миг чистой
радости.

Парят золотистые птицы.

Нежны ароматы.

Земля
меня с этим всем связала.

***

На этот вечер
я назначил встречу
деревне маминой
водам любимым тобой
водам из трех прудов.

Солнце ласково
Словно нам родное.

Все вокруг
лишь мои затаенные слезы
я стыжусь
что проступит наружу слеза.

Повстречался
с мальчишкой на велосипеде
с птенцом куропатки.
Ликовала природа
я же был как мертвец
в омертвении чувств
том что жизнью зовется.

***

В сумерках бродя наугад
и в туманные дни
и когда на ущербе луна
чувствуешь
как непрочны
все скрепы явлений
и словно фрегат
земля
терпит
крушенье.

***

Он приближался
как приближается час
гребень времени оседлавший.

Вконец обезумев
как сказал бы профан
норовил он вломиться
в зазеркалье не зная о том
что́ за хрупким стеклом
в трещинах вертких
таится.

Взор одичалый
внутри все горит
дурнота ожиданье
терпение
сжалась рука...

***

Можно предаться мечтам...
Все сказать
ничего не открыв.

Исчезнуть
бесследно
как дым.

Погрузиться
в глубины себя
в свой колодец
где плещутся тайны
улыбки и слезы
утаенные зовы
зудящие язвы.

Пора уже
взращивать смерть.

ЭЛЬЗА МОРАНТЕ

Улица Ангела

РАССКАЗ

Перевод с итальянского Н.СТАВРОВСКОЙ

Маленькая Антония осталась сиротой, и дядя с теткой, уезжая за границу и не зная, как с ней поступить, поселили ее в монастыре на улице Ангела. Их друг иезуит, святой отец с согбенными плечами и бесстрастным, цвета глины, лицом, сложивши руки на груди, представил ее сестрам. Он сам порекомендовал эту обитель, где, кроме Антонии, за которую вносили крошечную плату и которая являлась чем-то средним меж служанкою, воспитанницей и пансионеркой, было только три монахини. Вокруг стояло несколько больших монастырей с различными насельницами: кто из них носил чепцы с загнутыми кончиками, кто — вуаль, а некоторые — накидки. Напротив высилась громадная тюрьма — гладко-желтая, на равном расстоянии испещренная оконными решетками; перед воротами расхаживал туда-сюда, позвякивая по булыжникам, бдительный охранник.

Улица шла круто вверх, и солнце — белое в сравненье с цветом стен — висело, озаряя их, в прохладных ясных небесах. Название дала ей каменная статуя с большими сложенными крыльями, стоящая на перекрестке. То была бесформенная, безголовая, безрукая фигура, с широкими ступнями, потемневшими от времени. О происхождении ее не сохранилось никаких воспоминаний; это был, возможно, древний Гавриил, глашатай благой вести, оставшийся здесь после разрушения церкви, или, может быть, Виктория — символический трофей сражений. Но ходили также слухи, будто это и впрямь ангел, Бог изгнал его из Рая за какую-то серьезную провинность и обрек на жизнь на земле. Здесь, чтоб рассеяться немного, он нередко заходил в дома, принимая самые разнообразные обличья, и уносил людей, особенно детей. Так или иначе, выяснить, кто это, было невозможно, и поэтому, поравнявшись со статуей, многие спешили осенить себя крестным знамением, бормоча молитву.

Церковь была длинной, гулкой, с белым главным алтарем под узким высоченным куполом, с порфировою балюстрадой за лестницей. По сторонам находились смотревшие на боковые стены маленькие красные двустворчатые с войлочной подбойкой дверцы. На торжественные службы сюда приводили заключенных в кандалах.

Над самым помещеньем церкви располагались выбеленные кельи, украшением которых служили темные распятия, цветы из воска, масляные лампы, статуэтки под стеклянным колпаком. Несколько окошек выходило в тесный сад, засаженный покрытой пылью зеленью, чахнувшей от дыма благовоний. Видимо, из-за безвкусной пищи и однообразной монастырской жизни Антония была не слишком рослой, хорошо росли лишь волосы, и из-за черных-черных кос, уложенных короной, голова ее казалась чересчур большой в сравненье с телом, которое, хоть ей исполнилось шестнадцать, оставалось все еще по-детски хрупким, с тонкими руками и терялось среди юбок. В черном обрамлении кос лицо ее с отдельными неяркими веснушками, маленьким округлым подбородком и большими серыми глазами за стеклами очков казалось бледным и болезненным. Очки ей придавали ученый и в то же время несколько кошачий вид благодаря примостившемуся между стеклами маленькому, чуть приплюснутому носу. Лицо имело постоянно выражение хоть и разумное, но вопросительно-испуганное. Лишь улыбка ее, дерзкая и плутоватая, оставляла впечатление решительности и готовности к побегу, и когда она так улыбалась, то казалось, будто бы сейчас попробует взлететь.

Выходила из монастыря Антония нечасто, а когда это случалось, тайна улиц, на которых всюду слышался далекий возбужденный гул, будоражила ей душу, и она шагала торопливо, не отрывая взгляда от своих черных туфель. Стоило поднять взор — и ей казалось, будто она видит ухватившихся за прутья заключенных с жадными, землистого оттенка лицами, наголо остриженными головами, пристальными черными глазами. И нередко, слыша за спиною шум, она воображала, будто это ангел, что стоял на перекрестке, оторвав с трудом свои разведенные ступни, следует за ней широкими громыхающими по камням шагами. Большие крылья, складываясь и распахиваясь снова, издавали глуховатый свист. Задержав дыхание, она шла, не смея обернуться. Но на самом деле то стучала и свистела ее собственная кровь.

В монастыре она училась ведению хозяйства, шитью и пению священных гимнов. Порою приходил отец иезуит, не поднимая глаз, осведомлялся, как она, давал советы и дарил картинки. Из сестер самой влиятельной была мать Керубина — пожилая, маленького роста, изборожденная морщинами, в чепце. Она была худа, с нервическими быстрыми движеньями и резким голосом, который в разговорах с посторонними, с отцом иезуитом становился приторным. Ее большие веки поднимались пологами над краснеющими в уголках глазами, ноздри иногда подрагивали, на губах играла ехидная усмешка. Она казалась одержимой бесом инквизиции, была деятельной и безжалостной и из-за этих свойств, не менее, чем в силу обязанностей, налагаемых ее чином, часто прибегала к наказаниям. В подобных случаях она произносила театральным тоном гневную проповедь, затем умолкала и, с небесной улыбкой схватив Антонию за воротник, а то и просто-напросто за шею, точно кошку, педантично и звонко била ее два-три раза по затылку косточками пальцев — желтыми, отполированными, звучными, будто зерна четок. Закончив экзекуцию, она хватала ее за руку и, как палач, суровая и непреклонная, тащила, широко ступая, в часовенку, где, выпучив глаза и лихорадочно тряся руками, запирала со словами:

— Дочь моя, молись! Замаливай грехи!

Антония не плакала, она покаянно улыбалась и в ответ на призывы сестры «Замаливай! Твори молитвы!» смиренно лепетала:

— Да, матушка!

Сестра Аффа́биле была созданием таинственным. Высоченная, прямая, с бледным правильным лицом и вялым, бескровным ртом, она говорила мало, никогда не смеялась, двигалась бесшумно. Если появлялась на пороге, даже из соседней комнаты, всегда казалось, будто прибыла она издалека и что-то позади оставила. Согласие выражала чуть заметным движением ресниц, и жесты ее томностью своей и величавостью рождали ощущение покоя. Голос у сестры Аффабиле, хоть говорила она о вещах совсем простых, обычных, был какой-то потусторонний, сомнамбулический, и слушавшие этот голос постепенно забывали обо всем.

Третья из сестер, Мария Лючилла, занимавшаяся кухней и иными хозяйственными делами, была маленькая, кругленькая, полная домашних запахов и при ходьбе покачивалась, словно курица. Она была голубоглаза, с алыми губами, белым пухлым личиком, стыдливо покрывавшимся порою пятнами румянца, и коротенькими красными руками с пятью ямочками с тыльной стороны ладони. Смеялась часто, и тогда по ее двойному подбородку пробегала дрожь, так же часто она плакала, и на ее мокром лице появлялись трогательные гримаски. Тайком она шила для Антонии из голубой материи красивые сорочки, на которых даже вышивала подходящие рисунки — белых голубков, к примеру, с красненькими клювиком и лапками, цветочки, преимущественно лилии, символизирующие непорочность, с тычинками из желтых ниток.

— Ой, какие чудные голубки! — в восхищении Антония сжимала руки. — До чего красивые листочки!

— Ты их надевай, — шептала ей сестра Мария Лючилла, — все видят, что ходим мы в черных платьях и в тяжелых башмаках и то, как мы себя ведем... Но сорочки — кто их видит? Лишь один Господь наш Бог. Какой же грех, если они красивые, цветные? Наоборот, Господь доволен только будет тем, что так прекрасно сшиты, так красиво вышиты сорочки, надеваемые в Его честь. Ты посмотри-ка на себя! Но только чтобы не увидела мать Керубина!

Так жила Антония среди монахинь. Но однажды, хлопоча, она задела и разбила лампаду и была со всей суровостью наказана за это Керубиной. Вне себя от

возмущения, пылко и высокопарно призывая гнев небес на голову Антонии, костлявая сестра в конце концов закрыла ее, как всегда, в часовне и с увлажненными в уголках от удовольствия губами вынесла свой приговор.

— Будешь целый день сидеть, — приказала она, закатив глаза, — сойдешь к вечерне. Молись, дитя мое, молись!

Часовенка была обыкновенною квадратной комнатой, побеленной, со сводчатыми потолками; стрельчатый витраж был обращен к саду. Изображены на нем три — друг над другом — музицирующих ангела: с трубою, с арфой, с мандолой. Все с гладенькими золотистыми прическами, босые, различалось только облачение: у первого — цвета сухих листьев, у второго — алое, у третьего же — темно-синее. Проходя сквозь цветные стекла, свет опускавшегося солнца падал на белый потолок и на покровы алтаря, рождая что-то вроде радуги. И тонкие лучи внутри устраивали тихий вдохновенный праздник, соединяясь с серебром даров, приносимых по обету, и с сиреневыми гиацинтами с таким наивным пылом, что нельзя было не наслаждаться до самозабвения, словно бы паря в счастливом этом облаке.

Не думая, что делает, Антония не опустилась на колени на резную деревянную скамеечку, а села на нее и, чтоб не чувствовать себя так одиноко, стала всматриваться в этот ангельский оркестр, всей душой надеясь: вдруг каким-то чудом зазвучит здесь настоящая соната, и тогда весь день ей будет радостно; быть может, эта ангельская музыка уже слышна танцующим блаженно искрам... Тут сдерживаемые до этого момента слезы побежали по щекам, и в упоении отчаяния она уже была готова разразиться долгими и безутешными рыданьями, когда раздался вдруг вечерний звон, который доносился снизу, будто из глубины искрящейся пучины. Надо же, подумала Антония, как незаметно пролетело столько времени, ведь вроде только что закрылась дверь за черной юбкой матери Керубины. Поспешно подавив в себе рыдания, она вытерла глаза и приготовилась спускаться к службе.

Большая церковь из серого камня, торжественно украшенная и задрапированная, еще была полна дневного света. Немногие смиренные фигуры, преклонив колени на скамеечках, крестились в тишине истовыми, исполненными покаяния жестами. Священник, стоя на амвоне к алтарю лицом в богатой окаймленной золотом епитрахили, безмолвно воздевал руки. Антония направилась к скамеечке, которая была красивей всех, — покрытой красною парчой и белоснежным кружевом и использовавшейся обычно для свадебного ритуала. Склонила голову, сложила руки; но, украдкою оглядывая стены церкви, увидала, что в боковую дверь вошла сестра Аффабиле. Высокая, полная достоинства, с бледным каменным лицом, она держала золотую скинию, прикрытую наполовину полотном, шагая как всегда сосредоточенно, почти что как сомнамбула. Она приблизилась к Антонии, стоявшей на коленях, и, чуть-чуть над ней склонившись, сделала рукой едва заметный знак, видом своим словно бы предупреждая о какой-то жгучей тайне. Антония тотчас же подчинилась и пошла за ней; сестра Аффабиле шла молча, движения ее узких изящных бедер были незаметны. Они вошли внутрь ризницы.

— Вот она, — произнесла сестра Аффабиле негромко, опустив ресницы, и тотчас же ее черный силуэт исчез.

Антония несмело, с неуверенной улыбкой поклонилась господину, который в ризнице сидел за столиком и словно ее ждал.

Я называю его господином, хоть на самом деле это был лишь простенько одетый паренек. Я говорю так, чтобы как-то передать то ощущение необычайного почтения и благодарности, которое наполнило Антонию, едва она его увидела.

— Какой же ты молоденький! — прошептала она изумленно, так как не осмелилась признаться: «Боже, до чего же ты красивый!» В самом деле, никогда еще она не видела лица настолько юного, вообще лица, похожего на это. Удлиненные глаза напоминали гиацинты, а эти губы, когда их смягчает смех, как будто расцветают. Глядя на Антонию серьезно и внимательно, он велел ей повернуться и остался, судя по всему, доволен, потому что засмеялся. А потом сказал:

— Давай сними эти очки.

Она, залившись краской, подчинилась.

— Пойдем отсюда, — предложил он ей и встал. Она пролепетала:

— Если мы из церкви выйдем, нас увидят сестры.

Казалось, он на миг задумался.

— А можно улететь, — сказал он наконец, — мы вылетим в окно, — и вдруг

расхохотался — громко, горько, вызывающе. Потом, вновь сделавшись серьезным, распахнул пред нею дверь. — Сюда можно выйти, — успокоил он ее. И в самом деле, дверь вела на улицу.

— А если нам встретятся сестры? — прошептала она.

— Ну так скажем им, — ответил он, пожав плечами, — будто я твой брат. Ведь все мы — братья во Христе. — И вновь, откинув голову, расхохотался в небо диким смехом. Пораженная Антония спросила:

— Ты над Господом смеешься? — и перекрестилась.

Но на самом деле, глядя на него, она теперь испытывала только жалость. Она видела: глаза его взволнованы и затуманены, а губы складывались иногда в гримасу разочарования и отвращения. К тому же он и шел с трудом, как будто нес большую тяжесть, и был бледен. «О сын мой!» — подумала Антония. И чтобы не молчать, решила подсказать:

— А мы пойдем не улицей Ангелов?

— Я сам дорогу знаю, — откликнулся он, помрачнев и глядя искоса каким-то странным боязливым взглядом. — Дай-ка мне руку, — добавил резко.

На улице, которой они шли, сгущались сумерки, с каждым их шагом все более в свои права вступала ночь. Они спускались узкою извилистою лестницей между домами, терявшимися в безмятежной вышине. В бессчетных окнах загорались лампы, жестикулировали тени, доносились еле слышные или пронзительные голоса, похожие на шорох сухих листьев. Позднее окна стали с приглушенным шумом закрываться, лампы — гаснуть, стены делались непроницаемыми, по мере воцаренья тьмы стихали все шумы, лишь как неспешная далекая река струилось сонное дыхание. Она и не подозревала раньше о существовании в городе столь темных переулков, но свои сомненья выразить не смела, только не сдержала вздоха.

— Что такое? — вдруг спросил он. И привлек ее к себе, желая успокоить. — Мой дом, — проговорил он огорченным, чуть ли не дрожащим голосом, — мой дом далековато, да?

— Нет-нет, — ответила она поспешно, сразу ощутив вину и угрызения совести. На этом длинном-длинном спуске он, казалось, уставал все сильнее, в темноте были слышны его все более тяжелые шаги, тяжелое дыхание. «Отдохни немного», — захотелось ей сказать, но скользкие кривые тропки кончились, он прошептал: «Пришли!» — и, остановившись у покрытой плесенью зеленой дверки, достал большой заржавленный железный ключ.

Узкий коридор привел их в комнату с покатым низким потолком, куда через окно струилось слабое сиянье. Он зажег у изголовья железной койки, застланной потертым покрывалом, лампу, и при тусклом свете разглядела она пол из плохо пригнанных друг к другу кирпичей, в углу у выцветшей стены во влажных пятнах — умывальник с отбитыми краями и плетеный стул. Он присел на койку отдохнуть. И в самом деле, он, казалось, был сражен усталостью, губы становились все бледней, дыханье обжигало.

— Почему ты плакала сегодня? — спросил он помолчав.

— Меня обидела мать Керубина, — ответила она.

— Какой позор, чтобы монахиня кого-то обижала! — сказал он возмущенно, качая головой. — Давай-ка, — предложил он, — я тебя разую. Башмаки твои все в пыли. — И он заботливо нагнулся.

Ко всему, что видел, проявлял он интерес и говорил, что думает о том и об этом.

— Ой, какие башмачищи! — приговаривал он. — Ой, какие длинные чулки! — Внезапно оживился и довольно рассмеялся. — Ой, какие маленькие ножки! — закричал. — И как они боятся! Какие белые! Как два крольчонка. Ну, не прячьтесь! Дай мне ими поиграть! Сейчас, — вдруг объявил серьезно и решительно, — займемся с тобой любовью. — И благоговейно сжал в руке ее ступни.

— Ты что, с меня и платье хочешь снять? — спросила не дыша Антония, залившись краской.

— Да, — ответил он, окидывая ее беззаботным взглядом и ликуя, и лицо его мало-помалу розовело. Казалось, паренек прекрасно знает все крючки и петли на ее одежде — так умело его руки находили их, стаскивали юбки. Но он неодобрительно подтрунивал над черным цветом, а добравшись до сорочки, просиял от восхищения. — Вот это в самом деле здорово, — сказал он, улыбаясь. — До чего

красиво! Даже с вышивкой! Как ее много, разной! А это что такое, целый ряд? Колокольчики?

— Нет, — объяснила она, — это лилии Святого Антония.

— Лилии... И правда! Кто же тебе сшил ее?

С гордостью она ответила, что это сделала сестра Мария Лючилла; но мальчишка вновь остался недоволен и нахмурился.

— Позор! — сказал он наконец. — Чтобы монашка шила девичьи сорочки! Монахиням, — изрек он, — надо ризы шить.

Антония пристыженно умолкла, но, похоже, он тотчас же позабыл про свой упрек и засмеялся, запрокинув голову, чудесным смехом любви.

— Какая ты красивая! — промолвил он.

Глянув вниз, она довольно прошептала:

— У меня уже есть грудь.

Он на нее смотрел и, будто боясь причинить ей вред, приподнимал ее косу и тотчас ее ронял или чуть дотрагивался пальцем до ступни. И повторял смущенно, прерывающимся тихим голосом:

— Ты такая нежная! Такая беленькая! А теперь, — спросил он покраснев, — мне тоже раздеваться?

— Да, если хочешь, — ответила она еле слышно. — Хочешь, я пока что отвернусь, вот так, буду смотреть в окно?

Она направилась к окну на цыпочках, вытягивая свое белое худое тело и более не чувствуя стыда — напротив, втайне радуясь тому, что на ней нет одежды. За стеклами видна была пустынная долина, полнившаяся таинственным далеким светом, и Антония в зеленой этой ночи отразилась, как в реке тростинка. Но, взглянув на гору, замыкавшую долину, наверху, на недоступной высоте, на пике, вдруг заметила она стоящий одиноко дом с башнями и контрфорсами, продленный в вышину пронзающими небо шпилями, который сквозь незыблемые стены и сквозь стекла пропускал рассветное сияние. Радуясь этим лучам, со всех сторон из него вырывались и вились крылатые создания, похожие на ласточек, которые кружатся вокруг гнезд. Других домов там не было, так что Антония от изумления чуть не упала на колени.

— Что это за дом? — спросила она тихо-тихо, глядя на него завороженно. — Может, церковь? Храм?

— Не церковь, — резко произнес он, задыхаясь, хриплым, словно бы из подземелья шедшим голосом.

— А эти миллионы крыльев, — продолжала она еще тише, испуганная и взволнованная, — это ласточки? Они как будто золотые...

— Нет, не ласточки, — ответил он поспешно, издав нечто вроде исступленного рыдания.

С трудом приблизившись к Антонии, он поднял кверху, к тому дому, изнуренное лицо, взгляд, выражавший несказанный ужас, полный пылкого желания и совершенно безнадежный. С яростным усилием, похоже, преисполнившим его тревоги, горечи и отвращения, он опустил глаза и беспокойно заметался, точно птица, бьющаяся в клетке.

— Не говори об *этом!* — наконец воскликнул он, остановившись перед нею и пронзая ее почти ненавидящим взглядом, — неужели ты не можешь помолчать?

Она, смущенная, испуганная, стала пятиться во тьму и прикрывать себя руками, внезапно устыдившись наготы тела.

— Я больше не раскрою рта, — покорно прошептала, — если хочешь, я буду сидеть вот тут, в углу, не говоря ни слова, только можно я останусь здесь?

Он закивал ей, продолжая раздеваться и стараясь не смотреть в окно; глаза Антонии от обожания и изумления распахивались между тем все шире.

— Какой ты молодой! — сказала она снова, обмирая от восторга. Его тело, изящно-удлиненное, со светлой свежей кожею, в ночном спокойном свете походило на цветок в озерных водах. На свете не бывало еще столь прекрасного цветка; но, опустив глаза, Антония, похолодев, увидела на щиколотках у него громоздкие, тяжелые железные оковы, видно, ранее соединенные — еще заметно было, где разорвано звено. — Да ты... — промолвила она со страхом.

Он в смятении побагровел.

— Ни слова! — воскликнул он с каким-то детским ужасом, прервав ее нетерпеливым жестом и отступив подавленно во тьму. И почему-то она вновь ощутила мучительные угрызенья совести.

— Прости меня, — сказала она жалобно. Тогда он подошел с застенчивою кроткою улыбкой и взял ее за руку.

— Хочешь, — предложил он неуверенно, — мы ляжем? Хочешь... спать?

— Хочу, — ответила она. Они легли в постель. И Антония, которая искала на груди его прибежища, заворожена была благоуханьем его кожи; пахла она детством, садом, прорастающей травой. У шеи этот запах делался еще теплее и наивнее. — Как хорошо, — сказала она, робко улыбнувшись, — так лежать у твоего плеча! Оно у тебя пахнет лучше, чем цветы. Я и не думала, что может быть подобный запах. Можно мне немного полежать так? — И ее лицо уткнулось ему в шею.

— Ну, давай же, спи! — сказал он. — Или притворись. А я буду тебя ласкать губами. Сделай вид, что спишь, что не дышишь. — Она, закрыв глаза, лежала неподвижно, затаив дыхание, и, дрожа всем телом, позволяла обжигающему его рту касаться своего лица. Порой он останавливался — может быть, ее разглядывал — и тихо, ласково смеялся. Она думала: «Мой миленький!» Но стоило поднять ей веки, он сердился, разочарованно тряс головой и нетерпеливо призывал поспать еще. Так лежа, она стала чувствовать, что эта ласка все слабеет, превращаясь в дуновенье, а потом и просто в утомленное дыхание. Наконец, осмелившись открыть глаза, она увидела: хозяин дома спит, и лицо его, юнее которого не бывает, выглядит униженным, будто его били. И от подбородка до бескровного чела выражение упорства и сверкание гордыни уступили признакам отчаянной усталости и безутешного страданья. Этот мальчик был похож на самом деле на светящееся насекомое, ослепленное и мечущееся от тени к тени.

Она принялась рассматривать его смущенно и внимательно, усердно изучая каждую из этого сплетения трагических морщинок. Потом, подумав, встала в тишине с постели, подошла к окну и, отворачиваясь, чтоб не видеть того, что было там, за ним, закрыла плотно ставни. На цыпочках прошлась по комнатушке, собирая и аккуратно вешая на стул разбросанные вещи; но когда уже ложилась, вдруг ее ожгло мучительное подозрение. Ей стало ясно, почему, должно быть, он хотел, чтобы она спала: вдруг ночью он тихонько встанет и ее покинет навсегда? И, пробудившись утром, она вновь останется одна.

Тогда Антония с едва заметной диковатою улыбкой, взяв конец веревочки, вплетенной в ее косу, привязала ее к неподвижному его запястью, чтобы и во сне почувствовать малейшее его движение. Теперь она могла заснуть спокойно, и действительно, ее уже в каком-то ласковом журчании влекло потоком сна, словно вниз по головокружительной вращающейся лестнице, в конце которой она видела сестру Марию Лючиллу с искаженным лицом. Та плакала навзрыд, в раскаянье роняя слезы уж никак не меньше виноградной косточки.

И шила ризы.

■

РОБЕРТ ГРЕЙВЗ

Стихи

К 100-летию со дня рождения

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Дары любви

Хотя к любви ведет самоотдача,
А не дары —
есть, есть дары любви.
Под стать и в украшение любимой,
Под стать ее любви. Мужское дело —
Дарить и получать взамен от милой
Морские камешки или цветочки.
...Вот при свечах она примерит серьги
И с придыханием: «Он любит так,
Что мысли мои тайные читает».
Потом (любовь не знает ни «потом»,
Ни просьб) она ему: «Совсем меня
Избаловал!» — что значит: «Весь ты мой!» —
И наградит гвоздичкой с васильком.

На плоту

Заснул на плоту, и его унесло
Теченьем в открытое море:
Что есть — то есть.

О, если бы остров! И нет кораблей
На этих пустынных широтах.
И нечего есть.

Туземцы в каноэ не подплывут
И не назовут его братом —
Да что значит «брат»?

Что лучше: от голода умирать
Иль жить среди непрестанных
Обид и утрат?

И проще бы было, когда бы забрал
Его людоед смуглолицый,
До плоти охоч.

Вот так на плоту он каждую ночь
Плыл, судьбу проклиная,
Куда-то прочь.

И тут всколыхнуло его потрясенье:
Вдруг то же теченье, сменив направленье,
Из моря его возвратит
На слишком знакомый берег —
Как каждую ночь?

Парики и Бороды

В недобрые старые дни Парики
Платили лишь карточные долги,
Со сворой носились по зрелым нивам,
Стреляли, удили, пороли крестьян,
Напившись к ночи, сползали под стол,
Кощунствовали, презирали искусства,
Выказывали свой бордельный французский,
Выдумывали допотопные моды
И предъявляли права на любую
Юбку, которая в том же доме.

Давно извели их налоги и войны...
Бороды скажут: «Так им и надо» —
И бросят бутылку в окошко кафе,
И, громко рыгая, спустятся вниз,
Выродки некогда славных родов, —
В детстве они не катались на пони,
В юности не подсекали форели,
Не охотники и не солдаты,
Зато во всех мелочах верны
Худшим обыкновениям предков,
Хотя не вернут даже карточный долг;
Их предки хвалились: «Мы джентльмены»,
Они в том же смысле: «А мы артисты».

Получужие

Дела майора и его безделье
В ней вызывают только раздраженье,
Но, слава Богу, не при посторонних
И не при сыне, ибо, очевидно,
Она достойная жена и мать,
Хотя способна приласкать лишь кошку
Или птенца, отбитого у кошки...
Мы делим с ними дом и через стену,
Не слишком толстую, порою слышим
Его внезапный гневный взрыв протеста,
Хотя он позже будет извиняться,
Она же не простит и промолчит.

Он занят пасекой и огородом
И вроде бы вполне доволен жизнью.
Спят они порознь,
Раньше спали вместе,
Когда приехали лет пять назад, —
Мы это поняли по простыням,
Висящим на веревке в их дворе, —
Двойные ныне только вслед гостям
(Они гостеприимны). Может статься,
Что выставка супружеского счастья —
Всего лишь искреннее извиненье
За то, чего у них, несчастных, нет!

Когда она болеет (очень редко),
Он нянчится с ней, рук не покладая;
Она же кисло морщится: он в силе
В часы ее бессилья; и с досадой
Сползает вниз, к кастрюлям и плите.
Болеет он — она оскорблена.

Лишь после этой автокатастрофы,
Когда он чудом не погиб, в ее
Глазах недели две светилось горе...

Он регулярно получает письма —
Один и тот же почерк на конверте
С австрийской маркой. Женщина? Должно быть.
И это лучшие его мгновенья.
Он и она не ездят за границу —
А в общем, они добрые соседи,
Всегда готовы одолжить и редко
Берут взаймы. Наш сын — дружок их сына.
Но мы не говорили по душам
Ни разу, и лишь раз я был в их доме —
Когда вносил его, всего в крови,
И знал один, кто был виной несчастья.

Отдавать

Те, кто не отдают ничего,
Получают меньше, чем ничего,
Милая, ты отдала мне всё
И сохранила больше, чем всё,
Пусть те, кто не отдают ничего,
Решили, что нет у тебя ничего.

Я отдаю тебе всё-всё,
Не было у меня ничего,
А остается больше, чем всё,
В подарок тем, у кого ничего,
А нужно им наше хотя бы не всё,
Хотя бы с краешка что-нибудь.

■

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: РУССКИЕ УШЛИ

В конце 80-х годов в странах Восточной Европы рухнул режим, не устоявший перед «силой бессильных» (В.Гавел), закончился «отвратительный исторический эксперимент» (А. Загаевский) и государства бывшего социалистического лагеря вырвались из-под советской опеки. Как признаются сами восточноевропейцы, многим из них долгое время казалось, что честолюбивым планам и устремлениям по переустройству их отечеств мешает только «система», русские, коммунисты.

Блок материалов, которые редакция предлагает вниманию читателей, — это попытка разобраться в том, что происходит сегодня в восточной половине нашего континента, и попытка достичь взаимопонимания с теми, кто еще вчера были «нашими братьями». Сегодня же... «Как мы все объюгославились!» — с горечью восклицает Петер Эстерхази.

В нашем «Литературном гиде» представлен взгляд на проблемы Восточной Европы со стороны, с далеких берегов Альбиона — роман известного английского писателя Джулиана Барнса «Дикобраз», и взгляд изнутри — новеллистические наброски, заметки, эссе, статьи и миниатюры видных интеллектуалов и художников слова бывших социалистических стран: Вацлава Гавела, Дёрдя Конрада, Петера Эстерхази, Адама Загаевского, Станислава Стратиева и других.

На обложке номера читатель видит коллаж венгерского художника Ласло Хегедюша, созданный в 1990 году, уже после ухода русских. И в самой идее коллажа, и в названии работы — «Малевичхегедюш», в двух фамилиях, слитых в одно слово, — видится не только знак взаимодействия культур, но и знак преодоления неприятия у «наших братьев» всего, что исходило от Востока, свидетельство нового этапа в сложном процессе взаимоотталкиванния и взаимопритягивания наших народов в этот посткоммунистический период, когда русские ушли и когда каждый из народов осуществляет нелегкий путь к себе.

ДЖУЛИАН БАРНС

Дикобраз

РОМАН

Перевод с английского Е.ХРАМОВА

Димитрине

Старик стоял у окна настолько близко, насколько это позволяла охрана. Город был удивительно темен; зато здесь, на шестом этаже, слабый свет настольной лампы тускло поблескивал на массивной металлической оправе его очков. Он выглядел совсем не так импозантно, как представлял его себе милиционер: пиджак морщился на спине, остатки белесых волос хохолками торчали на темени. Но держался уверенно, даже нечто угрожающее было в том, как он поставил ногу на запретительную черту на полу. Вскинув голову, старик прислушивался к негодующим голосам женщин, приближавшихся по узким улочкам центра. Центра столицы, хозяином которой он так долго был. Старик усмехался.

В этот сырой декабрьский вечер женщины двигались к собору Михаила Архангела, откуда всегда начинались все шествия еще со времен монархии, с тех давних времен. Многие сперва заходили в собор зажечь свечу: тощие желтые свечечки, то ли потому, что сделаны были скверно, то ли от жаркого пламени уже горевших свечей, сразу же перегибались посредине, и горячие капли воска мягко шлепались на поддон. Затем, каждая со своими орудиями протеста, женщины выходили на Соборную площадь; еще совсем недавно эта площадь была для них запретной зоной — ее окружали солдаты под командой офицера в черном кожаном плаще, скрывающем знаки различия. Здесь, на площади, было особенно темно: из шести фонарей горел лишь один, тускло освещая собственное подножие. Многие женщины доставали теперь толстые белые принесенные с собою свечи: их зажигали, экономя спички, одну от другой.

Хотя кое-кто из демонстранток был в шубейках из искусственного меха, большинство оделось по инструкции. Они явились словно прямиком из своих кухонь: фартуки, повязанные поверх ситцевых платьев, толстые свитера, которые они носили в своих нетопленых квартирах, защищали их теперь от промозглой уличной сырости. Из глубоких фартучных карманов или из карманов шуб торчала кухонная утварь: алюминиевый половник, деревянная ложка, иногда наточенный столовый нож, а то и увесистая резная вилка — нешуточный символ угрозы.

Демонстрация началась в шесть — в тот самый час, когда обычно женщины готовят ужин, правда, в последнее время этим словом стали обозначать фантастические кулинарные измышления: нечто среднее между супом и рагу, состоявшее из двух-трех репок, куриной шейки (если удастся ее раздобыть), нескольких листочков салата, воды и черствого хлеба. Но сегодня вечером они не стали осквернять этим гнусным варевом торчащие из их карманов половники и ложки. Этой утварью сегодня вечером они будут угрожающе и гордо размахивать над головой. И началось.

© Julian Barnes, 1992

Едва зачинщицы, шесть обитательниц комплекса «Металлург» (дом 328, подъезд 4), перешли с булыжника Соборной площади на поблескивающий трамвайными рельсами гудрон бульвара, по кастрюле ударил первый алюминиевый половник. К нему осторожно, робко присоединились остальные, шум звучал медленно, с паузами — неторопливая мрачная погребальная музыка кухонь. Но когда этот призыв услышало большинство, от торжественности и порядка не осталось и следа: задние ряды шумели что есть мочи, даже в пределах собора, где молящиеся могли теперь свободно обращаться к Богу, грозно и назойливо тарахтела кухонная утварь.

В шествии слышны были разные голоса: глухой стук алюминия об алюминий, более звонкий воинственный вопль от удара дерева по алюминию, легкое, словно колокол, зовущий к обедне, позвякиванье дерева о железо и тяжелый лязг бьющего по железу алюминия. Шум нарастал, сгущался над головами, непривычный на улицах города, нестройный и оттого кажущийся особенно мощным; он был настойчив, неотвязен, этот шум, он звучал пронзительно, как рыдания. Стоящие на углу парни потрясали в воздухе кулаками и выкрикивали ругательства; но могучий лязг кухонной утвари накрыл их, как волной, и казалось, что они беззвучно, словно рыбы, шевелят губами, а их ругань могли расслышать лишь желтые фонарные огни.

Зачинщицы думали, что за ними пойдут от силы сотни две женщин из комплекса «Металлург», не больше. Но грозный гул, катившийся по мерцающим рельсам трамвая номер восемь, исходил от нескольких тысяч: из комплекса «Юность» и из «Надежды», из комплекса «Дружба», из «Красной Звезды», из «Гагарина», из «Грядущей победы», даже из «Ленина». Те, у кого были свечи, поддерживали их лишь согнутым большим пальцем, остальные пальцы сжимали ручки сковородок и кастрюль, и когда на сковороду обрушивались ложка или половник, пламя свечи вздрагивало и капли расплавленного воска шлепались на рукава. У них не было флагов, они не выкрикивали лозунгов — это мужское дело. А здесь только одно — канонада стука, звона металлической посуды и подсолнечное поле освещенных желтыми дрожащими огоньками лиц.

С улицы Станова женщины вышли на Народную площадь; ее влажный булыжник дразнил их, словно громадный поднос с глазированными булочками. Дальше они подошли к приземистому, бомбонепробиваемому Мавзолею, где хранился забальзамированный труп Первого Вождя, но шествие здесь не остановилось и не стало более шумным. Женщины пересекли площадь у Археологического музея, отважно протопали мимо бывшего здания Госбезопасности, того самого, где сейчас напряженно улыбающийся старик передвигал ноги, прикасаясь к белой черте на полу; потом они обогнули элегантный неоклассический дворец, в котором еще совсем недавно размещался Центральный Комитет Компартии. Несколько окон нижнего этажа были забиты деревянными щитами, а на углу дома чернел след неудавшегося поджога, тянувшийся от второго этажа до седьмого. Но и здесь никто не остановился, лишь несколько женщин не удержались и плюнули на стены — это вошло в обычай примерно год назад, сперва плевали украдкой, но вскоре это превратилось в некий национальный ритуал, и пожарники ежедневно смывали следы плевков с каменных плит; правда, в последнее время эта мода пошла на убыль, но даже и сейчас нашлось достаточно горожанок, которые пожелали именно так выразить свое отношение к Социалистической (бывшей Коммунистической) партии и усеяли плевками ни в чем не повинные ноздреватые камни.

Ровный гул, в котором слились плач национальной скорби и жалобы голодного желудка, прокатился мимо «Шератон-отеля», где останавливаются богатые иностранцы. Наиболее любопытные из них стояли возле окон, держа в руках свечи, которыми им посоветовали запастись, свечи эти были гораздо более высокого качества, чем те, что горели внизу. Когда они поняли, против чего протестуют эти женщины, некоторые отступили в глубину своих номеров, невольно вспомнив о недоеденных за завтраком кубиках брынзы, маслинах, яблоках, об использованном один лишь раз чайном пакетике. И воспоминание об их бездумной расточительности ожгло их чувством вины, как вспыхнувшая и тут же погасшая спичка.

Теперь женщинам осталось пройти совсем немного до здания Парламента, где, как они думали, их должна была остановить охрана. Но устрашенные грохотом и гулом солдаты отступили за широкие железные ворота, оставив снаружи лишь двоих караульных, по одному в каждой будке. Охрана — вся сплошь

новобранцы из восточных провинций, коротко остриженные, ничего не смыслящие в политике, — держала наперевес автоматы, смотрела поверх женских голов, словно пытаясь разглядеть некий далекий идеал.

Но и женщины не обращали на солдат внимания. Они пришли не для того, чтобы выкрикивать оскорбления, задирать солдат, и ничуть не собирались оказаться мученицами. Передние ряды остановились шагах в десяти от караульных будок, и задние не напирали на передних, не подталкивали их навстречу опасности. Эта строгая дисциплина никак не вязалась с ужасающей какофонией, стуком, звоном, которые достигли апогея, когда последние демонстранты заполнили площадь. Шум просочился сквозь металлическую ограду парламента, взобрался по широким ступеням крыльца и колотился о двойные позолоченные двери. Шуму не было никакого дела до регламента, до правил процедуры, он ворвался в зал палаты депутатов во время обсуждения закона о земельной реформе и заставил представителя Партии сельскохозяйственных работников прервать свою речь и вернуться на место.

Зал был ярко освещен — работала аварийная подстанция, — и депутатов впервые смущало то, что их так хорошо было видно; они притихли, переглядываясь и поеживаясь каждый раз, когда громовой голос протеста, невзирая на полное отсутствие слов, весьма доказательный, докатывался до их кресел. А на площади продолжали колотить половниками и ложками о сковороды и кастрюли, деревом об алюминий, деревом о железо, алюминием о железо и алюминием об алюминий. Свечи догорали, и горячий воск обжигал сжимавшие их пальцы, но гул, грохот и мерцание огней — все оставалось как прежде. Зачем слова, когда они и так уже долгие месяцы ничего не получают, кроме слов, сладких, несъедобных слов, которые не утоляют голод. Так пусть лучше говорит металл. Правда, не тот смертоносный металл, который произносит свое слово в таких случаях и оставляет трупы на земле. Женщины говорили без слов: без слов спорили, вопили, требовали и убеждали; без слов они обвиняли и плакали без слов. Все это длилось час, затем ровно в восемь, будто по какому-то тайному сигналу, они начали покидать площадь перед Парламентом. Но их голос не замолк — тяжеловесная масса звука затряслась, словно встающий на ноги бык. А потом смутьянки покинули центр, пересекли Бульвары и рассеялись по своим жилым комплексам — снова в «Металлург», «Гагарин», в «Красную Звезду» и в «Грядущую победу». И долго еще, пока они шли, громыхало на проспектах и звякало в переулках, постепенно затихая, да лишь иногда на каком-то углу вновь раздавался тревожный, испуганный звон, словно убогий оркестрик ударял в тарелки.

Старик на шестом этаже бывшего здания Госбезопасности сидел теперь за сосновым столом, жевал свиную отбивную и читал утреннюю «Правду». Он слышал шум, доносившийся от здания Центрального Комитета Социалистической (бывшей Коммунистической) партии. Когда звуки нарастали, он переставал есть, внимательно вслушиваясь и выжидая, когда они стихнут. Лицо его освещала настольная лампа. Дежурному милиционеру казалось, будто Стойо Петканов улыбается, рассматривая карикатуру в газете.

* * *

Петр Солинский и его жена Мария занимали скромную квартирку в комплексе «Дружба» (дом 307, подъезд 2), расположенном к северу от Бульваров. Когда Солинского назначили Генеральным прокурором, ему предложили жилье попросторнее, но он отказался. Во всяком случае, на ближайшее время. Не очень-то этично, думал он, так явно пользоваться милостями нового правительства, когда обвиняешь прежнее в незаслуженных привилегиях. Эти соображения Мария сочла чушью. Генеральному прокурору не пристало жить в занюханной трехкомнатной профессорской конурке, а жене его — ездить автобусом. Не говоря уж о том, что тайная полиция наверняка натыкала здесь жучков. Хватит с нее и того, что их разговоры и, кто знает, возможно, и их редкие любовные игры подслушивает где-то в вонючем подвале какой-нибудь толстомордый кретин из госбезопасности.

Солинский распорядился проверить квартиру. Два молодчика в кожаных куртках развинтили телефон и понимающе кивнули головами. Однако их открытие не успокоило Марию. Прежде всего, заметила она, они сами, наверное,

этот жучок и поставили. Да и жучков тут, вероятно, полным-полно, а этот, в телефоне, на то и рассчитан, что ты сам его найдешь и решишь, что уж теперь ты в полной безопасности. Всегда отыщется человек, которому интересно знать, о чем говорит Генеральный прокурор, вернувшись домой после службы. Но в таком случае, возразил Петр, если мы въедем в новую квартиру, она, пожалуй, окажется оборудованной еще лучше. Так что, стоит ли переезжать?

Впрочем, была еще одна причина, по которой Петр Солинский предпочитал оставаться там, где прожил уже девять лет. Четные квартиры их дома выходили окнами на север, на гряду невысоких холмов; эти холмы, по мнению военных теоретиков, две тысячи лет назад отлично защищали город от набегов даков. На ближайшем от их дома холме, который Петр едва мог разглядеть за густой, медленно переливающейся пеленою марева, возвышался монумент Вечной Благодарности Красной Армии — Освободительнице. Огромный бронзовый солдат стоял, уверенно выставив вперед левую ногу, высоко держа голову, и поднимал над ней все еще грозную винтовку со сверкающим штыком. Постамент был опоясан бронзовым барельефом пулеметчиков, яростно и беззаветно защищающих свою позицию.

Ребенком, когда его отец еще был в фаворе, Солинский часто приходил сюда. Упитанный, серьезный мальчик в накрахмаленной пионерской форме, он всегда испытывал трепет в День Освобождения, так же как и в День Октябрьской Революции, и в День Советской Армии. Духовой оркестр, медь которого сияла ярче, чем вонзавшийся в небеса бронзовый штык, оглашал окрестности печальной музыкой. Советский посол и командующий Братскими Советскими Силами возлагали к ногам бронзового героя огромные, как тракторные шины, венки. За ними следовали Президент и глава Народной Обороны. Потом все четверо, плечом к плечу, отступали, неуклюже пятясь, словно боялись неожиданно услышать сзади тяжелые шаги. Петру нравилось бывать здесь, он чувствовал себя взрослым, и с каждым годом все безоглядней верил в солидарность социалистических народов, в их прогресс, в их неизбежную, научно обоснованную победу.

Еще несколько лет назад сюда, к Алеше, как прозвали это изваяние, новобрачные совершали в день свадьбы паломничество. Со слезами на глазах и с розами в руках они стояли у подножия, охваченные торжественностью минуты своего приобщения к истории. В последние годы эта традиция постепенно исчезла; и единственными паломниками, если не считать праздничных дней, остались русские туристы. Роняя несколько цветочков к постаменту, они, может быть, умилялись своим подвигом, представляя себе горячую признательность освобожденных народов.

Закаты и восходы высвечивали над городом далекую статую Алеши. Петр Солинский любил в это время сидеть за своим столом у окна и ждать, когда солнечные лучи заиграют на солдатском штыке. Он поднимал глаза и думал: вот что почти полвека вонзалось в сердце моей страны. И теперь он должен был помочь вырвать этот штык оттуда.

* * *

Обвиняемого по Уголовному делу № 1 известили, что предварительная беседа с Генеральным прокурором Петром Солинским состоится в десять часов. Поэтому в шесть часов Стойо Петканов был уже на ногах, разрабатывал тактику, обдумывал требования и вопросы. Инициативу нельзя ни в коем случае упускать.

Вот, например, первое утро его заключения. Его арестовали совершенно незаконно, ни словом не объяснив, в чем его обвиняют, и притащили сюда, в здание Госбезопасности, которую они теперь переименовали на новый, буржуазный лад. Старший милицейский чин показал ему стол и кровать и обратил его внимание на полукруг, начерченный на полу мелом. Затем вручил ему что-то похожее на конфетти. Так он, во всяком случае, решил и соответственно с этим добром обошелся.

— Что это? — спросил он, бросив на стол пачки разноцветных листочков.

— Ваши продуктовые талоны.

— Ах, так вы, значит, настолько добры, что позволяете мне выйти отсюда и постоять в очереди?

— Генеральный прокурор Солинский решил, что, поскольку вы теперь рядовой гражданин, вы должны переносить все временные трудности, выпавшие на долю остальных рядовых граждан.

— Ясно... Ну, а что именно я должен делать? — Петканов изобразил благодушную стариковскую кротость. — Что мне разрешено?

— Вот ваши талоны на брынзу, вот на сыр, вот на муку, — милиционер услужливо перебирал разноцветные бумажки. — Масло, хлеб, яйца, мясо, растительное масло, стиральный порошок, бензин...

— Ну, бензин мне, полагаю, не понадобится, — Петканов усмехнулся с видом заговорщика. — Может быть, вы...

Офицер съежился от испуга.

— Понятно, этого нельзя... Да еще к тому же мне пришьют попытку подкупить члена Народной Обороны, ведь так?

Милиционер молчал.

— Как бы то ни было, — продолжал Петканов, делая вид, будто и в самом деле заинтересован предложенной ему новой игрой, — расскажите мне, как со всем этим обращаться.

— Каждый талон — недельная норма продукта, который на нем обозначен. Как вам их расходовать, будете решать вы сами.

— А как же насчет сосисок? Я их что-то здесь не вижу, а ведь всем известно, что я обожаю сосиски, — он, казалось, недоумевал, а не жаловался.

— На сосиски талонов нет. Дело в том, что сосисок нет в магазинах, потому бессмысленно выпускать на них талоны.

— Логично, — согласился бывший президент. Потом оставил из каждой пачки по одному талону и остальные протянул офицеру.

— По вполне понятным причинам бензин мне не нужен. Принесите остальное.

Через час милиционер вернулся с хлебом и маленьким кочанчиком капусты. Кроме того, он принес двести граммов сливочного масла, пол-литровую бутылку подсолнечного масла (месячная норма), две фрикадельки, сто граммов брынзы, сто граммов сыра, триста граммов стирального порошка и полкило муки. Петканов попросил все это выложить на стол и принести ему нож, вилку и стакан воды. Затем под бдительным наблюдением двух сотрудников милиции он принялся за фрикадельки, брынзу, сыр, отведал сырой капусты, съел хлеб со сливочным маслом. А потом отодвинул тарелку, мельком взглянул на стиральный порошок, подсолнечное масло и муку, встал, подошел к своей узкой железной койке и улегся.

В середине дня старший милицейский чин снова появился в комнате. Смущенно, будто бы в чем-то оправдываясь, он обратился к арестанту:

— Вы, кажется, меня не поняли. Я ведь объяснил...

Петканов рывком сбросил свои короткие крепкие ноги на скрипучие доски пола и подошел к офицеру. Стал к нему почти вплотную и ткнул пальцем в серо-зеленый мундир, прямо под левую ключицу. Потом ткнул еще раз. Офицер попятился, не столько опасаясь пальца, сколько смущенный непривычной близостью того, на кого привык смотреть снизу вверх в течение всей жизни; а теперь они стоят лицом к лицу, и тот смотрит на него с угрозой.

— Полковник, — сказал бывший президент. — Я не намерен пользоваться стиральным порошком. Мне не нужны также растительное масло и мука. Как вы могли заметить, я не бабка из новостроек за Бульварами. Люди, которым вы теперь служите, могут просрать всю экономику и оставить вас всех с этими... фантиками. Но когда вы служили *мне*, — тут он особенно энергично ткнул пальцем, — когда вы были преданы *мне* и Народной Социалистической Республике, в магазинах, как вы помните, водились продукты. Вы, очевидно, помните, что иногда людям приходилось стоять в очередях, но не за этим дерьмом. А теперь вы можете уйти и в дальнейшем, будьте любезны, обеспечьте мне социалистический рацион. Можете передать также Генеральному прокурору Солинскому, чтобы, во-первых, он катился к едреной матери, а, во-вторых, если он и впредь собирается меня пичкать стиральным порошком всю неделю, то за последствия он будет отвечать персонально.

Офицер ретировался. И с едой все пришло в норму. Петканову по первому же требованию приносили йогурт, и два раза даже разыскали для него сосиски. Бывший президент любил пошутить с охраной по поводу стирального порошка, и всякий раз, когда ему приносили еду, он мысленно говорил себе, что еще не все потеряно, что они его, на свою голову, недооценили.

А еще он заставил их возвратить ему дикую герань. Во время ареста солдаты не разрешили ему взять с собой цветок. Но кто же не знал, что Стойо Петканов, верный духу своего народа, спит с горшком дикой герани под кроватью? Это знал каждый. И они капитулировали на третьи сутки. Он подрезал побеги маникюрными ножницами, чтобы растение могло уместиться под низкой арестантской койкой, и спал с этого дня гораздо лучше.

И вот теперь он ждал Солинского. Стоя в двух метрах от окна, он попирал левой ногой прочерченную на полу белую линию. Какой-то неумеха попытался провести по сосновым доскам идеальный полукруг, но то ли от волнения, то ли с похмелья руки у него дрожали, и линия получилась неровной. Неужели они и впрямь боятся, что он может покуситься на свою жизнь? На их месте он бы только приветствовал такой исход и позволил бы арестованному разгуливать по комнате, где ему вздумается. В эти несколько дней всякий раз, когда его выводят в коридор, ему представляется одна и та же сцена: его останавливают перед заляпанной металлической дверью, снимают наручники, а потом — толчок в спину и резкий крик «Беги!». Он инстинктивно бросается вперед — и тут его настигает выстрел. Почему они не прибегают к такому выходу, он понять не мог, и их нерешительность служила еще одним резоном презирать их.

Он слышал, как часовой щелкнул подкованными каблуками при появлении Солинского, но не повернул головы. Будто он не знал, кого увидит: пухлощекого, откормленного мальчишку в итальянском костюмчике с блестками, с лицом, выражающим готовность к услугам; контрреволюционера и сына контрреволюционера, говнюка и сына говнюка. Президент продолжал смотреть в окно и, даже заговорив, не удостоил собеседника взглядом.

— Значит, теперь у вас и женщины взбунтовались?

— Это их право.

— А кто следующий? Дети? Цыгане? Умственно отсталые?

— Это их право, — тем же ровным голосом повторил Солинский.

— Может быть, это их право, но что это все означает? Правительство, не способное удержать баб на кухне, обосралось, вот что это значит, Солинский!

— Поживем — увидим, куда спешить?

Петканов кивнул, как бы подтверждая свои слова, и повернулся наконец к прокурору.

— Ну, ладно... А как ты, Петр? — он вдруг бросился ему навстречу, протянул руку. — Давненько мы не встречались... Поздравляю с... нынешней удачей.

Нет, надо признать, это уже не мальчишка и вовсе не откормленный и пухлый: желтовато-бледный, подтянутый, худощавый, волосы начинают редеть; держится пока что совершенно невозмутимо. Ладно, поглядим, что дальше будет.

— Мы не встречались, — сказал Солинский, — с тех самых пор, как у меня изъяли партбилет и назвали в «Правде» фашистским прихвостнем.

Петканов хохотнул:

— Кажется, это тебе не слишком повредило. Или ты хотел бы и сегодня оставаться в партии? Она ведь не запрещена.

Генеральный прокурор сел за стол, положил руки на бумажную папку-скоросшиватель.

— Насколько я понял, вы отказываетесь от предоставляемой вам по закону защиты.

— Совершенно верно, — Петканов решил, что ему выгоднее вести разговор стоя.

— Но было бы благоразумнее...

— Благоразумнее? Эх, Петр, я тридцать три года провел, стряпая эти вонючие законы, уж я им цену знаю.

— Тем не менее государственный адвокат Миланова и государственный адвокат Златарова уполномочены судом представлять ваши интересы.

— И тут бабы! Скажи им, пусть не беспокоятся.

— Им предписано присутствовать в суде и осуществлять вашу защиту.

— Ну, это мы еще посмотрим... А как здоровье твоего отца? Я слышал, что не очень хорошо.

— У него рак.

— Прости, пожалуйста... Обними его за меня, когда увидишь.

— Это вряд ли.

Бывший президент взглянул на руки Солинского: тонкие, костлявые, поросшие черными волосками пальцы нервно барабанят по бледно-желтой папке. Петканов понял: тон взят верный.

— Эх, Петр, Петр, — задушевно продолжал он, — ведь мы с твоим отцом старые товарищи... Кстати, как его пчелы?

— Пчелы?

— Он ведь пчел разводил, разве нет?

— Если вас это интересует, пчелы тоже болеют. Рождается бескрылое потомство.

Петканов досадливо крякнул, словно уличил пчел в идеологическом уклоне.

— Мы с твоим отцом... мы ведь с ним вместе фашистов били.

— А потом вы исключили его из партии.

— Социализм нельзя построить без жертв. И твой отец это когда-то понимал. Пока не принялся носиться со своей совестью как курица с яйцом.

— Вы бы лучше оборвали эту фразу раньше.

— Какую фразу?

— *Социализм нельзя построить*. Вот здесь и надо было остановиться. Так вернее.

— Так... Значит, вы собираетесь меня повесить? Или предпочитаете расстрельную команду? Надо бы мне справиться у моих многоуважаемых адвокатесс, что же там решили. Или вы надеетесь, что я сам сигану в окно? Потому мне до поры до времени не разрешают к нему подходить?

Не дождавшись ответа, бывший президент тяжело опустился на стул напротив Солинского.

— И по каким же законам, Петр, будешь ты меня судить? По вашим или по моим?

— О, по вашим, по вашим. По вашей конституции.

— И в чем же ты меня обвинишь? — вопрос был задан быстро, доверительно.

— Я докажу вашу вину по многим пунктам. Хищения. Растрата государственных средств. Коррупция. Спекуляция ценными бумагами. Валютные преступления. Пользование незаконной прибылью. Соучастие в убийстве Симеона Попова.

— Вот уж о чем и слыхом не слыхал. Я считал, что он умер от сердечного приступа.

— Соучастие в пытках. Подстрекательство к геноциду. Бесчисленные заговоры с целью исказить истинное правосудие. Предъявляемые вам обвинения будут опубликованы на днях.

Петканов хмыкнул, словно оценил предложенную ему сделку.

— Без изнасилований обошлось, и то слава Богу, — сказал он. — Я-то подумал, это была демонстрация женщин, которых, по утверждению прокурора Солинского, я изнасиловал. А им, оказывается, не понравилось, что в магазинах стало меньше еды, чем при социализме.

— Я здесь не затем, — четко произнес Солинский, — чтобы дискутировать с вами о трудностях, возникающих при переходе от контролируемой экономики к рыночной.

— Поздравляю, Петр. Искренне поздравляю!

— С чем это?

— Да с такой вот речью. Я прямо будто твоего папашу услыхал. Ты уверен, что не хочешь вернуться в нашу переименованную партию?

— Мы поговорим об этом в следующий раз, уже в зале суда.

Петканов не переставал улыбаться, пока Генеральный прокурор не сложил бумаги и не вышел. Как только дверь за ним закрылась, бывший президент подошел к молоденькому милиционеру, стоявшему у дверей во все время разговора.

— Ну что, сынок, позабавился?

— Я ничего не слышал, — невозмутимо соврал милиционер.

— «Трудности, возникающие при переходе от контролируемой экономики к рыночной», — передразнил Солинского Президент. — Жратвы нет в этих сраных магазинах, вот в чем штука!

* * *

Так что же, расстреляют они его?

Нет, пожалуй, на это они не решатся, кишка тонка. Дело даже не в этом: не захотят они превратить его в мученика. Они придумают нечто получше — попробуют дискредитировать его. Ну, уж этого им он не позволит. Они хотят по-своему поставить спектакль: будут врать, передергивать, фальсифицировать

факты. Что ж, и у него для них в запасе тоже могут найтись кое-какие штучки. По их нотам он играть не собирается. У него свой собственный сценарий.

Николае. Вот его они расстреляли. Да еще на Рождество. Бросились за ним из его дворца, словно псы по горячему следу, гнались за его вертолетом, выследили его машину, выволокли оттуда на позорище, названное, курам на смех, судом народа, обвинили в убийстве шестидесяти тысяч и расстреляли; обоих расстреляли, и Николае, и Елену; пригвоздили вампира, как кто-то там сказал; пригвоздили, пока солнце не село, чтобы снова не сумел спастись... Вот что это такое — страх. Никакая не народная ярость или что они там еще наплетут западным газетенкам, а просто-напросто в штаны наложили со страху.

Пригвоздили; быстро сделали, вот она, Румыния, — воткни кол ему прямо в сердце, пригвозди его! Да...

И первое, что сразу же устроили в Бухаресте, — показ мод. Он это видел по телевидению: девок, заголяющих титьки и ляжки. И какая-то дизайнерша, насмехаясь над тем, как одевалась Елена, всему миру сообщила, что у жены кондукатора был «скверный вкус», а стиль ее обозвала «классически деревенским». Вот где мы теперь очутились: среди наглых буржуазных блядей, насмехающихся над тем, как одевается пролетариат. А что нужно человеку от одежды? Чтобы было тепло да срам прикрыт. Всегда легко было определить, когда в товарище начинали проявляться уклонистские тенденции. Только съездит голубчик в Италию, купит там костюм с блестками, как он у них называется — «с люрексом», что ли? — и возвращается — форменный жиголо или педераст. Точь-в-точь как товарищ Генеральный прокурор Солинский после дружеского визита в Турин. Да, занятное было дельце. Петканов порадовался, что у него на такие вещи цепкая память.

Горбачев. Стоило лишь посмотреть на тех, кто его окружал, и становилось ясно — быть беде. Эта его вездесущая пролазливая баба с ее парижскими нарядами и американскими кредитными карточками вздумала, видишь ли, соревноваться с Нэнси Рейган за звание самой элегантной капиталистки. Он жену-то свою не мог в узде держать, Горбачев, где уж ему было остановить контрреволюцию в самом начале! Да он этого и не хотел. Вы бы взглянули на всех этих жиголо, с которыми он путешествовал, на этих советников, специальных представителей, на пресс-секретарей; эти только и ждали очередной заграНки, где портные-итальяшки будут ползать у их ног. А тот самый пресс-секретарь, — как бишь его звали? — который так полюбился капиталистам, он тоже носил костюмы с блестками. Тот самый пресс-секретарь, который сказал, что доктрина Брежнева умерла и ее надо заменить доктриной Фрэнка Синатры.

Да, это был еще один момент, когда он понял: дело швах. Доктрина Синатры! «Я шел своим путем». Да ведь есть только один верный путь, одна истинно научная дорога — марксизм-ленинизм. А заявлять, что народам стран Варшавского договора предоставляется возможность каждому идти своим собственным путем, — слова и ничего больше. Теперь нам наплевать на коммунизм, отдадим все в лапы американским бандюгам, мать их так. Ничего себе сказано: доктрина Синатры. Это надо же так пресмыкаться перед дядей Сэмом! Да кто он такой, Синатра? Итальяшка в блестящем костюмчике, трется возле мафии, и все дела. А Нэнси Рейган перед ним стоит на коленях. Кстати, теперь все понятно. Вся эта хреновина началась с Фрэнка Синатры. Синатра трахал Нэнси Рейган прямо в Белом доме, ведь об этом все говорили, разве не так? Рейган не сумел присмотреть за женой, а Нэнси только и делала, что состязалась с Раисой по части нарядов. Горбачев, этот тоже не мог присмотреть за женой. А горбачевский пресс-секретарь сказал, что надо следовать доктрине Синатры. Доктрине Элвиса Пресли, доктрине макдональдовских гамбургеров, доктрине Микки-Мауса и Утенка Дональда.

Как-то Отдел внешней разведки показал ему документик, полученный благодаря братской помощи коллег из КГБ. Это был отчет ФБР о мерах обеспечения безопасности президента США, об уровне охраны и тому подобное; Петканову запомнилась там одна любопытная деталь: оказывается, место, где американский президент чувствует себя в наибольшей безопасности и где охрана меньше всего боится за него, — это Диснейленд. Ни один американский убийца даже помыслить не может, чтобы пальнуть там в президента. Это было бы кощунством, оскорблением великих богов Микки-Мауса и Утенка Дональда. Так было сказано в отчете ФБР, который КГБ передал их Отделу внешней разведки на всякий случай. Петканов здесь увидел подтверждение инфантильности амери-

канцев, тех самых, которые скоро наводнят его страну и купят ее с потрохами. Добро пожаловать, дядюшка Сэм, приходите и постройте у нас большущий Диснейленд, чтобы ваш президент мог чувствовать себя здесь в полной безопасности, а вы могли бы наслаждаться пластинками Фрэнка Синатры и смеяться над нами, ведь мы безграмотная деревенщина, совсем не умеющая одеваться.

* * *

Они должны присутствовать при этом, твердила Вера. Все четверо: Вера, Атанас, Стефан и Димитр. Это же великий час в их истории, прощание с угрюмым детством, унылым, хмурым отрочеством; конец лжи и иллюзий. И вот пришло время, когда правда сделалась возможной, время зрелости. Как же пропустить все это?

И потом, ведь они вместе с самого начала, с того недавнего, но уже и далекого месяца, когда это только начиналось; начиналось как бы в шутку, как предлог крутиться возле Веры, невинно флиртовать с нею. Они участвовали в самых первых, слегка лишь всколыхнувших общество протестах, еще не понимая толком, что это означает и как далеко может зайти. Они глазели на других, присоединялись к их шествиям, выкрикивали вместе с ними лозунги, а потом все вдруг стало серьезным, и от страсти захватывало дух. Это было и страшно тоже: ведь они все были там, когда этого малого, приятеля Павла, чуть не сплющило бронетранспортером на бульваре Освобождения, когда у милиционеров, охранявших дворец Президента, не выдержали нервы, и они начали молотить женщин прикладами. Несколько раз, перепуганные до смерти, они удирали от автоматных очередей, прятались в подъездах, сцепив руки, чтобы оградить Веру. Но они и тогда были вместе, когда запахло близкой свободой, когда со скрипом отворились изъеденные червями двери, когда солдаты усмехались и подмигивали им, угощали их сигаретами. А потом они поняли, что побеждают, потому что даже некоторые депутаты-коммунисты рискнули появиться среди демонстрантов.

— Бегут крысы с корабля, — так прокомментировал это Атанас. — Перевертыши.

Атанас был студентом иняза, выпивохой и поэтом; он считал, что своим скептицизмом дезинфицирует души троих своих друзей.

— Мы не можем очистить весь род человеческий, — возразила Вера.

— Это почему?

— Потому что оппортунисты будут всегда. Ты сам увидишь, они все на твоей стороне.

— А я вовсе не хочу, чтобы они были на моей стороне.

— Не обращай на них внимания, Атанас, никакого значения они не имеют. Просто они показывают, кто победитель.

А потом последний удар в дверь, и — нате вам — ушел Стойо Петканов, ушел сразу и безо всяких предлогов: не ссылаясь на внезапную тяжелую болезнь, не предлагая уступить место своему преемнику. Просто-напросто Центральный Комитет отправил его в его загородный дом на северо-востоке в сопровождении пяти охранников. Сперва его заместитель, этот прохиндей Маринов, попробовал сплотить Партию вокруг себя, заявив, что он консервативный реформист, но за несколько дней его так разломали на им же самим выбранной дыбе, что стало ясно: он никуда не годится. И замелькали события, сливаясь, как велосипедные спицы. Слух, казавшийся вчера невероятным, завтра становился устарелой сенсацией. Коммунистическая партия проголосовала за временную приостановку действия статьи о своей направляющей и руководящей роли в экономическом и политическом строительстве, переименовалась в Социалистическую, призвала включить все важнейшие политические организации во Фронт национального спасения, а когда из этого ничего не вышло, предложила поскорей провести выборы. А вот этого-то оппозиционные партии не хотели или, по крайней мере, еще не хотели: их структуры были в зачаточном состоянии, а социалисты (бывшие коммунисты) все еще контролировали государственное радио и телевидение, большую часть издательств и типографий. Но оппозиции все же пришлось рискнуть, и она выиграла достаточно мест, так что социалистам (бывшим коммунистам) пришлось защищаться, хотя они, социалисты (бывшие коммунисты), и сохранили боль-

шинство в парламенте — ситуация, крайне удивлявшая западных комментаторов. Правительство предложило оппозиционным партиям войти в его состав и спасать страну вместе, но оппозиционные партии держались стойко — вы эту кашу заварили, вам ее и расхлебывать, а не можете, так уходите в отставку. А потом все уперлось в половинчатые реформы, горячие споры, и перебранки, и оскорбления, и бессилие, и страх, и черный рынок, а цены все росли, и снова полуреформы; одним словом, никакого героизма, по крайней мере, такого, как ожидали, когда отважный гусар мчится и разрубает путы рабства; а если и было что-то героическое, то лишь настолько, насколько может быть героической просто работа. Вере представлялось, будто медленно разжимаются пальцы, почти полвека сжатые в крепкий кулак, а в кулаке этом — золоченая сосновая шишка. И вот шишка выпала; она помялась, потускнела от смачивавшего ее много лет пота, но не стала меньше весом и все еще так же красива.

Последней частью этого процесса — концом начала — был суд над Петкановым. Вера требовала, чтобы они его не пропустили, ни один из четверых. Если не смогут попасть в зал заседаний, можно смотреть процесс по телевидению. Каждый момент его, каждое мгновение стремительного прорыва народа из нарочно задержанного отрочества к запоздалой зрелости.

— А как насчет электричества? — спросил Атанас.

Да, это действительно была проблема. Каждые четыре часа, за исключением тех случаев, когда это происходило каждые три часа, электричество на час отключали, не считая тех случаев, когда его отключали на два часа. Отключали его порайонно. Вера жила в том же энергетическом секторе, что и Стефан, так что тут уж ничем нельзя помочь. Атанас жил дальше их, за Южными бульварами — добрых двадцать минут на автобусе. Район Димитра был поближе — минут пятнадцать пешком, минут восемь на транспорте. Так что они могли бы начинать со Стефана (или уйти к Вере, чтобы не слишком надоедать Стефановым родителям), а потом перебраться к Димитру или, на худой конец, если и тут и там будет отключено, катить автобусом к Атанасу.

Но как быть, если электричество отключится в самый интересный момент заседания, например, когда Петканов начнет увиливать, а прокурор — припирать его к стенке и потребует рассказать, как он дурачил народ, врал и воровал, убивал и запугивал? Они же могут пропустить целых десять минут, перебираясь к Димитру, или, еще того хуже, двадцать минут, если отправятся к Атанасу.

— Сорок, — сказал Атанас.

В самом деле, при нынешнем дефиците бензина, да еще автобусы постоянно ломаются. Сорок минут как минимум!

Не кто иной, как Стефан, инженер по профессии, нашел решение этой задачи. Каждое утро Государственный совет по энергетике публикует график «перерывов», как деликатно именовались отключения электричества. И вот что он, Стефан, придумал. Допустим, они сидят у Веры и знают, в какое время должен наступить «перерыв». Двое из них минут за двадцать до срока отправляются на квартиру Димитра. Двое оставшихся досматривают картинку до конца, а потом присоединяются к первым. После окончания передач обе команды соединяют конец одной с началом другой — те десять минут, которые кто-то из них пропускает. Или сорок, если придется добираться от Южных бульваров.

— Надеюсь, его повесят, — сказал Димитр незадолго до начала процесса.

— Расстреляют, — отозвался Атанас. — Та-та-та-та-та.

— Я надеюсь, мы узнаем правду, — сказала Вера.

— А я надеюсь, что ему дадут говорить, — сказал Стефан. — Зададут ему самые простые вопросы, на которые есть только самые простые ответы, а потом мы послушаем, как он будет выбираться из этого дерьма. Много ты наворовал? Когда отдал приказ об убийстве Симеона Попова? Какой номер твоего счета в швейцарском банке? Вот спросить все это, и пусть попробует не ответить хотя бы на один вопрос.

— Мне хочется увидеть фильм о его дворцах, — сказал Димитр. — И фотографии его любовниц.

— Мы не знаем, были ли у него любовницы, — сказала Вера. — Да это и не важно.

— Я хочу точно знать, насколько опасны наши атомные станции, — сказал Стефан.

— А я хотел бы узнать, давал ли он лично госбезопасности задание убить папу, — сказал Димитр.

— Я хочу увидеть, как его расстреляют, — сказал Атанас.

— Я хочу узнать о привилегиях Политбюро, — сказал Димитр.

— А я хочу узнать, какой на нас висит долг, на каждом из нас, — сказал Стефан.

— Та-та-та-та-та-та, — не унимался Атанас.

* * *

За неделю до начала слушанья в Верховном суде Уголовного дела №1 бывший президент Стойо Петканов обратился с открытым письмом к Национальному собранию. Он намерен сам вести свою защиту, и вести ее весьма энергичным образом, перед народом и перед парламентом, по телевидению и в прессе, поскольку в настоящее время проводники фашистских идей усиленно стараются заткнуть ему рот. Далее следовал текст его обращения к парламенту.

Уважаемые Народные представители!

Некоторые обстоятельства вынуждают меня обратиться к вам с этим письмом. Обстоятельства, о которых я говорю, привели меня к убеждению, что существуют люди, которые пытаются превратить меня в средство для достижения своих собственных политических целей и удовлетворения личных амбиций. Рад заявить, что не собираюсь играть на руку какой-либо политической группировке.

Насколько мне известно, есть только один случай в современной истории, когда глава государства был привлечен к суду и признан виновным: я имею в виду императора Бокассу в Африке, который был осужден по обвинению в заговоре, убийствах и каннибализме. Мое дело может стать вторым случаем подобного рода.

Что касается меня лично, я могу сказать даже сейчас, полностью осмыслив свой жизненный путь и подведя его итоги, что как партийный лидер своей страны, находившийся на протяжении тридцати трех лет во главе государства, я несу огромную политическую ответственность за все, что было сделано. Превалируют ли при этом добрые дела над плохими, действительно ли мы жили в безнадежности и темноте в течение всех этих лет, рожали ли нам матери детей, были ли мы уверены в своем будущем или за него опасались, имел ли наш народ свои цели и идеалы — у меня теперь нет права об этом судить.

Ответить на все эти вопросы может лишь наш народ и наша история. Не сомневаюсь, что они окажутся строгими судьями. Я уверен, однако, что они будут также справедливы и решительно отбросят как политический нигилизм, так и огульное очернительство.

Что бы я ни делал, я действовал в убеждении, что это принесет благо моей стране. Я совершил на этом пути немало ошибок, но преступлений против своего народа я не совершал. За эти ошибки я и принимаю на себя полную политическую ответственность.

3 января

С уважением,
Стойо Петканов

* * *

Как и большинство его современников, Петр Солинский рос под крылом Партии. Красный пионер, юный социалист, а потом полноправный партиец, он получил партбилет незадолго до того, как его отец стал жертвой очередной петковской чистки и был сослан в деревню. Немало неприятных слов было сказано сперва между отцом и сыном: со всей непреклонностью юности Петр верил, что Партия всегда важнее, чем отдельная личность, и что это относится и к случаю с его отцом, как и с любым другим. Естественно, что на какое-то время Петр и сам оказался под подозрением. Именно тогда, в те трудные дни, он понял, что брак с дочерью героя антифашистской борьбы в какой-то мере защитил его. Постепенно благосклонность Партии к нему вернулась; его даже как-то отправили в составе профсоюзной делегации в Турин. Ему выдали валюту и позволили ее тратить, и он опять почувствовал себя среди лиц, облеченных доверием. Марию, разумеется, с ним не пустили.

В сорок лет он был назначен профессором юридического факультета во Втором столичном университете. Квартира в комплексе «Дружба-3» показалась ему тогда роскошной; они обзавелись малолитражкой и коттеджем в Ос-

товских лесах, пользовались ограниченным, но все же регулярным доступом в закрытые магазины. Ангелина, их дочь, была веселым, здоровым, избалованным и счастливым этой избалованностью ребенком. Что помешало ему довольствоваться такой жизнью? Что превратило его, по выражению сегодняшней «Правды», в политического отцеубийцу?

Оглядываясь назад, он пришел к выводу, что началось все с Ангелины, с ее вечных «почему?». Не с обычных «почему?» четырехлетнего человечка («почему сегодня воскресенье?», «почему мы ходим?», «почему это такси?»), а с обдуманных пытливых расспросов десятилетней девочки. Почему так много солдат, ведь войны сейчас нет? Почему в деревне так много абрикосовых деревьев, а в магазинах не продают абрикосов? Почему летом над городом стоит такой черный туман? Почему эти люди за Восточными бульварами спят на голой земле? Вопросы не были опасными, и Петр сравнительно легко отвечал на каждый из них. Потому что они нас защищают. Потому что мы продаем их за границу за твердую валюту, которая нам нужна. Потому что наши фабрики и заводы работают на полную мощность. Потому что цыгане сами захотели так жить.

Ангелина всегда удовлетворялась такими ответами. Это было ужасно. Случается, что невинные вопросы ребенка порождают первые сомнения в душе отца; с ним все было не так: его просто поражала безмятежность, с какой Ангелина довольствовалась его ответами — пустыми отговорками, как он прекрасно понимал. Ее счастливая готовность все принять глубоко тревожила его; он просыпался ночью, лежал с открытыми глазами в темноте, и его терзала мысль, что доверчивость Ангелины — симптом болезни, охватившей, возможно, всю страну. Может ли весь народ потерять способность к скептицизму, к спасительному для душевного здоровья сомнению? Что, если мускулы противодействия атрофировались от долгой спячки?

Через год или чуть больше Солинский понял, что эти опасения преувеличены. Скептики и оппозиционеры молчали при нем просто потому, что ему не доверяли, он был подозрителен. Но они существовали, эти люди, стремившиеся попробовать все с самого начала, предпочитавшие не идеологию, а факты, желающие добиться правды хотя бы в малом, прежде чем перейти к более крупным делам. И когда Петр понял, что таких людей вполне достаточно, ему стало легче дышать.

А началось все в небольшом городке на северной границе с их ближайшим социалистическим союзником. Разделяла эти государства река, в которой уже годами не ловили рыбы. Деревья в окрестностях города были низкорослы, листва редкая и чахлая, ветви искривлены. Мощные порывы ветра переносили через реку жирную серо-коричневую копоть из другого такого же города на южной границе братской социалистической страны. Местные детишки с младенчества страдали болезнями дыхательных путей, женщины, отправляясь в магазины, прикрывали лицо шарфом, в приемных врачей кишмя кишели пациенты со слезящимися глазами и обожженными легкими. И вот однажды группа женщин послала в столицу протест. А поскольку социалистическая братская страна в это время оказалась в немилости из-за совершенно не братского отношения к одному из своих этнических меньшинств, письмо жительниц городка министру здравоохранения превратилось в небольшую заметку в «Правде», и на следующий день о ней благосклонно упомянул один из членов Политбюро.

Таким образом робкий протест сначала сделался местным движением, а потом вырос в Партию зеленых; ей позволили существовать, строго-настрого приказав сосредоточиться исключительно на вопросах экологии: это была заодно и подачка Горбачеву, и возможность насолить ближайшему социалистическому собрату. В дальнейшем новое движение объединило тысяч триста человек и начало довольно чувствительно дергать за постромки политических причин и следствий; цепочка потянулась от районных секретарей к секретарям провинций, к отделам Центрального Комитета, к заместителю министра, к министру, к Политбюро, к Президенту и его замыслам; от гибнущих деревьев к действующему пятилетнему плану. К тому времени, когда Центральный Комитет осознал опасность и объявил членство в Партии зеленых несовместимым с социализмом и коммунизмом, Петр Солинский и тысячи ему подобных уже гораздо больше дорожили членством в этой новой партии, чем партийным билетом старой. И поздно уже было теперь устраивать чистку, и поздно было обуздывать Илью Банова, пройдошного телегеничного экс-коммуниста, обернувшегося лидером «зеленых», — он уже приобрел всенародную популярность;

поздно было уклоняться от выборов, навязываемых Горбачевым; было уже поздно пытаться спустить это дело на «наших говенных тормозах», как выразился Стойо Петканов на экстренном заседании своего одиннадцатиглавого Политбюро.

Частное же мнение Марии Солинской, а ее мнения в последнее время все больше бывали частными, заключалось в том, что «зеленые» — скопище деревенских кретинов, хулиганов-анархистов и фашистских прихлебателей, что Илью Банова надо было еще тридцать лет назад сунуть в самолет и отправить в Испанию к Франко, что супруг ее Петр Солинский, сделавший так много, чтобы получить хорошую работу и приличную квартиру и спастись от порочившей его тени ревизиониста-отца (во многом, кстати, благодаря ее стараниям), либо полностью потерял политическое чутье, либо страдает от мужского климакса, а возможно, с ним происходит и то и другое.

Ее не трогало, когда кто-либо из знакомых оплевывал те принципы, которым истово поклонялся всего несколько месяцев назад; она следила за бешеным ликованием толпы, и на каждом столичном бульваре ее ноздри ощущали дух мщения, схожий с кисловатым запахом пота. Она все больше приближала к себе Ангелину. Она завидовала девочке, которая может учиться таким простым и понятным вещам, как математика и музыка, ей хотелось бы изучать их с нею вместе, но ведь тогда ей придется заодно вникать во все эти новые политические установки и заповеди, потоком хлынувшие в школы и институты.

Как бы то ни было, в первое утро слушания Уголовного дела № 1, когда муж пришел поцеловать ее на прощание, что-то дрогнуло в ней и заставило забыть мимолетные измены и долгие разочарования последних лет. Мария Солинская поцеловала мужа и с ласковой суетливостью, которая так не шла ей сейчас, поправила кончики шарфа, которые он засунул между лацканами пиджака.

— Будь осторожней, — сказала она ему вслед.

— Осторожней? — он обернулся. — Конечно, я буду осторожен, — он поставил на пол тяжелый портфель и поднял вверх руки. — Видишь, какие я надел перчатки, чтобы меня не уколол дикобраз.

* * *

Уголовное дело № 1 началось слушанием в Верховном суде 10 января. Бывший президент появился в сопровождении военного конвоя: крепкая коренастая фигура в застегнутом наглухо макинтоше. На нем были всем известные тяжелые очки с затемненными линзами, и когда, выйдя из «чайки», он снял шляпу, на экране возник знакомый по почтовым маркам образ: низко сидящая на плечах голова, хищный, словно принюхивающийся к чему-то нос, лоб, увеличенный залысинами, жесткие светлые волосы над ушами. У входа толпились люди, он улыбнулся им и помахал рукой. Потом камера рассталась с ним и показала его уже в зале суда. Где-то по пути он оставил пальто и шляпу и теперь был в темном строгом костюме, белой сорочке, зеленом в серую диагональную полосочку галстуке. Он остановился и огляделся, словно футболист, внезапно оказавшийся на незнакомом стадионе. Казалось, он сейчас двинется дальше, но вдруг передумал: шагнул к одному из конвойных солдат, вгляделся в ленточки медалей и отеческим жестом поправил что-то у конвойного на гимнастерке. Улыбнулся и двинулся дальше.

(— Гнусный актеришка!

—Тсс, Атанас.)

Судебный зал был построен в модном в начале семидесятых годов стиле, грубоватом, с элементами уюта: светлые деревянные панели, сглаженные углы, кресла. Он смахивал, пожалуй, на репетиционный зал театра или концертный зал для духовых квинтетов. Одно мешало — освещение: тоскливое сочетание неоновых полос с затененными нижними лампами. При этом освещении ничто не выделялось, не подчеркивалось, все было ровным, демократичным, беспристрастным.

Петканова отвели в отсек для подсудимых. Он несколько минут не садился: оглядел два ряда столов для представителей сторон, маленькую галерею для публики, возвышение, где предстояло появиться Председателю суда и двум судьям; он внимательно изучил охранников, судебных приставов, телекамеры, толпу журналистов. Журналистов набилось так много, что некоторые просочились в ложу для присяжных и, оказавшись там, внезапно смутились, рас-

крыли пустые блокноты и листали их с задумчивым видом.

Но вот бывший президент опустился на маленький жесткий стул, который подобрали специально для него. Чуть позади него и постоянно в поле зрения, когда камера показывала Петканова, стоял дежурный полицейский офицер. Эта мизансцена была задумана прокуратурой, особенно настаивавшей на том, чтобы офицером была женщина. Армейскому конвою приказано было держаться от камеры как можно дальше. Вот видите, это самое обычное судебное слушание; взгляните — перед вами не чудовище, которого вы так боялись, а просто старый человек, и охраняет его женщина.

Вошли судьи: трое пожилых мужчин в темных костюмах, белых рубашках, черных галстуках. Председателя можно было узнать по широкой черной мантии. Заседание объявили открытым. Генеральному прокурору предложили огласить обвинительное заключение. Петр Солинский поднялся и взглянул на Петканова, ожидая, что он встанет тоже. Но бывший президент остался в прежнем положении: он сидел, слегка склонив голову набок, этакая важная персона, удобно расположившаяся в ложе и ожидающая поднятия занавеса. Надзирательница наклонилась к нему, что-то зашептала, но он сделал вид, что не слышит.

Солинский не стал обращать внимания на это демонстративное упрямство. Он спокойно, буднично приступил к делу. Прежде всего он постарался незаметно для присутствующих набрать в легкие побольше воздуха. Контроль над дыханием, этому его обучили, — краеугольный камень в судебных процессах. Только спортсмены, оперные певцы и юристы знают всю важность правильного дыхания.

(— Врежь ему, Солинский. Наподдай под зад!

— Тсс!)

— Стойо Петканов! Перед Верховным судом народа вы обвиняетесь в следующих преступлениях. Первое — мошенничество с использованием поддельных документов, по статье 127, часть 3 Уголовного кодекса. Второе — злоупотребление властью в качестве должностного лица, по статье 212, часть 4. Третье...

(— Массовые убийства.

— Геноцид.

— Развал государства.)

... недобросовестное управление, по статье 332, часть 8 Уголовного кодекса.

(— Недобросовестное управление!

— Лагерями плохо управлял!

— Людей пытать не умел как надо.

— Дерьмо! Дерьмо!)

— Признаете ли вы себя виновным?

Петканов продолжал сидеть в той же позе, только на лице возникла слабая улыбка. Надзирательница снова наклонилась к нему, но он остановил ее, предостерегающе подняв палец. Солинский повернулся к Председателю, и тот пришел ему на помощь.

— Подсудимый ответит на все вопросы. Вы признаете себя виновным?

Петканов еще выше вскинул голову, демонстрируя такое же безмолвное презрение к судейской скамье.

Председатель обратил вопрошающий взгляд в сторону защиты. Государственный адвокат Миланова, строгая брюнетка средних лет, была уже на ногах и, встретившись взглядом с Председателем, проговорила:

— Защита не уполномочена входить с какими-либо заявлениями.

Короткое совещание судей, и Председатель объявил решение:

— Согласно статье 455 молчание подсудимого истолковывается судом как отказ от признания вины. Прошу продолжать.

Солинский начал снова:

— Вы Стойо Петканов?

Бывший президент, казалось, некоторое время вникал в смысл вопроса, потом с негромким покашливанием, словно давая понять, что последующее движение он делает по собственной воле, встал. Но говорить он как будто не собирался, и Генеральный прокурор повторил:

— Вы Стойо Петканов?

Подсудимый не обратил внимания на человека в блестящем итальянском костюме и повернулся к Председателю.

— Я хочу сделать предварительное заявление.

— Сначала ответьте на вопрос Генерального прокурора.

Верный Продолжатель взглянул наконец на Солинского, словно впервые его заметил и ждет, чтобы он, как школьник, повторил вопрос.

— Вы Стойо Петканов?

— Вы знаете, кто я. Я боролся вместе с вашим отцом против фашизма. Я послал вас в Италию купить этот костюм. Я утвердил ваше назначение профессором. Вам прекрасно известно, кто я. Я хочу сделать заявление.

— Только коротко, — отозвался Председатель суда.

Петканов кивнул, принимая и в то же время как бы игнорируя его указание. Он оглядел судейский зал, будто только сейчас понял, где находится, поправил очки и, положив кулаки на барьер, осведомился тоном человека, привыкшего к лучшей организации мероприятий:

— Какая камера работает на меня?

(— Вот дерьмо! Только послушайте этого ублюдка!)

— Не купишь нас на это, Стойо, больше не купишь.

— Хоть бы он загнулся у нас на глазах. Прямо по телевидению.

— Заткнись, Атанас. Еще накаркаешь.)

— Изложите ваше заявление.

Петканов снова кивнул, скорее отвечая самому себе, чем подчиняясь приглашению Председателя.

— Я не признаю полномочий этого суда. Он не имеет права вести мое дело. Меня незаконно арестовали, незаконно заключили в тюрьму, незаконно допрашивали, и теперь я нахожусь перед незаконно учрежденным судом. Тем не менее... — здесь он позволил себе паузу и усмехнулся, понимая, что этим своим «тем не менее» он вовремя воспрепятствовал вмешательству судейской скамьи. — И тем не менее я отвечу на ваши вопросы при условии, что они будут иметь отношение к делу.

И снова пауза, в течение которой Генеральный прокурор не мог понять, закончено ли уже на этом заявление.

— Я отвечу на ваши вопросы по очень простой причине. Я уже бывал здесь раньше. Не в этом зале, но бывал. Было это почти полвека назад, задолго до того, как я встал у штурвала нашего государства. Вместе с другими товарищами я участвовал в организации антифашистской борьбы в Вельпене. Мы выступили в защиту брошенных за решетку железнодорожных рабочих. Это была мирная демократическая демонстрация, однако буржуазно-помещичья полиция, конечно же, набросилась на нас. Меня избили, моих товарищей — тоже. В тюрьме мы много спорили о том, как нам действовать дальше. Некоторые товарищи утверждали, что мы должны отказаться от дачи показаний в суде, потому что нас незаконно арестовали, незаконно заключили в тюрьму, а доказательства против нас сфабрикованы полицией. Но я их убедил, что гораздо важнее предостеречь народ от опасности надвигающегося фашизма, о том, что империалистические державы готовятся развязать войну. И мы выступили в суде. Как вам известно, нас приговорили к каторжным работам за защиту интересов пролетариата. И сегодня, — продолжал Петканов, — я смотрю на этот суд и я не удивлен. Я уже был перед таким судом. Вот почему сейчас, как и тогда, я отвечу на ваши вопросы при условии, что они будут иметь отношение к делу.

— Вы Стойо Петканов? — Генеральный прокурор повторил вопрос нарочито усталым голосом, словно показывая, что не по своей вине ему приходится по четыре раза спрашивать одно и то же.

— Да, мы, кажется, уже установили это.

— Тогда, коль скоро вы Стойо Петканов, вы должны знать, что 21 октября 1935 года суд в Вельпене обвинил вас в преднамеренной порче собственности, в краже железнодорожного рельса и в преступном нападении при помощи упомянутого украденного вами орудия на сотрудника государственной полиции.

Когда камера вернулась к Петканову, Атанас глубоко затянулся и выпустил весь дым сквозь сложенные трубочкой губы. Дым затуманил экран и закрыл на время лицо Петканова. Это лучше, чем плевать ему в рожу, подумал Атанас. Я плюнул тебе в рожу дымом.

* * *

Петр Солинский не был в числе первых кандидатов на пост Генерального прокурора. Академическая деятельность профессора лишь отчасти соприкасалась с уголовным правом. Но уже после первого собеседования он понял что

дела его обстоят хорошо. Одни, более квалифицированные, чем он, кандидаты, тут же принимались играть в политику и ставили предварительные условия, другие, посоветовавшись с семьей, вдруг вспоминали о ранее взятых на себя обязательствах. Солинский же не скрывал своего желания занять эту должность; у него были свои идеи о том, как строить обвинение, он откровенно объяснил, что проведенные им в партии годы дают ему преимущество, ему будет легче запутать Петканова. «Рыбак рыбака видит издалека», — сказал он министру, и тот рассмеялся. В этом сухощавом, с беспокойным взглядом профессоре он чувствовал напористость и прагматизм, по мнению министра, необходимые Генеральному прокурору.

Самого Солинского назначение не очень удивило. Сейчас, когда он оглядывался на свою жизнь, она представлялась ему состоящей из долгих периодов осторожной осмотрительности, сменявшихся взрывами решительности, отчаянной дерзости, когда ему удавалось все, что он намечал. Он был примерным ребенком, прилежным студентом, слушался родителей и был настолько послушным сыном, что, когда ему исполнилось двадцать лет, он был помолвлен с Павлиной, дочерью их соседей. Он бросил ее через три месяца ради Марии, и с таким яростным пылом настаивал на немедленной свадьбе, что родители стали встревоженно приглядываться к талии девушки и были весьма озадачены, когда ближайшие месяцы не подтвердили их подозрений.

А потом он много лет был добросовестным партийцем и верным супругом; или верным партийцем и добросовестным супругом? Временами обе эти обязанности путались у него в голове. И вдруг однажды вечером он объявил, что вступил в Партию зеленых; еще в то время — Мария яростно подчеркивала это, — когда там было не так уж много ученых-правоведов, женатых на дочерях героев-антифашистов. Мало того, Петр не просто тайком побывал на нескольких митингах — он отослал свой партийный билет вместе с откровенно вызывающим письмом. Несколькими годами раньше после такого послания в их двери непременно бы постучали в неурочный час люди в черных кожаных пальто.

И теперь, по мнению жены, он снова тешил свое тщеславие. Коллеги же расценивали его назначение как завидный этап карьеры, обнаруживший, кстати, в замкнутом учтиво-суховатом профессоре тщательно скрываемую звездную болезнь. Но рассуждавшие так видели лишь внешнюю сторону его жизни и легкомысленно считали, что и по натуре он такой же управляемый и спокойный. А в действительности его постоянно бросало от одной тревоги в другую, и внезапные приступы решительности помогали ему успокоить внутреннее раздражение и тревожность. Если народы иногда могут вести себя как отдельная личность, то он был личностью, ведущей себя как народ: десятилетиями терпеливо сносил рабство, потом вдруг устраивал мятеж и страстно жаждал свежей риторики, которая поможет ему обрести новый образ.

Согласившись обвинять бывшего главу государства, Солинский выбрал самую зрелищную форму самоутверждения. В глазах газетных обозревателей и телекомментаторов он символизировал новый порядок в борьбе со старым, будущее, восставшее против прошлого, добродетель, изобличающую порок; в своих выступлениях на радио, по телевидению, в газетах он привычно взывал к национальному сознанию, к нравственному долгу, говорил о своем намерении вырвать правду из пасти лжи, однако где-то в глубине, на заднем плане таились чувства, в которых ему не хотелось разобраться получше. Тут было и стремление к чистоплотности, не символической, а личной; и мысль о том, что отец его при смерти; и горячее стремление ощутить себя по-настоящему сильным, чего ему пока никак не удавалось.

Сама должность Генерального прокурора была утверждена лишь после долгих публичных дебатов. Не лучше ли для страны оставить прошлое в прошлом и сосредоточиться на перестройке? Это было бы к тому же благоразумней, ведь никто не может утверждать, что во всех бедах виноват один Петканов. А вина номенклатуры, партии, тайной полиции, милиции, осведомителей, судей, военных? Уж если судить, говорили некоторые, то по всем правилам, судить всех, а не наказывать кого-то выборочно или вообще всю вину взвалить на одного человека — это явная несправедливость. Но в этом случае чем отличается справедливость «по всем правилам» от самого обыкновенного мщения?

Некоторые настаивали на том, что они называли «нравственным судом», но что это такое, никто точно себе не представлял. Мировая история не знала случаев, чтобы какая-нибудь страна устраивала такой суд: что должно входить в

его компетенцию, какие материалы он должен рассматривать? И кто будет судьями в этом суде, кто должен в нем заседать по законному праву, а не из низменного желания самовозвеличиться? В сущности, лишь Судья Небесный может заседать в таком суде. Земным же лучше выяснять, кто у кого и сколько украл.

Все решения были с изъяном, но хуже всего было просто ничего не делать и затягивать время. Решать надо было быстро. Специальный парламентский комитет создал Специальную следственную службу, учитывая, что, поскольку в данном случае расследование должно быть проведено с особой тщательностью и скрупулезностью, процесс против Стойо Петканова должен быть подготовлен к началу января. Причем особо подчеркивалась необходимость точного соблюдения всех процессуальных норм. И полетели дни, заполненные подготовкой материалов обвинительного акта, достаточно серьезных для того, чтобы убедить суд в необходимости наказания преступника. Специальной следственной службе было поручено разыскать материалы, подтверждающие, что Стойо Петканов нарушал им же самим установленные законы, и на основании этих улик сформулировать обвинение. Для всего этого необходимо было отказаться от традиционного образа мыслей.

Вскоре Специальная служба обнаружила, что добыть неопровержимые доказательства нарушения социалистической законности не так-то просто. Письменных свидетельств было мало; те, что были записаны, успели по большей части уничтожить, а те, кто их уничтожал, страдали явным выпадением памяти. Особая сложность заключалась в характере только что рухнувшего государственного строя. Статья первая новой конституции 1971 года провозглашала руководящую роль Партии. С этого момента Партия и Государство слились в одно, и четкое разграничение между политической организацией и законодательной системой перестало существовать: все, что признавалось политически необходимым, по определению становилось законным.

В конце концов подгоняемая со всех сторон Специальная служба рекомендовала включить в обвинительный акт три позиции. Первая — мошенничество с документами, где фигурировали расписки в получении незаконных гонораров за статьи и выступления Президента. Вторая — злоупотребление властью в качестве должностного лица; под это определение подпадало множество привилегий, полученных и дарованных Президентом; обвинение это прекрасно демонстрировало разгул коррупции при коммунистической системе. Третья — недобросовестное управление. Здесь имелась в виду незаконно завышенная пенсия, назначенная бывшему председателю Комитета по защите окружающей среды. Насчет этого пункта у Специальной службы возникли некоторые сомнения: слишком уж незначительной фигурой был этот тяжело больной старик. Но было ясно, что двух обвинительных статей явно недостаточно для такого исторического документа. Специальная служба ввиду исключительности обсуждаемого дела рекомендовала также прокуратуре использовать добытые в ходе процесса сведения для предъявления новых обвинений. Несмотря на обилие критических замечаний, проект Специальной службы был одобрен.

* * *

Поскольку Стойо Петканов отказался от сотрудничества с государственными адвокатами Милановой и Златаровой, было решено, что обычные профессиональные взаимоотношения между обвинением и защитой переносятся непосредственно на подсудимого. В связи с этим в перерывах между заседаниями Петр Солинский отправился на шестой этаж Министерства юстиции (бывшее здание Госбезопасности) с документами, на знакомство с которыми защита имела право. Бывший президент во время этих встреч держался более спокойно, хотя и не становился любезнее.

Каждое утро дежурный милиционер клал на стол Петканову стопкой свежие номера пяти газет. Каждое утро Петканов извлекал оттуда «Правду», орган Социалистической (бывшей Коммунистической) партии, оставляя в неприкосновенности «Страну», «Народ», «Свободу» и «Новое время».

— Что говорит дьявол, вам, значит, неинтересно? — спросил однажды Солинский, увидев Петканова, склонившегося над партийным евангелием.

— Дьявол?

— Наша свободная пресса.

— Свободная, *свободная.* Вы прямо фетиш сделали из этого слова. У вас

встает от него, что ли? Свобода, свобода, глядишь, в штанах и зашевелилось, а, Солинский?

— Вы же сейчас не в зале суда. Зрителей нет.

Милиционер в дверях был глух и нем.

— Свобода! — чуть ли не выкрикнул Петканов. — Свобода — это подчинение воле большинства.

Солинский ответил не сразу. Много раз он слышал эту песню, она ему уже в печенки въелась. Наконец он негромко спросил:

— Вы в самом деле в это верите?

— То, что называете свободой вы, не что иное, как привилегии социальной элиты.

— Вроде спецмагазинов для членов партии? Это согласовывалось с волей большинства?

Петканов сбросил со стола газеты.

— Ваши журналисты шлюхи. Я предпочитаю своих собственных шлюх.

Дискуссия не очень-то получалась, и все же Генеральный прокурор подумал, что некоторая польза в ней была. Ему ведь надо было изучить противника, почувствовать его, научиться предвидеть его непредвиденные выпады. Как ни в чем не бывало он продолжал поучающим, резонерским тоном:

— Здесь газеты разного уровня. Может быть, вы прочтете, что пишет о вашем процессе «Новое время»? У них вовсе не банальный взгляд.

— Да мне лучше сунуть голову в бочку с дерьмом, чем мучить себя таким чтением.

— Вы, стало быть, никак не хотите понять нас?

— Эх, Солинский, знал бы ты, как мне осточертела эта дискуссия. Все это мы обдумали уже давным-давно и нашли верное решение. Даже твой отец повертел хвостом пару месяцев и согласился с нами. Кстати, ты ему передал мой привет?

— Термин «независимая пресса» для вас, значит, пустой звук?

Петканов вздохнул патетически, словно Генеральный прокурор вздумал втолковывать ему теорию о вращении Солнца вокруг Земли.

— Пойми, все борются друг с другом. Все газеты принадлежат каким-нибудь партиям, защищают чьи-то интересы. Либо капиталистов, либо народа. Удивляюсь, как вы этого не видите.

— Но есть газеты, принадлежащие тем самым журналистам, которые там работают.

— Значит, они принадлежат самой худшей из партий — партии личного интереса. Чистейшее выражение буржуазного индивидуализма.

— Но есть ведь и такие журналисты, которые, как вам ни покажется странным, способны изменить свои взгляды. Независимо ни от кого они делают собственные выводы, потом проверяют их и перепроверяют и в результате приходят к иным взглядам.

— Иными словами, ненадежные шлюхи, — сказал Петканов. — Шлюхи-психопатки.

* * *

Никто не сомневался в том, что произошла революция; однако это слово не произносилось вслух даже с эпитетами «бархатная» или «мягкая». Этот народ, обладая развитым чувством истории, терпеть не мог пышных терминов. Большие ожидания последних лет не желали проявиться в громких словах. Так вместо «Революция» употреблялось слово «Перемены», и историю теперь делили на три безобидных периода: «до Перемен», «во время Перемен» и «после Перемен». Вспомните, в истории, куда ни загляни, сразу начинается: реформация и контрреформация, революция и контрреволюция, фашизм и антифашизм, коммунизм и антикоммунизм. Все великие движения, словно в соответствии с каким-то законом физики, вызывают столь же мощное противодействие, но тут люди произносили слово «Перемены», и этот милый эвфемизм позволял чувствовать себя намного спокойнее: трудно вообразить себе нечто, называющееся «контрпеременами» или «антипеременами», а потому, возможно, и самого явления удастся избежать.

Тем временем в городе потихоньку, без шума убирали монументы. Конечно, такое случалось и раньше. Так однажды по негласной указке Москвы были

изъяты бронзовые Сталины. За одну ночь их сняли с постаментов и свезли на пустырь возле сортировочной станции; там их, словно перед расстрелом, выстроили под высокой стеной в ряд. Несколько недель их охраняли двое милиционеров, потом стало ясно, что народ не собирается эти памятники осквернять. Тогда их обнесли колючей проволокой и оставили на произвол судьбы, и так они впредь и стояли, просыпаясь иногда от свистков товарных составов. Каждую весну все выше разрасталась крапива и вьюнок обвивал свежими побегами сапоги Великого Полководца. Временами мародер с молотком и зубилом взбирался на какой-нибудь монумент пониже в надежде отколоть на сувенир половинку уса, но то ли будучи с похмелья, то ли из-за непригодности зубила успеха не достигал. Изваяния так и продолжали торчать на задах сортировочной станции, отполированные дождями, неистребимые как память.

Потом Сталин обзавелся компанией. Брежнев, демонстрировавший и при жизни бронзово-гранитную осанку, обрел теперь новую счастливую жизнь в виде статуи. Ленин в рабочей кепчонке вдохновенно вздымал руку с зажатым в ней томиком своего Священного Писания. Рядом стоял местный Первый Вождь Народа; из политической угодливости этот всегда изготовлялся примерно на метр ниже исполинов Советской России. И вот наконец сюда прибыл и Стойо Петканов в самых разнообразных обличьях: партизанским вождем в постолах из свиной кожи и крестьянской рубахе, военачальником в сапогах а-ля Сталин и с генеральскими шевронами, государственным мужем в строгом двубортном костюме с орденом Ленина в петлице. Эта сплоченная компания избранных, некоторые, более поздние, экземпляры которой были изувечены равнодушными подъемными кранами, пребывала здесь в вечной ссылке и безмолвно вела политические дискуссии.

Недавно стали поговаривать, что к ним присоединится и Алеша. Тот самый Алеша, что уже четыре десятилетия братски поблескивал штыком с невысоких северных холмов. Он был подарен советским народом, так не вернуть ли подарок дарителю? Пусть стоит себе в Киеве, Калинине или где-нибудь еще; за эти годы он, наверное, соскучился по родине, и его большая бронзовая мама вконец истосковалась по нему.

Но этот символический акт мог дорого обойтись. Одно дело ночью, втихаря, когда горит лишь один фонарь из шести, вытащить забальзамированного Первого Вождя из мавзолея. Но репатриировать Алешу? Да на это уйдут тысячи долларов, которые могут пригодиться для закупки нефти или пойти на реконструкцию атомного реактора в Восточной провинции. Так возникла идея более скромной местной ссылки. Перетащить Алешу на сортировочную, к его железным вождям; он будет возвышаться над ними, ведь он — самая большая статуя в стране; тут привлекала и возможность незаметно и без особых затрат отомстить — какими маленькими они почувствуют себя рядом с ним, эти высокомерные вожди.

Иные же считали, что Алешу нужно оставить на холме... В конце концов все знают, что Советская Армия и в самом деле освободила от фашизма страну, что русские солдаты погибали здесь и похоронены в этой земле; верно и то, что многие и многие долго были благодарны Алеше и его боевым друзьям. Почему же не оставить его на месте? Не всякий памятник всем нравится. Но не станете же вы сносить пирамиды в знак протеста против бесчеловечного обращения с египетскими рабами?

* * *

В половине десятого утра Петр Солинский, стоя за своим рабочим столом, приступил к допросу. Он беззвучно допрашивал торец книжного шкафа, расположенного шагах в пятнадцати от него. Он упражнялся таким образом перед началом каждого рабочего дня. Допрос этот, представлявший собой не столько судебное расследование, сколько изложение гипотезы, включавшей в себя обвинения скорей этического свойства, был прерван в самом разгаре назойливым телефонным звонком, извещавшим о приходе посетителя. Солинский поспешно извинился перед струхнувшим и виновато утиравшим с чела пот шкафом и переключил свое внимание на Георгия Ганина, начальника Народных сил безопасности (бывший Отдел внутренней безопасности).

Теперь Ганин ходил в штатском, что знаменовало безобидный, гражданс-

кий характер его деятельности. Но в тот памятный день, всего два года назад, когда его увенчала внезапная слава, тучная фигура Ганина была облачена в лейтенантскую форму, и погоны на его плечах открыто утверждали, что он офицер Северо-Западного военного округа. С двумя десятками милиционеров его направили проконтролировать «малозначительную демонстрацию в провинциальном центре Сливене» — так это определили тогда.

И в самом деле сборище было невелико: сотни три местных «зеленых» и оппозиционеров топали ногами и хлопали в ладоши на покатом, мощенном булыжником склоне — скорее для того, чтобы согреться, чем для чего-либо еще. Сугробы грязного снега перед зданием провинциального комитета Партии образовали вполне надежную баррикаду. Но существовали два обстоятельства, резко менявшие эту, казалось бы, безобидную ситуацию. Во-первых, на демонстрации присутствовал Отряд Девинского, студенческая организация, еще не отраженная как следует в полицейских досье. Удивляться этому не приходилось — в последнее время стало все труднее получать информацию о студенческих делах. Правда, Отряд Девинского был зарегистрирован в качестве литературного общества, названного так в честь местного поэта Ивана Девинского, который, несмотря на декадентские и формалистические склонности, показал себя патриотом и мученически погиб во время фашистского вторжения в 1941 году. Вторым осложняющим обстоятельством оказалось случайное присутствие в Сливене шведских тележурналистов. Они взяли напрокат автомобиль, но тот как раз накануне сломался, и телевизионщикам нечего было снимать в Сливене, кроме заурядной провинциальной стычки.

Если бы служба безопасности попыталась разобраться, что такое Отряд Девинского, она установила бы, что этот поэт имел репутацию ирониста и скандалиста; что в 1929 году его «верноподданнический сонет» под названием «Спасибо, Ваше Величество» немедленно повлек за собой трехлетнее изгнание автора из страны, которое Девинский провел в Париже. Членов Отряда Девинского можно было узнать по красным беретам юных пионеров: крохотные головные уборы десятилетних ребятишек студенты либо натянули на головы до самых бровей, либо с помощью заколок знакомых девиц присобачили издевательским образом к темени. Остальные демонстранты, подобно милиции, ничего не знавшие об Отряде Девинского, с раздражением взирали на группку, как им казалось, примазавшихся к ним коммунистов. Подозрения усилились, когда девинисты развернули полотнище с надписью: «МЫ, ВЕРНОПОДДАННЫЕ СТУДЕНТЫ, РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ, ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО».

Пробившись сквозь ряды демонстрантов, студенческий отряд остановился ближе всех к стене грязного снега и принялся скандировать: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРТИЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРТИЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО! ЧЕСТЬ И СЛАВА СТОЙО ПЕТКАНОВУ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРТИЯ!»

Минуты через две широкие стеклянные двери провинциального комитета Партии распахнулись, и местный партийный руководитель вышел лично убедиться в поддержке масс, столь редкой в эти контрреволюционные времена. Студенты тотчас же расширили репертуар. Подняв вверх кулаки, они выстроили крепкую красноголовую фалангу и выкрикивали прямо в улыбающееся лицо партийного босса:

— ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОДНЯТИЕ ЦЕН!
— ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕФИЦИТ ПРОДУКТОВ!
— ДАЕШЬ ИДЕОЛОГИЮ ВМЕСТО ХЛЕБА!

Студенты оказались хорошо натренированными, и глотки у них были луженые. Кулаки мерно взлетали в воздух, и лозунги звучали один за другим, без паузы:

— СПАСИБО ЗА ПОДНЯТИЕ ЦЕН!
— УКРЕПИМ РЯДЫ ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ!
— ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРТИЯ!
— ЧЕСТЬ И СЛАВА СТОЙО ПЕТКАНОВУ!
— СПАСИБО ЗА ДЕФИЦИТ ПРОДУКТОВ!
— ДАЕШЬ ИДЕОЛОГИЮ ВМЕСТО ХЛЕБА!

И вдруг, словно по молчаливому сговору, эти лозунги подхватила и остальная часть толпы. «СПАСИБО ЗА ДЕФИЦИТ ПРОДУКТОВ» прокатилось по площади громовым эхом, партийный руководитель захлопнул стеклянную дверь, и демонстрация сразу же достигла того порога истерики, который —

Ганин это знал — был уже опасен. Его люди выстроились шеренгой перед фасадом комитета Партии, и тут Отряд Девинского заметил их. Студенты трижды подбегали к ним с криком:

— СПАСИБО ЗА ПУЛИ!
— СПАСИБО ЗА ПЫТКИ!
— СПАСИБО ЗА ПУЛИ!
— СПАСИБО ЗА ПЫТКИ!

Было замечено, что «зеленые» и оппозиция не присоединяются к этим крикам; они, казалось, выжидали, когда студенты вновь начнут благодарить за дефицит и высокие цены, чтобы тут уж снова оказаться вместе с ними. Телевизионщики уже работали вовсю.

Из боковой двери комитета выскочил человек в кожаном пальто, назвал какую-то фамилию и чин и передал Ганину приказ партийного секретаря: стрелять поверх голов демонстрантов, а если они не разбегутся, стрелять по ногам. Выполнив поручение, он стремительно исчез, но его появление не осталось незамеченным.

— ПРОСИМ ЗАПИСАТЬ НАС В СЕКСОТЫ! — завопили студенты, и дальше: — СПАСИБО ЗА ПУЛИ! ПРОСИМ ЗАПИСАТЬ НАС В СЕКСОТЫ!

Ганин выдвинул своих людей метров на двадцать вперед, и студенты пошли к ним навстречу. Ганин старался, чтобы его голос звучал уверенно, когда он отдавал приказ целиться поверх голов, но его тревожили три вещи. Первое — высокие полномочия того, чье распоряжение ему передали. Второе — страх, что какой-нибудь кретин в шеренге сдуру пальнет ниже. И третье — у каждого милиционера была только одна обойма. «СПАСИБО ЗА ДЕФИЦИТ ПРОДУКТОВ» могла прокричать и армия.

Повернувшись к своей команде, Ганин предостерегающе поднял руку и направился к Отряду Девинского. От шеренги студентов тут же отделился молодой человек в двух пионерских беретах, по одному на каждом ухе. Шведскому телевидению предоставился случай снять эту историческую встречу — бородатого студента в двух алых наушниках и толстого розовощекого офицера, выпускавшего клубы пара в морозный воздух. Человек с камерой отважно шагнул поближе, а звукооператор вспомнил вдруг о своей семье, оставшейся в далеком Карлстаде. Эта заминка оказалась для молодого лейтенанта счастливой. Будь последующий диалог записан на пленку, звезда его карьеры не взошла бы так стремительно.

— Ну что, товарищ офицер, вы собираетесь всех нас перебить?

— Уходите. Разойдитесь по домам, и мы стрелять не будем.

— Но нам здесь нравится. У нас сегодня нет занятий. Мы были рады обменяться мнением с товарищем Крумовым. Не могли бы вы узнать у офицера госбезопасности, почему его глубокоуважаемый шеф прервал нашу продуктивную дискуссию?

Ганин сделал усилие, чтобы не улыбнуться.

— Я приказываю вам разойтись.

Но студент вместо того, чтобы подчиниться приказу, шагнул еще ближе и тронул лейтенанта за руку.

— Ну так как, товарищ офицер, сколько наших вам приказано убить? Двадцать? Тридцать? Или всех?

— Если честно, — ответил Ганин, — это невозможно. У нас не хватит патронов. Дефицит.

Студент рассмеялся и неожиданно расцеловал Ганина в обе щеки. Розовощекий лейтенант тоже рассмеялся, камера поймала его лицо крупным планом.

— Понимаешь, — сказал он шепотом, — я уверен, мы что-нибудь сможем придумать.

— Конечно сможем, товарищ офицер.

Студент повернулся к своим коллегам и гаркнул:

— БОЛЬШЕ ПАТРОНОВ ДЛЯ НАШИХ СОЛДАТ!

Отряд Девинского двинулся вперед, красные шапочки затрепетали по ветру, и под крики «БОЛЬШЕ ПАТРОНОВ ДЛЯ НАШИХ СОЛДАТ» и «ДОЛОЙ ДЕФИЦИТ» Ганин смущенно махнул рукой своим людям, приказывая опустить винтовки. Они подчинились с явной тревогой и не проявили большого восторга, когда каждый студент, выбрав себе одного из милиционеров, заключил его в объятия. Но картинка получилась драматичной, а отсутствие звука позволило зрителям вообразить, что были произнесены слова куда

более высокие, чем на самом деле. С этой минуты Ганин из нерешительного, чтобы не сказать трусоватого, офицерика превратился в символ благородства, в убедительное доказательство могущества переговоров, компромисса и необходимости третьего пути; в этом кратком и беззвучном обмене облачками пара на булыжной мостовой перед сугробом грязного снега узрели знак, что если армию поставят перед выбором: партия или народ, — она окажется на стороне народа.

После этого карьера Ганина пошла вверх столь стремительно, что его жена Нина едва успевала приметать новые нашивки к его форме, как они уже устаревали. Она обрадовалась, когда он сменил форму на штатскую одежду, но радость оказалась преждевременной: Георгию пришлось теперь бывать на различных приемах и часто менять костюмы. Вот и сейчас он стоял в кабинете Солинского — большой правительственный чин, тучный, красный от подъема по ступенькам, пуговицы на жилете вот-вот отлетят, хотя Нина пришила их двойной ниткой. Неловким жестом Ганин протянул Генеральному прокурору картонную папку.

— Что это такое? — спросил Солинский. — Расскажите.

— Товарищ прокурор...

— Господин прокурор. Так-то, господин генерал-лейтенант, — улыбнулся Солинский.

— Господин прокурор, прошу прощенья. Мы в Народных силах безопасности всячески поддерживаем вас и вашу деятельность и уверены, что ваши усилия будут по справедливости высоко оценены.

Солинский снова улыбнулся. Не скоро еще отомрет этот дремучий язык!

— Так что же в папке?

— Мы выражаем твердую уверенность, что подсудимый будет признан виновным по всем пунктам обвинения...

— Да-да...

— ...и приговор этот окажется чрезвычайно полезным для сил безопасности в их перестройке.

— Ну, это уж зависит от суда.

— И от характера доказательств.

— Генерал. . .

— Так точно, господин Генеральный прокурор. Это предварительный отчет по делу Анны Петкановой. Основная часть досье, к сожалению, уничтожена.

— Удивляться нечему.

— Так точно. Но хотя главное было уничтожено, довольно многое удалось спасти. Хотя доступ к материалу и расшифровка его были нелегким делом.

— ?..

— Да. Как вы убедитесь, это предварительные свидетельства об участии Отдела внутренней безопасности в деле Анны Петкановой.

Сообщение не очень заинтересовало Солинского. «Под каждым забором — дохлая свинья», — пробормотал он. В самом деле, если покопаться, мало что в общественной жизни страны за последние пятьдесят лет обходилось без участия Отдела внутренней безопасности.

— Так точно, — Ганин все стоял с протянутой папкой. — Вы желаете, чтобы мы продолжали вас информировать?

— Если... — Солинский почти машинально взял папку. — Если вы считаете целесообразным.

Мда... Как легко он скатился к этим старым формулировкам. А с чего бы это у него вырвалось «Под каждым забором — дохлая свинья»? Совсем не его стиль. Скорей похоже на обвиняемого по Уголовному делу № 1. Может быть, он от него заразился? Надо бы ему поупражняться и научиться говорить «Да» и «Нет», «Все это чушь» и «Проваливай».

— Мы желаем вам успехов в дальнейшем расследовании, господин Генеральный прокурор.

— Да, благодарю вас.

Проваливай. Переодень солдата в штатское — и он тут же станет в два раза болтливей.

— Благодарю.

Проваливай.

***

Вера шла по площади Святого Василия-мученика. Площадь эта за сорок лет побывала и Сталинградской, и площадью Брежнева, и даже, в попытке решить все проблемы разом, площадью Героев Социализма. Затем вот уже несколько месяцев площадь остается безымянной. Голые кряжистые металлические столбы, подобно облетевшим зимним каштанам, ждут весны. Деревья ждут, когда они вновь оденутся листвой, а столбы — когда на них расцветут таблички с названием площади. И в один прекрасный день город вновь обретет площадь Святого Василия-мученика.

Вера знала, что хороша. Она была довольна своим скуластым лицом, широко расставленными карими глазами, ей нравились ее ноги, и она знала, что яркие цвета, которые она носит, ей идут. Но проходя по площади Святого Василия — а она это делала ежедневно в десять утра, — она чувствовала, что каким-то таинственным образом превращается в старую каргу. И это длилось вот уже несколько месяцев. Из доброй сотни мужчин, постоянно толпившихся около западных ворот сквера, ни один не смотрел на нее! А если и случалось кому-то взглянуть, он тут же отводил глаза, не задерживаясь на ее стройных ногах, не улыбаясь вслед развевающемуся вокруг ее шеи шарфу.

До Перемен всякое сборище людей с числом участников более восьми требовало обязательной регистрации. А процедура регистрации могла быть очень строгой, вплоть до того, что люди в кожаных пальто записывали фамилии и адреса. С тех пор как начались Перемены, это зрелище — беспорядочный людской водоворот — стало делом обычным. Прохожие втягивались туда машинально, точно так же, как они присоединялись к очередям в смутной надежде на десяток яиц или полкило моркови. Но в этой толпе возле сквера было что-то странное: она состояла только из мужчин, в основном между восемнадцатью и тридцатью годами, то есть людей того возраста, которые всегда заглядывались на Веру. Эти же ее не замечали, пребывая в состоянии некоего упорядоченного возбуждения; что-то напоминающее пчелиный рой было в том, как их одного за другим втягивало от периферии группы к центру, а потом выбрасывало оттуда несколько минут спустя. Некоторые, очевидно получившие то, чего добивались, быстро уходили через западные ворота сквера, остальные продолжали бесцельно маяться, сновать туда и сюда.

Порнография — первое объяснение, пришедшее Вере на ум. Кому не попадались на глаза кучки мужчин, возбужденно толкущихся вокруг перевернутого пивного ящика, на котором лежит тускло пропечатанный журнальчик. А иногда на таком прилавке стояла бутылка какой-нибудь заграничной выпивки и несколько стаканчиков; бутыль обычно извлекалась из мусорного бачка какой-нибудь из туристических гостиниц и заливалась заново ядовитым пойлом домашнего производства. А еще это может быть черный рынок. Возможно, те счастливцы, что так быстро уходили через западные ворота, отправлялись за контрабандой. Впрочем, возможно, это была какая-нибудь религиозная церемония, или сборище партии монархистов, или астрологов, или нумерологов[1]; может, это были игроки в азартные игры, а то и члены секты Муна. Во всяком случае, такие суматошные, возбужденные кучки людей редко бывают связаны с новыми демократическими структурами, с проблемами загрязнения окружающей среды или земельной реформой. От таких людишек всегда отдает чем-то запрещенным, эскапистским, в лучшем случае хамским стремлением что-то урвать. И они на нее не обращали внимания.

***

Бабушка Стефана отказалась смотреть телерепортажи о процессе, и студенты поначалу немного стеснялись ее. Она сидела в нескольких метрах от них на кухне под маленькой, заключенной в рамку фотографией Ленина, которую никто не осмелился бы предложить ей снять со стены. Бабушка была приземистой, шарообразной старушкой с запавшим беззубым ртом. Впечатление шарообразности еще усиливалось благодаря круглой вязаной шапочке, которую она не снимала даже дома. Разговаривала она мало, считая, что по нынешним временам на большинство вопросов и не требуется ответов. Кивнет бабушка головой, пожмет плечами, протянет гостю тарелку, иногда улыбнется — этим вполне можно обойтись. Особенно если имеешь дело с компанией Стефана.

[1] Нумерология — искусство гадания по цифрам. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

Уж больно много они болтают: усядутся у телевизора и несут что ни попадя, тараторят, галдят наперебой, ни на чем не могут сосредоточиться, ну чисто птенцы в гнезде. И мозги у них птичьи.

Девушка была с ней вежлива, уважительна, но остальные... Особенно этот, как бишь его... Атанас. Вот и он уж явился, просунул в дверь свой клюв и уставился круглыми птичьими глазками на портрет на стене.

— Привет, бабуля! Это кто, ваш первый муж?

Неужели же на это нужно отвечать? А он кричит:

— Эй, Димитр! Ты видел фотографию бабулиного дружка?

Вот и второй птенец пролез на кухню и всматривается в фотографию, будто не узнает.

— Что-то он какой-то кислый, бабуля.

— Да и староват для вас.

— Я бы его убрал, бабуля. Очень уж он плохо выглядит.

На все это, конечно, не надо отвечать.

Как раз накануне вечером она накинула шарф на свою шапочку, сняла картинку со стены и, никому ни слова не сказав, вышла из дому. Она доехала трамваем до площади Антифашистской Борьбы: она по-прежнему так называла эту площадь, какое бы название ни выкрикивали эти нахалы водители автобусов. Купила у какого-то крестьянина три алых гвоздики, тот заломил было с нее втридорога, прикинув, что раз она идет на митинг, то, наверное, коммунистка и, стало быть, виновата во всех его бедах. Но бабушка Стефана с необычным для нее красноречием так пристыдила торговца, что цена сползла до нормальной. И вот она стоит среди нескольких сотен несгибаемых, а вокруг прохаживаются крепкие парни — они явно не члены Партии. Как долго протянется это, прежде чем Партия снова окажется под запретом и вынуждена будет вновь уйти в подполье? Прежде чем фашисты снова вынырнут на поверхность и бравые молодчики разыщут на чердаках выцветшие зеленые рубашки своих дедов-железногвардейцев? Она видела впереди неизбежный возврат эксплуатации трудового люда, безработицу и инфляцию, которые, конечно, будут использованы как средство политического давления. Но она видела и тот далекий миг, когда люди пробудятся, расправят плечи и революция снова начнет свой славный путь. Бабушка Стефана ни минуты не сомневалась в том, что эти дни придут, но она знала, что ей до них не дожить.

***

Только в конце недели Петр Солинский нашел время заглянуть в досье, оставленное ему шефом Народных сил безопасности. АННА ПЕТКАНОВА, 1937 — 1972. Любопытно, он так часто видел эти даты, что помнит их наизусть. Имя и даты — на почтовых марках, на мемориальных досках, концертных программках, на статуе перед Дворцом культуры, носящим теперь ее имя. Единственный ребенок президента Стойо Петканова. Путеводная звезда юного поколения. Министр культуры. Фотографии Анны Петкановой: пионерка с ямочками на щеках, в алом берете; припавшая к микроскопу студентка-химик, с внимательным и серьезным лицом; чуть располневшая Анна, посланец работников культуры, получает цветы на аэродроме, возвращаясь из заграничных поездок. Вдохновляющий пример для всех женщин страны. Воплощение духа социализма и коммунистического будущего, их олицетворение. Молодой министр рассматривает проекты Дворца культуры (того самого, что носит теперь ее имя), министр, порядком уже раздобревшая, принимает цветы от ансамбля народных танцев; сидя в президентской ложе, внимательно слушает симфонический концерт. И вот вконец разжиревшая Анна, министр — сигарета в зубах, — хмуро внимает выступлениям в Союзе писателей. Анна Петканова, непомерно толстая, так и не вышедшая замуж, любительница сигарет и застолий, умерла в тридцать пять лет. Общенародный траур. Крупнейшие кардиологи страны не спасли ее, несмотря на самые современные средства. Ее старик отец под снегопадом, с обнаженной головой стоит по стойке «смирно», пока возле крематория развеивают по ветру ее прах. И табличка на стене повторяет имя и даты: АННА ПЕТКАНОВА, 1937 — 1972.

Ну что ж, думал Солинский, проглядывая отчет Ганина, вполне обычное дело. И нет ничего удивительного в том, что Отдел внутренней безопасности вел досье на президентскую дочку, а некий вполне высокопоставленный со-

трудник Министерства культуры поставлял для этого досье материалы, что отношения министра с тем гимнастом, серебряным медалистом Балканских игр, тоже находились под пристальным наблюдением. Гимнаст, вспомнилось Солинскому, через несколько недель после смерти Анны жутко напился на каком-то банкете, и вскоре после этого ему позволено было эмигрировать: так это называлось на официальном языке, в действительности же гимнаста растолкали на рассвете и отвезли к самолету, не позволив даже переодеться.

Стойо Петканов объявил по всей стране недельный траур. Отец и дочь были очень близки. После того как Анну назначили министром, она все чаще появлялась рядом с отцом, заменяя свою больную мать, явно предпочитавшую подолгу жить в одной из загородных резиденций. Пошли слухи, что Петканов готовит дочь себе в преемники. А еще говорили, что президентова дочка оттого так располнела, что за границей пристрастилась к американским гамбургерам; поскольку она не сумела научить искусству их изготовления президентских поваров, ей доставляли замороженные гамбургеры самолетом. Гамбургеры оптом в дипломатическим багаже.

Все эти слухи более или менее подтверждались в отчете генерал-лейтенанта Ганина с добавлением некоторых подробностей о жене президента. Оказывается, она в преклонных летах тайком посещала церковь в своей родной деревне, а болезнь ее в основном объяснялась неумеренным потреблением водки. Но все это стало уже историей. Анна Петканова (1937 — 1972) умерла. И ее мать умерла. Стойо Петканову предъявлен судом целый ряд обвинений, но богомольная жена-алкоголичка в их число не входит. А гимнаст?

Насколько мог вспомнить Солинский, тот жил некоторое время в Париже, не особенно там преуспел и перебрался тренером спортклуба в какой-то американский город на Среднем Западе. Говорили, что как-то ночью он, пьяный вдребезги, шагнул под колеса грузовика и погиб. А может быть, это случилось с кем-то другим?

Все это было давным-давно. Генеральный прокурор отложил папку и посмотрел в окно. Солнце клонилось к закату и играло лучами на штыке монумента Вечной Благодарности Красной Армии—Освободительнице. В один из Первомаев он впервые увидел Анну Петканову. Горящая страстью к науке студентка-химик на этот раз сопровождала своего отца при церемонии возложения венков. Перед Солинским вновь возникла плотная, коренастая фигура, плосковатое, словно слегка сплющенное лицо, волосы, собранные жгутом на макушке. В те времена она, конечно же, казалась ему неизъяснимо прекрасной, и он готов был за нее умереть.

***

В одном отношении этот процесс был похож на большинство других процессов, имевших место за последние сорок лет: Председатель суда, Генеральный прокурор, защитники, подсудимый — он-то, кстати, больше всех остальных — понимали, что власть требует только обвинительного приговора. Однако, кроме этого, в деле не было ни малейшей определенности: ни твердых указаний, ни судебных традиций, на которые можно было бы опереться. В старые добрые времена монархии случалось, что кого-нибудь из членов Кабинета отрешали от должности, а двух премьеров лишали поста, применив суровый демократичный способ политического убийства. Но не существовало прецедента открытого и гласного суда над отправленным в отставку лидером. И хотя материалы обвинения были строго ограничены, чтобы по основным хотя бы пунктам подсудимый никак не мог избежать осуждения, однако Председатель и оба члена суда чувствовали, что есть негласное разрешение, переходящее для них в гражданский долг, не препятствовать судебному разбирательству расширяться как угодно. Вопросы сбора улик и их допустимости трактовались весьма вольно, свидетеля могли допросить в любое время заново, стороны оперировали гипотезами, лежащими за пределами всякого правдоподобия. Словом, атмосфера в Храме Правосудия напоминала скорей не церковь, а базар.

Старый барышник Стойо Петканов не возражал. Процедурными вопросами он интересовался редко, предпочитал широкий фронт защиты и еще более широкий фронт для контратаки. У Генерального прокурора имелись столь же широкие возможности и в перекрестных допросах, и в общих выводах, а уж суд старался, чтобы представитель новой власти не проигрывал бывшему президенту.

— Вы предоставили 25 июня 1976 года, или же распорядились предоставить, или же позволили предоставить упомянутому Милану Тодорову трехкомнатную квартиру в Золотом секторе комплекса «Восход»?

Петканов ответил не сразу. Сначала он придал своему лицу выражение комического возмущения.

— Откуда мне знать? Вы помните, чем занимались пятнадцать лет назад между двумя глотками кофе? Так расскажите!

— Тогда я расскажу вам. Вы выдали или же разрешили выдать этот ордер, совершенно не соответствовавший нормам распределения жилой площади.

Петканов крякнул. Обычно этот звук обозначал, что он переходит в атаку.

— У вас хорошая квартира? — неожиданно спросил он и, когда Солинский замешкался, поторопил его с ответом: — Ну, выкладывайте, должны же вы знать, хорошая ли у вас квартира?

(— У меня дерьмовая квартира. Поправка. У меня двадцать процентов дерьмовой квартиры.)

Свою квартиру Солинский никогда высоко не ценил, да и не очень-то задумывался об этом. Мария ею недовольна, это он точно знал. Но охаивать свое жилье публично не годится. И потому он ответил:

— Да, у меня хорошая квартира.

— Вот как. Поздравляю. А у вас хорошая квартира? — повернулся Петканов к испуганно взиравшей на него стенографистке. — А у вас, господин Председатель суда? Надеюсь, вам по службе полагается хорошая квартира. А у вас? А у вас? А у вас?

Он задавал вопросы членам суда, государственным адвокатам Милановой и Златаровой. Он спрашивал начальника конвоя, и ни от кого не ждал ответа. Тыкал пальцами в разные стороны, туда, туда, туда. А у вас? А у вас?

— Хватит, — вмешался наконец Председатель. — Здесь не Политбюро. И нечего разговаривать с нами как с дураками.

— А вы не ведите себя как дураки. Что за обвинения вы мне предъявляете? Кого может сейчас волновать, что пятнадцать лет назад одному ветерану было разрешено жить в двух комнатах вместо одной? Если это все, что вы можете мне предъявить, я, выходит, не так уж много нагрешил, стоя у штурвала государства.

(— Опять он про штурвал! Сейчас я заткну ему глотку. — И Атанас снова плюнул дымом в лицо Петканова.)

— А вы предпочли бы, — смело перешел к другому вопросу Солинский, — быть обвиненным в насилии над народом и в экономическом вандализме?

— У меня нет счета в швейцарском банке.

(— Значит, он у тебя в каком-то другом.)

— Отвечайте на вопрос.

— Я никогда и ничего не вывозил из этой страны. Вы говорите о грабеже и насилии. При социализме к нам поступала помощь от советских товарищей из их сырьевых ресурсов. Это вы сегодня приглашаете американцев и немцев именно для насилия и грабежа.

— Они вкладывают деньги...

— Ха! Они вкладывают в нашу страну гроши, чтобы вытянуть из нее миллионы. Типичные приемы капиталистов и империалистов. Тот, кто позволяет это делать, не только предатель, он еще и экономический кретин.

— Благодарю за лекцию. Но вы так и не ответили, какие обвинения вы бы предпочли. Какие преступления вы готовы признать?

— Как вы легко бросаетесь словами! Преступления! Да, я признаю, что допускал ошибки. Как миллионы моих соотечественников, я работал, и я ошибался. Мы работали, и мы ошибались, но страна шла вперед. Нельзя ставить главе государства в вину отдельные факты, вырванные из контекста эпохи. Я здесь защищаю не только себя, но и те миллионы патриотов, которые бескорыстно трудились все эти годы.

— В таком случае вы, может быть, расскажете суду о тех «ошибках», в которых вы соблаговолили признаться и которые, как вы, к счастью для себя, считаете, более простительны, чем преступления.

— Да, — сказал Петканов, к удивлению прокурора: он никак не ожидал, что подсудимый способен ограничиться таким простым словом. — Я беру на себя ответственность за кризис 12 октября и хотел бы, чтобы доля моей ответственности стала более ясной. Я думаю, — продолжал он, вновь обретая тон,

подобающий государственному деятелю, — что я, возможно, несу ответственность за внешний долг страны.

— Ага, хоть в чем-то вы признаете свою ответственность. Вспоминаете какие-то конкретные нарушения и готовы за них отвечать. И какой же, по вашему мнению, приговор заслуживает человек, который, пытаясь во что бы то ни стало удержаться у власти, увеличил внешний долг до таких размеров, что на его выплату каждый гражданин нашей страны должен отдать свой двухлетний заработок?

Петканов ответил сразу же:

— Больше всего здесь постарались вы. Инфляция, насколько мне известно, дошла теперь до сорока пяти процентов, в то время как при социализме ее вовсе не было, ведь мы с ней боролись, применяя научные методы. Во время октябрьского кризиса я, естественно, консультировался с лучшими экономическими экспертами партии и государства и опирался на их письменные заключения. Но я требую, чтобы степень моей личной ответственности была тоже определена. А затем, разумеется, — закончил он, явно довольный собой, — судить об этом должен народ.

— Господин Генеральный прокурор, — сказал Председатель суда, — я думаю, пора вернуться к делу.

— Прекрасно. Итак, господин Петканов, виновны вы в этом нарушении или нет: вы предоставили 25 июня 1976 года, либо приказали предоставить, либо позволили предоставить упомянутому Милану Тодорову ордер на трехкомнатную квартиру в Золотом секторе комплекса «Восход».

Петканов усталым жестом, как бы отмахиваясь от вопроса, опустился на стул.

— У вас хорошая квартира? — спросил он, ни к кому не обращаясь. — А у вас? А у вас? А у вас? — Он повернулся к заботливо склонившейся к нему надзирательнице: — А у вас?

(— У меня-то дрянь квартира, — сказал Димитр. — Двадцать процентов самой настоящей дряни.

— А чего же ты хочешь? Ты же должен президенту Бушу заработок за два года. Скажи спасибо, что не с цыганами живешь.

— Мы работали и ошибались. Мы работали и ошибались.

— Да, мы здорово ошибались.)

***

Чтобы дождаться автобуса, которым она ездила на работу, Мария Солинская целый час простояла возле дома комплекса «Дружба-1». Нет, у меня нет хорошей квартиры, думала она. Я хочу такую квартиру, где бы у Ангелины была не клетушка, а нормальная комната, где не отключали бы каждые два часа электричество и из крана шла вода, а не раздавалось лишь одно шипение, как сегодня утром. Все разладилось в нашем городе. Из-за нехватки бензина с улиц исчезли автомобили. Даже переведенные на газ машины стоят без дела, завернутые в пленку, с тех пор как было ограничено потребление газа для частных лиц. Автобусы ходят лишь тогда, когда подвезет бензин автоцистерна, когда починит двигатель механик, когда бандиты, сидящие за рулем, соизволят разнообразия ради вернуться на работу с черного рынка.

Ей сорок пять лет, и она все еще привлекательна, думала Мария, хотя остывающий пыл Петра не очень-то способствует такой уверенности. Но сейчас, во время Перемен, люди так страшно заняты или слишком измотаны, и, понятно, им не до любви. Вот и любовь пошла на убыль. А уж занимаясь любовью, они жутко боятся последствий. Статистика последнего года утверждает, что число рождений ниже количества абортов и числа смертей. Говорит это о положении в стране?

В самом деле, жена Генерального прокурора не должна часами ждать автобуса и встречать зарю трудового дня в окружении крепких крестьянских задов. А работала она как будто всегда хорошо, с полной отдачей. Ее отец был героем антифашистской борьбы. Дедушка — один из первых членов Партии, он вступил в нее еще раньше Петканова. Она ни разу в жизни его не видела, долгое время о нем почти и не упоминали, но после того как пришло письмо из Москвы, они снова могли им гордиться. Правда, Петр, когда она показала ему этот документ, не разделил ее радости. «Из двух неправд прав-

ду не скроишь», — заметил он в теперешнем своем обычном тоне: спокойно, уверенно, с торжеством.

Она вышла за него замуж, когда ей было двадцать. Вскоре после этого его отец совершил какую-то глупость. Его сослали в деревню, и люди говорили, что он еще легко отделался. И вот примерно в том же возрасте Петр выходит из партии; выходит по-дурацки, самым вызывающим образом, даже не посоветовавшись с ней. В нем была какая-то неугомонность, вечно он напрашивался на неприятности, точь-в-точь как его папаша. Вот теперь вдруг взялся быть обвинителем в деле Петканова. Немолодой уже профессор вздумал играть роль современного героя! Бедняга. Проиграет процесс — его в порошок сотрут, а выиграет — половина народа его возненавидит, а другая половина скажет, что он мог и лучше все это провести.

***

Генерал-лейтенант Ганин вошел, протягивая папку. Возможно, он так и проснулся утром с папкой в руках и, не зная, как от нее отделаться, заторопился на свидание с Генеральным прокурором.

— Мы надеемся, господин Генеральный прокурор, что процесс проходит в соответствии с вашими ожиданиями.

— Благодарю вас. Это вы о чем?

Солинский протянул руку, взял папку и вопросительно взглянул на генерала.

— Поясняю. Это донесение о нашем расследовании работы Специального технического отдела на Резковой улице. Главным образом за период с 1963 по 1980 год, до того момента, когда отдел был переведен в северо-восточный сектор. Многие из отчетов отдела сохранились полностью.

— Лучшие их работы?

— Кто это может определить, господин Прокурор?

Генерал напряженно застыл перед Солинским и больше напоминал сейчас лейтенанта из провинциального гарнизона, чем одну их ключевых фигур государственной перестройки.

— Ну хорошо... Теперь по другому вопросу...

— Слушаю, господин Генеральный прокурор.

— Вы случайно не знаете... Это к делу не относится, мне просто интересно, что стало с тем бородатым студентом, который расцеловал вас тогда, на снегу?

— Ковачев. Разумеется, знаю. Он организует очереди за визами в консульстве Соединенных Штатов.

— То есть он работает у американцев?

— Нет, что вы. Вы, возможно, видели людей на площади Святого Василия? Они стоят в очереди в американское консульство.

— Я что-то не понимаю...

— Они не хотят стоять на улице возле консульства. То ли стесняются, то ли боятся, что люди их осудят или что-то похуже случится. В этом роде. Вот почему они организовали свою собственную очередь. В саду у западных ворот. Руководит всем этим Ковачев. Вы получаете номер и каждое утро приходите узнать, не подошла ли ваша очередь. Если не подошла — придете на следующий день. Никакого жульничества с номерами. Ковачеву все беспрекословно подчиняются. Он великолепный организатор.

— Вот такие нам и нужны.

— Ничего не получится. Я уже пробовал. Когда я получил вот это, — Ганин машинально хлопнул себя по плечу, словно жена нашила звездочку и на штатский костюм, — он мне прислал открытку. Там было написано: ДАЕШЬ ГЕНЕРАЛОВ ВМЕСТО ХЛЕБА.

Солинский усмехнулся: да, этот Ковачев сильная личность, не то что мой зануда генерал.

— Так на чем же мы остановились?

— Мне кажется, вас могут заинтересовать исследования, проводившиеся на Резковой улице. Они относятся к возможностям симулирования различных заболеваний.

— Конкретно?

— Конкретно: провоцирование симптомов остановки сердца путем перорального и внутривенного введения препаратов.

— А еще что?

— Что еще?

— У вас есть свидетельства того, что эти методы применялись в каких-либо случаях?

— Нет, господин прокурор. В этой папке таких данных нет.

— Ну что ж. Благодарю вас, генерал.

— К вашим услугам, господин Генеральный прокурор.

***

Прошел еще один долгий день, и по-прежнему ничего не получено. Это как губка — выжимаешь ее, выжимаешь, она уже совсем сухая, а нажмешь случайно еще раз, и побежит по пальцам вода. Тщательнейшим образом подготовленные свидетельства о непомерной алчности бывшего президента, его бесстыдного стяжательства, безумных растрат, даже клептомании, каким-то образом улетучивались в зале суда на глазах миллионов зрителей. Ферма в Северо-Западной провинции? Так это же юбилейный подарок от благодарного народа к двадцатой годовщине его пребывания во главе государства. И подарено-то это было временно, лишь до конца его жизни, и бывал он там редко, лишь для встреч с высокопоставленными зарубежными гостями, что способствовало укреплению социализма и коммунизма. Дом на Черном море? Предоставлен ему Союзом писателей и издательством имени Ленина в знак признания его заслуг перед литературой, а также с целью хоть частично возместить его отказ от половины гонорара за «Собрание речей, статей и документов» (32 тома, 1982 год). Охотничий домик на Западных холмах? Центральный Комитет в ознаменование сорокалетней плодотворной деятельности в рядах Коммунистической партии единогласно проголосовал... И так далее, и тому подобное.

Чем дальше шло дело, тем более непредсказуемым становился Петканов. Накануне заседания Генеральный прокурор не мог предугадать, как поведет себя подсудимый: будет ли он отвечать с возмутительной агрессивностью, будет ли он шутить или примется банально философствовать, впадет ли в сентиментальность или в угрюмую замкнутость, не говоря уж о том, когда и почему он вдруг переключится с одной линии поведения на другую. Было ли это хитроумной стратегической уловкой или просто обличало глубинную неустойчивость психики? Увозя с собой в машине папку с еще одним документально подтвержденным свидетельством о совершении какого-нибудь пустяка, Солинский удивлялся, до чего же мало он продвинулся в умении понимать подсудимого и предугадывать его тактику. Сможет ли он хоть когда-нибудь постичь эту загадочную личность?

Поднявшись на шестой этаж, он застал бывшего президента весьма общительным и оживленным, словно тот, специально чтобы досадить прокурору, решил выбрать самое благодушное настроение. Что ж, в конце концов разве Стойо Петканов и в самом деле не был нормальным человеком, с самым нормальным характером, и разве не прожил он нормальную жизнь? Так что мешает ему сегодня излучать жизнерадостность и бодрость?

— Знаешь, Петр, я только что вспоминал. Мальчишкой я не раз участвовал в загородных вылазках Союза коммунистической молодежи. Помню, как мы в первый раз поднимались на гору Рыкоша. Был конец октября, снег уже выпал, и облака опустились так низко, что из города вершину горы нельзя было разглядеть.

— Теперь ее не видно круглый год, — отозвался Солинский. — Загрязнение окружающей среды. Вот такие у нас теперь достижения!

— Мы карабкались на гору все утро, — не обращая внимания на реплику, спокойно продолжал Петканов. — Земля у нас под ногами была неровной, то и дело попадались валуны, и тропинку было еле видно. Несколько раз нам пришлось перебираться через каменные реки. Это какая-то геологическая штука, не знаю, как она у них называется по-научному. А потом мы вошли в облако и некоторое время вообще ничего не видели и так обрадовались, когда наконец снова смогли разглядеть тропу, по которой раньше нас прошли другие.

Нам уже хотелось есть, и решимость нас покидала, впрочем, из товарищей никто не жаловался; мокрые ноги, мышцы ноют от усталости, — в таком виде мы наконец вышли из облака. А над облаками сияет солнце и небо синее, и снег

начал подгаивать, и воздух чист. И тогда мы не сговариваясь запели «Смело, товарищи, в ногу...», и так вот с песней, взявшись за руки, добрались до вершины.

Петканов взглянул на гостя. Столько лет этот рассказ вызывал сочувственные кивки и слезы умиления. Солинский смотрел на него отчужденно и враждебно — вот все, что он мог предложить.

— Избавьте меня от ваших дешевых притч, — сказал Генеральный прокурор.

Боже, сколько же он наслушался за свою жизнь этих объедков крестьянской мудрости — проповедей, притч, нравоучений. Он неожиданно процитировал одно из них: *«Не выкопаешь яму — дерево не посадишь».*

— Это правильно, — благодушно согласился Петканов. — Разве ты видел хоть одно дерево, посаженное без ямы?

— Нет, кажется, не видел. Зато видел очень много ям, куда ни единого дерева так и не посадили.

— Слушай, Петр. Не надо думать, сынок, будто бы я ничего не смыслю в жизни. Поверь мне, люди как раз тем и живут, что *ты называешь* дешевыми притчами.

— Рад, что вы это сказали. Мы-то всегда понимали, что в глубине души вы презираете людей, что вы никогда в них не верили. Потому вы и держали их все время под надзором.

— Ах, Петр, Петр, к голосу-то моему ты привык, но попытайся все же вслушаться в суть того, что я говорю. Это может тебе сгодиться и на твоем большом посту Генерального прокурора, да и не только там.

— Я вас слушаю.

— Я вот что тебе сказал: мне известно, что народ живет дешевыми притчами, как *ты их назвал,* но не я его презираю за это, а ты. Ты сын моего старого товарища, а твой отец какое-то время считался теоретиком Партии. Может, он теперь и насчет пчел разработал теорию? Ты интеллектуал, это сразу видно, а я простой мужик из самой гущи народа.

— Простой мужик с собранием речей и документов в тридцати двух томах.

— Мужик порядком поработал. Но я умею говорить с народом и слушать его.

На этот раз Солинский не стал возражать. Он почувствовал усталость. Пусть старик мелет что вздумается, они ведь не в зале суда. Он не верил ни одному его слову и сомневался, верит ли сам Петканов этим словам. Интересно, можно ли обозначить в терминах риторики их однобокую полемику, в которой ханжеские монологи наталкиваются на презрительное молчание?

— А это значит, что я понимаю нужды народа. Ты можешь мне сказать, чего хотят люди?

— Я вижу, вы себя назначили экспертом по этому вопросу.

— Да, конечно, я эксперт. Так чего же хотят люди? Они хотят стабильности и надежды. И мы им это давали. Не все было прекрасно, но при социализме люди могли мечтать, что когда-нибудь все придет. А вы? Вы принесли им нестабильность и отняли надежду. Преступность. Черный рынок. Порнография. Проституция. Ошалелые бабы снова бухаются в ноги попам. Этот так называемый наследный принц сам себя предлагает в спасители отечества. Вы гордитесь вашими быстрыми успехами?

— Преступность была всегда. Вы только скрывали это.

— На ступенях Мавзолея Первого Вождя торгуют порнографией. Вы считаете это забавным? Мудрым? Это прогресс по-вашему?

— Ну, его там уже нет, так что он это не прочтет.

— Нет, скажи, ты считаешь, что это прогресс? Ну давай же отвечай мне, Петр.

— Я считаю, — начал Солинский, в котором, несмотря на усталость и скуку, проснулся профессиональный полемист, — я считаю, что это вполне соответствует месту. — Петканов сердито взглянул на него. — Первый Вождь, должен сказать вам, был специалист по порнографии.

— Ничего себе определение!

— Очень точное. Вы говорите, что дали людям надежду. Нет, не надежду вы им дали, а фантазию. У каждой большие груди, у каждого крепкий член, и все всласть совокупляются — вот чем торговал ваш Первый Вождь, политическим эквивалентом этого, во всяком случае. И социализм ваш был такой же фантазией. Еще более невероятной. В том, чем сейчас торгуют у Мавзолея,

есть по крайней мере хоть какая-то правда. Кусочек истины в этом дерьме.

— Так кто же из нас занимается дешевыми притчами, Петр? И как приятно слушать Генерального прокурора, защищающего порнографию. Значит, вы и инфляцией можете гордиться, и черным рынком, и проститутками на улицах?

— У нас есть трудности, — согласился Солинский. — Это переходный период. Реорганизация всегда болезненна. Нам предстоит научиться понимать реалии экономической жизни. Научиться производить такие товары, чтобы люди захотели покупать их. Тогда мы и добьемся процветания.

Петканов радостно фыркнул.

— Порнуха, дорогой мой Петр. Титьки и пипки. Титьки и пипки вам, вот и все.

***

— Знаете о чем я думаю?

— Ты думаешь, Димитр, что смотреть это больше не надо.

— Правильно, но теперь я понял, почему так думаю.

— Пива, пожалуйста.

— Дело вот в чем. Нас воспитывали и в школе, и по телевидению, и в газетах, и родители наши, и все остальные в убеждении, что социализм решает все проблемы. Иными словами, что социализм — это правильная, научно обоснованная система, а все старые системы испробованы и не работают больше, правильна же только эта одна, при которой нам посчастливилось жить, она-то и есть... единственно правильная.

— Но на самом деле никто так не думал, Димитр.

— Может быть. Но мы считали, что другие так думают, правда, пока наконец не узнали, что большинство из них попросту притворяется. И тогда нам стало ясно, что социализм не идеальнейшая из всех систем и что к каждой проблеме можно подходить по-разному.

— Да мы это с пеленок знаем.

— Всегда можно выбрать одно или другое.

— Занятно ты говоришь, Атанас.

— Я вот к какому выводу пришел, день за днем наблюдая этот процесс, слушая обвинения, защиту, ожидая судейского решения, — все это слишком уж хорошо для него.

— Конечно, обвинения-то пустяковые.

— Не в этом дело. В этом процессе все не соответствует реальности. Потому что здесь мы отталкиваемся от того, что к этой проблеме не может быть двух отношений, а лишь одно. Все, что он говорит, — сплошная ложь и лицемерие. Это нельзя слушать.

— Так что же, лучше было бы устроить суд совести?

— Нет, вовсе нет. Мы просто должны сказать себе, что здесь обсуждается вопрос, имеющий одну-единственную сторону. Продолжать этот процесс — значит с ним согласиться, допустить, что даже в этом случае, самом неблагоприятном для него, все же есть другая сторона. А ее здесь нет, вот и все. В некоторых вопросах существует только одна сторона.

— Браво, Димитр! Налейте-ка ему пива.

Они помолчали. Потом Вера сказала:

— Значит, завтра собираемся у Стефана. В обычное время.

***

— Знаете, генерал-лейтенант, со стороны можно подумать, что вы стараетесь вовсю, чтобы бывшему президенту вынесли оправдательный приговор.

— Господин прокурор! — Глава Народных сил безопасности был в изумлении.

— Ну конечно. Вы всегда появляетесь, когда я готовлюсь к очередному перекрестному допросу.

— Я приду попозже.

— Нет-нет. Итак, рассказывайте, что у вас на этот раз.

— Записи, касающиеся центрального политического руководства за годы с 1970-го по 1975-й.

— Я и не знал, что таковые существуют.

— В течение этого периода наблюдались негативные явления... Нет, вернее будет сказать, что негативные явления наблюдались в первой половине этого периода и были связаны с действиями и амбициями министра культуры.

Солинский позволил себе улыбнуться. Быстро же этот солдат превратился в бюрократа.

— Органы безопасности не одобряли некоторые симфонии Прокофьева?

— Не совсем так; но раз уж вы заговорили о музыке, да, действительно, программы Второго международного конгресса джаза были подвергнуты строгой критике.

— А я считал, что партия положительно относилась к джазу, это ведь подлинный голос угнетенного народа, терзаемого международным капиталом.

— Верно. И об этом неоднократно упоминалось. Но поскольку один из угнетенных исполнителей оказался редкостным индивидуалистом, да к тому же министр культуры слишком уж заботилась о его благосостоянии, то можно сказать, что делу социализма это приносило явный вред.

— Понятно! — Пожалуй, за этими закругленными формулировками все же скрывалось некое рудиментарное чувство юмора. — Ну и что дальше?

— А дальше то, что личные амбиции министра культуры были сочтены опасными и антисоциалистическими. Ее пристрастие к импортным продуктам и товарам было признано декадентским и противоречащим духу социализма.

— И пристрастия к импортным музыкантам?

— И это тоже. И честолюбивые замыслы самого Президента относительно его дочери, согласно предварительным заметкам к заключительному докладу, который пока еще не обнародован, также были признаны наносящими вред государству.

— В самом деле? — Это уже интересно. К Уголовному делу номер один все это имеет мало отношения, однако очень интересно. — Вы имеете в виду, что она была убита по распоряжению Отдела внутренней безопасности?

— Нет.

— Какая жалость.

— У меня нет никаких доказательств.

— Но допустим, вы обнаружите такие доказательства.

— В этом случае я, разумеется, передам их вам.

— А скажите, генерал, в какой степени действия Отдела внутренней безопасности находились в те дни под контролем?

Ганин немного подумал.

— Я полагаю, настолько же, насколько и всегда находятся. То есть я хотел сказать, находились. В одной области — строгий контроль и подробная отчетность. В других — детальные отчеты не требовались, лишь общее одобрение оперативных действий. А в особых случаях ОВБ действовал, исходя из своего собственного понимания оптимального обеспечения государственных интересов.

— Вы полагаете, они могли кого-то убрать?

— Да, конечно. Не так уж часто, насколько нам известно. И не очень многих.

— А с отпечатками пальцев, разумеется, как всегда дефицит?

— Так точно.

Солинский понимающе кивнул. Отчеты рассыпались в пыль. Отпечатки пальцев стерты. Тела давно отправлены в крематорий. В свое время каждый знал и понимал, что происходит. Но когда такие люди, как он, пытаются выстроить целую цепь обвинений против человека, заправлявшего всем механизмом в те времена, получается, что ничего подобного никогда не случалось, а если что и было, то было в порядке вещей, и потому почти простительно. Время свихнулось, но люди сговорились считать безумие нормальным.

А поскольку каждый знал, что происходит, значит, каждый молчаливо поддерживал происходящее. Или это слишком уж изощренно? Приписывать вину каждому — это уже другой, более современный сговор. Нет, люди молчали главным образом из страха. Вполне объяснимого страха. И неотделимая часть его теперешней ежедневной работы, которую люди смотрят по телевидению, — помочь этим людям побороть страх, убедить их, что страх этот уже не вернется.

* * *

Стойо Петканов усмехался, садясь в «зил», который подогнали для него к ступеням здания Народного суда. Он-то ездил на «мерседесе», по крайней мере в последние годы. Та «чайка», которую они ему предоставляли до сих пор, тоже вполне годилась, только тормозила туговато. А вот сегодня под каким-то предлогом ему пригнали этот паршивый «зил» образца шестидесятых. Ладно, этим его не возьмешь. Пусть хоть джип присылают — настроение у него от этого не станет хуже. Важно то, что происходит в суде. А там у него сегодня выдался удачный денек. Ну и погонял же он сегодня этого тощего лупоглазого интеллигентика, которого они напустили на него! Старая лиса заставила их сегодня поплясать под свою дудку.

Устраиваясь на непривычном сиденье «зила», он стал делиться своими соображениями с охраной.

— Со старой лисой, — начал он, — дело обстоит так...

Резкий стальной выкрик трамвайных тормозов. Трамвай, идущий по бульвару, вдруг остановился. Остановился и «зил». Ну что ты скажешь, все у них ломается. Даже автобусов водить не могут. Он вгляделся в толпу за расставленными кое-как барьерами. Что-то их уж слишком близко подпускают, подумал он; куда ближе, чем когда-то к его «мерседесу».

За самым ближним из барьеров Петканов увидел нескольких молодых хулиганов, грозивших ему кулаками. «Эх, вы, — молча отозвался он на их крики. — Это же я обул вас в эти самые ботинки, я построил больницу, где вас рожали, я построил вам школу, дал пенсию вашим папашам, я защитил страну от оккупации, а вы, засранцы, смеете грозить мне кулаками». Но они уже не только грозили. Они отодвинули барьеры, и несколько молодчиков бросились к машине. Дерьмо собачье. Дерьмо. Перевертыши. Прохиндеи. Так вот почему ему подсунули «зил», они решили разделаться с ним прямо под открытым небом... Тут он уткнулся лицом вниз, прямо в потертый красный коврик на дне машины, а на него всем своим весом навалился милиционер. Затем затарахтели громовые металлические удары, и шершавый красный коврик больно мазнул его по лицу, когда «зил» рванулся с места и полным ходом с визгом обогнул вагон трамвая. Так он и лежал, прижавшись к полу, пока машина не въехала во внутренний двор Министерства юстиции (бывшая Служба государственной безопасности).

— Ух ты, — произнес распрямляясь прикрывавший Петканова своим телом милиционер. — Дед-то наш никак обделался.

Он засмеялся, и водитель со вторым охранником захохотали тоже.

— Дерьмо у него в обеих штанинах, — прокомментировал водитель.

Они потешались над ним весь обратный путь до шестого этажа; специально вели его кружным путем, чтобы встретить как можно больше народу, и каждый раз придумывали новую фразу. «Дядя штанишки замарал», — говорили они. «Президенту на горшочек пора», — ржали во все горло, довольные своим убогим остроумием. В конце концов они привели его в его комнату и оставили там приводить себя в порядок.

Спустя полчаса прибыл с извинением Солинский.

— Прошу простить за оплошность охраны.

— Да, растерялись они. В противном случае вы бы уже могли показывать мое тело американским журналистам.

Он представил себе эти лживые газетные заголовки. Вспомнил чету Чаушеску, их распластанные у стены тела. Выследили и расстреляли по-скорому после тайного судилища. Забей кол в вурдалака быстрей, быстрей. Тело Николае, которого он на многих встречах обнимал, — в нем нет теперь жизни. Воротничок все так же чист, галстук аккуратно повязан, и ироническая полуулыбка на губах, на тех губах, к которым он столько раз прикасался при ритуальных поцелуях в аэропорту. А глаза остались открытыми, вспомнил Стойо. Чаушеску мертв, его труп показывали по румынскому телевидению, а глаза у него все еще были открыты. Что ж, ни у кого там не хватило смелости закрыть их?

— Совсем не то, что вы подумали, — объяснял Солинский. — Просто мальчишки, которым хотелось побарабанить по крыше автомобиля. У них и оружия-то никакого не было.

— В следующий раз. В следующий раз вы им дадите.

И погрузился в молчание. Солинский уже прослышал о конфузе, приклю-

чившемся с бывшим президентом. Пожалуй, он впервые выглядит таким — съежившийся, жалкий, самый обыкновенный старик, сгорбившийся за столом перед полупустой банкой йогурта. И вдруг он заговорил.

— Они любили меня, — произнес он. — Мой народ меня любил.

Оставить без ответа эту реплику, думал Солинский. Но чего ради? Только потому, что тиран навалил в штаны? Я же Генеральный прокурор и таковым останусь при любых обстоятельствах, об этом нельзя забывать. И он произнес спокойно и уверенно:

— Они вас ненавидели. Ненавидели и боялись.

— Больно просто у тебя выходит, — тут же откликнулся Петканов. — Конечно, тебя это больше устраивает. Вот ты и врешь.

— Они ненавидели вас.

— Они говорили, что меня любят. Много раз говорили.

— Если встать над человеком с палкой, и велеть ему признаваться в любви к вам, и все время бить его и бить, рано или поздно он скажет все, что вы хотите услышать.

— Ничего подобного. Они любили меня, — повторил Петканов. — Они называли меня Отцом Народа. Я посвятил им всю свою жизнь, и они это знали.

— Это *вы* называли себя Отцом Народа, а лозунгами размахивали тайные агенты в штатском, вот и все. Вас ненавидели все.

Не обращая больше внимания на Солинского, бывший президент встал, подошел к своей кровати в углу комнаты и лег. И снова повторил себе, потолку, Солинскому, застывшему в дверях безмолвному охраннику:

— Они меня любили. Вот что вам как кость в горле. И никогда вы с этим не примиритесь. Запомни.

И закрыл глаза.

Лежа в кровати, он, казалось, снова обретал твердость и упрямство. Плоть была дряблой, в складках, но костяк проступал резко и отчетливо. Солинский хотел уже отвести взгляд, как вдруг заметил стоявшую под низкой кроватью глиняную плошку, из которой тянулись по полу зеленые побеги. Значит, слухи не врут — Стойо Петканов и в самом деле ставит дикую герань под кровать, суеверно воображая, что это принесет ему крепкое здоровье и долголетие. Всего лишь вздорная причуда диктатора, но сейчас она испугала прокурора. Крепкое здоровье и долгая жизнь. Петканов любит хвастаться, что и отец его и дед дожили до ста лет. Этак и он протянет еще четверть века? Перед глазами Петра вдруг возникла картина будущей реабилитации президента. Он представил себе телесериал «*Стойо Петканов. Моя жизнь и мое время*» с девяностолетним звездой в главной роли. И себя, изображенным в этом сериале последним подлецом.

Бывший президент захрапел. Даже в этом он непредсказуем. В его храпе нет ничего болезненного и смешного. Напротив: это был властный храп, объявляющий, что аудиенция закончена. Генеральный прокурор послушно направился к двери.

***

Он разочаровался в людях. Они спасались бегством, умирали, хворали. Как истый крестьянин он презирал хворь. А они становились покорными, слабели, дряхлели. Чему он выучился в Варкове? Он прошел там испытание на прочность. Каторжный труд, побои тюремщиков, постоянное тревожное ожидание: вот-вот снова нагрянут фашисты в зеленых рубашках, с дубинками в руках. Железногвардейцы забили насмерть шестерых его товарищей по камере, пока охрана преспокойно играла в карты. Человек, прошедший суровую школу Варкова, любил повторять Петканов, не изменит делу социализма и коммунизма. А что шепнул ему товарищ во время прогулки в тюремном дворе в его первую неделю пребывания в Варкове?

В стенах тюремных узнаешь ты:
Камни дробятся, а души тверды.

Он остался верным. Его страна была самым верным из союзников Советского Союза, а потом началось предательство и все развалилось. Как крепки они были совсем недавно, как едины! Какое уважение внушали они всему миру, какой страх! В 1968 году мир увидел, что такое решительная и твердая братская помощь. Во Вьетнаме провалилась империалистическая авантюра фашис-

тской Америки. Социализм могучей поступью повсюду продвигался вперед: в Азии, в Африке, в Европе. Это было время великой надежды, когда вожди социализма непоколебимо стояли рядом, плечом к плечу.

А взгляните на них теперь. Эрих сбежал в Москву, спрятался, словно крыса, в чилийском посольстве и ждет самолета, чтобы перебраться в Северную Корею. Кадар умер, но сперва предательски открыл свои границы; венграм никогда нельзя верить. И Гусак тоже умер; сжираемый раком, он с перепугу позволил свершить над собой предсмертный обряд попу в сутане; а сломал его тот писака, которого ему давно надо было скрутить. Ярузельский, наоборот, переметнулся на другую сторону, утверждает, что поверил в капитализм. Чаушеску, тот по крайней мере пал в борьбе, если бегство и расстрел считать борьбой. Он всегда был лошадкой с норовом, Николае, все свою выгоду выискивал, бил и по тем и по другим воротам, отказался присоединиться к братской акции шестьдесят восьмого года. Но все-таки у него был крепкий хребет, и он до самого конца старался не отпускать вожжи.

А хуже всех этот придурок в Кремле, тот, которому птичка на голову нагадила. Ввязался в рекламную дуэль с Рейганом. Позвольте мне пожертвовать еще некоторым количеством СС-20, а вы, будьте так любезны, поместите меня на обложку журнала «Тайм». Человек года, Женщина года, вспоминал Петканов. Русские теперь не могут даже водочным ларьком управлять. Возьмите только этот неудавшийся переворот. Бедняжка Горбачев, как он попался на этом. А как до трогательного жалки гекачеписты. Очевидная же вещь — захвати радио и телевидение, захвати редакции газет, захвати парламентские издания и нейтрализуй опасных людей. А они что сделали? Позволили этому фашисту Ельцину разыграть из себя героя. Куда же годятся все уроки истории, если даже русские не могут организовать переворот?

И вот остался он один. Он видел, как это надвигалось, чувствовал возможность этого по крайней мере с тех пор, когда в девятьсот восемьдесят третьем году СЭВ резко поднял цены на нефть. А потом Горбачев начал выписывать кренделя вокруг Запада, клянчить доллары и прочие там блага. Вот и полетело все к черту в пекло. И сам Горбачев туда же; он, говорят, теперь профессор в Штатах, получает там чаевые. «Благодарю вас, мистер Президент, сэр». И разлетелся Советский Союз к чертовой матери. И ГДР — тоже к чертовой матери. Чехословакию еще и перекусят пополам, как морковку. Югославию тоже разделали на куски. А что случилось с ГДР! Притопали туда капиталисты, всех разорили, объявили производство неэффективным, повыгоняли всех с работы, да еще и прихватили себе каждый по старинному особняку, все законы подогнали под капиталистические — и все дела, и полетела к чертям ГДР. Та белобрысая сучка-бегунья, чемпионка всех чемпионатов — только это от ГДР и осталось. А граждане ее превратились в «восточников», граждан четвертого сорта, презираемых, безработных со смешными малолитражками. Экспонаты из зоопарка.

А он остался. «В стенах тюремных узнаешь ты: камни дробятся, а души тверды». Он сидел в тюрьме и раньше, с нее все начиналось, там он научился быть крепче гранитных камней. Таким он и останется. Он не поползет к попу, как Гусак, и в Москву не драпанет, он не Эрих. Эти новые правители, фашисты-природолюбцы вздумали привлечь его к ответственности. Они точно знают, чего хотят: старый обессилевший человек сознается в чем угодно, лишь бы ему сохранили жизнь. И он им очень тонко подыграл, еще на следствии: сотрудничать он отказывается, власть их не признает, отвергает их буржуазную юстицию и при этом все время твердит, что его единственное желание — удалиться на покой куда-нибудь в деревню и мирно доживать там свой век. День за днем долдонил он это, пока не уверился в том, что им до зарезу нужен гласный судебный процесс, на что он и рассчитывал.

Его не беспокоило, что с ним самим случилось, но его беспокоило, что случилось с его идеалами. На ступенях Мавзолея Первого Вождя торгуют порнографией. Попы сели за стол и ноги на стол. Заморские капиталисты рыщут по стране, принюхиваются, как псы к сучке. Этот кронпринц, как его опять величают в газетах, приглядывается к фамильным дворцам и твердит, что и не думает вернуться сюда как монарх — он просто в качестве обыкновенного бизнесмена хотел бы помочь своей родине. Прислал на разведку жену, та отправилась на футбольный матч, и весь стадион забыл про игру. А эти вечные разговорчики о том, что людям надо дать возможность на референдуме ре-

шить вопрос о монархии. Будто он давным-давно уже не решен. Старые штучки. Почему бы газетам не опубликовать фотографию трех дядюшек этого самого кронпринца в форме Железной гвардии?

Вот так и получилось, что он, Верный Продолжатель, долгие годы стоявший у штурвала страны, стал единственным защитником социализма. Этот лопух Горбачев профукал социализм, все профукал. Прибыл сюда с такой помпой, выкрикнул два своих знаменитых словечка, думал, будет буря аплодисментов. И тут же объявил, что он, к сожалению, больше не может продавать нам нефть на наши деньги. Только, видите ли, за твердую валюту. Это надо же: Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза выдавливает американские доллары у самого верного из его союзников. Когда ему объясняли, что у страны мало валюты, Горбачев отвечал, что надо переходить к более открытой экономике, тогда, мол, и доллары появятся.

Тем, что случилось дальше, Петканов вполне может гордиться.

— Товарищ Генеральный секретарь, — сказал он. — У меня есть предложение по своему собственному варианту перестройки. Моя страна испытывает сейчас некоторые временные трудности, нам с вами известны их причины. Наши народы всегда стремились к самому тесному сотрудничеству на пути социализма. Мы были вашим верным союзником, когда контрреволюция подняла голову в шестьдесят восьмом году. И вот вы прибываете сюда и объявляете, что не можете больше принимать нашу валюту, тем самым намечая некое разобщение между нашими странами. Это решение не представляется мне неизбежным и — позвольте мне сказать откровенно — братским поступком. Я хотел бы предложить вам другую идею, другой взгляд на будущее. Не в одиночку искать тропинку через каменные реки по пути к горным вершинам, а идти вместе. Я предлагаю более тесное сотрудничество.

Горбачев явно заинтересовался.

— Что вы имеете в виду? — спросил он.

— Я предлагаю полное политическое объединение наших государств.

Вот этого Горбачев не ждал. Этого в протоколах не предусматривалось. Он приехал объяснить Верному Продолжателю, как ему следует управляться со своей страной, и уже заранее ожидал, что ему придется иметь дело с замшелым идиотом старой выучки, одним из тех, кто не понимает направления изменений. Но у *него,* у Петканова, оказались собственные планы, и это не очень-то понравилось русскому гостю.

— Объясните подробнее, — сказал Горбачев.

Он объяснил. Он говорил о неизменной приверженности его страны к социализму, интернационализму и миру. Он сослался на вековую борьбу своего народа, на его давние стремления. Он откровенно говорил и о сложностях, которые непременно возникнут и могут сослужить плохую службу строительству социализма, если партия и государство их вовремя не распознают и не предпримут совместных целенаправленных действий. Весьма кстати, хотя и мимоходом, он вспомнил о своем юношеском прозрении на горе Рыкоша. И закончил воодушевленной речью о будущем, об их совместных успехах в преодолении трудностей.

— Насколько я понял, — выслушав все, сказал Горбачев, — вы предлагаете, чтобы ваша страна вошла в СССР как шестнадцатая республика.

— Именно так.

***

После прискорбного инцидента у здания суда защите предложили на один день прервать заседания. Государственные адвокаты Миланова и Златарова, с которыми бывший президент начал по мелочам консультироваться, согласились, но воспротивился Петканов. А на следующий день, когда Генеральный прокурор вновь принялся за разговоры о его общеизвестной алчности, он был сама кротость, само простодушие.

— Я человек обыкновенный, — говорил Петканов. — Мне мало нужно. Когда я находился у власти, я ничего не просил для себя лично.

(— Дурак многого просит, еще больший дурак тот, кто ему дает.)

— Вкусы у меня самые простые. Мне много не надо.

(— А чего ж тебе еще надо, когда ты всю страну заграбастал?

— И не только страну. Нас тоже. Нас.)

— Денег в Швейцарии я не прячу...

(— Значит, еще где-то прячешь.)

— Когда на моем участке нашли фракийское золото, я добровольно передал его Национальному археологическому музею.

(— Ему серебро больше нравится.)

— Я не как американские президенты, которые твердят своим избирателям, что они простые парни, а уходят со своих постов богачами.

(— За наш счет, за наш счет.)

— Я был отмечен многими международными наградами, но всегда принимал их от имени Партии и Государства. Я не раз передавал средства на нужды сиротских приютов. Когда издательство имени Ленина настояло, чтобы я получал гонорары за свои книги, я всегда передавал половину этой суммы в детские дома, чтобы тем самым побудить и других авторов поступать так же. Об этом не всегда сообщалось в печати.

(— Это мы воспитанники сиротских приютов!)

— Моя покойная жена никогда не одевалась по парижской моде...

(— А надо бы! Мешок жира!

— Раиса! Раиса!)

— По той же причине мои собственные костюмы всегда шили из тканей, вырабатываемых на фабрике неподалеку от моей родной деревни.

Солинский почувствовал, что с него хватит. В начале утреннего заседания он готов был ко всему относиться спокойно. Но терпение его все убывало, и сейчас, в конце дня его просто тошнило.

— Мы здесь не обсуждаем ваши костюмы, — Солинский говорил властно, с нотками сарказма. — Мы здесь не для того, чтобы выслушивать, что вы считаете себя эталоном добродетели. Вы обвиняетесь в коррупции. И мы расследуем здесь способы, которыми вы систематически обескровливали нашу страну.

Председатель суда тоже устал.

— Пожалуйста, поконкретнее, — предупредил он Солинского. — Без отвлеченных обличений. Этим пусть на митингах занимаются.

— Слушаюсь, господин Председатель.

— А что такое коррупция? — раздраженная вспышка Солинского словно подтолкнула Петканова вступить в дискуссию мягко и вкрадчиво. — И почему бы нам не поговорить о костюмах?

Он стоял, упираясь руками в барьер, коренастый человек, почти без шеи, нос словно принюхивается к атмосфере зала. В этот день, казалось, он один излучает в этом зале энергию, он один-единственный приводит в движение процесс.

— Каждый из нас по-своему понимает коррупцию, не так ли? Вы позволите мне привести пример?

Он помолчал, отлично сознавая, что теперь внимание ему обеспечено: на этот раз он не собирался отрицать факты или ссылаться на плохую память — на этот раз он что-то сообщит.

— Пример относится к господину Генеральному прокурору. Я отлично помню те времена, когда мы послали вас в Италию. Середина семидесятых, не так ли? Тогда вы были или, по крайней мере, объявляли себя преданным членом Партии, честным коммунистом, истинным социалистом. Мы направили вас в Турин, если помните, в составе профсоюзной делегации. Мы снабдили вас также определенной суммой в твердой валюте, а эта привилегия оплачивалась трудом ваших соотечественников. Но мы вручили вам эту сумму.

Солинский взглянул на судей. Он не понимал или, по крайней мере, надеялся, что не понимает происходящего. Почему не вмешивается Председатель? Подсудимый обвиняет прокурора, ведь так? Но все трое судей неподвижно сидят в своих креслах и с явным интересом внимают Петканову.

— Суду, может быть, интересно, — продолжал Петканов, — как же обошелся этот настоящий коммунист с доверенной ему суммой в твердой валюте, заработанной в поте лица своего рабочими и крестьянами его родной страны. Он, возможно, купил книги наших итальянских коллег-коммунистов, безусловно достойные изучения книги? Или пожертвовал часть денег местным сиротским учреждениям? А быть может, он экономил как мог эти деньги, чтобы привезти домой валюту и вернуть ее Партии? Нет, ни то, ни другое, ни третье. Часть денег он истратил на покупку красивого итальянского костюма, дабы,

вернувшись, выглядеть элегантней своих товарищей. Часть истратил на виски. А то, что осталось... — Петканов снова выдержал паузу, ловкий комедиант, давно знающий, как работают его трюки. — А на то, что осталось, он пригласил одну из тамошних дам в дорогой ресторан. И я хочу задать вам простой вопрос: это коррупция?

Он ждал, победно задрав нос, посверкивая оправой очков в лучах юпитеров, и, прежде чем ему ответили, добавил:

— После ресторана эта дама посетила номер Генерального прокурора и, само собой разумеется, провела там ночь.

(— Ух ты!

— Поддал под зад. Ну, поддал.

— Бедняга Солинский. В самую точку.)

Прокурор вскочил с места, Председатель шептался с помощниками, а Петканов все рычал в лицо противнику:

— Вы не сможете этого отрицать! Я видел фотографии. У нее прекрасная фигура. Поздравляю вас. Мне показали фотографии. Так скажите, это коррупция? Я поздравляю вас. Мне показали фотографии.

Председатель поспешно объявил, что заседание закрывается. Телевизионный режиссер, понизив голос, приказывал оператору держать камеру № 1 на Солинском, так что смущенное лицо Генерального прокурора еще некоторое время не сходило с экрана; студенты сразу же замолкли, Стефанова бабушка хихикнула у себя на кухне, а возмущенный Петр Солинский, так подло преданный, придя домой, обнаружил, что ему постелено на полу его кабинета. Там он и спал до самого конца процесса в компании далекого Алеши, по-прежнему стоявшего на Северных холмах.

***

Этот засранец с птичьим дерьмом на башке был таким двурушником, таким предателем социализма! Когда Горбачев заявился к ним для срочных консультаций, а консультации эти состояли в том, что своему самому давнему, самому верному союзнику он объявляет вдруг: брошу тебя к такой-то матери, если не станешь нам выкладывать зелененькие дяди Сэма, — вот тут-то Петканов и предложил ему самый решительный поворот в истории страны.

— Товарищ Генеральный секретарь, — сказал Петканов. — Я предлагаю полное объединение наших государств.

Это был удар! В тот самый миг, когда шавки капиталистической прессы тявкают из каждой подворотни о крахе социализма, в этот самый миг взять и сказать: «Поглядите-ка, дело социализма развивается и крепнет! Поглядите, как два великих народа объединяют свои судьбы, как к Советскому Союзу добавляется шестнадцатая республика! Вот ответ на все ваши поклепы!»

Но Горбачев отверг его предложение. Сразу, даже не поразмыслив для вежливости. Примерно такой же план он изложил лет десять назад Брежневу, так Леонид, по крайней мере, раздумывал несколько месяцев, прежде чем с братским сожалением отклонил его. А Горбачев только высокомерно произнес: «Это не то, что мы понимаем под перестройкой», кажется, намекая, будто революционный план Петканова основан лишь на желании избежать расчетов за советскую нефть.

Теперь весь мир видит, что этот самонадеянный болван понимал под перестройкой. Развалить к чертовой матери СССР, государство, которое создал Ленин и отстояли Сталин и Брежнев, — вот что понимал он под перестройкой. Позволить республикам разбежаться к чертовой матери как только им заблагорассудится — вот что понимал он под перестройкой. Увести Красную Армию из братских стран. Попасть на обложку «Тайма», выпрашивать доллары, как шлюха из «Шератон-отеля», лизать задницу сначала Рейгану, а потом Бушу — вот что понимал он под перестройкой. А когда республики показали ему кукиш, когда он допустил, чтобы паршивые балтийские карлики унижали и Советский Союз и мировое движение социализма, когда у него остался последний шанс отстоять Союз, спасти Партию и Революцию, когда надо было, черт возьми, поскорее посылать танки, что он сделал? Он повел себя как слабоумная бабка, которая смотрит, как высыпается картошка из ее дырявой авоськи. Ох, еще одна упала, ну да ладно, не беда, еще много осталось. Гляди, еще одна! Ну пусть ее, она бы вывалилась все равно. Ой, и новая туда же; что поделаешь, не

умру же я с голоду, верно? И в конце концов дуреха бабка является домой с пустой авоськой. Но и здесь ничего нет страшного, потому что дед уже давным-давно такой дряхлый, что не может ей как следует наподдать. «Вся наша картошка высыпалась, — рассказывает она ему, — давай кипяточком поужинаем». «Да ведь мы вчера так ужинали», — жалобно отвечает дед. «Ну ничего, привыкнем, — говорит она, открывая водопроводный кран. — Все равно картошка вся была гнилая».

А этот вот говнюк кремлевский был к тому же и лицемер. Ясное дело, Петканов не предполагал, что предложенный им политический союз осуществится сразу, без предварительных обсуждений, без тщательного изучения экономических факторов. На этой стадии его предложение прежде всего выражало их братскую волю к сплоченности, сотрудничеству, инициативе. А Горбачев вел себя так, словно все это затеяно ради кратковременной экономической выгоды, словно смелый план Петканова не означает ровным счетом ничего, кроме желания списать долги своей страны.

А дальше что пошло? Горбачев принялся продавать ГДР Федеративной Республике. Продавать Восток Западу! Шестнадцать миллионов граждан социалистической страны были выставлены со всеми своими землями, домами, живностью и предприятиями на величайший в истории человечества аукцион рабов. Почему никто не возмутился? Под конец правления Эриха кучка нытиков и хулиганов жаловалась на отсутствие свободы заграничных поездок. А когда их погнали, как стадо свиней на базар, никто не пискнул. Шестнадцать миллионов граждан ГДР в обмен на 34 миллиарда дойче марок — вот какое дельце сварганили Горбачев с Колем, самое черное злодеяние за всю историю социализма. И вдобавок Горбачев выклянчил у Коля еще семь миллиардов и довольный, как та самая безмозглая бабка с картошкой, прикатил домой. Сорок один миллиард марок — нынешняя цена предательства, тридцать сребреников социалистического Иуды. И все это сошло ему с рук. Армия, КГБ, Политбюро сметали на живую нитку халтуру — этот их незадачливый дохлый путч. И только. Все сошло ему с рук, они все ему позволили.

«В стенах тюремных узнаешь ты: камни дробятся, но души тверды». Но запах, доносящийся с России-матушки, говорит о другом. Истлевшими душами воняет нынче Россия-матушка.

***

— Думаю, вам будет интересно послушать один анекдот, — сказал Атанас.

— Как же ты здорово угадываешь желания!

— Правда?

— Конечно. И еще одно мое желание исполни — передай мне, пожалуйста, пива. А теперь рассказывай.

— Ты лентяй, и так нажил уже двухлетний государственный долг.

— Ладно, Атанас, давай свой анекдот...

— А история простая. Жили-были трое мужиков, назовем их Желю, Вуте и Жоре. Про них особенно необходимо послушать тем, кто не может сам себе даже налить пива. Так вот, полеживают однажды три этих достойных крестьянина на берегу речки и болтают, как положено, о том о сем. «А скажи-ка мне, Желю, — говорит один, — если б ты стал царем и все было бы в твоей власти, что бы ты сделал прежде всего?»

Желю подумал и говорит: «Да, дело мудреное. Думаю, я наварил бы себе каши и натолкал бы туда сала сколько влезет, как я люблю. И тогда уж больше мне ничего не надо».

«А ты, Вуте? Что ты бы сделал, если б стал царем и все было б в твоей царской власти?»

Вуте думал чуть дольше, чем Желю, а потом сказал: «Знаю, что я сделал бы. Завалился бы на сеновал и лежал бы там сколько душе угодно».

«Ну, а ты, Жоре? — спросили у третьего. — Что ты сделал бы, если б стал царем и все было бы в твоей царской власти?»

Жоре думал еще дольше, чем двое первых. Скреб в затылке, ерзал, жевал травинку, и чем дольше думал, тем больше хмурился. В конце концов он сказал: «Черт бы вас побрал. Вы оба уже расхватали все самое лучшее, и мне ничего не осталось».

— Это из каких же времен анекдот, Атанас? Из эпохи Перемен, из мрач-

ных дней коммунизма или из ранних лет фашистской монархии?

— Это анекдот обо всех людях и на все времена. ПИВА!

***

— Слушаю вас, генерал.

— Господин Генеральный прокурор, я хотел бы прежде всего выразить...

— Не надо, генерал, не беспокойтесь. Расскажите, что у вас сегодня?

— Займемся документами, господин Генеральный прокурор. Начнем с того, что лежит наверху.

Солинский раскрыл папку. Первая бумага была озаглавлена просто «Памятная записка» и датирована 16 ноября 1971 года. На ней не было грифа какого-нибудь министерства или одного из отделов госбезопасности. Полстраницы на машинке и две подписи. Даже не подписи — инициалы. Генеральный прокурор читал медленно, автоматически переводя профессиональный жаргон на нормальный язык. Одно из немногочисленных искусств социализма — умение продираться сквозь канцелярскую тарабарщину.

«Записка» была посвящена проблемам, связанным с внутренними диссидентами и зарубежными клеветниками. Оплачиваемые американцами эмигранты обливали грязью в своих радиопередачах Партию и Правительство. А внутри страны имелись слабые, легко внушаемые людишки, которые верили клевете и пытались ее распространять. Клевета на государственный и общественный строй считалась, согласно Уголовному кодексу, одним из видов подрывной деятельности и наказывалась соответствующим образом. Тут Солинский споткнулся. «Виновные в подрывных действиях, — прочитал он, — должны быть обезврежены любыми необходимыми методами».

— Любыми необходимыми методами?

— Это термин; он означает самые решительные меры, — ответил Ганин. — Более решительные, чем просто «необходимые методы».

— Понятно, — возможно, у генерала стало появляться чувство юмора. — И откуда же он прислан, этот документ?

— Из здания, которое прежде занимал Отдел внутренней безопасности на бульваре Ленина. Я советую вам обратить внимание на подписи.

Две подписи. Только инициалы. КС и СП. Калин Станов, тогдашний шеф ОВБ, и Стойо Петканов, Президент Республики, Председатель Центрального Комитета, одновременно считавшийся главнокомандующим Народными Силами Обороны.

— Станов? Петканов?

Генерал утвердительно кивнул головой.

— И где это было обнаружено?

— Как я уже сказал, в здании на бульваре Ленина.

— Жаль, что Станов умер.

— Так точно, жаль, господин Генеральный прокурор.

— Не обнаружены ли подписи Петканова еще где-нибудь?

— Пока нет.

— Есть какие-нибудь доказательства, что ему был понятен термин «любые необходимые методы»?

— При всем моем уважении, господин прокурор...

— Какие-нибудь документы о конкретных делах, какие-нибудь его визы, специальные инструкции или же отчеты, которые Президент получал, когда что-нибудь случалось с этими... как их... подрывными элементами?

— Пока не обнаружено.

— Тогда как, по вашему мнению, я могу это использовать? — он откинулся на спинку кресла и впился в генерала своими блестящими, как маслины, глазами. — Существуют определенные правила, без которых не может свидетельство считаться доказанным. Я законник. Я профессор права, — с важностью добавил он.

Но в эту минуту он не так уж сильно ощущал себя законником. Много лет назад один из приятелей подарками и щедрыми обещаниями соблазнил крестьянскую девушку из патриархальной семьи. Невзирая на строгое воспитание, девушка все же решилась отправиться с ним в лесок. Там они нашли укромное место и занялись любовью. И вот когда девица, казалось, почти уже дошла до

экстаза, она вдруг широко открыла глаза и объявила: «Мой папа очень честный человек». Приятель Солинского рассказывал, что ему пришлось собрать все силы, чтобы не расхохотаться в лицо подружке.

— Тогда позвольте мне говорить с вами сейчас не как с профессором права, — сказал Ганин. Они сидели друг напротив друга, и по контрасту с сухощавым прокурором Ганин казался сегодня еще более кряжистым. — У нас в Народных силах безопасности, как я вам уже докладывал, все верят, что ваши старания в Уголовном деле номер один будут вознаграждены успехом... несмотря на недавние затруднения. Это очень важно, важно для блага страны, чтобы процесс был закончен. И не менее важно, чтобы подсудимый был признан виновным.

— Если он виновен, — машинально откликнулся Солинский. «Мой папа очень честный человек».

— Далее: мы понимаем, что обвинения, предъявляемые Петканову, это не те, в которых он особенно виновен, а те, по которым его легче всего признать виновным.

— Естественно.

— Далее: мы понимаем, что многие высшие партийные чиновники и связанные с ними преступники не привлечены к ответственности, и бывший президент, так сказать, является их представителем в зале суда.

— Да уж, если бы он был одним-единственным, мы бы его на руках носили.

— Так точно. Но вы должны знать, верней, вы знаете, что страна ждет от этого процесса чего-то большего, чем заурядный, подтверждающий какие-то незначительные правонарушения, формальный приговор. Вы-то как раз в данный момент придерживаетесь именно этой линии. Однако страна ждет, что обвиняемый по Делу номер один будет признан самым страшным из преступников во всей истории нашего народа. Вот ваша задача.

— Такой статьи, увы, нет в уголовном кодексе. Но, мне кажется, генерал, вы хотите дать мне некоторые советы.

—Моя работа, полагаю, заключается в предоставлении вам информации.

— Отлично. Тогда, может быть, вы подытожите ту информацию, которую, по-вашему, вы мне предоставляете?

Солинский произнес эти слова по-прежнему невозмутимым тоном, но внутри его била дрожь. Пронзительный, сладкий трепет близкого прегрешения. С молотком и зубилом вскарабкался он на бронзового Сталина и балансировал там, вцепившись в кончик уса.

— Я бы изложил это так. В конце шестидесятых годов служба внутренней безопасности пришла к убеждению, что министр культуры становится опасным антисоциалистическим фактором и что намерения ее отца официально объявить ее своей преемницей представляют угрозу высшим интересам государства. Специальный технический отдел на Резковой улице занимался разработкой препаратов, вызывающих симптомы остановки сердца. 16 ноября 1971 года Президент и руководитель СВБ покойный генерал Калин Станов одобрили использование любых необходимых методов против клеветников, подрывных элементов и других лиц, занимающихся подобной деятельностью. Три месяца спустя Анна Петканова скончалась от остановки сердца, несмотря на старания наших лучших кардиологов спасти ее.

— Благодарю вас, генерал, — Солинского поразило, как откровенно искушал его Ганин. — Могу сказать, из вас не выйдет хорошего правоведа.

— Благодарю, господин прокурор. Могу сказать, что у меня таких намерений нет.

Ганин ушел. «Мой папа очень честный человек, — повторил Солинский. — Очень, очень честный человек мой папа».

***

На тридцать четвертый день слушания Уголовного дела № 1 перед Верховным судом дали свидетельские показания следующие приглашенные государственными адвокатами Милановой и Златаровой лица:

1. Майор государственной безопасности Огняна Атанасова, персональная медсестра бывшего президента. Она показала, что в личной собственности бывшего президента находилось одно-единственное шерстяное одеяло. «Я заявляю со всей ответственностью, — сказала она, — что у Стойо Петканова практически не бывало личных денег. Я обычно пришивала ему новые воротнички к

рубашкам, штопала носки и покупала галстуки, когда менялась мода».

2. Бывший заместитель премьер-министра Павел Маринов. Он показал, что в 1960 году на московской Конференции коммунистических и рабочих партий Председатель Мао сказал Петканову, что тот может стать вторым великим кормчим. «Вы на редкость энергичный человек, — сказал Мао. — Я буду рекомендовать вас на пост премьер-министра Международной Социалистической Республики».

3. Бывший премьер-министр Георгий Калинов. Он заявил, что считает мифическими утверждения, будто вся бывшая номенклатура состояла из рвачей. Сам он в настоящее время располагает сбережениями в национальной валюте, эквивалентными двадцати американским долларам, и раздумывает о том, вложить ли их в какой-нибудь приватизационный процесс или купить себе пару туфель. Он пояснил, что его считали состоятельным, поскольку он по символической цене приобрел три машины в Отделе обеспечения охраны, органе, обслуживавшем высших партийных и государственных руководителей. Но он не может считать себя владельцем этих машин, так как Отделом была издана недвусмысленная инструкция, запрещавшая их перепродажу. На вопрос адвоката Златаровой, распространялись ли эти условия и на восемнадцать легковых автомобилей, принадлежавших, по свидетельству обвинения, подсудимому, бывший премьер-министр Калинов ответил, что это безусловно так.

4. Венцеслав Бойчев, бывший член Политбюро, показал, что доллары, выданные его сыну бывшим президентом, были выделены в воспитательных целях, дабы поощрить интерес молодого человека к технике. На вопрос, почему его сын истратил деньги на «кавасаки» и «БМВ», господин Бойчев ответил, что они способствовали обороноспособности страны, поскольку мотоспорт может считаться военным спортом. На вопрос же, почему его сын не удовольствовался более дешевыми советскими моделями, господин Бойчев ответил, что сам он не имеет водительских прав и недостаточно компетентен, чтобы подробно обсуждать такие вопросы. Однако он хотел бы добавить, что, со своей стороны, искренне сожалеет, что перемены не начались раньше, еще в 1968 году, и что лично он готов быть распятым на пятиконечной красной звезде во имя родины.

5. Велчо Ганев, министр финансов при Петканове. Он заявил, что был совершенно уверен в абсолютной законности трат на представительство. Однако процедура была строго засекречена. На вопрос, почему были уничтожены списки тех, кто пользовался привилегированным режимом, господин Ганев ответил, что здесь речь шла о расписках, а не о платежных ведомостях. Платежные ведомости должны сохраняться в течение пятидесяти лет. Но согласно его пониманию закона на расписки это положение не распространяется.

***

На тридцать седьмой день процесса в городском сквере против здания суда под голыми ветвями акации, украшенными искусственными листьями и цветами, Общество Девинского при Втором столичном университете проводило шутовской аукцион сувениров, принадлежавших экс-президенту. Участники аукциона, прежде чем заявить свою цену, обязаны были представиться. Среди них оказались Эрих Хонеккер, Саддам Хуссейн, император Бокасса, Джордж Буш, Махатма Ганди, весь состав Центрального Комитета Албанской компартии, Иосиф Сталин, а также несколько мужчин и женщин, утверждавших, что они тайные любовники и любовницы Стойо Петканова. Платить полагалось лишь в твердой валюте. Одеяло товарища Петканова, представленное аукционерами как «единственная личная собственность» экс-президента, купил за 55 миллионов долларов США Эрих Хонеккер. Пара штопаных носков плюс футболка с новым воротничком, пришитым лично майором госбезопасности Огняной Атанасовой, ушла за 27 миллионов долларов. Сандалии из свиной кожи, в которых товарищ Петканов впервые встретился с бойцами Сопротивления — ими он в дальнейшем командовал в течение всего периода борьбы с фашизмом, — приобрел за 35 миллионов долларов официальный представитель Музея мифологии. Штаны с большим бурым пятном на заднице, которые товарищ Петканов также носил в период антифашистской борьбы, остались невостребованными. Император Бокасса купил за дайм[1] президентские гениталии и

[1] Десятицентовая монета США.

сказал, что скушает их за обедом. Чеки, выписанные за проданные сувениры, совали в рот огромному чучелу Второго Вождя, которое председательствовало на аукционе. Затем чучело, ловко подвешенное за шею к ветке акации, сообщило журналистам, что полностью удовлетворено результатами распродажи, а все вырученные деньги уже передало сиротам, желающим заниматься мотоциклетным спортом в целях укрепления обороноспособности страны.

***

На тридцать девятый день процесса последним из семи свидетелей, дававших показания, оказался Веселин Димитров, до сих пор не являвшийся в суд по причине какого-то непонятного нервного заболевания. Он рассказал, как его отец, заместитель районного партийного секретаря в одной из южных провинций, познакомился с человеком из президентского окружения и попросил его обратить внимание товарища Петканова, который был известен как покровитель искусств, на сына этого заместителя секретаря, преданного коммуниста и ревностного работника Государственного народного театра. Молодой человек испытывал временные трудности в решении своей жилищной проблемы. Через две недели оказалась свободной трехкомнатная квартира в комплексе «Заря», и молодой актер ее получил.

— Скажите прежде всего, почему вы вступили в Коммунистическую партию?

— Вся наша семья была в Партии. Иначе было трудно продвинуться.

— А как вы объясняли своим знакомым, что вдруг получили квартиру?

— Ну, я сказал, что мне повезло. Вдруг подвернулась эта квартира. Такие вещи бывают.

— Ее стоимость была существенно ниже обычной. Вам как-то объяснили это?

— Сказали, что это дотация для актеров.

— А как вы рассчитались за помощь?

— Не понял.

— Что вы сделали в благодарность за получение трехкомнатной квартиры по десятикратно уменьшенной цене, не ожидая к тому же очереди, которой ждут обычно десять, пятнадцать, а то и двадцать лет?

— Я никому ничего не платил.

— А скажите, вы репетировали и вслед за тем разыграли стихийное мимическое представление в честь шестидесятипятилетия обвиняемого, когда он вышел в день юбилея из своего дворца?

— Да, но это было добровольно.

— Участвовали ли вы в закрытых спектаклях перед Президентом и высшим эшелоном номенклатуры?

— Да, но я всегда делал это по своей охоте.

— Вступали ли вы в контакт с Отделом внутренней безопасности на предмет передачи информации об отдельных лицах из Государственного народного театра?

— Нет.

— Вы уверены в этом? Предупреждаю, сохранились документы.

— Нет.

— Нет или вы не уверены?

— Нет, я не вступал в такие контакты.

— Вас плохо слышно. Не могли бы вы говорить немного погромче?

— Нет, не вступал.

— Благодарю вас. Господин Председатель, я ходатайствую о том, чтобы на основании его собственных заявлений господин Димитров был привлечен к ответственности по обвинению в коррупции, присвоении чужого имущества и даче заведомо ложных показаний.

— Такое ходатайство, как я уже шесть раз разъяснял вам, господин Генеральный прокурор, не имеет отношения к данному делу и потому отклоняется.

(— Боже ты мой! — Атанас выплюнул дым, на этот раз закрыв дымовой завесой лицо Генерального прокурора.

— Хватит, прекратим.

— Да это же просто актеры. Все они актеры. Играют свою гнусную комедию.

— Актеры, квартиры, мотоциклы, расходы на обеды, воротнички, рубашки.

— Стефан, ты как?

— Нет, я хочу смотреть дальше. Будем продолжать.

— Мы должны продолжать. Это наша история.

— Да ведь СКУЧИЩА!

— В истории это часто бывает. А потом она становится интересной.

— Ты настоящий философ, Вера! И настоящий тиран.

— Благодарю. Но когда я превращусь в старую бабку в платочке, а вы в старых дурней, сосущих пиво, и наши внуки придут к нам и скажут: «Бабушка, дедушка, вы жили тогда, когда судили людоеда? Мы понимаем, что вы очень, очень, очень старенькие, но, может быть, вы расскажете нам про это?» — и мы сможем им рассказать.

— О чем, об актерах и мотоциклах?

— И об этом тоже. Но мы еще расскажем им, как он над нами потешался. Он всегда это делал и делает сейчас. Расскажем, почему все это сводилось к актерам и мотоциклам.

— Ты тиранка.

— Тсс! Смотри.

— А это кто? Тоже актер?

— Нет, банкир. Он говорит, что все деньги на счете президента попали туда по ошибке.

— А вот директор фабрики одеял. Он говорит, что они изготовили для президента всего одно шерстяное одеяло.

— Заткнитесь, ребята. Смотрите.)

***

В эту ночь Петр Солинский, которому не спалось на полу в кабинете, перешел в гостиную и обнаружил на стене только что окантованное свидетельство о реабилитации. Еще одно доказательство того, что дистанция между ним и Марией все увеличивается.

Ее деда Румена Мешкова всегда считали верным коммунистом и деятельным антифашистом. Когда в начале тридцатых годов Железная гвардия развернула кампанию чисток, Мешков и еще несколько партийных руководителей эмигрировали в Москву. Там он продолжал оставаться верным коммунистом и деятельным антифашистом до 1937 года, когда вдруг превратился в троцкистского уклониста, гитлеровского шпиона и контрреволюционера, причем, вполне возможно, — и в того, и в другого, и в третьего сразу. Он исчез. Никто не смел расспрашивать о нем. Упоминаний о Румене Мешкове больше не было на страницах официальной истории его партии, и в течение пятидесяти лет родственники произносили его имя только шепотом.

Когда Мария объявила, что собирается писать в Верховный суд СССР, Петр не одобрил эту идею: к чему выяснять правду, если она только причинит ей лишнюю боль? К тому же это ей все равно не поможет вернуть к жизни дедушку, которого она ни разу не видела. Главным же его соображением, хотя он никогда не высказывал его вслух, было то, что выбирать придется из двух возможностей. Либо Румен Мешков предал великое дело, которому он служил, либо был подло одурачен этим самым делом. Ну и какого же дедушку ты предпочитаешь, Мария, — преступника и ренегата или легковерного дурака?

Мария пренебрегла советами мужа, отправила прошение и почти через год получила ответ, датированный 11 декабря 1989 года. Отвечал ей А. Т. Уколов, член Верховного суда СССР. Он навел соответствующие справки и может теперь ее известить, что ее дед Румен Алексиев Мешков был арестован 22 июля 1937 года по обвинению в принадлежности к троцкистской террористической организации; в качестве члена таковой принимал участие в подготовке террористических актов против руководителей Коминтерна, а также диверсий на промышленных объектах СССР. В результате следствия, проведенного областным управлением Народного комиссариата внутренних дел в Сталинграде (ныне Волгоград), он был приговорен 17 января 1938 года к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Пересмотр дела, проведенный в 1955 году, установил, что никаких данных, уличающих Мешкова, кроме противоречивых и непроверенных показаний лиц, привлеченных по этому же делу, не имелось. А. Т. Уколов сожалел о том, что нет никаких сведений о месте захоронения Румена Мешкова и не сохранилось его фотогра-

фий и личных бумаг. Однако же он мог заверить, что Румен Мешков был честным и деятельным коммунистом, что 14 января 1956 года он был полностью реабилитирован. К своему письму А. Т. Уколов приложил документ, официально подтверждающий реабилитацию.

И ты вешаешь это на стену, подумал Солинский. Свидетельство о том, что движение, которому твой дед посвятил всю жизнь, расправилось с ним как с предателем. Свидетельство, что то же самое движение двадцатью годами позже в конце концов решило, что он был не предателем, а мучеником. Свидетельство, что это же движение за тридцать четыре года даже не удосужилось сообщить кому-либо о том, что предателю присвоен статус мученика. И ты хочешь обо всем этом не забывать?

Честный коммунист превратился в троцкистского террориста, а потом стал снова честным коммунистом. Герои становятся предателями, предатели становятся героями. Властители дум и вожди народов превращаются в самых обыкновенных преступников, запускающих лапу в общественную кассу, пока, быть может в отдаленном будущем, когда-нибудь не наступит некий жуткий момент и они не предстанут дряхлыми, но обаятельными старцами в телевизионных передачах. Солинский взглянул в незанавешенное окно: в черном пространстве ночи горели слова «Стойо Петканов: реабилитация вождя». Случится ли подобный поворот событий или не случится, отчасти зависит и от того, как он проведет последнюю неделю процесса.

А кем же станут профессора права, представители обвинения, мужья, отцы? Как назовут их? Или они останутся безымянными? На что им надеяться в роковые часы истории?

***

— Хочу рассказать тебе, что я однажды услышал от человека, считавшего себя очень мудрым.

Генеральному прокурору не хотелось слушать. Его собеседник стал вызывать в нем гадливость. Прежде, когда он, Солинский, был всего лишь рядовым гражданином, его ненависть к Петканову не носила личного характера и даже помогала ему. Ненависть к Петканову скрепляла и объединяла всех, кто считал себя оппозицией, она была созидательна. Но с тех пор как он стал ежедневно видеться с этим человеком, разговаривать с ним, спорить, его чувства изменились. Теперь это было отвращение к определенному человеку, вызывавшему у него ярость, брезгливость и даже презрение. Стыд за прошлое, теперешнее омерзение, страх за будущее — вся эта мешанина истерзала Солинского. Ему казалось, что он ненавидит Петканова так же сильно, как любил когда-то свою жену; бывший вождь вернул ему крепость чувства, словно натянул провисший канат, возвратил яркость эмоций, потускневших в течение долгой семейной жизни. И сейчас он с брезгливостью ждал, что скотина экс-президент угостит его очередной цветистой пошлятиной, которую какой-нибудь замордованный герой труда выудил из собрания речей, статей и документов скотины экс-президента.

— Был он музыкантом, — начал Петканов. — Играл в симфоническом оркестре Государственного радио. Я приехал на концерт с дочкой, а потом она потащила меня знакомиться с музыкантами. Играли они, на мой взгляд, хорошо, и я их с этим поздравил. Это было в концертном зале «Революционный», — добавил он приятную ему деталь, которая почему-то обожгла Солинского как укус слепня. Какого черта он мне рассказывает это? — мысленно спрашивал себя прокурор. Кому интересно, как назывался этот дурацкий зал, где его услаждали музыкой? Солинский ощущал такое раздражение, что продолжение рассказа слушал вполуха.

— Я сказал им несколько слов о требованиях, которые наша цель предъявляет искусству, сказал, что деятели культуры должны принять участие в великом движении против фашизма, в строительстве социалистического будущего. Ты примерно представляешь, — добавил Петканов с долей иронии, ускользнувшей от Солинского, — что я им говорил. Но вот потом, когда я уже уходил, один молодой скрипач вдруг подошел ко мне и сказал: «Товарищ Петканов, людей не интересуют высокие материи, их интересует только колбаса».

Петканов выжидающе смотрел на Солинского, но тот, казалось, был в это время где-то далеко. Наконец вернувшись, произнес:

— И вы, конечно, приказали его расстрелять.

— До чего же ты старомоден, Петр! Так старомоден в своей подозрительности. Ну конечно нет. Мы никогда никого не расстреливали.

Ну, это мы еще увидим, подумал прокурор, покопаемся поглубже в ваших концлагерях, проведем эксгумацию трупов и заставим расколоться вашу тайную полицию.

— Нет, — продолжал Петканов, — но позволю себе сказать, что его шансы стать дирижером оркестра после нашей беседы несколько уменьшились.

— Как его фамилия?

— Ох, неужели ты думаешь... Ладно, дело вовсе не в его фамилии. Я, конечно, не согласился с этим циничным юношей. Но я думал о том, что он сказал. И время от времени повторял себе: «Товарищ Петканов, людям нужны колбаса и высокие материи».

— В самом деле?

Так вот какой оказалась мудрость концертного зала «Революционный». Буркнуть нечто независимое за кулисами, и тогда, если тебя не пристрелят, мысль твою уж наверняка превратят в жалкий, банальный лозунг этого... вот этого...

— Как видишь, я воспользовался добрым советом. Мы давали им и высокие материи, и колбасу. Вы в высокие материи не верите, но и колбасы им не даете. В магазинах же ее нет. Так что же вы даете им взамен?

— Мы даем свободу и правду. — Ужасно высокопарно, но коль скоро он сам верит в это, значит, он имеет право так сказать.

— «Свободу и правду», — ухмыльнулся Петканов. — Вон у вас какие высокие материи! Вы даете женщинам свободу выйти из кухонь, пройти к вашему парламенту и сказать вам эту самую правду — что в магазинах теперь нет даже говенной колбасы. И вы называете это прогрессом?

— Мы своего еще добьемся.

— Хм, сомневаюсь. Ты уж позволь мне усомниться в этом, Петр. Знаешь, в нашем селе был поп, вот его, боюсь, как бы не застрелили — больно много бандюг шастало в наших краях в те времена, так что это с ним легко могло случиться... Так вот, этот батюшка наш говорил: «С первого прыжка до небес не допрыгнешь».

— Вот именно!

— Нет, Петр, ты меня неверно понял. Я это сейчас не о тебе говорю. Ты и подобные тебе уже много раз прыгали. Много лет и много раз. Прыг-прыг-прыг... Я о нас говорю. Это ведь мы пока всего один раз прыгнули.

***

Характер. Наверное, это и было его ошибкой, его, вот именно, буржуазно-либеральным заблуждением. Наивная надежда «прояснить» Петканова. Упрямое, дурацкое убеждение в том, что люди пользуются данной им властью поразному, в зависимости от своих характеров, и потому изучение характера очень важное и полезное дело. Когда-то это действительно было верно; верно для Наполеона, для цезарей, царей и наследных принцев. Но с тех пор многое изменилось.

Убийство Кирова — вот поворотный пункт. Выстрел в спину из нагана в штабе ленинградских коммунистов 1 декабря 1934 года. Друг Сталина, его соратник, его верный товарищ. А потому, наивно твердили мы, единственный человек на свете, который не мог бы желать этой смерти или мечтать о ней, не говоря уж о том, чтобы организовать убийство, этот единственный человек — Сталин. Какие у него могли бы быть мотивы политического или личного свойства? Приказать убить Кирова было не только невозможным для Сталина, но и вообще находилось за гранью наших представлений о человеческой личности. И это главное. Мы вступили в эру, в которой, отталкиваясь от понятия «характер», можно легко запутаться. Характер заменило «ego», и осуществление власти как отражение черт характера сменилось психопатической жаждой власти, стремлением удержать ее любыми способами, словно в насмешку над логикой. Сталин убил Кирова — милости просим, господа, в новейшую историю!

Солинскому хорошо было рассуждать подобным образом, уютно сидя у себя дома в кабинете и поглядывая в окно. Или допрашивая книжный шкаф в своем служебном кабинете. Но разговаривать с Петкановым и в то же время представлять его себе как некий злобный электронный вихрь, кружащийся в каком-то жутком вакууме, если и было возможно, то не более двух минут. Ста-

рик стоял под сенью своей надзирательницы и спорил, доказывал, отнекивался, лгал, прикидывался непонимающим, и к Генеральному прокурору тут же возвращались все его первоначальные чувства — любопытство, ожидание, недоумение, замешательство. Он снова принимался выискивать «характер», тот старомодный, понятный характер. Словно сам закон от него требовал установить причины и следствия, разумные мотивы, повлекшие за собой поступки; судебный зал буквально отказывался принимать какую-нибудь неисправность в железной последовательности событий.

Во второй половине сорок второго дня Уголовного дела № 1 Петр Солинский решил, что момент настал. Еще одна из линий расследования — использование государственного бензина в личных нуждах — тихо выдыхалась в пустяковых спорах и внезапных провалах памяти. «Отлично», — произнес Солинский, сделав глубокий вдох, как оперный певец, и взял в руки новую папку. В обеденный перерыв он плеснул себе в лицо водой и тщательно причесался. Каким усталым увидел он себя в зеркале! Он устал от всего: от своей работы, от своего брака, от политических передряг, — но больше всего он устал от постоянного, изо дня в день, общения со Стойо Петкановым. Должно быть, угодливые члены Политбюро безропотно соглашались с ним, просто желая поберечь свои силы.

Теперь он постарался забыть о жене, о генерал-лейтенанте Ганине, о телевизионных камерах и обо всех обещаниях, которые он дал самому себе перед началом процесса. Хватит, он был уже достаточно долго добропорядочным законником, терпеливо вытягивающим истину, как листок одуванчика, из пасти лжи. Пожалуй, он устал и от этого.

— Отлично, господин Петканов. За многие недели этого процесса мы более чем близко познакомились с вашей системой защиты, с вашей манерой отражать любое обвинение. Если случалось что-либо противозаконное, вы ничего об этом не знали. А все, о чем вы знали, автоматически становилось законным.

Адвокатессы вскочили, собираясь протестовать, но Петканов только улыбнулся. Что ж, этот неврастеник жиголо на прокурорской скамье, пожалуй что, неплохо подбил бабки. Он успокоил жестом своих защитниц, и они снова сели.

— Я не делал ничего, что не было одобрено Центральным Комитетом Коммунистической партии, — повторил он в сотый раз, — а в дальнейшем не утверждено декретами кабинета министров. Все, что я делал, было совершенно законно.

— Прекрасно. Тогда давайте поговорим о том, что вы делали 16 ноября 1971 года.

— Неужели вы можете думать...

— Я не думаю, что вы это припомните, поскольку ваша память, как мы здесь неоднократно могли убедиться, не изменяет вам лишь при обсуждении действий, предположительно законных. — Солинский быстро взглянул в бумагу, которую вынул из папки. — 16 ноября 1971 года вы санкционировали применение любых необходимых методов против клеветников, подрывных элементов и государственных преступников. Не угодно ли вам объяснить, что мы должны понимать под выражением «любые необходимые методы»?

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — невозмутимо отозвался Петканов. — Кроме того, что вы как будто одобряете подрывные действия и государственные преступления.

— В тот день вы подписали документ, санкционирующий ликвидацию политических противников. Вот что подразумевалось под термином «любые необходимые методы».

— Я не знаю такого документа.

— Вот его копия, и у суда есть копия. Это памятная записка из архивов Отдела внутренней безопасности, на которой стоят подписи — ваша и покойного генерала Калина Станова.

Петканов бросил беглый взгляд на бумагу.

— Я бы не назвал это подписями. Я назвал бы это набором инициалов, которые ничего не стоит подделать.

— Вы санкционировали в тот день применение любых необходимых методов, — повторил Солинский. — Эта санкция позволяла обоим отделам, и внутренней, и внешней безопасности, проводить акции против ваших политических противников как на территории нашей страны, так и за границей. Противников, подобных радиокомментатору Симеону Попову, скончавшемуся от сердечного приступа в Париже 21 января 1972 года, и журналисту Мирославу

Георгиеву, который умер в Риме от сердечного приступа 15 марта того же года.

— Ну вот, меня уже начинают обвинять в том, что у стариков иногда случаются сердечные приступы. Это я, что ли, напугал их до смерти?

— В годы, предшествующие выполнению вашей санкции от 16 ноября 1971 года, Специальное техническое бюро на Резковой улице занималось исследованием и производством препаратов, которые, будучи введены в организм внутривенно или перорально, вызывали симптомы, сходные с остановкой сердца. Такие препараты предназначались для сокрытия того факта, что жертвы мнимого сердечного приступа на самом деле были умышленно отравлены.

— Так что же, теперь меня обвиняют в изготовлении наркотиков? Да у меня по химии даже научной степени нет.

— В течение того же периода, — продолжал Солинский, чувствуя веселый звон в груди и напряженную тишину вокруг, — Отдел внутренней безопасности, судя по многочисленным донесениям и докладным запискам, начал проявлять все возрастающую озабоченность в связи с неуравновешенным поведением и личными амбициями министра культуры.

Солинский сделал паузу, давая себе передышку, он понимал, что решающий момент приближается. Пряная смесь добродетели и страсти пылала в нем.

— Анна Петканова, 1937 — 1972 годы, — прибавил, словно читая надпись на пьедестале ее статуи. — ОВБ постоянно сообщал об ее поведении в общественной и личной жизни, которое они оценивали как антисоциалистическое. Вы не обращали внимания на их донесения. А затем они были весьма встревожены, узнав, что вы намерены назначить министра культуры своим официальным преемником. Они установили это, — заметил как бы мимоходом Генеральный прокурор, — самым простым способом: прослушивая президентский дворец. В досье на Анну Петканову появлялись все новые записи о влиянии, которое она оказывает на вас. Антисоциалистическое влияние, так они его определили.

— Чушь, — пробормотал Президент.

— 16 ноября 1971 года вы одобрили ликвидацию политических противников, — снова повторил Солинский. — А 23 апреля 1972 года министр культуры Анна Петканова, отличавшаяся до этого завидным здоровьем, неожиданно скончалась от удивительного в ее возрасте сердечного приступа. В сообщении о ее смерти особенно подчеркивалось, что крупнейшие кардиологи страны сделали все, что в их силах, но не смогли спасти ее. Они не смогли этого сделать по очень простой причине: у нее не было сердечного приступа. Так вот, господин Петканов, — продолжал Генеральный прокурор, и в его голосе прозвучало что-то такое, что не позволило уже вскочившим с места адвокатессам произнести слова протеста. — Я не знаю и, откровенно говоря, не стремлюсь точно знать, что вы знали, а чего не знали. Но мы здесь слышали из ваших собственных уст, что все, санкционированное вами, согласно Конституции, введенной вами в 1971 году, автоматически становилось совершенно законным. А поэтому сейчас я обвиняю не лично вас, я обвиняю всю преступную и аморальную систему, во главе которой вы стояли. Вы убили вашу дочь, господин Петканов, и мы судим вас сейчас как представителя и главного руководителя политической системы, при которой согласно многократно повторявшемуся здесь вами выражению *совершенно законным* является право главы государства санкционировать убийство одного из своих министров, в данном случае министра культуры Анны Петкановой. Господин Петканов, вы убили свою дочь, и я прошу у суда разрешения добавить обвинение в убийстве к перечню уже предъявленных вам обвинений.

Петр Солинский опустился на свое место под бурные аплодисменты, топот ног, стук кулаков по столам и даже пронзительный свист. Это был его великий час, его звездный час. Вон он, этот гад, это чудовище, рычит, извивается, брызжет слюной; смотрите: он пригвожден у всех на глазах, уличен и выставлен на посмеяние; выносите же свое решение. Это мой великий час. Мой звездный час.

Находчивый телережиссер тут же разделил экран надвое: слева — Генеральный прокурор с сияющими торжеством глазами, гладко выбритый, с легкой усмешкой на губах; справа — бывший президент, разъяренный, растерянный, он колотит кулаком по барьеру, что-то кричит своим защитницам, грозит пальцем журналистам, бросает свирепые взгляды на Председателя суда и его невозмутимых в своих черных одеяниях помощников.

***

— Прямо американское телевидение, — заметила Мария, едва он еще с портфелем в руках закрыл за собой дверь квартиры.

— Ты рада?

У него, как от избытка кислорода, все еще кружилась голова после победного решающего удара, и в ушах звенели шум, аплодисменты, крики. Он чувствовал, что ему все по силам. Стоит ли обращать внимание на иронический тон жены, если он выдержал ярость некогда всесильного диктатора? Он любые слова теперь найти сумеет, сдобрит их семейную жизнь и подсластит кисловатое настроение Марии.

— Это было пошло и бесчестно, это полное пренебрежение законом. Ты вел себя как какой-то альфонс. Представляю, как вертелись вокруг тебя девки и совали свои номера телефонов.

Он прошел в свой кабинетик, встал у окна, вглядываясь сквозь смог в монумент Вечной Благодарности. Этим вечером солнце не золотило штык. Это *он* совершил. Он погасил этот огонь, теперь можно увезти отсюда Алешу, превратить его в чайники и стальные перья или отдать молодым скульпторам, чтобы они наваяли из него новые монументы во славу новых свобод.

Петр, — она неслышно встала у него за спиной, положив ему на плечо руку. Что означает этот жест: просьбу о прощении, попытку утешить? — Бедный Петр, — сказала она, и стало ясно, что просьбы о прощении исключаются.

— Почему бедный?

— Да потому, что я уж не могу тебя любить, а после того, что случилось, сомневаюсь, что и уважать сумею. Ангелина, конечно, останется со мной.

— Этот человек был тираном, убийцей, вором, лжецом, мошенником, моральным уродом, самым страшным преступником за всю историю нашей страны. Это все понимают. Что говорить, даже ты начинаешь постигать это.

Если так, — ответила она, — разве трудно было доказать это, не устраивая бардак с телекамерами и не подсовывая фальшивок?

— То есть?

— Петр, неужели ты действительно думаешь, что самый страшный преступник в нашей истории подписал бы такой удобный для вас документ? Каким образом эта бумажка оказалась у Ганина как раз тогда, когда процесс пошел не так, как он рассчитывал?

Естественно, он размышлял над этим и был готов к защите. Пусть Петканов и не подписывал эту записку, он все равно подписывал нечто подобное. Или отдал какое-то приказание по телефону, а мы представили их в конкретной форме. Он вообще мог просто буркнуть что-то прощаясь, или кивнуть, или даже всего лишь скрыть свое неодобрение. Документ не лжет, даже если он поддельный. И даже если лжет, то он необходим. Чем менее убедительной выглядела каждая новая уступка, тем больше грубой мощи она обретала.

И в этой зловещей тишине их разоренного семейного гнезда у него вырвалась полная иронии фраза:

— Что ж, все-таки наша правовая система хоть немного лучше той, что применялась Сталинградским НКВД в тридцать седьмом году.

Мария отдернула руку.

— Это типичный показательный процесс! Только по-современному поставлен. Показательный процесс, вот и все. Но я уверена, что все они ужасно довольны.

И вышла. Он стоял и всматривался в туман за окном, все отчетливее сознавая, что она ушла и из его жизни.

***

Этот недоделанный сопляк прокурор еще не знает, на что он нарвался. Уж если меня не сломала варковская каторга, где даже самым стойким товарищам случалось напустить в штаны при одной лишь мысли о предстоящем визите Железной гвардии, то пустоголовому третьестепенному юристику и подавно со мной не сладить. Папашу я скрутил без особых трудностей, вышиб из Политбюро десятью голосами против одного и отправил куда подальше

заниматься пчелками. А уж этому недоделанному и вовсе не на что надеяться, притащи он в суд хоть целый воз фальшивок!

Эти дурни тешат себя уверенностью, будто победили. Не на этом процессе, на который и плюнуть-то не жалко — тяп-ляп сварганили обвинение и в момент испекли приговор. Они считают, что победили в исторической борьбе. Много они понимают. «С первого прыжка до неба не допрыгнешь». А сколько уж они напрыгали за целые столетия. Прыг-прыг-прыг, как лягушки в тине. А мы прыгнули один лишь раз, а какой славный прыжок получился! Особенно если учесть, что началось все не по Марксу, а в совсем неподходящей стране и в самое неподходящее время, когда объединились все контрреволюционные силы, чтобы придушить нас, не дав вздохнуть. Новую жизнь пришлось строить среди всемирной разрухи, защищать в кровавой войне с фашизмом, а потом в суровом противостоянии американским бандитам с их гонкой вооружений; и все же... все же полмира было на нашей стороне целых пятьдесят лет. Вот какой был великолепный первый прыжок!

Капиталистические ублюдки и продажные писаки врут без удержу о «неминуемом крахе коммунизма», о «врожденных противоречиях системы», да еще и ухмыляются: ловко они приспособили те самые фразы, которыми всегда пользовались и теперь еще пользуются, говоря о капитализме, его противники. Он прочел у буржуазного экономиста Фишера, что «крушение коммунизма означает реабилитацию капитализма». Ну, это мы еще поглядим, герр Фишер! То, что случилось сейчас, означает лишь одно: старой системе позволили еще немного попрыгать в лягушатнике. Но социализм опять наберет силу, и в следующий раз мы прыгнем так, что капитализм увязнет в грязи и задохнется под нашими сапогами.

Мы работали, и мы, конечно, ошибались. Работали и ошибались. Пожалуй, мы были слишком уж самонадеянны, когда рассчитывали за одно-два поколения переделать и общественную структуру, и человеческую природу. Я-то сам никогда не был так уверен в этом, как другие, и то и дело предостерегал товарищей о возможном возрождении буржуазно-фашистских элементов. И оказался прав: за последние два года вся нечисть всплыла наружу. Но если буржуазно-фашистские элементы сумели выжить и сохраниться за сорок лет социализма, представьте себе, как же по сравнению с ними непреодолим и могуч великий дух социализма.

Движение, которому он посвятил всю жизнь, не может быть задушено кучкой оппортунистов, мешком долларов и каким-то говнюком из Кремля. Это движение столь же древнее и всесильное, как человеческий разум. И оно скоро возродится. Очень скоро. Может быть, оно вернется под другим именем и с другими знаменами. Но народ всегда будет стремиться идти этой дорогой — крутой, извилистой дорогой через каменные потоки, сквозь грозовые облака, ибо люди знают, что в конце пути они увидят яркое солнце и сияющие вершины гор. Народ всегда мечтал об этом. Люди снова возьмутся за руки. У них будут новые песни, пусть не «Смело, товарищи, в ногу», как тогда на горе Рыкоша. Но они будут петь новые песни на старый лад. И соберут все силы для второго прыжка. И содрогнется земля, и все капиталисты, империалисты и обожающие природу фашисты — вся нечисть и погань, ренегаты, недотепы интеллигенты, сопляки прокуроры, иуды с птичьим дерьмом на черепушках будут разгромлены в последнем решительном бою.

***

— Я Стойо Петканов.

На сорок пятый день слушания своего дела бывший президент обратился к суду с защитительной речью. Он стоял, опираясь рукой о барьер, невысокий, крепкий, вскинув голову и стиснув челюсти, поглядывая сквозь затененные стекла очков, какая камера на него направлена. Он откашлялся и повторил еще более твердым и внятным голосом:

— Я Стойо Петканов. Я получил Цепь Великого ордена «Освободитель» от Аргентинской Республики. Большую звезду ордена «За заслуги» от Республики Австрия. Большую цепь ордена Леопольда от Бельгии. Большую цепь ордена Крузейро до Сул Националь от Бразилии. Большой крест ордена Доблести от Республики Бурунди.

(— Вранье это все, вранье!)

— И также от Республики Бурунди Большой пояс национального ордена.

(— Чтобы брюхо подтянуть.)

— Большой крест ордена Доблести от Камеруна[1]. Памятную медаль в честь тридцатилетия Майского восстания народа Чехословакии. Большой крест «За заслуги» от Центральноафриканской Республики. Колумбийский орден Бояки. Большой крест «За заслуги» от Республики Конго. Орден Хосе Марти от Республики Куба. Большой пояс ордена Макариоса от Кипра.

(— Подтянуть брюхо.)

— Орден «Слона» от Дании. Звание доктора гонорис кауза Центрального университета Эквадора. Орден «Большая цепь Нила» от Арабской Республики Египет. Ордена «Белого креста» и «Белой розы» от Финляндии. Орден Почетного легиона от Франции. А также памятную медаль в честь Жоржа Помпиду. А также звание доктора гонорис кауза от Университета Ниццы.

(— Кого же это он во Франции поимел?

— Всех. Де Голля. Жискара. Миттерана.)

— Золотую медаль Сената и Мемориальный ларец в честь столетия Сената Франции. Большой крест Экваториальной звезды от Габона. Орден Карла Маркса от Германской Демократической Республики.

(— Он Хонеккера трахнул.

— И Карла Маркса.

— Эй, вы, хватит.)

— Большой крест «За заслуги» от Федеративной Республики Германии. Я кавалер ордена Звезды Ганы. Большой крест ордена Спасителя от Греции. И Золотую медаль от города Афины. Большой крест национального ордена «Верность народу» от Республики Гвинея.

(— Верность народу!

— Жители Гвинеи, Димитр, всегда отличались чувством юмора.)

— Орден Пихлеви с цепью от Ирана. Орден «Почетный пояс за заслуги перед Республикой» от Италии. А также Золотую медаль Альдо Моро. А также орден «За заслуги» от Ливана. А также Специальную золотую медаль Леонардо да Винчи от Римского института международных отношений. А также Золотую пластину от Пьемонтской областной Джунты. Большой крест Национального ордена Берега Слоновой Кости. Ленту «Аль-Хусейн Бин-Али» от Иордании. Орден «Республиканское знамя» первого класса от Корейской Народно-Демократической Республики. Орден Мубарака с Большой цепью от Кувейта. А также Серебряную пластину от Университета Кувейта. Почетный пояс ордена Пионеров от Республики Либерия.

(— Чтобы брюхо подтянуть.)

— Большую цепь марокканского ордена Мухаммади. Большой пояс от Мавритании «За заслуги перед нацией». Медаль «Чемпион мира по борьбе за мир в XX веке» от Маврикия. Большую цепь мексиканского ордена «Орел ацтеков». Юбилейную золотую медаль в честь пятой годовщины независимости Мозамбика. Орден Святого Олафа от Норвегии. Медаль города Амстердама, присуждаемую бургомистром. Орден «Нишан-и-Пакистан». А также пакистанскую Юбилейную медаль «Куад-л-Азам». Большой крест ордена Солнца от Перу. А также звание доктора гонорис кауза от Национального инженерного университета Перу. Орден Сикутаны первой степени от Филиппин. Большой крест ордена Сант-Яго от Португалии. Рыцарский орден от Сан-Марино. Большой крест национального ордена Льва от Сенегала. Почетный пояс Омейядов от Сирийской Арабской Республики.

(— Я молчу.)

— Я кавалер Звезды Сомали с Большим поясом.

(— У-у-у-у-у-у.)

— Ордена «За гражданские заслуги» с Большой цепью от Испании. Ордена «Цепь Почета» от Судана. Королевского ордена Серафима от Швеции. Большого пояса ордена Независимости от Турции. Имею диплом Почетного гражданина и Золотой ключ от города Анкары. Звание рыцаря Большого креста ордена Бани Соединенного Королевства.

(— Он и английскую королеву трахнул.

— Ну да, в бане.

— На все готов ради своей страны.)

---

[1] В оригинале названия государств даются в алфавитном порядке.

— Орден Ленина от Советского Союза.

(— А ты еще вякаешь. Он самого Ленина трахнул.

— Стефан, твоя бабушка знает об этом?

— И Сталина.

— И Хрущева.

— И Брежнева.

— О, много раз. И Андропова.

— И этого... Кто там еще у них был?

— Черненко.

— И Черненко.

— А вот Горбачева он не трахал.

— Горбачев не захотел. После всех других. Боялся подцепить что-нибудь.

— А английскую королеву он, наверно, наградил этим.

— Нет, она же с ним в бане занималась.)

— А также юбилейную медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне». А также юбилейную медаль в честь столетия Ленина. А также юбилейную медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне». Орден Боливара от Венесуэлы. Большой пояс Национального ордена от Верхней Вольты. Орден «Большая Звезда» от Югославии. А также Мемо́риальную пластину от города Белграда. Большой пояс ордена Леопарда от Заира. А также орден «Великий Друг Свободы» и звание командора от Замбии. А также...

(— Также!)

— ... юбилейную медаль Апимондии. Золотую медаль Жолио-Кюри от Всемирного Совета Мира. Юбилейную медаль Федерации городов-побратимов. Юбилейную Серебряную медаль в честь 25-летия Организации Объединенных Наций. Золотую медаль Норберта Винера. Золотую медаль с лентой и пластиной Института проблем новой международной экономики. Титул «Человек года», 1980.

(— Слушай, он же весь мир перетрахал.

— Он не трахал Израиль. Не трахал Штаты.

— А сколько раз Францию?

— Франция кому угодно разрешает себя трахать.

— Но он и королеву Англии трахнул. Никак не могу поверить.

— А, понимаешь, он же нацепил на себя все эти пояса и цепи. Вот она и не могла разглядеть, кто там такой под ними.

— Но в бане-то ему пришлось их снять.

— Он их, наверное, не снимал до последней минуты. А потом ууууувввваааафффф! Слишком поздно, Ваше Величество.

— Он весь мир перетрахал.

— И его весь мир трахал. Весь мир нас трахал.

— До чего же вы глупы, ребята. Но беда в том, что вы правы.

— Глупы, но правы. Глупы, но правы.

— Что ты имеешь в виду, Вера?

— Эти двое все твердят, что нас... поимели. Против нашей воли и много-много раз. Всю страну. Нам нужно лечиться. Но разве можно вылечить всю страну?

— Это не получится, нам просто нужно приготовиться, что вместо этого придет кто-то другой...

— Ну да, дядя Сэм со своими звездами и полосами.

— Он хотя бы подарки нам дарит. Сигареты «Мальборо».

— А потом трахает.

— Это лучше, чем подставляться Брежневу.

— Все лучше, чем Брежнев. Он ведь лез в постель в сапогах. Он просто не понимал, как чувствительны наши девушки.

— До чего же вы похабники, ребята.

— Нам нужно лечиться, Вера. Вот в чем проблема.

— Или выпить пива.

— Тсс! Давайте послушаем дальше.)

— Я с малых лет остался сиротой. Я рос при фашистской монархии. Вступил в Союз коммунистической молодежи. Меня преследовала буржуазно-помещичья полиция. Я отбывал наказание в каторжной тюрьме в Варкове. «Кто прошел суровую школу Варковы, тот никогда не отречется от социализма и коммунизма». Я проливал кровь за Родину, сражаясь с фашизмом. Тридцать три года

я стоял у штурвала нашей Родины. Мы уничтожили безработицу. Мы контролировали инфляцию, применяя научные методы. Фашизм был разбит. Мир упрочен. Благосостояние росло. Под моим руководством страна заняла достойное место в мире. И внезапно я оказываюсь в странном положении.

На камере 2 вспыхнула красная лампочка, и Петканов обернулся поговорить с народом с непринужденностью доброго дядюшки.

– Меня предали суду. Меня обвиняют в том, что я принес своей стране мир, процветание и международный авторитет. Меня обвиняют в том, что я уничтожил фашизм, ликвидировал безработицу, строил школы, больницы и гидростанции. Меня обвиняют в том, что я был социалистом и коммунистом. Виноват, товарищи, виновен по всем пунктам.

Он прервал речь и обвел зал взглядом.

– Товарищи, — повторил он. — Случилась еще одна странность. Куда бы я сейчас ни посмотрел, я вижу своих товарищей. Людей, которые клялись в верности Партии, называли себя истинными коммунистами, просили Партию помочь им в их служебной карьере, людей, которых воспитал, вскормил и одел социализм.

Но теперь, из конъюнктурных соображений и блюдя свои личные интересы, они решили, что не были коммунистами, хотя прежде гордились тем, что они коммунисты.

Так вот, я признаю себя виновным, что посвятил свою жизнь тому, чтобы рабочим и крестьянам нашей страны жилось лучше.

Как я уже сказал в начале этого... шоу для американского телевидения, я был здесь и раньше. И я хочу закончить не своими словами, а свидетельствами других людей. Для протокола этого заседания я зачитываю следующие цитаты: Королева Елизавета Английская: «Великобритания находится сейчас под глубоким впечатлением от той решительности, с которой Вы отстаиваете свою независимость. Ваши личные качества деятеля мирового масштаба, Ваша опытность, господин Президент, и Ваше влияние широко известны».

Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании...

Солинский не выдержал:

— Господин Председатель суда, должны ли мы...

Петканов оборвал Генерального прокурора, как обрывал его отца на заседаниях Политбюро. С ледяной учтивостью он обратился к суду:

– Вы милостиво отвели мне час. Предполагалось, что я не стану здесь напоминать о нашем соглашении. Предполагалось, что я сделаю вид, будто отведенного времени мне вполне достаточно. Так вот, напоминаю: вы дали мне час, и я воспользуюсь этим временем полностью.

– Именно так, — сказал Председатель. — Мы ввели ограничение времени. Вам отвели час для того, чтобы вы представили допустимые в рамках процедуры доказательства и изложили свои доводы.

– Именно этим я и занимаюсь. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании...

Петканов вызывающе посмотрел на Председателя, тот слегка кивнул, снял наручные часы и положил их перед собой.

– Маргарет Тэтчер: «Я поражена яркой личностью Президента, и у меня создалось твердое убеждение, что это выдающийся лидер своей страны, стремящийся развивать сотрудничество с другими нациями».

Ричард Никсон: «Своим глубоким проникновением в суть мировой политики Президент может внести и уже реально вносит значительный вклад в разрешение возникающих перед человечеством проблем».

Президент Джимми Картер: «Президент играет выдающуюся роль на международной арене. Благодаря твердой и независимой позиции своего Президента его страна оказалась способной выполнить роль моста между государствами с весьма различными взглядами и интересами и между лидерами, которым в ином случае было бы крайне трудно договориться».

Андреас Папандреу: «Президент не только крупный государственный деятель и выдающийся политик Балкан и Европы, он в то же время один из самых влиятельных личностей современного мира».

Карл Густав XVI, король Швеции: «Вы стали символом прогресса, достигнутого Вашей страной в последние десятилетия. С величайшим интересом следим мы за тем, как под Вашим руководством Ваша страна успешно продвигается по пути экономического развития».

Хуан Карлос, король Испании: «Мы, господин Президент, имели много случаев убедиться, как самоотверженно посвящаете Вы себя делу детанта, делу защиты неотъемлемого права народов самим определять свою судьбу, следуя по пути служения собственным интересам, свободному от нарушающего суверенитет иностранного вмешательства».

Валери Жискар д'Эстен: «Франция рада принять у себя государственного деятеля, сыгравшего важную роль в политике сближения и сотрудничества двух частей Европы».

Джеймс Калаган, премьер-министр Великобритании: «Вы внесли важный вклад в развитие отношений с «третьим миром», в преодоление отсталости в развитии, в установление экономической стабильности в слаборазвитых странах, в чем равно заинтересованы все государства, включая высокоразвитые».

Джулио Андреотти: «Я расцениваю роль Президента в жизни международного сообщества как весьма позитивную, ибо высокий престиж и всеобщее уважение, которыми он пользуется, объясняются его доброй волей и стремлением к миру и урегулированию всех проблем с учетом взаимных интересов».

Франц Йозеф Штраус: «Этот лидер вносит важный вклад в поддержание мира своей дальновидной, смелой и инициативной политикой, ясным пониманием возникающих между нами проблем, своими мудрыми решениями и поступками».

Леонид Брежнев: «Трудящиеся Советского Союза высоко ценят замечательные достижения рабочего класса, кооперативного крестьянства и интеллигенции Вашей страны, которая под уверенным руководством Коммунистической партии решительно изменила свой облик. Мы рады отметить, что Ваша социалистическая республика является быстро развивающимся государством с современной, постоянно растущей промышленностью и хорошо организованным сельским хозяйством. Деятельность всей партии под Вашим личным руководством ведет страну к новым вершинам строительства социализма».

Ксавьер Перес де Куэльяр, Генеральный секретарь ООН: «С чувством глубокого удовлетворения я приношу благодарность Президенту за конструктивный, энергично осуществляемый вклад во все сферы деятельности Организации Объединенных Наций».

Марио Суареш: «Со своей стороны, я высоко оцениваю усилия Президента в деле обеспечения Европейской безопасности, мирного и независимого развития народов всего мира, предотвращения попыток некоторых государств, стремящихся вмешаться во внутренние дела других стран».

Принц Нородом Сианук: «Ваша социалистическая нация и ее горячо любимый вождь, который символизирует в международном масштабе твердую приверженность идеям справедливости, свободы, мира и прогресса, всегда стояли на стороне угнетенных народов, жертв агрессии, борющихся за свою независимость».

Ху Яобан, Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая: «Вы твердо стоите на страже государственного суверенитета и национального достоинства. В своей международной деятельности Вы всегда отвергаете право силы, защищаете дело мира во всем мире и прогресс человечества».

Канаа Банана, Президент Зимбабве: «Вы хорошо понимаете, что наша независимость не может быть полной, пока все человечество не сбросит с себя цепи империализма и колониализма. Именно поэтому Ваша страна всегда находилась в первых рядах тех, кто помогал нам в нашей справедливой борьбе за национальную независимость. В тяжелейших испытаниях мы всегда ощущали Вашу моральную и материальную поддержку».

Мухаммед Усни Мубарак, Президент Арабской Республики Египет: «Со своей стороны, и я испытываю точно такую же удовлетворенность существующими между нами отношениями, удовлетворенность, проистекающую из моей высокой оценки Вашей мудрой позиции, Вашей прозорливости, смелости, широкого, всеобъемлющего взгляда на историю, Вашей исключительной способности брать на себя ответственность, Вашего умения преодолевать трудности и Вашего дальновидного подхода к реалиям эпохи».

(— Он их всех перетрахал, всех. Он точно их всех перетрахал.

— Так ведь они не против были.)

— Я привел здесь не свои свидетельства, — продолжал Петканов. — Это говорят другие, те, кто вправе беспристрастно судить.

Когда много лет назад я уже был перед судом, буржуазно-фашистским судом в Вельпене, меня, как и сейчас, обвинили в вымышленных преступлениях. Вы, господин профессор и прокурор, в начале этого... шоу напомнили, что преступление, в котором меня, шестнадцатилетнего члена Союза коммунистической молодежи, в те времена обвиняли, состояло в порче чужого имущества и тому подобное. Но ведь все знали, что главное преступление, которое я совершил, заключалось в том, что я был социалистом и коммунистом, заключалось в моем стремлении облегчить участь рабочих и крестьян моей страны, сделать так, чтобы их доля оказалась счастливой. Все знали это: буржуазно-помещичья полиция, прокурор, судьи, я сам и мои товарищи. И все знали, что за это я и был приговорен.

То же самое повторяется и сейчас. Каждый присутствующий на этом суде и каждый, наблюдающий по телевидению это шоу, отлично знает, что обвинения против меня — просто ловкая фальсификация. Я стоял у штурвала этой страны тридцать три года, я был коммунистом, я посвятил всю жизнь народу, и потому я преступник в представлении людей, которые совсем недавно давали те обещания и присягали тем идеалам, которым они сейчас изменили. Но на самом деле, и это знают все, меня обвиняют в том, что я остался социалистом и коммунистом, что я горжусь тем, что я социалист и коммунист. Так давайте не будем ходить вокруг да около, бывшие мои товарищи. Я признаю себя виновным в том, за что меня действительно судят. А теперь выносите свой приговор, он у вас давно готов.

Яростно сверкнув глазами на своих обвинителей, Стойо Петканов решительно опустился на место. Председатель взглянул на часы. Один час и семь минут.

***

Судебное следствие кончилось к концу февраля. Солнечные лучи все чаще прорывались сквозь смог. Бабка-веснянка вот-вот пожалует. Всем известно, как капризна эта старушка, но когда она улыбнется, жди хорошей погоды.

Петр Солинский купил две *мартеницы*: кисточки шерсти наполовину красные, наполовину белые; красный и белый — лучшее средство против сглаза, красный и белый цвета приносят удачу и здоровье. Но Мария в этом году не захотела, как обычно, приколоть их.

— Мы же в прошлом году прикалывали. Мы их каждый год прикалывали.

— В прошлом году я любила тебя. И уважала.

Петр позвонил, вызвал такси. Ну что ж, пусть будет так.

В конце концов среди новых свобод и у него теперь есть свобода не выражать фальшивую признательность за то, что дочь выдающегося антифашиста соблаговолила стать его женой. Это она должна быть ему благодарной, а не фыркать с презрением: «Телевизионный юрист». Даже если суд не сочтет нужным добавить к обвинительному акту убийство, он отлично поработал, очень хорошо. Это каждый скажет. Его coup de théâtre[1] решительно изменил настроение общества. Карикатуристы изображали его в виде Святого Георгия, поражающего дракона. Юридический факультет дал обед в его честь. Ему улыбались теперь женщины, даже незнакомые. И единственными его критиками оставались жена Мария, издатели «Правды» да еще анонимный автор открытки, доставленной ему позавчера. На открытке было изображено здание бывшего комитета компарии в Сливене, короткий текст: ДАЕШЬ РАСПРАВУ ВМЕСТО ПРАВОСУДИЯ.

Он попросил таксиста отвезти его к Северным холмам.

— Ну что, прощаемся, начальник?

— Прощаемся. — Неужели по его лицу видно, что он снова только что ссорился с Марией?

— С Алешей. Говорят, его собираются убирать. Как вы думаете, это правильно?

— Товарищ начальник, — таксист и не думал скрывать иронию, он лишь слегка повернулся к пассажиру, и Солинский увидел его жилистую шею, засаленную кепчонку да прилипший к губам окурок. — Товарищ начальник, раз

[1] Театральный эффект (*франц.*).

теперь у нас свобода и можно говорить все, что думаешь, позвольте мне сообщить вам, что мне начхать и на тех, и на этих.

Машина остановилась. Таксист подождет его. Он прошел через городской сквер и стал подниматься по гранитным ступеням. Недолго уже осталось Алеше призывать своим сверкающим штыком светлое будущее; и бравым пулеметчикам вокруг пьедестала тоже уже недолго держать оборону и готовиться к атаке с любой стороны. А потом? Поставят что-нибудь другое на место Алеши, или эпоха монументов миновала?

Солинский глянул вниз на обнаженные ветви лип и каштанов, тополей и орешника. К западу высилась вершина Рыкоши, там была исполнена когда-то патетическая рапсодия юного Петканова (если он просто не придумал все это). К югу лежал город, покрытый смогом, охраняемый жилыми бастионами. «Дружба-1», «Дружба-2», «Дружба-3», «Дружба-4»... Пожалуй, в самом деле надо бы подыскать новое жилье, как предлагает Мария. Можно поговорить об этом с заместителем министра жилищного строительства, они оба старые члены Партии зеленых. Оттого, что ему придется жить одному, вовсе не следует, что он переберется в какую-то дыру. Комнат шесть, может быть? Генеральный прокурор должен время от времени принимать высокопоставленных зарубежных гостей. И потом, не вечно же он будет разведенным холостяком...

Он вспомнил, как, вытянувшись по струнке, стоял здесь рядом с отцом; слушал, как играет оркестр; смотрел, как советский посол укладывает венок и кланяется. Вспомнил Стойо Петканова в сиянии его могущества. И Анну Петканову вспомнил: плоское лицо и волосы, перехваченные лентой. Лет десять, если не больше, он был издали влюблен в Путеводную Звезду Молодого Поколения. На журнальных фотографиях она выглядела стильно, все знали, что она интересуется джазом... Неужели ее и вправду убили? Неужели мы докатились до такого? Неужели это можно было сделать? Кто ответит. Сталин убил Кирова: добро пожаловать в новый, современный мир!

Спустившись по гранитным ступеням, Петр Солинский вытащил из кармана плаща две *мартеницы*. Среди пожухлой травы он нашел большой камень на тропке, и под одобрительными взглядами трех пожилых муниципальных садовников подсунул под него красно-белые шерстяные кисточки. Так всегда поступают в деревне в это время года. А через несколько дней вернетесь туда, где оставили свои *мартеницы*. Если под камнем будут сновать муравьи — ждите хорошего приплода ягнят в хозяйстве. Дождевые черви и жуки предвещают лошадей и коров, пауки обернутся ослами. Всякая копошащаяся живность сулит вам, что все в вашем хозяйстве будет плодиться и размножаться, сулит вам новую жизнь.

***

— Ну как ты провел выходные, Петр? Что нового? Эти дефективные все еще протестуют против новой Конституции?

Он был неутомим, этот человек. Его нельзя было понять — он выжимал из вас все силы. Наверно, это оттого, что он питается йогуртом. И держит под кроватью дикую герань. Доброе здоровье и долгая жизнь: цветок столетних. Может быть, приказать милиционеру выкинуть этот цветок за окно, когда Петканов выйдет из комнаты?

Генеральный прокурор мало-помалу утратил свой боевой пыл. Оставалось только огласить приговор, процесс окончился, и он победитель. Странно, впрочем, что обвиняемый не проявляет к нему неприязни — вернее, явной, острой неприязни — после сенсационного заявления об Анне Петкановой. Что бы это могло значить? Неужели не случайно?

— Я ездил к отцу, — ответил Солинский.

— Ну и как он?

— Умирает, я вам уже говорил.

— Да-да... Что ж, все там будем. Но мне искренне жаль. Каковы бы ни были наши разногласия...

Нет уж, опять выслушивать нелепицы и сентиментальные байки о его семейном прошлом Солинский не намерен. Он резко прервал собеседника.

— Отец говорил о вас, — сказал он.

Петканов замер явно в предвкушении — вождь давно уже привык к лести.

Но тут же понял, что обманулся: таким жестким, сухим, постаревшим выглядел Солинский. Нет, мальчиком его больше не назовешь.

— Отец не мог говорить много, но он хотел, чтобы кое-что я услышал. Он сказал, что, когда вы были молоды, когда вы оба были молоды, вы искренне верили в идею. И хотя вы были бешено честолюбивы, просто одержимы мыслью о власти, это не мешало вам верить в идею. Он сказал, что хотел бы узнать, когда вы утратили веру. Его жгло желание узнать, когда и как это произошло. Возможно, после смерти дочери, хотя он думает, что задолго, задолго до этого.

— Передай своему отцу, что я по-прежнему искренне предан социализму и коммунизму. И никогда не сворачивал с этой дороги.

— Тогда вам будет интересно, что сказал отец перед самым моим уходом. Он сказал: «Отгадай-ка загадку, Петр. Кто хуже: тот, кто искренне верит и продолжает верить вопреки очевидной реальности, или тот, кто принял эту реальность, но продолжает утверждать, будто он верит в идею?»

В кои-то веки Стойо Петканов постарался подавить в себе раздражение. Вот такой он был всегда, старик Солинский, всегда разыгрывал из себя гнилого интеллигента. Они завершают утверждение очередных экономических программ. Министры с ума сходят, как увязать плановые показатели, не поставит ли погода под угрозу урожай, не повлияет ли новый ближневосточный кризис на поставки сырья из России-матушки, а старик Солинский, попыхивая трубочкой и откинувшись на спинку стула, приступает к изложению своих высоколобых теорий. «Я сейчас перечитал, товарищи...»— так он обычно начинал свою тягомотину. *Пере-чи-тал*! Ты читаешь, ты изучаешь, само собой, как же без этого, но ты же еще и работаешь, действуешь! Научные принципы социализма известны, но ты применяешь их на практике. Разумеется, сообразуясь с местными условиями. Но когда вы решаете вопрос о завершении строительства гидроэлектростанции, или выясняете, почему крестьяне Северо-Запада утаивают зерно, или обсуждаете доклад ОВБ о венгерском национальном меньшинстве, ни хрена вам, товарищ доктор Солинский, профессор блядских наук, ни хрена, уж извините, вам не надо *пере-чи-тывать*. А виноват был он, Петканов, уж слишком мягко, слишком терпеливо он обходился со старым дураком, которого давно уже пора было отправить в деревню к пчелкам. Он не был таким высокоумным теоретиком, когда они сидели вместе в варковской тюрьме. И не просил тогда у надсмотрщиков позволения *пере-чи-тать* что-нибудь прежде, чем врезать нечаянно тому отбившемуся от своих железногвардейцу. В те дни старик Солинский умел сделать так, чтобы фашист взвыл от боли.

Но ни о чем подобном бывший президент ни слова не сказал. Он лишь спокойно произнес:

— У каждого человека бывают сомнения. Это естественно. Возможно, случалось так, что и я не в состоянии был верить. Но другим я верить разрешал. Ты на такое способен?

— Э, — крякнул прокурор. — Вы, я вижу, здорово умели облагодетельствовать своих ближних. Лишенный благодати поп влачит невежу на небеса.

— Ты сказал.

***

— Его признали виновным, бабуся, виновным!

Бабушка Стефана слегка повернула голову и из-под вязаной шапочки подняла на студента глаза. Экий глупый чижик с дурашливой улыбкой, кажется, он так и норовит стукнуть своим клювиком по цветному портрету Ленина.

— Они и вашего любимчика заодно осудили, бабуся. Пока с тем разбирались.

— А ты и рад?

Чижик даже вздрогнул от нежданного вопроса. Задумался, потом пыхнул дымом в лицо основателя Страны Советов.

— Да, — сказал он. — Раз уж вы спрашиваете: да, я просто счастлив.

— Тогда мне тебя жаль.

— Почему? — В первый раз в нем, казалось, проснулся интерес к старухе, восседавшей под своей иконой. Но она уже снова отвела глаза, снова вернулась к своим воспоминаниям. — Почему? — повторил он вопрос.

— Избавь, Господи, от того, чтобы слепой научился видеть.

***

С многодневным телевизионным зрелищем было покончено, и Вера, Атанас, Стефан и Димитр отправились пить пиво. Они зашли в прокуренное кафе, где до Перемен был книжный магазин.

— Как вы думаете, что ему дадут?

— *Та-та-та-та-та.*

— Нет, этого они не сделают.

Принесли пиво. Молча, благоговейно они подняли кружки и чокнулись. Здесь прошлое, здесь будущее, здесь конец и начало всего. Они сделали первый глоток с серьезными, торжественными лицами.

— Ну? Кто-нибудь чувствует, что очистился?

— Какой ты циник, Атанас!

— Я циник? Наоборот, я настолько далек от цинизма, что просто хотел, чтобы его поставили к стенке и расстреляли.

— Нет, его нужно было судить. Не могли же ему просто сказать: «Убирайся куда глаза глядят, а мы объявим, что ты болен». Так обычно поступали коммунисты.

— Но ведь и это было неправильно, этот судебный процесс! То, что он сделал со страной, не определяется категориями уголовного права. Надо было говорить обо всем, о том, что он испоганил все, к чему прикасался. И все, к чему прикасались мы. Землю, траву, камни. Как он все время лгал, он лгал автоматически, сделал вранье своей политикой, он не мог не врать, да еще и всех приучил к этому. И люди теперь вообще разучились чему-либо верить. Он все испоганил, даже слова, которые мы говорим.

— Ну, мои-то он не испоганил, этот лживый, трусливый, брехливый ублюдок.

— Атанас, да стань же наконец серьезным; хоть раз в жизни.

— А я думал, Вера, что несерьезность — это неотъемлемая часть...

— Неотъемлемая часть чего?

— Свободы. Свободы не быть серьезным, если тебе этого не хочется... Никогда, никогда больше не быть серьезным. Разве я не получил это право — на всю оставшуюся жизнь быть легкомысленным?

— Атанас, да ты и до Перемен был ужас какой легкомысленный.

— Ну, тогда это просто называлось антисоциальным поведением. Хулиганством. А теперь это мое конституционное право.

— Значит, мы за это и боролись? За право Атанаса дурака валять?

— Возможно, этого не так уж мало на сегодня...

***

За день до того как был опубликован приговор по Уголовному делу № 1, Петр Солинский навестил Стойо Петканова в последний раз. Старик переступил нарисованный полукруг и стоял теперь у самого окна, глядя на город. Дежурного милиционера уже проинструктировали, что запретную линию можно не соблюдать. Пусть глядит сколько хочет. Пусть любуется городом, в котором он когда-то властвовал.

Они сели по обе стороны стола. Петканов вчитывался в текст судебного решения, словно выискивал в нем какую-нибудь несообразность. Тридцать лет ссылки. Пребывание в столице запрещено. Движимое имущество конфискуется. Он вдруг увидел в этом что-то почти успокаивающее, давно знакомое. Да, начинал он нищим, нищим и умрет. Он пожал плечами, отодвинул бумагу.

— Ордена и медали вы не содрали с меня?

— Мы решили, что их нужно вам оставить.

Петканов хмыкнул.

— Ну и все же как ты чувствуешь себя, Петр? — спросил он и взглянул на прокурора с блаженно счастливой улыбкой. С такой улыбкой, словно жизнь лишь только началась, жизнь, разукрашенная замыслами, развеселыми кутежами и рискованными авантюрами.

— Как я себя чувствую?

Вконец измотан, это прежде всего. Если сосет под ложечкой, мозги туго набиты ватой, если ты ощущаешь такую жуткую усталость именно в ту минуту, когда ты добился всего, чего хотел, когда страна твоя стала свободной, когда карьера ослепительно улыбается тебе — то на что ж тогда похожа усталость неудачи? Недавнее чувство триумфа убегало, как вода в водосток.

— Как я себя чувствую? Ну раз уж вы спросили, я скажу: отец мой умер, жена требует развода, а дочь не желает со мной разговаривать. Как, по-вашему, я хорошо себя чувствую?

Петканов снова улыбнулся, и солнце блеснуло на металлической оправе его очков. Странно, у него было отличное настроение. Он утратил все, но он подавлен куда меньше, чем этот стареющий молодой человек. Кишка тонка у этих интеллигентов, так было всегда. Еще, чего доброго, заболеет этот молодой Солинский. До чего ж он презирает всех этих недужных слабаков.

— Что ж, Петр, тебя, вероятно, утешит мысль, что при твоих изменившихся обстоятельствах ты сможешь посвятить больше времени спасению своей страны.

Смеялся он над ним? Или, наоборот, старался, давая этот совет, установить между ними новую связь. Но ненавидел Петр его по-прежнему, и это хоть как-то утешало его. Он встал, но бывший президент еще не собирался расставаться с ним. С неожиданной в его возрасте резвостью он обежал вокруг стола, схватил прокурора за руку и стиснул ее своими пухлыми ладонями.

— А скажи мне, Петр, — в его голосе слышались некоторая ехидца и в то же время чуть ли не заискивание, — ты считаешь меня чудовищем?

— Меня это не интересует. — Его интересовало только одно — поскорее выбраться отсюда.

— Погоди, тогда давай-ка я по-другому спрошу. Ты считаешь меня обыкновенным человеком или чудовищем?

— Ни тем, ни другим. — Генеральный прокурор вдруг громко шмыгнул носом. — По-моему, вы просто бандит.

Он никак не ожидал такой реакции: Петканов весело расхохотался.

— Это не ответ на мой вопрос. Слушай, Петр, дай-ка я загадаю тебе загадку вроде той, которую тебе загадывал отец. Либо я чудовище, либо нет. Ведь так? Если я не чудовище, тогда я, наверное, кто-то вроде тебя или кто-то, кем ты можешь стать. Кем бы ты хотел, чтобы я был? Решай.

Солинский не ответил, и бывший президент торопливо, напряженно продолжал:

— А-а, тебе неинтересно! Тогда позволь мне договорить. Если я чудовище, я буду преследовать тебя во сне. Я сделаюсь твоим кошмаром. Ну а если я такой же, как ты, то мы еще много раз встретимся с тобой в жизни. Что ты предпочитаешь? А?

Теперь Петканов, вцепившись в его руку, подтянул его так близко к себе, что Солинский почувствовал запах крутого яйца, которым завтракал Президент.

— Вы от меня не отделаетесь. Этот мелодраматический процесс не значит ровно ничего. А если вы меня убьете, это тоже ничего не значит. И ничего не значит ваша ложь, что народ не любил меня, а лишь ненавидел и боялся. Вы от меня не отвяжетесь. Понятно вам?

Прокурор наконец вырвал руку, что было не так уж просто. Он почувствовал себя замаранным, грязным, подхватившим дурную болезнь и пронизанным ею до мозга костей.

— Да пошли вы к черту, — крикнул он, резко повернулся и зашагал к двери.

И тут же оказался лицом к лицу с молоденьким милиционером, наблюдавшим эту сцену с откровенным дозволенным теперь демократическим любопытством. Сам не зная почему, прокурор вежливо кивнул солдатику, и тот бодро щелкнул каблуками в ответ.

— К чертовой матери! — снова крикнул Солинский. — Будьте вы прокляты!

Но не успел он взяться за дверную ручку, как за спиной у него точно крышкой люка хлопнули, и он ощутил внезапный страх. Сильные пальцы вцепились ему в плечо и заставили повернуться. Полыхая яростным взглядом, бывший президент тянул его к себе, стараясь заглянуть в глаза. Прокурор вдруг совершенно обессилел, их взгляды встретились, и он увидел глаза противника совсем близко, почти вплотную.

— Нет, — сказал Стойо Петканов, — ошибаешься. Это я тебя проклял. Я тебя приговорил. — Горящие отчаянной отвагой глаза, жаркое, отдающее запахом яйца дыхание и пальцы, крепкие пальцы, вцепившиеся ему в плечо. — Это я тебя приговорил.

***

С началом Перемен все больше и больше людей стало появляться в храмах; они ходили не только на крестины и отпевания, ходили просто так: пос-

лушать службу, успокоиться, утешиться, почувствовать, что они нечто большее, чем пчелы в улье. Петр Солинский, который ожидал, что в церквах будут толпиться старушки божьи одуванчики в платочках, увидел самых обычных людей, молодых, и старых, и среднего возраста, — таких же, как он сам. Он смущенно стоял в притворе Святой Софии, чувствуя себя самозванцем, не знающим, что делать, перед кем и где преклонить колена. Но никто не требовал от него ни пропуска, ни удостоверения, и он осторожно прошел в ближний придел. За спиной его остался тусклый мартовский полуденный свет, а сейчас он привыкал к другому свету, ослепительно яркому из-за обступавшей его темноты. Жарко горели свечи, огнем дышала начищенная медь, и сквозь узкие окна вонзались отточенные лучи солнца.

Массивные, сработанные из железа паникадила с их тонкими штырьками для свеч и мягкими завитушками являли собой пиршество света. Свечи горели на двух уровнях: на уровне плеча — за здравие, на уровне лодыжки — за упокой. Солинский купил две восковые свечечки и окунул их в пламя. Он опустился на колени и первую свечу прижал к стоявшему на полу усыпанному песком подносу. Потом встал, вытянул руку и крепко насадил на железный черный штырь другую свечку, зажженную во здравие родины. Жар опалил его лицо. Медленно, как отдавший последнюю воинскую почесть генерал, он отступил на несколько шагов и застыл в напряжении. Потом рука его потянулась ко лбу, и он смиренно совершил вечный жест — перекрестился справа налево, как требует того православный обряд.

***

Вечер и дождь мягко накрыли город. Накрыли невысокие холмы к северу от города, где высился бетонный пьедестал, угрюмый, бесполезный. Бронзовые панели вокруг него уныло мерцали в сыром воздухе. Сейчас, когда Алеша уже не призывал их в будущее, пулеметчики вели другую битву, бессмысленную, беззвучную, безысходную.

На пустынных задворках сортировочной станции дождь оседал испариной на Ленине и Сталине, на Брежневе, на Первом Вожде и на Стойо Петканове. Наступала весна, и скоро зеленые усики вновь поползут по бронзовым сапогам. По мокрым рельсам под провисшими проводами тащились локомотивы, и отсветы их фонарей ложились на лики скульптур. Но посмертное Политбюро уже прекратило дискуссию. Оцепеневшие исполины умолкли навек.

Перед опустевшим Мавзолеем Первого Вождя стояла старая женщина. На ней вязаная шапочка, поверх шапочки — шарф. Старуха держала в вытянутых руках заключенный в рамку маленький портрет Ленина. Дождь нещадно колотил по портрету, но несмываемый образ неотступно преследовал каждого прохожего. Какой-нибудь пьянчуга или шалый студент порой выкрикивал что-то в лицо старой женщине. Но что бы ей ни кричали, она не покидала своего места, она стояла молча, и лишь слабый свет мерцал сквозь мокрые стекла ее очков.

■

ДЁРДЬ КОНРАД

Весенние заметки

ДНЕВНИК-ЭССЕ

Перевод с венгерского Ю.ГУСЕВА

От переводчика

Дёрдь Конрад — венгерский прозаик и публицист. Участвовал на стороне восставшего народа в событиях осени 1956 года; на протяжении почти трех десятилетий находился на положении диссидента, венгерские издательства публиковали его редко и неохотно. Известность как писатель приобрел еще в конце 60-х годов, но широко печататься стал лишь после краха социализма. В 1991—1994 гг. был президентом международного ПЕН-клуба.

Прозу Конрада нелегко отделить от его публицистики: и та, и другая у него эссеистичны и глубоко личностны. Конрад — один из тех писателей, которые, о чем бы они ни писали, всегда пишут о себе, выражают свой, сугубо субъективный взгляд на жизнь, свой духовный опыт. Спокойная лиричность, раздумчивость, а вместе с тем естественная философичность придают его вещам — будь то роман или газетная статья — характер чуть отстраненных, грустноватых размышлений о мире, о человеке. Взирая на хаос, царящий вокруг, Конрад находит противовес ему в тихой гармонии своего внутреннего «я», в общении с близкими, в незаметной для многих красоте природы. Может быть, поэтому его заметки не только по-писательски глубоки и метки, но и нешаблонны, поражающе мудры... В частности, такими мне представляются его мысли о нашем многострадальном регионе, Восточной Европе, и о том, как можно было бы сделать жизнь в нем более пригодной для человека.

Предлагаемые вниманию читателя «Весенние заметки» взяты — в выборочном, фрагментарном виде — из книги Д.Конрада «91—93», в которой чисто публицистические работы произвольно (по крайней мере, для читательского восприятия) перемежаются дневниковыми заметками, путевыми зарисовками, размышлениями то на злобу дня, то как будто о неприметных событиях повседневной жизни. Эссеистика Конрада откровенно субъективна; однако как субъект он — тоже человек своего исторического времени; более того, исторический момент сделал его общественным деятелем, даже политиком. Так что в нем — это бросается в глаза в данной книге — все время спорят друг с другом человек, тяготеющий к одинокому труду за письменным столом, к самосозерцанию, к рефлексии, и активный участник современной истории. В этом «диалоге» с самим собой рождаются не только глубокие обобщения социального и политического характера, но и настоящие жемчужины поэтического осмысления мира.

(Необходимо пояснить, что в своих заметках Конрад иногда пишет о себе в третьем лице, обозначая себя инициалами Д.К. Конечно, это не признак мании величия, а всего лишь проявление уважения к своему субъективному миру, прием, позволяющий некоторым образом отстраняться от себя, сообщая оттенок объективности субъективной стихии.)

Город на севере Европы, гостиничный номер, внизу озеро, причал, льдины, обитаемые суда, в белом небе повисли чайки, светит солнце, идет снег, ветер крутит мохнатые хлопья, едут велосипедисты, взгляд следует за рыжеволосой девушкой в красном пальто с откинутым капюшоном, она, пригнувшись, одолевает меж красных кирпичных стен встречный ветер. В зданиях возле озера банки, старинные, респектабельные фирмы со скромными медными табличками у подъездов. Ветер уносит тучи, в чистом небе цвета морской волны — платиновый блеск, стаями носятся птицы, а на земле — все еще метель.

Д.К. звонит жене, дома в ванной комнате из крана течет жуткая ржавая вода, как в ней теперь купать мальчиков? Так что вечернего купанья сегодня

© Konrád György, 1993

не будет, сразу в постель. Йожи весь день был шелковый, а сейчас сидит злой: Арон отобрал у него молоток. Йожи требует сказку о некрасивом, но добром тигре... В дверь стучат, за Д.К. пришли. Снегопад, его куда-то везут, в голове пустота.

На прошлой неделе Д.К. был в Барселоне, выступал там с докладом, послезавтра летит в Нью-Йорк, опять с докладом; в субботу, едва вернувшись домой, сразу отправляется в Антверпен, где получит титул почетного доктора и какую-то красно-золотую горностаевую накидку, которой дети наверняка обрадуются: похожа на мантию волшебника; потом домой и вскоре опять в дорогу: в Бонне — германское телевидение, в Гааге — чтение собственных произведений в одной из церквей, семинар в лесу и, наконец, выступление в Вене, в актовом зале университета.

Д.К. слишком увлекся, принимая все эти приглашения; показное молодечество, болезненное разрастание ego. Все преувеличено, все сверх меры. Надо бы отказаться от всяких появлений на публике. Надо бы вообще перестать писать, ведь писатель — вот уж это настоящее бесстыдство. Как уберечься от ракового разбухания «я»? Почему он не смог сидеть тихо в своем углу?

Д.К. любит фантазировать и не любит действовать, но уж коли вступил в игру, доводит ее до конца. И даже если видит, что карта не идет, не сдается сразу, надеясь спасти что можно, чтобы позор не был таким уж явным.

Внизу за спиной золотисто-жемчужные оборки облаков, вот бы где жить всегда — в вышине, над облаками. Внизу — освещенная солнцем белая облачная равнина, самолет уже одолел основную часть пути, еще десять минут ясного неба. Самолет проваливается в серую пустоту, Д.К. снова откидывается назад на спинку кресла, шелест газетных страниц. Из пустоты всплывают деревья, дороги, лес; земной мир силится стать зримым. Прощание с небесными барышнями, у Д.К. лишь ручной багаж, он торопится домой. На стекле такси — горизонтальные дорожки дождевых капель. Глаза жжет, он опускает веки, в пять он дома.

«Что дала мне эта поездка?» — спрашивает себя, откинув назад спинку кресла, пассажир самолета. Снова над облаками сияет солнце. Белокурая женщина, волосы собраны в пучок; стюардесса в узком проходе поглядывает направо, налево. Глаза жжет, ты зажмуриваешься, в пять ты будешь дома, на день раньше, чем собирался. Влезть назад в свою кожу. Lavatory occupied[1]. Прекраснодушные простаки делаются политиками, злые люди пишут романы. Если писатель становится политиком, в его текстах начинают кишмя кишеть нормативные утверждения. Аналитическая речь дается с трудом. Моральные приговоры, национальное самоутверждение, осуждение предыдущего режима.

Хорош или плох этот мир, как он есть? Если сравнить со смертью — хорош. Попробуй представить, как в ходе некой исторической эксгумации череп твой добела очищают специальной метелочкой, высыпают из полостей серый порошок, который еще, может быть, хранит химический состав твоего мозга, — и мир покажется просто великолепным.

Или, думаешь, тебе суждено в белом балахоне до пят слоняться под пышными кронами райских яблонь?.. Честно говоря, меня вовсе не тянет склонить голову на грудь праотцу Аврааму. Я охотно бы поболтал с Иисусом из Назарета; но уж если сидеть рядом с кем-нибудь, то я выбрал бы Ютку. Что тут поделаешь: нравится мне сидеть рядом с ней. И разговаривать куда удобнее, когда видишь собеседника. Оказаться мгновенно в ином измерении? Увы, душа у нас слишком робка, она боится переселения. Из этих переселений редко выходит что-нибудь путное. Если жить не было бы хорошо, мы не так страшились бы смерти и не так осуждали бы убийство.

Мир хорош или плох не сам по себе, а конкретно для тебя; и мир твой таков, каков ты сам. Мой мир — это мир, где я существую, куда ухожу, который знаю. Мир пыток, жестоких убийств наверняка плох, но на этой улице не пытают, не убивают. Спрашивать, хорош или плох данный мир, я могу лишь в том случае, если знаю его. Мир — то, что предстает моим органам чувств, моему цепкому уму.

Я творю этот мир своей жизнью, и он является мне в соответствии с тем,

[1] Туалет занят (*англ.*).

что я делаю в нем. Например, в соответствии с тем, куда я отправляюсь гулять и дышать свежим воздухом. Когда, сев на двадцать второй автобус, я добираюсь до Будакеси, а оттуда через гору Сечени возвращаюсь домой пешком, то мир вполне сносен. Думаете, хвастовство? Будут еще и слезы. Господи, ты дал мне целых пятьдесят восемь лет, но я не горжусь, я просто ценю твою щедрость.

Письмо из Будапешта в Париж, в журнал «Бельведер».

«Если вокруг нас все меняется, то не может быть так, чтобы сами мы не менялись. Писателя — каким он был при социализме — больше не существует. Кончились дешевые книги; у государства не болит больше душа о том, чтобы книги того или иного писателя прочло как можно больше народа. Тебе уже не быть ни жрецом, ни еретиком. Литература перестала быть полем политического вольнодумства. Критика может звучать в парламенте или в прессе; теперь ей ни к чему играть в прятки в театре. Политические высказывания все реже заставляют людей ахать и возмущаться: в обществе начинает брать верх благотворное равнодушие.

Писатель теперь всего лишь дилетант в большинстве занимающих публику тем. Писать — уже не такое серьезное занятие, как было прежде; скорее хобби, увлечение, праздник души. Высокие слова вместо нас опять будут теперь произносить священники. Политики получают от своих помощников хорошо написанные, гладкие тексты. Говорить возвышенные вещи — больше не наше дело.

Если есть либеральная демократия, то сограждане наши уже не нуждаются в духовных поводырях. Хорошие же книги нужны по-прежнему. Писателю только при государственном социализме отведена особая — в позитивном и негативном смысле — роль. Чтобы стать еретиком, надо сначала быть священником. В буржуазном обществе писатель — частное лицо, он делится с нами своими знаниями. Сейчас последует гордое отступление литературы со своих позиций; но не исключено, что отступление станет позорным бегством.

Период смены режима — такое время, когда что-то стремительно возникает и так же стремительно отмирает. Два-три человека затевают какое-нибудь новое предприятие; воплощаются в жизнь случайные, смутные идеи. То тут, то там что-то тихо-тихо начинает расти; расцвечиваются серые улицы, меняются лавочники. Кажется, уже и разочарование успело надоесть тем, кто поспешил разочароваться в этом обновлении, которое все больше походит на возвращение, возвращение к чему-то незавершенному, что было до войны и что здесь, в Венгрии, называлось «необарокко». Есть люди, которые в этом необарокко не видят особой духовной привлекательности, зато видят много демагогии и массу кича, куда добавляется западный кичевый импорт. Но даже те привереды, что морщатся от запаха этого посткоммунистического месива, — даже они возбужденно набрасываются на внутриполитические и местные новости.

Правда, война в Заливе несколько отвлекла внимание страны от самой себя; с Ближнего Востока несет гарью, но интроверсия[1] продолжается. Живущие за рубежом венгры спешат домой, сюда, к нам, чтобы тут же разочароваться заново. У нас и самих настроение меняется каждые два дня; тут все время что-нибудь происходит, все время выпекаются новые законы, которые каким-то боком касаются и тебя. Девальвируются писательские авторитеты, напряженные ожидания сменяются равнодушием, ярко вспыхивают и быстро гаснут недолговечные звезды; темой для пересудов — когда остается время для оных — становятся полуполитические любови и разводы.

Мордобоя пока, слава Богу, нет, зато много словесной агрессии; то тут, то там кого-нибудь оскорбляют, оскорбления перерастают в громкие скандалы. Коммунизм сделал нас всех параноиками, жизнь страны переполнена бурными страстями, каждый подозревает ближнего в самых низменных помыслах. В глазах горят огоньки любопытства, аудитория жаждет знать, как, собственно, обстоят дела, жаждет подробностей. Водить обывателя за нос нынче куда труднее, чем три года назад: он многому научился, и знание это не располагает к благодушию.

Нет в политике там и потом; есть только здесь и сейчас. Человек — это то,

[1] Здесь: обращение к собственным внутренним проблемам. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

что он есть, а не то, чем он мог бы быть при ином режиме. Этот нынешний социал-национал-капитализм, кажется, надолго. Так что пока надо смириться с ним, пользоваться его возможностями, ругать его недостатки. Люди, не верящие ни в бога, ни в черта, ищут каких-то ценностей. Они не убивали друг друга, никто из них не умер, объевшись политикой. Вообще все это не такое уж важное дело. С железным занавесом или без него — все равно не такое важное. Бедных станет сейчас побольше, потом снова поменьше. Сейчас вооруженных ограблений больше, потом наверняка станет меньше. Банкиров и людей духовной сферы тянет друг к другу; особенно людей духовной сферы — к банкирам.

В нашей жизни стало меньше одной загадкой; именно это и видится в основном на поверхности. Всеобщее переодевание, всеобщая смена риторики — вот что лезет прежде всего в глаза. Многие испытывают такое чувство, будто у них украли прошлое. Ведь что выходит? Значительная часть того, чему их учили, — чистейшей воды чепуха. Люди не в восторге от будущего; но вынесут и его; даже, возможно, полюбят — только за то, что оно будущее.

Восточные европейцы не обучались капитализму с детства и потому должны обучаться ему теперь, в зрелом возрасте. От этого они теряют уверенность в себе, а понижение балла самооценки всегда травмирует самолюбие. На авансцену выходят, тряся кулаками, полуталанты, люди с дурным вкусом. Если так пойдет дальше, то всякий, кто не зол на соседнюю нацию, в глазах окружающих будет выглядеть чуть ли не предателем родины. Ненависть находится в состоянии полной боевой готовности и ждет лишь, чтоб ей показали, на кого броситься. Вопрос в том, распознает ли регион затаившихся в нем фашистов. Впрочем, иные и не таятся уже, высказываются довольно открыто. В антикоммунистической риторике все больше правоэкстремистских фраз. Люди, чьей профессией стала ненависть, во всем ищут козни беса — международной мафии. В физиономии беса снова начинают проглядывать еврейские черты.

В этой стране в основном были плохие правительства, и большинство из них страна как-то все же пережила. Новые правительства ссылаются на то, что они новые, чувствуют себя неуверенно, по любому поводу оскорбляются и держатся несколько надменно; словом, почти во всем похожи на старые, которые ссылались на то же самое. Что делает дилетант, когда выясняется, что он дилетант? Намекает на какую-нибудь высокую миссию. Утверждает, что он — самый новый и самый правильный.

На место бунтарей-идеалистов приходят прагматики-карьеристы. Бунтарь-идеалист и сам делается иным, когда прагматики-карьеристы ловят каждый его взгляд. Маленький человек испытывает наслаждение, становясь большим человеком. Тот, кто затесался в элиту, обзаводится аристократическими привычками, охотится, играет в теннис, ездит верхом, шьет одежду на заказ, упивается даваемым властью комфортом, черными лимузинами, тем, что на него направлены телекамеры, что он говорит в целые гроздья микрофонов, что в его силах заполнить словами безмолвие целой страны.

Персонал, который обслуживал прежних господ, теперь обслуживает новых и осуждает предыдущих. В период всеобщей линьки кто побойчее перешел, с помощью небольшой тренировки, на новый словарь, и выяснилось: этих людей можно легко разобрать на детали и потом собрать заново. В этом преимущество синтетического человека; преимущество исключительно удобное.

Политику надо воспринимать как рациональную деятельность, направленную на достижение определенной цели. Не нравится это тебе — не занимайся политикой. Но бессмысленно презирать того, кто в политике действует в духе неомакиавеллизма. Ведь макиавеллизм — суть политики, с поправкой на данную культурную среду».

Ожидаю визита политического деятеля, который представляет одну из национальностей Трансильвании. Что я об этом думаю? Что налицо две полярно противоположные страсти, втиснутые в конкретные обстоятельства. Две команды, стремящиеся вытолкнуть друг друга. Ты можешь выбрать ту, которая тебе ближе, и стать ее бойцом, рупором, почем зря крыть другую, публично

обвиняя ее на международных форумах, нанося ей уколы, которые, кроме раздражения, ничего не вызывают.

Я считаю, куда лучше попробовать победить ее по-другому. Используя то обстоятельство, что Венгрия лежит западнее Румынии. Едва ли разумно совать под нос оппонентам наши — не такие уж и большие, кстати — различия. Куда продуктивнее, проявив дружескую инициативу, помочь им хотя бы немного продвинуться в сообщество европейских народов. Принять их пока в Центральную Европу. Попытки вытеснить из Центральной Европы румын и сербов — стратегия узколобая. Отпихивать Юго-Восточную Европу назад — это мелочная зависть. Если ты ищешь дружбы лишь с тем, кто более развит, тогда ты — слуга. На менее развитых лишь снобы и люди с лакейской душой способны смотреть свысока, глубоко презирая их. Следуя такой логике, Америка или Германия должны ко всем повернуться спиной, стряхнув, как букашку с рукава, и нас, венгров. Нам надо увлечь, притянуть как можно ближе к нашим идеям румын, сербов, болгар — всю Юго-Восточную Европу. Ведь если они не почувствуют себя членами Центральной Европы, они будут все больше дичать, варясь в своем этническом соку, и это рано или поздно выльется в отчаянное, грубое насилие по отношению к соседнему этносу. В сторону Балкан мы должны посылать только такие импульсы, которые снимали бы судорожное напряжение; мы должны, проявляя дружеское участие, поддерживать жизненную энергию и творческий дух Балкан. Если народ для тебя не пустое слово, то тебе не должны быть чужды и православные народы. Раз уж мы живем в Карпатском бассейне, нам сама судьба велела понимать Балканы, с уважением помнить, например, о том, что эти края были колыбелью древнегреческой античной культуры. Если исходить из возраста их храмов, то еще вопрос, кто из нас более развитой. Надо, чтобы юго-восточные наши соседи тоже чувствовали свою принадлежность к Европе — лишь тогда в их сознании рассосутся параноидальные идеи. Трансильвания, где живут и здравствуют много культур, — вот тот образ, который поможет искать островки сотрудничества.

Утренний монолог в софийской гостинице... На плечах у Д.К. — груз памяти об умерших друзьях; как цирковая лошадь, он тащит на спине огромную гроздь воздушных шариков памяти; они поднимают эту тяжелую ношу, уносят ее в высоту, домой, на остывший вулкан, на гору Святого Георгия.

На экране твоей памяти проходят разные жизненные истории; рядом с тобой друзья, и жена, и дети, и мать — вот она, живая, здоровая; только отец — на еврейском кладбище, где осквернены почти все могилы. Мы все движемся по кругу, по кругу, по великой спирали, из Новой Деревни в Высокогорье[1], из простора во тьму и снова в простор. Бытие возникает взрывом из черной дыры вселенной; человек тоже выходит из черной норы материнского тела — и возвращается в черную земляную яму. И жизнь каждого человека, и мироздание в целом подчиняются одному и тому же ритму: круговая орбита, петля, спираль... Возможность, что больше петель не будет, тоже прячется где-то здесь. Жизнь полна угроз, выходить на улицу становится все опаснее, грядет засилие мафии, поджогов, спецподразделений, нравы почти как в банановых республиках. Население укрепляет двери стальными решетками, которые лишь раззадоривают взломщиков. Поэтессе приходят анонимные письма: смотри дождешься, мы тебя четвертуем, язык вырежем, глаза выжжем. Вот что обещает ей по телефону и в письмах внешний мир. Царство подлости распахивает ворота, впереди маячат новые вехи головотяпства. Когда же этому наступит конец? — спрашиваешь ты. Никогда; в море мерзости нет берегов.

В Софии на главной площади ставлю подпись под воззванием в поддержку курдов. Опять кругом политическое словоблудие и уход от ответственности, опять заговоры политиков. Всем наплевать на младенцев, на слабых, на матерей; на фотографии я вижу беженцев-курдов, ползущих в грязи. Вместе с несколькими миллиардами людей я был свидетелем всей этой истории, она занимала мои мысли, и все же я оставался равнодушным: дурной мир, дурные вести.

[1] Новая Деревня (Уйфалу) — деревня, где писатель вырос. Высокогорье (Хедьмагаш) — село, где Конрад построил себе дом.

Нет электрических лампочек, нет шнурков для ботинок и нет молока. Все это не очень важно. Когда чего-то нет — это не страшно. Страшно, если исчезнет все. Старые твои друзья утверждают, что совсем не чувствуют себя постаревшими. Человек всегда остается удивленным ребенком и это свое наивное непонимание несет с собой через всю жизнь. Ты идешь, а люди вокруг тебя исчезают. Одни убиты, другие умерли. Ты еще держишься какое-то время. Растишь детей. Уползаешь в дупло, замурованное показным равнодушием, забираешься все глубже и глубже. Совсем рядом бушуют страсти, тысячи людей на площади митингуют, орут, требуют выборов. Придумали, что от выборов станет лучше. Министр иностранных дел — агент КГБ. Лидер оппозиции тоже ушел в отставку: оказалось, в свое время он подписывал какие-то доносы. Сейчас он бредет по улице, кивает, жестикулирует, что-то бормочет под нос, весь обмякший, надломленный. А был веселый, с великолепным чувством юмора человек. Молодой советник президента на безупречном французском доказывает, что надо выбрать ту или иную сторону баррикады. Да, это война, и пора объявить поход против коммунистов. У тебя нет охоты ни к каким походам. И это множество президентов вокруг!..

А ты, этакий странствующий гуру, «духовный отец демократического движения», как отрекомендовал тебя Михник, представляя мадам Пападопулос, ты, «дядя Дюри» уже и для стареющих, грузных мужчин, — ты выглядываешь в окно: внизу шагают восточные европейцы с авоськами, пробираются среди груд взломанного, разбитого асфальта, ковыляют в бензиновой гари мужчины с толстыми животами. Шагают на службу чиновники, в свой путь отправляются бродяги. Кто-то останавливается около магазина, читает газету, держит в руке хлеб; звонит колокол, голуби семенят между лужами прошедшего ночью дождя. Открылась закусочная, на тротуар выставляют пыльные стулья, мимо ковыляет старуха, я чувствую запах хлеба. Сломанные люди, страх написан на их лицах. Улица становится многолюдной, вокруг лысеющие люди в плохо сшитых пиджаках. Восточные европейцы, которых не пускают даже в Центральную Европу. Они такие же, как ты, разве что в долларовом эквиваленте беднее, а потому выражаются заковыристей...

Кто-то поднимается следом за мной по лестнице, он еще далеко, я бы еще успел дойти, не добежать, а дойти до двери номера и открыть ее, но не могу вынуть ключ, рука застряла в кармане плаща, а сзади — неторопливые шаги, человек приближается, его обожженное, еще тлеющее лицо точно такое, как у меня... Я не могу подняться с постели, я говорю ему: «Уходи!» Хочу столкнуть его с края кровати. Он говорит: «Идем вместе». «Уходи», — повторяю я и пытаюсь подняться, чтобы вытолкать его за дверь. Но не в силах вынуть руки из-под одеяла, не в силах стиснуть кулак, чтобы ударить его. А он смотрит на меня насмешливо...

Писал эссе о роли интеллигенции в меняющейся Европе; но написал совсем не о том. Сам не знаю о чем: о пустоте, возникшей в душах после падения тоталитарных режимов, о том, чем мы живы, о морали симбиоза, о том, что из нынешней свободы писателю открывается путь куда угодно, даже к святости. С чем вполне уживается движение к ханжеству. Текст предстоит прочитать во Франкфурте в соборе Святого Павла — в историческом месте, где состоялось столько знаменитых выступлений; в соборе будет полно ректоров университетов. Прежде я решал такие задачи легко, сейчас приходится мучиться. Даю себе клятву, что ни за что больше не буду соглашаться на подобные вещи — морочить голову таким же, как я, индивидам, представителям европейской интеллигенции.

Я стараюсь отодвинуться на задний план, и если мне это удается, тихо вылезаю из своей роли, как из пальто или из парадного костюма, и здесь, среди букв, освобождаю себя. Отодвигаю того человека, который живет для других, кого благодарят, на кого оглядываются на улице, кому приходит много писем, кого приглашают и туда и сюда, у кого просят подпись в поддержку того и сего, у кого спрашивают то и се, кого постоянно экзаменуют, перед кем то и дело ставят вопрос, что он думает о какой-нибудь фразе, написанной им сто лет назад, кого одергивают, кого обзывают дураком, кто незаметно для себя

стал одним из «отцов», превратился в громоздкий камень, лежащий поперек дороги и мешающий «детям»; кого боятся, кому не смеют позвонить, о ком думают, что жизнь у него необычна, кому мило улыбаются, встретив его с женой и детьми гуляющими в лесу, о ком ходят всякие небылицы, кто является предметом для пересудов, кого хвалят и ругают, кому завидуют, кого хоронят — и потом удивленно цокают языком: смотри-ка, он еще, оказывается, жив...

Приближаясь к шестидесяти, к пенсионному возрасту, я мечтаю возродиться, а это немыслимо без линьки, без сбрасывания прежней шкуры. Мне интересно начинать каждый раз заново, недаром я родился под знаком Козерога, я и к старым текстам своим обращаюсь снова и снова, каждый день я гоню себя по кругу повседневных дел, меня всегда завораживал образ замкнутой линии, выходящей из некой точки и всегда возвращающейся туда же.

Человек привязывает лошадь на длинный повод, гоняет ее по кругу, человек отправляется на работу, включает станок и часами ходит вокруг него. Человек трудится на босса или на рынок, или он, вроде меня, надомник-мастеровой, который торгует своими поделками, чтобы содержать семью и строить дом в деревне, потому что ему надоели протокольные церемонии и он хочет спокойно работать. В разных европейских городах его много расспрашивают, он много говорит, его возят туда и сюда, показывают публике, как какого-нибудь шимпанзе, угощают ужином, потрошат. Что ж, сам заслужил: в свое время одной-двумя фразами вызвал к себе интерес, теперь страдай! Не будь у человека тщеславия, не было бы и награды за тщеславие; награды, которая одновременно и наказание.

Да, но все, что я сейчас написал, не напоминает ли позицию человека равнодушного, склонного к соглашательству, старающегося спрятаться в тень? Позицию, от которой всего лишь шаг до позиции человека-кирпичика, человека-винтика в государственной машине.

Ведь иногда у тебя появляется чувство, что прервалась связь времен, что ты должен вмешаться, сказать свое слово, поднять свой голос, потому что это уже переходит все границы, это уже невозможно терпеть, это уже слишком, потому что сейчас все взгляды направлены на тебя, сейчас ты должен сделать какой-то шаг, должен наконец выйти вперед, засучить рукава, расставить все по своим местам, дать пересудам верное направление.

Эссе написано. Кое-кто внушал мне, что стоило бы с неодобрением отозваться об эгоизме пресыщенного Запада, о Wohlstand[1]-эгоизме, о том, что Запад не хочет открывать двери перед Востоком, не хочет делиться с ним. Но я не уверен даже в том, что нам было бы гораздо лучше, если бы мы вдруг оказались в Общем Рынке, как оказались в нем восточные немцы. Есть нищета и похуже, чем в Восточной Европе. Пускай приходят и вкладывают капиталы, пускай приходят и учат, пускай приходят и помогают?.. Ну, придут несколько наивных, доверчивых — и столкнутся с иным образом мыслей, с иной эстетикой, придут и поймут, что люди здесь не так уж мечтают перевоспитаться. Не удивлюсь, если услышу когда-нибудь, что миролюбивые до тех пор дикари изжарили и сожрали нетерпеливого миссионера, чтобы он их не подгонял. Учил, учил их уму-разуму, пока они его не съели. Может быть, отсталость и бедность дают какие-то преимущества? Пожалуй, да — беззаботность, наплевательское отношение: ну, нет и не надо. Потеряно — так потеряно, украдено — так украдено, сгорело — так сгорело, убили — так убили... Вот только преимущество ли это?

Он просыпается на заре где-то в Восточной Европе; на улице под окном шаги, на стенах домов шелушится краска, пиджаки и лица — серых тонов; красивые, старые, давно не ремонтированные дома, памятники исчезнувшим евреям-буржуа конца прошлого века. После войны буржуазия была ликвидирована, людей загнали в большие ямы, сверху навалили солому и подожгли, в огне лопались человеческие тела, шипел человеческий жир.

Запущенные писательские квартиры, мрачные ванные комнаты, в гостинице на завтрак подают попахивающую колбасу. Внизу лязгает мусороуборочная машина. В Будапеште мусор с незапамятных времен увозят в шесть утра, в

[1] Изобилие, благоденствие (*нем.*).

шесть утра начинаются грохот, лязг, завывание. Помню, молодоженом я просыпался от этого шума и с пишущей машинкой выходил на балкон. С тех пор я просыпаюсь в шесть каждое утро. Да будет благословенна мусороуборочная машина!..

Еще в постели, еще не надо вставать, официальная программа начинается только в половине одиннадцатого, позавтракать успею и в девять, а пока — ничего. Тут, по крайней мере, хорошая, хотя и с капризами ванная комната, где ты не знаешь, что будет вытворять с тобой душ: начнет плеваться в тебя в самом неожиданном направлении или вырвется из рук, взбесится, станет метаться... На всякий случай разденусь догола.

Везде есть кто-нибудь, кто сопровождает, утрясает организационные мелочи, кто поддерживает, кто принимает этого человека с густыми непослушными волосами и в поношенном пиджаке. Этот облик я всюду ношу с собой — и вдруг в один прекрасный момент, вот как сегодня утром, ощущаю, что нести его некуда. Д.К. еще поужинает с президентом академии, с председателями союза писателей, правительственной партии, оппозиции, чокнется с издателем и журналистом, еще некоторое время будут приходить приглашения, потом он сойдет с повестки дня.

...Снимаю шляпу перед профессионалами, hommage a la politique[1], потому что я бы не выдержал, сошел бы с ума, мне трех дней такой суеты и круговерти хватило бы, чтобы лишиться последних сил, потому что я ежедневно могу проводить в обществе других лишь какое-то время; им же, политикам, все это нужно, необходимо, они потребляют людей в шесть раз больше, чем я. Я уважаю их не только за физическую выносливость, но и за то, что — при счастливом стечении обстоятельств — в мудрости политиков выражается суммарное знание нации о действительности, о том, что для некоторых самым большим препятствием, мешающим вытворять все что его душе угодно, являются те, кто находится рядом. Поэтому современная западная мудрость старается объединить, связать людей, расшатывая и разрыхляя в пределах известного круга границы между ними. Но за пределы этого круга все же не выходит, вежливо, но решительно не допуская к себе посторонних. В пределах Америки, в пределах западноевропейского сообщества цель сейчас — унификация, тонкое соединение больших частей, общее законотворчество, поиски общих символов. Появляется, например, Европа как книжная серия. Многим издателям приходит в голову мысль нащупать духовную реальность Европы — для того чтобы сказать уверенно: вот что такое Европа. Немцы, французы — все заняты подобными вещами, все хотят в книгах найти, уловить, ухватить, ощутить, схватить Европу и обеспечить реальные шансы для великой интеграции этой прагматической утопии, время которой наступает после девяносто третьего года.

Иное у восточных европейцев: эти терпеть не могут друг друга, так как способны мыслить лишь в категориях национального интереса. Они находятся в периоде разброда; у каждой автономии пусть будет свой маленький огород. Разбирают, разносят по углам советский блок, область, столицу, сельскохозяйственный кооператив. Национальные меньшинства, маленькие нации, национальности — все поднимают голову: нечего управлять нами откуда-то от соседей, из Тьмутаракани! Хотим свое знамя, свой герб! Мы растроганно трем глаза, мы произносим присягу, мы поем свои национальные песни, мы хотим родиться.

И на глазах синтезируются различные варианты обиженного недовольства, которое, на мой взгляд, играет в истории определенную зловещую роль. Те, кто считает себя в проигрыше, кто хочет получать, а не давать, кто не уверен в себе, кого не удовлетворяют собственные достижения, — склонны считать причиной своих бед других людей. Их самая большая печаль — зависимость от других, от кого они хотят освободиться окончательно и бесповоротно. Личные обиды и разочарования тут и там, особенно на территориях со смешанным населением, перерастают в национальный *ressentiment*[2], ибо энергия социального

[1] Честь политике (*франц.*).
[2] Озлобление (*франц.*).

сегодняшняя номенклатура терпеть не может вчерашних господ. Сейчас полагается ненавидеть соседний народ, тех, кто живет за рекой, в соседнем доме, кто сидит рядом. Здесь, в Центральной Европе, *ressentiment* — объяснение истории. С нами плохо обращались, нас эксплуатировали, подавляли, обманывали, грабили, обходили, не считали нас за равных. Вот ужо мы покажем, что мы не хуже других. Обидчивые всегда находят, на что обидеться.

Арон долго смотрит на выпавшего из гнезда птенца голубя, который сидит не двигаясь на подоконнике моего кабинета. Соседка, тетя Ева, сказала, что кошки его съедят; другая соседка взяла его и отнесла, сопровождаемая Ароном, на чердак, чтобы испуганный птенец мог доковылять до своего гнезда. Миклош, мой взрослый сын, утверждает, что родители учуют на нем запах человеческих рук и больше не станут его кормить. Потом Арон сделал мне выговор, что я так и не рассказал ему о своих дорожных впечатлениях, а ведь он говорил, что его нынче интересуют всякие необычные звери вроде кашалотов.

Я дал обещание выступить в либеральном кружке одного маленького городка. Почта приносит полные вежливых слов приглашения из сомнительно демократических стран. По столу бегает муравей. Бела Хамваш[1] считает, что бытие змеи — символ и крайнее воплощение человеческого «я», бытие муравья — символ и воплощение коллектива. Арон говорит, что в конце концов все обернется к лучшему. Йожи порывист и счастлив, он влезает на шкаф, чтобы стащить конфеты. У Ютки пропал голос, у нее болит горло, она смешно морщится и жестикулирует.

Первое мая, в телевизоре — вымученные речи, бывший коммунист и бывший социал-демократический профсоюзный лидер оба сейчас говорят о том, что положение трудящихся ухудшается, один зовет желающих гулять и развлекаться в Варошлигет, другой — в Неплигет. Арон и Йожеф желают развлекаться; с бабушкой Эдит и соседкой Евой (Йожи считает, что она — мама собаки Муки), с бутербродами и небольшой суммой, выделенной на воздушные шарики, сосиски и сладкую воду, они отправляются, боюсь, в Варошлигет, потому что ведущая туда подземка — отдельное удовольствие для ребенка, который чаще ездит на метро. Открылась канатная дорога со скамеечками на двоих, плывущими, как во сне, между небом и землей, доставляющими и детям, и взрослым самое большое блаженство. Когда едешь вверх, перед твоими глазами оболочка, кожный покров горы; когда вниз — город сбрасывает с себя покрывало дымки, и ты вплываешь в его тело.

В гимназические годы мы с Пали любили первого мая убегать на Дунай. У родителей Пали недалеко от купальни «Пюнкёшд» на станции будапештского спортобщества была небольшая, но устойчивая лодка. Кривоногий, смуглый, словно индус, лодочник Йожи выдавал нам ее с одним условием: вернуть на кильблок такой же чистой, какой брали.

В этот день мы должны были бы, высоко поднимая флаги, с приветственными возгласами демонстрировать свое воодушевление вождям. У иных это получалось, они умели изображать воодушевление. Другие шли уныло, не смея оставить где-нибудь флаг. Мы тоже не были уж такими героями: рано утром мы отправились на площадь Роз, чтобы наличествовать при зачтении списка. Мы, конечно, и не думали заявлять, что не пойдем на демонстрацию: за такие вещи тогда можно было вылететь из гимназии. Смелости у нас было как у того избирателя, который послушно шел на участок, заходил в кабину, а там вынимал бюллетень из конверта и бросал пустой конверт в урну; куда проще было бы вообще не пойти, но таких брали на карандаш, и потом ходить тебе с пятном. Что в самом деле опасно и что нет, определяет народный опыт, а точнее — народная трусость, которая по самой своей природе склонна к преувеличениям.

В следующем году мы вообще не явились на площадь Роз, где возле неоготической церкви мы должны были бы подвергнуться перекличке, после чего нам раздали бы флаги и транспаранты, за которые после пришлось бы отчитываться. Здесь уже можно было бы проявить некоторое пассивное сопротивле-

[1] Бела Хамваш (1897 — 1968) — венгерский религиозный философ, эссеист, писатель.

ние, оставшись в задних рядах, правда, рискуя тем, что это будет замечено.

В толпе было много активистов, не говоря уж о полицейских. И еще там носились на мотоциклах, требуя от демонстрантов веселых песен, устроители со знаками различия и в форменных рубашках. Эти внезапно появляющиеся и внезапно исчезающие виртуозы воодушевления, эти «посвященные» обнимали за плечи девушек и с восторженным лицом восклицали: правда же, сегодня удивительный день?! Потратив на нас некоторое время, они мчались дальше и в другой группе опять спрашивали какую-нибудь девушку: правда же, сегодня удивительный день?

Сегодня прохладно, а тогда было совсем тепло, даже можно было купаться в Дунае. Мы поплыли вверх по течению и, добравшись до таверны «Граница», вознаградили себя приличным обедом. А потом просто сидели за столиком в саду в тени деревьев, и блаженное послеобеденное безделье было еще слаще от сознания, что мы удрали с демонстрации.

Сколько смысла содержит в себе сопротивление бессмысленности? Что же, теперь ломать голову над другим дурацким вопросом: кто возьмет верх в этих краях — трайбалисты или диалогисты[1]? Снова наступает время борьбы фанатизма и просвещенчества? Сейчас уже ни от кого не требуют причащаться ни к какому коллективному чувству. Нет истории как пути к блаженству и нет Освобождения.

Возвращаюсь домой с молоком и другими продуктами; слава Богу, не забыл и про шоколадный сырок «Туро Руди»: этого бы мне не простили. Теперь нужно проявить твердость характера, особенно по отношению к маленькому Йожефу: «Руди» — после завтрака, до завтрака и речи быть не может. Йожи с фальшивым выражением мировой скорби на лице обращается к матери: если кто-то очень хороший и красивый просит у тебя «Туро Руди» и ты сама не собираешься его съесть, то неужели ты, мама, ответишь ему: нет, не дам? Но папа неколебим как скала: сначала изволь выпить какао, покажи мне пустую кружку, потом можно раздевать «Руди».

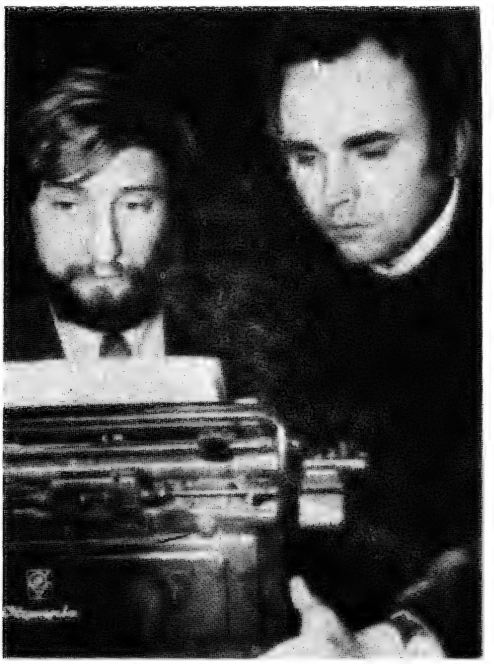
Насморк и ангину умнее всего игнорировать; стоит признать их, они тут же расширяют сферу влияния; если ты считаешь себя больным, то действительно заболеешь. Вирус входит в организм, когда ты его впускаешь.

Дети играют перед окном, Йожи в последнее время постоянно вооружен теннисной ракеткой; когда я сижу у себя в пещере[2], они меня не замечают. В такие моменты мы друг для друга не существуем: они сейчас знакомятся с садом, вдвоем осмеливаются выбираться на задворки дома. Ребенок открывает мир вокруг себя понемногу, все время расширяя круг, как кошка, что спит сейчас в кресле у второго письменного стола.

■

[1] То есть сторонники этнического сепаратизма или диалога между различными национальными и социальными группами в государстве.

[2] Так писатель называет подвальное помещение у себя в доме, где он оборудовал свой рабочий кабинет.



АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ
ЮЛИАН КОРНХАУЗЕР
Эссе и стихи

Перевод с польского
В. БРИТАНИШСКОГО

От переводчика

В 1994 году мы с Натальей Астафьевой провели в Варшаве в общей сложности три месяца: две недели в феврале и два с половиной месяца в октябре—декабре. Достаточно, чтобы убедиться, что польская поэзия существует, не сгинула. Правда, тон задают в ней сейчас 70-летние (Херберт, Ружевич, Шимборская, Артур Мендзыжецкий, Юлия Хартвиг), 65-летние (Ворошильский), 60-летние (Уршуля Козел, Ярослав Марек Рымкевич) и 50-летние. Но ведь так было и раньше. Только дважды за все последние годы в центре внимания польской критики и публики оказывались молодые: молодые «поколения 1956», а потом молодые «поколения 68» — «новая волна».

Четверо из поэтов «новой волны», в отборе и с предисловием Виктора Ворошильского, печатались в моих переводах в «ИЛ» два года назад (1993, № 3). Юлиана Корнхаузера и Марианну Боцян Наталья Астафьева представила в журнале несколькими стихотворениями еще в 1979-м (№ 7). Но более новой волны, чем «новая», в польской поэзии (а мне кажется, что и в других областях польской культуры) не появилось. С 1995-го поэты «новой волны» начнут отмечать свои 50-летия. Юбилейность сквозит и в заголовке антологии «Новая волна. 1968 — 1993» (четверть века). Антология (почти 500-страничная) только что издана в Кракове. Краков и был когда-то главным центром кристаллизации «поколения 68», к краковянам примкнули молодые Познани и Вроцлава, варшавская же молодежь, принявшая на себя весной 1968-го главный удар — и палочные удары, и репрессии, — не то чтобы совсем заткнулась, но так громко, как молодые других городов, заговорить уже не смогла.

Лидерами краковских молодых, идеологами всей «новой волны» были Корнхаузер и Загаевский. Они входили в польскую литературу как провозвестники поэзии сугубо современной, актуальной. «Тераз», то есть «Сейчас», — так называлась их поэтическая группа. Всю предшествовавшую послевоенную польскую литературу они сочли не отражающей действительность, так и трактовали ее в нашумевшем тогда памфлете «Не представленный мир» (1974). В книге была их фотография: вдвоем за одним столом, за одной пишущей машинкой.

Позже их биографии сложились по-разному: Загаевский уехал, Корнхаузер остался.

Загаевский был участником диссидентского движения, одним из инициаторов и редакторов бесцензурного журнала оппозиции «Запис», но уже тогда начал печататься и на Западе. С 1983 г. живет во Франции, книги его стихов выходят

На снимке: Корнхаузер (слева) и Загаевский

в Париже и в Лондоне, проза и публицистика — в Гамбурге и в Швейцарии (иногда только в немецком переводе). Но последняя книга его стихов, в 1994-м, вышла в Познани, а презентация ее состоялась в Варшаве.

Корнхаузер тоже печатался в самиздате (в «другом круге обращения», как говорят поляки), так были изданы две из девяти его книг стихов и одно из трех избранных. Однако Корнхаузер все-таки пытался политике предпочесть науку, он — автор четырех или пяти книг о сербской и хорватской поэзии XX века, автор антологий обеих этих поэзий, профессор университета, а с недавнего времени и директор Института славянской филологии в Кракове.

Оба польских поэта — и тот, что уехал, и тот, что остался, — поэты европейские. Европа конца 80-х и начала 90-х предстает в их стихах как зона землетрясений, не прекращающихся на протяжении всего столетия, как если бы выстрел в Сараево в 1914-м отозвался тысячами выстрелов в том же Сараево в 1990-х. Референдум о независимости Украины заставляет Загаевского еще раз вспомнить, что родился-то он — в 1945-м — во Львове, а в шахтерском городе Гливице, отошедшем после войны от Германии к Польше, оказался — в том же 1945-м — с семьей репатриантов. Так что в стихотворении «Беженцы» он думает и о себе: из Галиции в Силезию, из Силезии во Францию... Примерял на себя судьбу эмигранта и Корнхаузер (в стихотворении «Эмиграция» в самиздатской книге 1985 года). Но остался. Остался в Польше, чтобы увидеть беженцев, бегущих теперь в Польшу, как эта босая «чернявая девочка», вероятнее всего, румынская цыганочка, спящая на каменных плитах тротуара. Остался в науке, чтобы увидеть, как край его исследований, славянский Юг, стал краем братоубийственных войн.

Когда-то говорили, что трещина мира проходит через сердце поэта. В конце XX века оказалось, что горообразование в Европе не закончилось, мир дает все новые трещины, и все они проходят через сердца поэтов. Тех из них, которые достаточно чутки.

АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ

Перемены на Востоке

Необыкновенные, дух захватывающие перемены в моей части света, в Европе, простирающейся на восток от Эльбы, — нечто важное для меня, жизненно важное, переломное. И в то же время для меня, в моей жизни, в моем развитии они приходят слишком поздно. Не хочу, чтобы это звучало кокетливо или цинично. И прекрасно отдаю себе отчет, сколь несоразмерны эпохальные исторические перемены и моя приватная точка зрения.

Я не полез бы выражать мои личные взгляды, если бы не понуждала меня к этому моя странная профессия, профессия литератора, которой свойствен постоянный конфликт между «красотой» и «искренностью». Беру эти определения в кавычки, чтобы избежать длинных комментариев, а также чтобы выразить, сколь далеки мне понятия Платона или платоников.

«Красота» предписывала бы мне сейчас безоговорочно восхищаться великолепной динамикой перемен в Восточной Европе, солидаризироваться с ними, абсолютно, безраздумно (впрочем, какая-то часть моего «я» так и делает). Но я вижу теперь, что вся моя литературная эволюция направлена была к тому, чтобы хоть отчасти освободиться от капризов и гримас истории. «Искренность» требует поэтому сказать, что до какой-то степени эта эмансипация мне удалась, и теперь, когда история вдруг стала более доброжелательной, более привлекательной, даже захватывающей, сам я стал слишком скептичен, чтобы с наивным энтузиазмом наслаждаться ее внезапной мутацией.

В пору моего детства история правила беспощадно, железной рукой. Это по ее приказу моя семья должна была переселиться на запад, это она сформировала мою школу, мою юность, университет в Кракове, даже мой поэтический дебют — бунтарский, протестующий.

Очень поздно я понял, что по сути дела я отождествлял историю с тоталитаризмом. (Когда я впервые попал в Западную Европу, мне казалось, что тут

© Adam Zagajewski, 1991

совсем нет истории, только фривольная, беззаботная, несерьезная, не упорядоченная никакой высшей идеей повседневность, заселенная парикмахерами, кинозвездами и загорелыми банковскими чиновниками.) Тоталитаризм создавал квазитеократическое общество. Над всем витала тайна (ключом тайны была, впрочем, тайная полиция).

Тоталитаризм казался неуничтожимым, вечным. Ведь даже Ханна Арендт подозревала, что он сумеет изменить человеческую природу, превратить людей в рабов. И я тоже так думал, когда вслушивался в боязливые шептанья польских интеллектуалов в середине шестидесятых годов.

А сейчас? Каждую неделю рушится хоть один тоталитарный режим. То, что было фатумом, оказалось временностью. Те партийные вожди, которые с каменными лицами играли в политический покер, исчезают или оказываются вульгарными финансовыми мошенниками. Огромные и радостные толпы свергают эту угрюмую политическую систему с такой легкостью, что хотелось бы спросить: дорогие толпы, почему вы не вышли на улицу раньше, почему вы ждали сорок с чем-то лет, чем вы были до сих пор заняты?

Разумеется, каждый знает, что толпы выходили на улицы и площади гораздо раньше, но тогда им не удавалось совершить переворот (известно почему).

Во второй половине семидесятых годов я принимал активное (активное, хотя и скромное) участие в диссидентском движении. Я принадлежал к тем, кто не верил в возможность свергнуть коммунистический тоталитаризм раньше, чем через сто или двести лет. И все же протест против этой фальшивой теократии был для меня — и для моих друзей — источником радости, чем-то, дававшим энергию, открывавшим совершенно новую перспективу. Но кроме группки безумцев (и, как всегда, оказалось, что разумны были именно безумцы), никто не рассчитывал на скорый, эмпирический успех этого движения.

Раньше я был убежден, что тоталитаризм — это история. Потом я разделил эти два понятия, понял, что даже там, где нет тирании, исторический процесс идет. Однако вот уже какое-то время я живу с сознанием, что если даже тоталитаризм не есть история, то история все же имеет в себе что-то тоталитарное. У нее в распоряжении маршал по имени Zeitgeist[1]. Она заставляет нас ежедневно слушать Би-би-си. Она напоминает гигантский Голливуд с плеядой звезд: Корасон Акино, президент Буш, председатель Валенса, госпожа Тэтчер, Горбачев, министр Геншер.

Прекрасно. Я не безумец (к сожалению) и не мечтаю убежать от историчности. Однако чтобы дожить до зрелости и не замолчать как поэт, как писатель, не дать себя раздавить ни «красоте» (которая ведет ко лжи), ни «искренности» (которая ведет к натурализму), я должен был отодвинуться на шаг в сторону от лавины истории. Это нелегко: в моем языке, в моей литературе историчность — это Бог.

Перемены приходят слишком поздно. И в то же время еще слишком рано, чтобы я сумел охватить их огромность и значение. Люди Запада здесь только наблюдатели. Для меня же тоталитаризм был и кошмаром, и литературной темой, и преследователем, и предметом забавы, следящим за мной милиционером и восторгом политического остроумия. Теперь я притворяюсь скептичным, мудрым, зрелым человеком, хотя не очень-то знаю, что в действительности означают огромные перемены на Востоке, что изменится во мне, в моем способе писать, мыслить, жить. Рушится омерзительная цивилизация, но это она меня сформировала, это против нее я бунтовал, из нее пытался бежать; хочу я или не хочу, я, конечно же, мечен ею. Не скоро я домыслюсь, что на самом деле случилось *для меня*.

Ясное дело, я не буду носить траур по этому отвратительному историческому эксперименту. Я восхищен, что это рухнуло. Тревожит меня будущее Европы. Заставляет меня задумываться и мое собственное будущее — между «красотой» и «искренностью», среди вопросительных знаков, между историей и поэзией.

(Из книги «Два города». Париж — Краков, 1991)

[1] Дух времени (*нем.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Референдум

На Украине шел референдум
по вопросу о независимости.
В Париже было мглисто, метеорологи
предсказывали пасмурный, холодный день.
Я чувствовал гнев на себя, на свою
сжатую, сдавленную жизнь.
В темнице набережных задыхалась Сена.
На витринах книжных магазинов лежало
новое издание Шопенгауэра
«Douleurs du monde»[2].
Парижане кружили по городу,
укрывшись в теплых шерстяных пальто.
Мгла проникала в горло, в бронхи,
как будто небо плакало,
говоря о себе, об утреннем холоде,
о том, как долго длится ночь
и как беспощадны бывают звезды.
Я ехал в автобусе в сторону Бастилии,
разрушенной двести лет назад,
и пробовал читать стихи,
но ничего не понимал.

То, что придет, будет невидимым
и легким.
То, что есть, колеблется все еще между
иронией и страхом.
То, что останется, будет голубое, как око
гильотины.

Беженцы

Сгорблены тяжестью, которая иногда
видна, а иногда и нет,
бредут в грязи или в песке пустыни,
голодные, наклонясь вперед,

молчаливые мужчины в пиджаках покрепче,
одетые на все четыре времени года,
старые женщины с лицом помятым,
несущие что-то: младенца, дорогую, как память,
лампу или последнюю буханку хлеба.

Это может быть Босния сегодня,
Польша в сентябре 39-го, Франция —
спустя восемь месяцев, Тюрингия в 45-м,
Сомали, Афганистан, Египет.

Всегда повозка или хотя бы тележка,
полная скарбом (перина, серебряный кубок
и быстро улетучивающийся запах дома),
автомобиль без бензина, брошенный на краю дороги,

[1] «Скорби мира» (*франц.*).

© Adam Zagajewski, 1994

лошадь, которую бросят, снег, много-много снега,
слишком много снега, слишком много солнца, слишком много дождя,
и этот их наклон характерный,
как бы в сторону другой, лучшей планеты,
где менее честолюбивые генералы,
меньше пушек, меньше снега, меньше ветра,
меньше Истории (к сожаленью, такой планеты
нет, есть только наклон их тела).

Волоча ноги,
идут они медленно, очень медленно
в страну нигде,
в город никто
над рекой никогда.

ЮЛИАН КОРНХАУЗЕР

Почему нас?

Памяти Милана Милишича[1], сербского поэта из Дубровника, который погиб от пули своих земляков во время осады города 5.10. 1991 года

В развороченной кухне, где лежишь ты с простреленным легким,
пахнет супом, сготовленным только что. Кастрюлька,
смешно искривившись, стоит на разбитой плите.
В отдалении слышатся взрывы, плеск падающих стекол.
Елена с трудом подбегает, опускается на колени,
обнимает твою тяжелую голову. Взрывы освещают квартиру,
где-то стонет машина «скорой помощи». Опрокинутый стол
и шкафчики, вырванные из стены, выглядят как срубленный лес.
Когда Елена несет на кровать твое убитое тело,
в Груже[2] гибнет от гранаты женщина, торопившаяся на службу.
Из окна виден взорванный мост, по которому ты ходил
ежедневно и стоял на нем часто. Еще минуту назад
на балконе ты кричал Елене: «Они нас хотят убить. Но почему
нас, почему нас?» Еще год назад
ты плыл под парусом с другом, плевав на штормовую погоду,
радуясь красному вину. Сейчас, когда радио «Дубровник»
сообщает: «Этой ночью убили поэта», а Елена гладит
без слова жалобы твою окровавленную шею, в воздухе,
пересыщенном запахом дыма и газа, порхает страничка, вырванная
из блокнота. Ты написал на ней: «Мне кажется, что я участвую
не в истории, но в фарсе. В фарсе войны, патриотизма
и борьбы за свободу. Но хуже всего будет, когда
придут освободители, обещающие нам свободу. И с одной, и с другой
стороны». Твой любимый пес дежурил всю ночь
при тебе. А когда ты был похоронен, в присутствии трех священников,
католических, поскольку единственный поп вдруг покинул город,
пса усыпили,
чтобы избавить от лишних страданий. Теперь, когда убили поэта
и его любимого пса, на Страдуне[3] воет уже только ветер.

---

[1] Милан Милишич (1941 – 1991) — поэт и переводчик. Первая книга стихов — 1970 г. В 1971 — 1975 гг. — редактор журнала «Дубровник». В Дубровнике родился и прожил большую часть жизни.
[2] Груж — часть Дубровника.
[3] Страдун — улица в Дубровнике.

© Julian Kornhauser, 1995

Спит чернявая девочка

Спит чернявая девочка
с головой на панели

спят ее косички
у ворот костела

в жестяной коробке
купаются банкноты
как воробьи в песке

ее черные как море
маленькие босые ножки
беседуют тихонько
с сапожками на витрине

ох как тихо
как тихо
в каменном ее сне

еле слышно даже
как с хрустом ломают крендель
а
прогулка шнурков разноцветных
длится почти бесконечно
как в замедленном фильме

спит чернявая девочка
как убитая кошка
спит у нас на глазах
бесхитростно спит

■

Выступление Президента Чешской Республики **Вацлава Гавела** *на открытии Международного конгресса ПЕН-клуба*

(Прага, отель «Атриум», 7 ноября 1994)

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА,
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,

в течение своей жизни я неоднократно имел честь быть приглашенным на международные конгрессы Всемирной организации ПЕН-клубов. Но прежний режим ни разу не позволил мне принять в них участие. Мне надо было дожить до пятидесяти восьми лет, в моей стране должен был произойти переворот, я должен был стать ее президентом, а местом проведения очередного конгресса должна была стать Прага, чтобы я впервые в жизни получил возможность принять участие в этом знаменательном событии. Вы, конечно, понимаете, что при таких обстоятельствах я сейчас до известной степени растроган. И, конечно, понимаете, что прежде всего я должен приветствовать всех вас в Праге как ваш коллега, который рад тому, что может здесь встретиться со столькими авторами, которых долгие годы уважал, и только во вторую очередь — как представитель Чешской Республики, которой вы оказали честь, съехавшись сюда. Я ожидаю, что ваше присутствие внесет в нашу слишком материалистическую, а подчас и немного провинциальную среду значительные духовные импульсы и хоть на время привлечет внимание моих сограждан к темам, выходящим за узкие рамки их повседневных забот о себе самих. Вам же я желаю чувствовать себя здесь хорошо, желаю, чтобы ваши прения были интересны и плодотворны и чтобы вы нашли немного времени и для этого магического города, по чьим улицам когда-то ходили такие примечательные люди, как, например, рабби Лёв, Тихо Браге, Кеплер, Арчимбольди, Майринк, Кафка, Верфель или Ярослав Гашек.

Наш конгресс должен быть посвящен теме терпимости и поневоле затронет также тему нетерпимости. Поэтому позвольте мне произнести несколько слов в связи с указанными темами.

Национальная, расовая, религиозная, социальная и политическая нетерпимость сопровождает человечество в течение долгих тысячелетий и, к сожалению, глубоко укоренилась в человеческой душе и в душе целых человеческих сообществ. Но как и множество иных вещей, ныне — в эпоху единой глобальной цивилизации — это явление стало во много раз опаснее, чем когда бы то ни было прежде. Времена, когда конфликты между нациями, империями, культурами и отдельными цивилизациями имели всего лишь локальное распространение, безвозвратно миновали. На нынешней перенаселенной планете, опутанной густой сетью политических, экономических, информационных и коммуникативных связей, все немедленно начинает касаться всех в еще большей степени и в еще более многообразных формах, чем это было до недавних пор. Дело в том, что всевозможные ужасы современного мира затрагивают нас не только морально как зло, чинимое человеческими существами другим человеческим существам, но все более касаются нас, так сказать, физически как нечто, непосредственно нам угрожающее. Да, мы живем в примечательное время, когда каждый из нас не только почти сразу узнает почти обо всем ужасном, что происходит в мире, и оказывается глубоко потрясенным этим, но и когда любой местный конфликт в потенции способен раз-

© Václav Hável, 1994

делить международное сообщество и стать ядром кристаллизации конфликта неизмеримо более широкого, в отдельных случаях — даже глобального. Кто из нас, например, знает, к сколь трагической конфронтации трех культурных сфер может привести сегодняшняя война в Боснии и Герцеговине, если демократический мир будет проявлять к ней такое же равнодушие, как до сих пор?

Хотя это тревожное состояние пока не доходит до сознания большей части человечества, особенно до сознания тех, кому ни одна из угроз, нависших над современной цивилизацией, не внушает чувства непосредственной опасности, тем не менее именно при таком состоянии человеческая злоба перестает быть всего лишь источником шокирующего воздействия на наши нервы и превращается в прямую угрозу, способную вновь пробудить в современном человеке чувство ответственности за мир. Но как склонить его к этому? Как объяснить ему, что любое насилие над человеком перестает быть всего лишь поводом для сочувствия и становится реальным насилием над всеми? Как объяснить политикам и обществу, что близорукая ориентация только на личные или групповые интересы, на интересы сиюминутные ведет в ад?

Думаю, что в этом деле могут и даже обязаны сыграть незаменимую роль писатели и вообще интеллектуалы как люди, чье призвание и — более того — миссия состоят в том, чтобы гораздо интенсивнее, чем другие, воспринимать всеобщую взаимосвязь вещей, чувствовать всеобщую ответственность за мир и это свое внутреннее ощущение делать публичным достоянием.

В сущности, у них есть для этого два инструмента.

Первый из них — это то, что составляет суть писательского труда, то есть литература или попросту писание. Подвергнуть глубокому анализу все сложно переплетенные корни нетерпимости в нашем индивидуальном и коллективном подсознании и сознании, беспощадно исследовать все болезненные состояния, возникающие из одиночества, чувства собственной неполноценности, утраты метафизических устоев и служащие одним из главных источников человеческой агрессивности, попросту бросить яркий свет на современный кризис человеческого духа — вот, думаю, самое важное, что могут сделать писатели. Впрочем, тут нет ничего нового: они делали это всегда, и у них нет оснований не делать этого и впредь.

Но существует и еще один инструмент, инструмент, которым интеллектуалы хоть изредка и пользуются, однако, по моему мнению, все еще мало. Этот второй инструмент — общественная деятельность интеллектуалов как граждан, их так называемая общественная или — в самом широком смысле слова — политическая ангажированность. Не станем отрицать, большинство из нас, писателей, в сущности, политикой брезгует, участие в ней воспринимает как предательство своей независимости и отвергает политическую активность под предлогом, что-де задача писателя — только писать. Но заняв такую позицию, мы поддерживаем порочный принцип так называемой специализации, согласно которому одним платят за то, чтобы они писали об ужасах света и о человеческой ответственности, а другим за то, чтобы они этим ужасам противостояли и брали на себя ответственность за мир. Это принцип какого-то сомнительного разделения жизненных амплуа: один существует для того, чтобы понимать мир и основы нравственности, не будучи обязан в дела мира вмешиваться и нравственные правила осуществлять, другой — для того, чтобы вмешиваться в дела мира и вести себя нравственно, не будучи обязанным во всем этом разбираться. Это напоминает мне специализацию ученых: одни изобретают фреоны, другие изучают последствия вызванных фреонами озоновых дыр. Писатель, брезгующий политикой, напоминает мне ученого, изучающего последствия озоновых дыр и не обеспокоенного тем, что его непосредственный начальник изобретает фреоны.

Однажды я попросил своего друга, прекрасного человека и писателя, занять некий политический пост. Он отказался и аргументировал это тем, что кто-то все-таки должен оставаться независимым. Я ответил ему: если к подобным аргументам прибегнут все, может случиться, что независимым не будет никто, ибо не останется никого, кто бы вам вашу независимость обеспечил и гарантировал.

Короче говоря, я убежден, что сегодняшний мир, над которым нависло столько угроз, рожденных современной цивилизацией; мир, который вместе с тем так мало

способен им противостоять, прямо вопиет о том, чтобы люди, кое-что в нем понявшие и знающие, что с ним делать, гораздо энергичнее воздействовали на политику. Это ощущение не оставляло меня, когда я был независимым писателем, а мое участие в политике только подтвердило оправданность сделанного мною выбора, поскольку показало, насколько слабо в нынешней мировой политике представлено такое состояние мысли, которое позволяет выйти за границы поля зрения избирателей и их сиюминутных настроений и заглянуть за горизонт следующих выборов.

Я не призываю вас, уважаемые коллеги, к тому, чтобы вы все стали президентами своих стран или чтобы каждый из вас основал какую-нибудь политическую партию. Я был бы счастлив, если бы вы сделали нечто иное, менее броское, но, возможно, более значительное, а именно: если бы вы исподволь начали создавать некое всемирное лобби, особое братство или, да будет мне позволено употребить это слово, некую мафию, которая поставила бы своей задачей не только писать прекрасные книги или по временам выступать с манифестами, но и по-человечески, в духе единения влиять на нынешнюю политику и согласованными, обдуманными способами (порой даже с риском для собственной жизни, как это сделала Сузан Сонтаг в Сараево), явно и неявно раскрывать ей глаза.

Политики, хотя бы наиболее умные из них, от такого воздействия не откажутся, наоборот — будут его приветствовать. Как, например, я приветствовал бы, если бы в моей стране наконец-то по-настоящему сильно, выразительно и неотступно прозвучал голос моих коллег, каким бы критичным по отношению к существующим порядкам он ни был! Голос, который был бы не пустым брюзжанием или понятным лишь узкому кругу посвященных мудрствованием, но четким общественным и политическим фактом.

Дорогие коллеги,
если вам показалось, что я воспользовался этой трибуной или злоупотребил ею для небольшой проповеди, прошу простить мне это. А если я призывал вас к тому, что вы уже давно делаете, прошу извинить меня вдвойне.

И еще об одном прошу: не забудьте подать свой совместный голос в защиту нашего коллеги и друга Сальмана Рушди, в которого все еще нацелена смертоносная стрела, и в защиту лауреата Нобелевской премии Воле Шойинки, который не смог сюда приехать, поскольку ему помешало в этом его правительство. Выразите, прошу вас, и нашу общую солидарность со всеми боснийскими интеллектуалами, ведущими мужественный и неравный бой культуры с преступным фанатизмом тех, кто проводит этнические чистки, являя наглядный пример того, к чему может привести человеческая нетерпимость.

Благодарю вас за внимание и желаю успеха вашему конгрессу!

Перевод с чешского В. КАМЕНСКОЙ

■

ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ

Записки синего чулка

Фрагменты книги

Перевод с венгерского и вступление В. СЕРЕДЫ

Два слова о Петере Эстерхази, или Грани писательской несерьезности

«Побудительными мотивами публицистики принято считать надежду («есть ради чего») и страх («есть что терять»); эти понятия в принципе применимы и в моем случае, но я не хотел бы употреблять их. После обеда, выйдя из комнаты, я оглядываюсь по сторонам — вот и все, из чего состоит моя книга».

Петер Эстерхази, уже знакомый читателям «Иностранной литературы»[1], предваряя этим пассажем свою новую книгу, как бы предупреждает нас, что речь в ней идет о вещах, может быть, и животрепещущих, важных, но — без тени серьезности, без намека на пафос, в привычном для автора ироническом тоне, пожалуй, единственно достоверном для большей части писателей (и читателей) его поколения.

«Несерьезность» эта с самого начала, с середины 70-х годов («когда самиздат был еще самиздатом, а система однопартийности — залогом развития»), отличала творчество Эстерхази, но она никогда не была ни клоунской маской, ни приемом письма — скорее это позиция, творческий принцип («Несерьезность как эстетическая категория» — в духе Лукача так можно было бы озаглавить трактат о прозе нашего автора).

Пытаясь определить истоки такой позиции, можно было бы с полным правом вспомнить о постмодернистском комплексе исчерпанности литературы, в которой «все уже было» и писателю не осталось ничего другого, как иронически переосмысливать «это все». Можно также — не менее справедливо — связать ее с ощущением «невыносимой легкости бытия» (эта формула Милана Кундеры не случайно встречается в текстах Эстерхази), с ощущением невозможности воспринимать жизнь как драму в современном, утратившем привычные измерения, ориентиры и ценности мире, где до полной неразличимости смешались добро и зло, возвышенное и низменное, счастье и несчастье.

А еще следует помнить о своеобразии кадаровской эпохи — эпохи, как ее теперь называют, мягкой диктатуры, пытавшейся — временами небезуспешно — придавать себе имидж демократии. «Положение безнадежное, но отнюдь не серьезное», — перефразировав слова булгаковского кота Бегемота, определил Эстерхази свое отношение к этой эпохе. «Пропорция прав и цепей», по его выражению, действительно была здесь немного иной, чем кое-где по соседству, но все же... «кругом была ложь». В условиях кадаровской эпохи, фальшь которой можно было понять только изнутри, новым венгерским прозаикам нетрудно было прийти к осознанию бессмысленности внутрисистемной, так сказать, оппозиционности, к тому, чтобы не принимать «систему» всерьез даже на уровне критики.

Серьезная критика, впрочем, была тогда невозможна, да и не писательский это, по убеждению Эстерхази, хлеб — радеть об общественном благе, занимаясь усовершенствованием той или иной «системы». Если он настоящий писатель, то все, что есть неприемлемого в жизни, а стало быть и в «системе», хочет он того или нет, в его книгах найдет отражение. «Искусство, — пишет наш автор, — по-моему, не аристократический клуб (но и не демократическая корчма). Скорее, если уж никак нам не обойтись без плохого сравнения, искусство есть поединок, непрерывающаяся дуэль с устоявшимся... Настоящий противник в ней никогда не бывает внешним, им не может быть, например, «система» — он ближе, гораздо ближе... Потому-то и ставки так велики в этой так называемой схватке. Бунт, свобода, многообразие — требовать от себя меньшего мы не вправе».

Отвечая на выдвинутый в свое время венгерским прозаиком П. Верешем тезис о том, что писатель должен «мыслить категориями народа и нации», Эстерхази иронично заметил (точнее, напомнил забытые слова другого

---

[1] Подборка новелл и эссе П.Эстерхази была опубликована в «ИЛ» № 4 за 1992 г.

© Eszterházi Péter, 1994.

венгерского прозаика, Ш. Мараи), что лучше вообще-то писателю мыслить категориями подлежащего и сказуемого. Ибо писатель, сказано Бродским, но то же самое говорит и Эстерхази, есть «человек, чья профессия — язык».

Понимая сочинительскую работу как прежде всего работу с языковой реальностью, как постоянную инвентаризацию и ревизию существующего языка, «плутовство с языком» (по Ролану Барту), игру со словами и смыслами, Эстерхази и в самом деле далековато отошел от определенной отечественной традиции — традиции социально чувствительного, проблемного, зачастую глубокого, но, увы, сегодня уже архаичного реализма (спору нет, эту страницу венгерской прозы Ласло Немет и Дюла Ийеш дописывали талантливо). Однако сказать — как это, бывало, и говорилось, — что он отошел от «народа и нации», от действительности, от жизни, — значит, по меньшей мере, неточно выразиться. Ревнители упомянутой традиции упускали из виду, что слово — одна из форм власти, средство фетишизации устоявшегося, что «объектом, в котором от начала времен гнездится власть, — если вновь вспомнить Барта, — является сама языковая деятельность». Поэтому писатель, который, подобно нашему автору, не просто использует язык, а как бы выставляет его напоказ, по необходимости разрушая при этом правила грамматики, сдвигая смыслы и применяя иные приемы эвристического письма, раскрывает не просто языковые отношения своего времени, но и закрепленную в них реальность.

С точки зрения языка, замечает Эстерхази, эпоха Кадара была прямо-таки золотым дном, постоянно бросая писателю лингвистический вызов. «То и дело мы упирались в знаменитое изречение Витгенштейна, согласно которому слова не имели значения, важно только словоупотребление». Отбирая у власти ее язык, пародируя бюрократическое словоупотребление (особенно очевидно это в его «Производственном романе» и «Краткой венгерской порнографии»), Эстерхази и некоторые другие писатели его поколения как бы в шутку разоружали власть, расшатывали систему стереотипов, стремившуюся сковать жизнь общества, задать ей жесткие рамки.

Собственно говоря, он продолжает делать это и сегодня, независимо от формы общественного устройства. Правда, сегодня у него больше возможностей высказываться открыто и откровенно. После перелома в жизни венгерского общества, наступившего в 1988 — 1989 годах, он все чаще прибегает к прямому, in medias res, высказыванию. «Только теперь мы поняли, как много было убито в людях... Оживают элементарные, подавляемые прежде рефлексы интеллигента... Когда-то о подобных вещах мы вечерами шушукались с друзьями по телефону», — говорит он о своем увлечении публицистикой. Впрочем, назвать публицистикой «Записки синего чулка» (1994), как и предыдущую его книгу, «Из башни слоновой кости» (1991), можно только с большой натяжкой. Новеллистические наброски, рефлексии, отклики на происходящее, хотя и писались на «злобу дня», для газет и радио, не похожи на газетные однодневки. Идет ли в них речь о мучительном расставании Восточной Европы с прошлым или «сюрпризах» новой, демократической власти, о царящей в умах на Востоке и Западе растерянности относительно исторических перспектив или о положении литературы в постсоциалистическом обществе, Эстерхази, осматриваясь по сторонам, остается художником, мыслящим категориями языка. Его тексты, как всегда, неожиданны и наполнены узнаваемыми и неузнаваемыми реминисценциями из других текстов, чужих и своих, и тоже не лишены «сюрпризов», особенно для переводчика.

Одним словом, наш автор верен себе и здесь, оставаясь писателем *глубоко* легкомысленным.

Проблемс оф зе райтер тудей

НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА

Писатель, пишущий о проблемах писателей, либо вовсе никакой не писатель, либо пишет не о проблемах. Или в данный момент у него нет других проблем. Заметим: писатель, имеющий сугубо писательские проблемы, о злодейка судьба, как раз писателем-то и не является.

УЧЕНИЕ СТАЛИНА

Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы (якобы сказал великий учитель народов). Писатель есть человек.

ПРОБЛЕМА САМОЙ ПРОБЛЕМЫ

Проблема (согласно толковому словарю): 1. Теоретический или практический вопрос, требующий решения. 2. Трудноразрешимая задача. Тяжкая забота.

Итак, проблема есть нечто требующее решения. Нам хочется знать, откуда ветер дует и где зарыта собака. То есть априорно предполагается, что есть ветер и есть собака.

Мы привыкли смотреть на мир как на сумму проблем. Ум европейца непременно должен что-то решать. Ему обязательно нужно устранить причину, корень проблемы. Между тем как «проблемы» обычно неотделимы от самих вещей. Война, Освенцим или Сараево — не проблемы, поскольку у них нет решения, в них нечего устранять, если только не самого человека. Но это проблематично.

ПРОБЛЕМА ПИСАТЕЛЯ

Проблема писателя состоит в писании. В писании слов, предложений. Они не требуют никаких решений. Писатель есть человек, которому доставляет проблемы язык. Это необходимое (хотя недостаточное) условие писательства. В этом истинная проблема писателя, иных проблем у него быть не может. На чем можно было бы и закончить.

ТУДЕЙ

Указанное в заголовке *тудей* означает, что есть еще *естедей* , то есть существует время, извольте принять это во внимание. А если мы примем во внимание время, то придется принять во внимание и пространство, это тот минимум, что сегодня — *тудей* — следует знать из физики.

ОДНА ДАВНЯЯ ПРОБЛЕМА

Если бы мы сказали, что раньше проблема для нас состояла в том, что мы были несвободны, это был бы слишком поспешный ответ. Даже скоропалительный, и не потому, что кто-то может нам возразить: лично он чувствовал себя вполне свободным; мало что даст нам и уточнение: проблема, мол, состояла в том, что несвободными были наши страны. Искусство и свобода состоят друг с другом в достаточно сложных и беспорядочных отношениях, иными словами, нельзя (к сожалению) точно сказать, что́ хорошо для искусства, отчего оно расцветает. Иногда ему хорошо, когда ему мнут бока (что ни в коей мере подобные действия не оправдывает), иногда — когда гладят, иногда — когда вовсе не глядят в его сторону.

КАК В 1913-М

Как бы то ни было, жить в диктатуре опасно. Опасней, чем в недиктатуре. Больше риск ошибиться. Например, если кто-то в Париже подумает, что капитализм вечен, он почти ничем не рискует. Иное дело, когда у нас кто-то думал, а так думали все, что *эта мура* будет длиться если не вечно, то, во всяком случае, немыслимо долго, и, выстраивая жизненную стратегию, слишком уж полагался на это свое убеждение... Легко понять, что сегодня сей человек, глядя в зеркало, бывает слегка не в себе — ему не то чтобы стыдно, но все-таки неприятно, неловко и оттого невесело. Пользуясь старой метафорой: мы жили в 1913 году, убежденные, что монархия вечна.

УТОЧНЕНИЕ

Стороннему наблюдателю могло показаться, что мягкая диктатура — не диктатура, а нечто подобное демократии с тем отличием, что степень свободы в ней не 100 и не 99, а, положим, лишь 43 процента. Но со временем, может, дойдет до 51. Заблуждение. Мягкая диктатура есть диктатура, и степень свободы в ней — ноль, свободы в ней просто нет, только шире пространство ма-

невра. (Что, понятно, большое дело, потому как в любой настоящей, уважающей себя диктатуре вам покажут такой маневр — не обрадуетесь.) Вместо свободы — набор свобод.

Самый упорный враг диктатуры — память. Настоящая диктатура расправляется с ней беспощадно, все вокруг превращая в ледяную пустыню вечного настоящего; в своем софт-варианте она на такое уже не способна, но все еще машет руками с непредсказуемой (!) временами горячностью. Запретить нам правдиво говорить о действительности она еще может, а вот запретить правдиво молчать о ней ей уже не по силам. Бастионом такого молчания, выражаясь возвышенно, и являлась литература, которая очень решительно (и подчас очень точно) обходила молчанием *как раз то самое*.

ПРОБЛЕМА ВОЗВЫШЕННОГО

Но быть бастионом — известное дело — не шутки шутить. Литература в такой ситуации (вопреки, как мне кажется, собственному естеству) становится непомерно значительной. Как мы выразились когда-то, литература была — только она и могла быть — той инстанцией, которая напоминала нам об утраченной (отнятой, брошенной псу под хвост) свободе. Что говорить — она и на самом деле имела, могла и должна была иметь исключительную важность.

Правда, это было чревато тем, что писатель, утратив бдительность, мог спутать важность литературы со своей собственной важностью и незаметно поверить в свою исключительность. Писатель, считающий важным себя? На таком можно смело поставить крест. Обстоятельство это достойно упоминания, потому что, случалось, даже хорошие писатели попадались на эту удочку.

Все это было непросто. Ибо собственную несерьезность нам приходилось (приходится) проявлять и отстаивать, ни на миг не забывая о серьезности, брутальной суровости пространства, в котором мы жили. То есть, не отвлекаясь от выносимой тяжести существования, помнить о вечной угрозе невыносимо легкого бытия.

Но даже если это нам в принципе ясно, остается еще достаточно всякой путаницы. Например, если взять перемены в прозе, датируемые началом — серединой семидесятых годов, то их можно описать как процесс утверждения превосходства текста над тем, что называется социальным контекстом. Однако книги, созданные под этим знаком, подчас выполняли при этом и пресловутые нравственные задачи. Упоминаю об этом, конечно, без тени самокритичности. Но и без ностальгии, с другой стороны. (Наши книги, по нашему излюбленному выражению, стали книгами историческими, часть восточноевропейских романов скончалась, и нет, пожалуй, ни одной книги, которая не оплакивала бы свои умершие фразы, то есть фразы, которые появились на свет не сами собой, не благодаря окружающим их фразам-собратьям, а, допустим, благодаря запрету, который касался их, но не был уже столь силен, чтобы возыметь действие. И все же я полагаю, что книги, рожденные под знаком языка (по сути своей?), более жизнестойки; они тоже, конечно, подвержены изменениям, мы читаем их сегодня иначе, в них поблек пафос смелости, но сохранилось все то, что подчас было скрыто как раз этим пафосом, то, что могут сберечь — по другому излюбленному нашему выражению — только сказуемые с подлежащими.)

ПРОБЛЕМА СМЕЛОСТИ (ЖЕНСКАЯ ПРОБЛЕМА)

Язык жесткой диктатуры — тишина. Язык мягкой — молчание. Бормотание, лепет. Намеки, иносказания. Сообщничество с читателем, тайный язык. Хрестоматиен пример 56 морских свинок. Если в тексте над нашим садом летели (порхали) 56 морских свинок, то читатель по праву мог навострить уши — 56 как мифическое число, как скрытая отсылка давало ему понять, что здесь совершается нечто в интересах его несчастной утерянной свободы, вернее, как уже говорилось, на самом-то деле ничего особенного не совершается, а делается намек. Читателю дали знать об *этом*. Вместе с ним мы приблизились к чему-то запретному.

И тем временем напрочь забыли о женщине, что в саду, хотя со времен Чехова хорошо известно, что в саду обязательно должна быть женщина. И

это единственное, что действительно интересно. Что будет с женщиной. Хорошие романы (романы кадаровской эпохи? имеет ли право на жизнь подобная притяжательная конструкция?) и прежде повествовали об этой женщине, но, увы, очень часто нас больше интересовали те самые 56 морских хрюшек.

Все это таило в себе опасность в оценке литературы, искусства не в качестве таковых, а как нравственного деяния. Во всяком случае, критерии смешивались, и очень трудно было от них не зависеть. Достаточно вспомнить дилемму: как быть, если «хороший» человек написал вдруг «плохую» книгу? Можно ли было ругать ее в унисон, например, с тогдашней партийной «Непсабадшаг»? У которой, естественно, были свои критерии, она надрывалась вовсе не потому, что книга была «плохая», а потому, что автор — «хороший». Или кто ее знает. Материя это тонкая — ведь в искусстве «плохо» и «хорошо» суть равнодействующие, возникающие сложным путем в результате консенсуса, в искусстве нет стопроцентно надежных критериев, это вам не блины печь, поэтому если в консенсус привносятся чужеродные точки зрения или, грубо говоря, ложь, до добра это не доводит. В любом случае выправлять потом положение — дело сложное, муторное, хотя и возможное. И связано оно с вечной проблемой — проблемой ценностей. (Находятся, правда, люди, готовые решить ее просто и быстро — в пуристском запале сменив всю интеллигенцию подчистую. Мысль неплохая, что-то в ней, несомненно, есть, а именно — недомыслие, потому что *тогда* менять нужно будет всех... в том числе и самих «меняльщиков»...)

БЕСПРОБЛЕМНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Единственным плюсом всех этих реальных проблем, да и то применительно не к искусству как таковому, а только к его положению, было следующее: позиция, положение, место искусства в обществе и даже его (в идеале) задачи и роль были ясны и понятны: писатель противостоял — per definicionem[1] геройски — властям предержащим, рука об руку с читателем, который поэтому окружал его своей любовью и вводящим писателя в заблужденье вниманием.

ПРОБЛЕМА ЛЖИ

Мы сказали, что в диктатуре нет времени, что оно неподвижно застыло. Допуская некоторое противоречие в метафорах, заметим, что время все-таки худо-бедно текло (или, если уж не текло, то влачилось или вращалось вокруг настоящего), и мало-помалу зашифрованность языка становилась все более неестественной, сообщничество — сомнительным: от кого нам что-то скрывать, когда все всё знают, когда цензоры улавливают намеки быстрее читателей и когда уже не поймешь, кто на что намекает, — настолько открыты все тайны, ну просто стыдобища!

Таким образом, возможность молчания, волнующая, порой сюрреально заманчивая и единственная (!) возможность молчания о *том самом* вылилась в *умолкание*, а чарующая, воспетая столько раз игра видимости в прятки с реальностью — в жалкое мельтешение. Молчащий живет в бастионе, умолкший — в хлеву. Мягкая диктатура делает человека ненасытным. Он задается такими вопросами, как если бы он был (в общественном смысле) свободным. Естественно, он ставит их не открыто, но, однажды поставив их для себя, больше не удовлетворяется тем, чем довольствовался прежде, — ответы 60-х, 70-х, породившие восточноевропейский гротеск, нас уже не устраивали, наводя уныние и тоску.

Поскольку кругом была ложь, чего не видеть мог только слепой, то шокировала уже не фантастическая гротескность лжи — в самом деле, зрелище впечатляющее, когда все до последнего гвоздя лживо, все, как любим мы выражаться, от бровей родного папаши до горшка с гуляшом, — а малоприятный вопрос: ну а мы каковы в этом разе? Пребывая в тотальной лжи, разве можем мы сами остаться нелживыми? Может ли быть правдивым отдельно взятое слово, отдельная фраза, отдельная книга? При лживом читателе может ли быть правдивым писатель? О том, что на самом дне смелости кроется страх,

[1] По определению (*лат.*).

мы догадывались и раньше, но есть ли в этом мягчайшем, раз в год позволяющем ездить на Запад и прочее (!) мире что-нибудь, *кроме* страха? Скрываемого, отрицаемого, препарированного?

Правильно ответить на эти вопросы мы не могли. Собственно говоря, под знаком проистекавшей из этого резиньяции — а также сменившего ее возбуждения по поводу новых возможностей уже не только расшатывать, но сметать со своего пути все преграды — и закончилось для нас *это все*.

ПРОБЛЕМА НОВОГО

А что началось, никому не известно. Вообще в наше время никто ничего не знает — ни на Западе, ни на Востоке. (Европа как общее пожимание плечами — вот она, новая форма единства.) Сегодня по-прежнему существует Запад и существует Восток, потому что, как быстро выяснилось, эти воссоединения так запросто, раз-два и готово, не получаются. (Воздержусь здесь от нескольких, хотя и милых, шуток.) Существуют не только восток и запад (в метафорическом смысле — скорее север и юг), но также и середина, это «ни тут, ни там» (скорее «тут», но с надеждой быть «там» или наоборот), если пользоваться нестандартными определениями. Впрочем, точного определения, возможно, и нет — только чувства и ощущения. Я чувствую: я с востока, я вижу: он родом из города Карл-Маркс-штадт (или как он нынче зовется?)

Теперь обо всем по порядку.

ИНВЕНТАРНЫЙ РЕЕСТР ПРОБЛЕМ

Финансовая проблема. Доселе мы никогда не знали господства денег, их власти. Теперь же столкнулись с этим довольно грубо, потому что еще не сложились тонкие механизмы и структуры защиты. Исчезли старые формы государственного меценатства, новые еще только нарождаются. И так во всем: старые структуры распались, новых пока что нет. Уже — еще.

Проблема книгоиздания. Вместо пьянящего аромата свободы — зачастую свобода пошлости. Преобразившиеся книжные лавки. Преобразившиеся книги. (Освободившаяся Европа в наших краях незнакома с твердым переплетом — только с обложкой. Наши дети уверены, что книга — это предмет, разваливающийся при листании.)

Проблема тиражей. Падение престижа, по-моему, не проблема. Сбросив балласт политики, литература заняла свое место. Возможно, кое для кого это непривычно. Проблема не в этом. Вместо тридцатитысячного тиража выйти в свет тиражом в пять тысяч — в худшем случае проблема финансовая, проблема социологии чтения. А вот вместо тридцати тысяч всего-навсего триста — дело другое. Тут уж напрашиваются вопросы: нужно ли искусство? зачем? каково его место? (как втиснуть его в зазор между «Макдональдсом» и Сараево?), для кого мы пишем? Вопросы эти и прежде были не из приятных, но тогда они в основном были скрыты в тени диктатуры, которая сама была и вопросом, и в то же время ответом (и стилистическим ляпом).

ПРОБЛЕМА ДАННОЙ СТАТЬИ

Здесь последует некоторая заминка, что, расписываясь в собственном бессилии, я и вынужден подчеркнуть. Ибо речь идет о вещах чем дальше, тем более зыбких, между тем как статья говорит о них с умным видом, классифицируя проблемы, выстраивая их по ранжиру и прочая. В чем состоит ее скрытый дефект. Проблефект. Будь эта статья последовательной, она замолчала бы. Но статьи этого не умеют (молчать — иногда — умеют стихи.)

ПРОБЛЕМА ВЫХОДА ИЗ ТЕНИ

Но вот над нами подняли крышку (крышка съехала), и мы можем свободно булькать, выплескиваясь через край. Знай мы, с кем мы имеем дело — то есть знай мы себя, свою биографию, а не только свою географию, — все было бы проще. А так получается: неопределенного статуса лица произносят неоп-

ределенного статуса словеса. Процитируем: «Язык венгра, а может быть вообще язык всякого обитателя Центральной Европы, даже будучи переведен, остается чужим и странным. Перекошенным. Иная система соотношений понятий, иное словоупотребление — не *левое*, не *либеральное*, не *бунтарски 68-е* , а Бог его знает какое, я бы сказал — эмоциональное, словом, чаще всего талантливое или не очень, но в любом случае очень личностное. Вместо фактов — словесные кружева, вместо анализа — сплошные метафоры. К тому же, пользуясь этим личностным языком все прошедшие сорок лет, мы так и не выяснили, кто она, эта личность. Дело в том, что, увы, глупела не только *эта мерзкая большевистская власть*, но и любимый народ, а стало быть, и конкретно я. (Nota bene: ты тоже, далекий Читатель. Эта ялтинская Европа глупела безостановочно. На всем континенте от Лисабона и до Стокгольма, от Бухареста до Лондона шла сплошная идиотизация.)».

Достижение взаимного понимания, нового консенсуса заставляет себя ждать. Процесс это весьма драматический (нередко с драматическими персональными последствиями). С профессиональной же точки зрения: время заново учить слова, без спешки, настойчиво, чутко выведывать, что они означают *сегодня*.

Вместо глобального, однозначного и, следовательно, победного конфликта искусства и власти мы имеем сегодня множество мелких конфликтов. Испарился железный занавес, но уже поднялись, схваченные раствором былых страстей, новые стены — национальные. Послышались *старые* голоса, о которых мы раньше только читали. Появился провинциализм, с которым мы раньше могли всерьез не считаться. Вообще: может быть, раньше нам и не нужно было ничего принимать всерьез, достаточно было, что нас принимала всерьез система?

Слишком много ответственности свалилось вдруг в наших краях на мужские плечи, и хотя мы давно уже жаждали этой ответственности, этой свободы, думая, что мы знаем, что делать, — теперь видим: не очень-то знаем что, как. Мы можем только смотреть себе под ноги. В лучшем случае.

ПОДЛИННАЯ ПРОБЛЕМА

За неимением лучшего мы готовы копировать западные образцы, без того, однако, чтобы в них верить. Но, может быть, я сужу слишком строго, негибко, и именно следование образцам (копирование которых все равно не удастся) откроет нам некий простор, сдвинет нас с мертвой точки, и мы начнем — шаг за шагом — выбираться из нынешней пустоты, начнем задавать другие вопросы или те же — по-новому, и, как знать, может быть, и ответы найдутся. Сегодня у нас их нет, значит, нет настоящих вопросов. Мы плывем по течению, плохо соображая, что делать с наследием и императивами нашей культуры.

Смотреть *вперед* затуманенным взором (взглядом плакатного передовика) — это мы уже проходили, уж лучше и в самом деле смотреть себе под ноги. Но, с другой стороны, мы знаем, что быть европейцем вроде бы означает держать голову поднятой. Каков же он (будет), сей новый европеец? Сей Фауст, который боится, научился бояться *величия*?

В свое время на «круглых столах» нам задавали вопрос: «Свободны ли вы?» И надеялись, не без основания, услышать филиппику по адресу диктатуры, и возмущались недоуменно, когда мы спрашивали: а задавали ли они (осмеливались ли задать) этот вопрос, скажем, Хандке или Апдайку.

Теперь спрашивают: «Каковы ваши представления о будущем?» И надеются, не без основания, услышать в ответ панегирик по адресу демократии. «Мои представления?.. Как вам сказать... А ваши?» — «Что значит мои? Я здесь в роли ведущего». И когда тишина становится слишком глубокой, я говорю: «В таком случае, прелесть моя, считайте, что я тоже ведущий».

ПРОБЛЕМА

Кого и куда мы ведем?

Человек во власти

Долгое время мы знали, видели, что у власти не может стоять человек. Человек — это тот, кто находится где-то сбоку, за кромкой поля, а те, кто у власти, — не люди, а подлецы, сумасшедшие или мерзкие циники.

Теперь мы доподлинно знаем, что и люди, нормальные люди, попали во власть. И видим, что с ними творится что-то неладное. В основном эти метаморфозы неинтересны, в смысле: банальны. Банальны их карьеризм, жажда власти и денег. Несколько интересней головокружение, которое испытывают они наверху, на горних вершинах власти, там не тот воздух, не та атмосфера, и нормальные люди, не разбираясь в природе власти, видимо, полагают, что это головокружение вполне естественно.

Самое главное, думаю, заключается в том, что у пришедших к власти, попавших во власть, *меняются взгляды на вещи*. Наиболее привлекательный изо всех ликов власти — ответственность. Настоящее бремя власти — это бремя ответственности. Бремя поступков. И одиночества (больше того, покинутости).

Самый большой искус власти, по-моему, — это опасность потери памяти, опасность забыть, каким человеком ты был, когда у тебя еще не было власти. Отсюда — всего один шаг до того, чтоб забыть о людях, которые не у власти. Человек во власти должен постоянно бороться — бороться за свою память.

Приведу вам забавный пример. Давно это было, а может, и вовсе не было, но все же я хорошо помню взаимоисключающую достоверность двух взаимоисключающих ситуаций и то, как менялись в них мои чувства и логика. В то время я служил в армии, и было там одно абсолютно бессмысленное занятие (наводить порядок на местности, in concreto: махать метлой), результаты которого никто никогда не проверял. Из чего следовало, что не существовало в природе ни единого аргумента в пользу необходимости выполнять указанную работу. То есть мы могли быть свободны целых двадцать минут. Поваляться, покайфовать, вздремнуть, помечтать, а потом доложить, что задание выполнено. Тем не менее ответственный за работу сержант всякий раз пытался заставить нас заниматься этим явно бессмысленным делом, что *никак не укладывалось у меня в голове*. Я считал это трусостью, карьеризмом, предательством.

Но вот как-то сам был назначен таким ответственным. Мужики, воззвал я к своим подчиненным, давайте за пару минут провернем работенку, и чистых восемнадцать минут будут наши, *ничто*, никакая проверка их у нас уже не отнимет, и так далее в том же духе. Идиот, был ответ, карьерист, трус, предатель. У меня *никак не укладывалось в голове*, почему они так ведут себя, когда дело яснее ясного: за пару минут, не особенно напрягаясь, мы могли обеспечить себе гарантированный отдых. Они казались мне безответственными разгильдяями, мне было обидно, что им плевать на меня, что в них не нашлось ни грана коллективизма...

Работу я выполнил сам. И при этом у меня даже осталось пяток минут поваляться и помечтать. Что бы они делали без меня, ворчал я, покачивая своим нравственно развитым котелком.

Постмодерное варварство, или Европа без свойств

Все целое рассыпалось на части, писал Эндре Ади[1] в начале века. Мне кажется, что с тех пор мы только и делали, что бездарно растрачивали время — на войны, холодные и горячие, на строительство и разборку барачных декораций так называемого социализма, чтобы в конце концов прийти к тому же, что и скептики рубежа веков, — к разочарованию в либерализме и надеждам на либерализм (ибо на что же еще?). Между тем пролетело столетие, за которое — выражусь деликатно — кое-что приключилось. И теперь те же самые вопросы мы вынуждены задавать в ситуации много худшей. (Оттого, что их можно во-

[1] Эндре Ади (1877 — 1919) — венгерский поэт-символист. Цитируется известная строка из его стихотворения «Езда в ночи» (1909).

обще задавать, особой радости мы уже не испытываем.) Мир все больше теряет невинность. Мы свыкаемся с тем, что живем в ситуации перманентного скандала, в новом варварстве. «Du musst dein Leben ändern»[1], — сказал один обитатель Дуино[2]. Почему «ты»? — только и отвечаем мы, не то чтобы с раздражением или нахальством — скорее с грустью.

Интеллигенция так называемой Центральной Европы потерпела фиаско. Такого мы от себя не ждали. Глядя в зеркало пятилетней или десятилетней давности, мы видим, как, распушив хвосты, мы похлопываем себя по плечу, гордые нашей моральной стойкостью, высоким нравственным потенциалом и той человеческой теплотой, которую нам удалось сохранить, невзирая на все раздоры; как мы были уверены, что честолюбивым планам и устремлениям по переустройству наших отечеств мешают только «система», русские, коммунисты... У мачехи Белоснежки зеркальце было получше. Ты красивей всех на свете, но... Этого «но» мы как раз и не слышали.

И что же теперь? Теперь — югославия. Существительное, прилагательное и глагол в одном слове. Югославские мы югославы, как все мы объюгославились. Нет предела позору. Куда подевалась вдруг фантастическая духовность Центральной Европы? Как бы найти хоть полстрочки — словенских полстрочки, хорватских, венгерских, сербских.

Кто ты есть? — задают мне вопрос. Что я должен ответить? Я венгр? Как это жалко, как узко, как бедно — быть только венгром, только словенцем или же только сербом! Разве литература существует не для того, чтобы говорить о нашей тысячеликости, а то и творить ее? Отказавшись от этого, разве не потеряет литература свою легитимность? Я венгр. Я словенец. Я серб. Для составления таких фраз литература совсем не нужна. Достаточно бюрократа со штемпелем. Пограничника. Армии.

В голове у нас пустота. Полный вакуум. Опустошенная эта голова и есть сегодня — Европа. Значит, мы уже интегрировались с Просвещенным Западом, если так же беспомощно смотрим по сторонам, как они. Только они это делают в мире функционирующем, с относительно развитым представлением о своем «я», мы же — в привычно (непривыкаемо) нефункционирующем, с проблематичным «я», на которое мы постоянно обрушиваем град вопросов.

С понятной опаской относимся мы к большим социальным прожектам, хватит, мы уже обожглись (в этом горении-обжигании, собственно, и прошло все столетие). Но какого-то опыта или соображений на тот счет, что такое Европа, в которой не будет мечты, у нас нет, ибо, сколько стоит мир, всегда Европа о чем-то мечтала, и это, бесконечная эта мечта, по сути, есть sine qua non[3] Европы. Теперь ситуация изменилась.

Мы вернулись к тому, на чем кончил Музиль: человек без свойств ищет собственную идентичность.

Невозможно похитить Европу

О новой европейской меланхолии

DM-ЕВРОПЕЙСТВО?

Всего год назад, я хорошо это помню, немецкие журналисты, покачивая снисходительно головами, недоумевали, «отчего это славные венгры, давшие миру Пушкаша и Бартока, первыми взявшиеся за разборку хлипкой постройки реального социализма, зажегшие факел надежды для всей Европы, теперь, вместо того чтобы и самим с надеждой и верой в себя купать лица в лучах, только пожимают плечами, словно рыцари резиньяции...»

Посмотрите сегодня в окно и увидите, что по улицам с постными минами сплошь снуют те самые рыцари.

---

[1] Ты жить обязан по-иному (*нем.*) — строка из стихотворения Р.М.Рильке «Архаический торс Аполлона» (1908, пер. К.Богатырева).

[2] Дуино — замок графини Турн-и-Таксис на Адриатике близ Триеста, где в 1900-х гг. бывал Рильке...

[3] Непременное условие (*лат.*).

Почему? Быть может, спокойствие немцев было просто спокойствием состоятельных? DM-безмятежностью, так сказать? DM-европейством?

ИНАКОРАСТУЩИЕ КЛЕТКИ

Что касается нашей меланхоличности, описать ее было не так уж сложно, уж мы-то себя понимали. Точнее, и понимали, и не совсем. На вопросы любопытствующих (и чаще всего действительно неосведомленных) корреспондентов мы только высокомерно махали рукой: «Чтобы по-настоящему понять Центральную Европу, нужно быть центральноевропейцем, быть же центральноевропейцем, в свою очередь, означает не знать себя». (Вопроса о том, что знание о дефиците самопознания само по себе от этого дефицита не избавляет, мы не касаемся).

Ситуация очень напоминала (напоминает) послевоенную: озираясь среди руин, мы пытаемся вспомнить, как это бывает, когда что-то идет нормально. Но с памятью у нас плохо, и все нужно придумывать заново. Да и вспоминать все в деталях как-то не очень хочется. Гораздо охотней мы говорим о том, как благодаря нашему героическому сопротивлению был сломлен свирепый режим, что в общем-то не является такой уж бесстыдной ложью, хотя особого героизма не было и дерьмордию[1] — пользуясь словцом из «Юбю-короля» — удалось сохранить не всем.

Впрочем, после всамделишных войн, как правило, наблюдается всплеск энергии — у победителей потому, что они победили, у побежденных — потому что выжили. Мы же — ни те, ни другие, а если с долей самоуничижения и возводим себя в ранг побежденных, то факт выживания принимаем как нечто вполне естественное (что вовсе не так!), и грудь наша не полнится счастьем и благодарностью за то, что нас не расстреливали. Лично я террор не застал — я жил только при потенциальном терроре, под сенью террора, в эпоху пыльного, серого кадаровского террора с ежегодным лимитом валюты для заграничных поездок.

И вот он кончился. Унесенный ветром.

Но мы и представить себе не могли, что окажемся настолько неподготовленными. Еще недавно мы искренне верили, что нам не хватает только *простора*, которого нас лишали треклятые коммунисты, и если б нам не мешали, то мы знали бы, что делать с этой страной. Оказалось — не знаем (не говоря уж об этом «мы», оно рассыпалось, будто его и не было, и это, видимо, так и есть: жизнь в этом «мы» поддерживал только общий враг).

Не без некоторого кокетства мы, конечно, могли заявлять, что глупеем вместе с системой, но при этом мы (я) все же думали, что имеем кое-какие резервы. Их нет. Ни физических, ни душевных, ни эмоциональных, ни нравственных. Нас ограбили. Положение наше плачевно. Слишком много страданий, унижения (и самоуничижения!), лжи и самообмана здесь накопилось. Как старательно обходим мы эти завалы. Какие все здесь старики! И, как старые люди, мы всё пережевываем свое прошлое, не в силах ни выплюнуть, ни проглотить. Кругом демагогия и грызня. Апломб и обиды. У нас похитили жизнь, плачемся мы. И пытаемся вычеркнуть, закавычить, поставить в скобки последние сорок пять лет. Что никак не свидетельствует о серьезности.

Я оптимист, говорит один мой приятель, все образуется. Нужно только дождаться, пока мы все вымрем.

Наверное, он недалек от истины. Ибо здесь даже клетки росли иначе, мы отращивали себе жабры и плавники, точнее, даже не замечали, как они отрастали, то есть мы приспосабливались, все время должны были быть начеку, и из этого состояла вся жизнь. Напрасно вы будете убеждать моего пятидесятилетнего соотечественника начать новую жизнь, сменить профессию, заняться предпринимательством (магическое слово нашего времени) — он не сможет, он не способен на это. Его так воспитали, он привык к тому, что в основе своей непредсказуемый и враждебный мир позволял ему спать спокойно, обеспечивая некий минимум социальных гарантий. Сегодняшний мир — без гарантий. И неудивительно будет, если он, как какой-нибудь глупый неблагодарный кло-

[1] Имеется в виду начальная реплика пьесы Альфреда Жарри «Юбю-король» (во французском оригинале — придуманное автором слово «merdre»).

шар, придет к мысли, что в тюрьме он хоть крышу над головой имел. И то правда, мы, венгры, жили по-барски, хозяйничая в самом веселом бараке соцлагеря, а теперь удивляемся с кислой миной, обнаружив, что стали поденщиками свободы. Пришлось распрощаться и с чувством избранности. Обитатель Центральной Европы всегда скромно гордился собственной угнетенностью, «о которой на Западе — что верно, то верно — понятия не имели». Ведь «тотальное» — тоже верно — куда больше, чем «очень большое». Таким образом, мы уже не являемся фигурантами беспримерно постыдного фарса истории (униженность в сочетании с привилегированностью), а живем в нормальной и очень средней, бесцветной стране. Каковая со временем в принципе может стать лучше, но пока что в ней жить не здорово.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ, или КОМУ КОГО БОЯТЬСЯ

Кое-кто по привычке был этим весьма озабочен: разумеется, мол, все в порядке, немцы люди хорошие, однако, как говорится, хорошего понемногу. Может, все-таки лучше пусть будут княжества — аккуратные, симпатичные, как когда-то. Другие же полагали, что наконец восстановлен порядок вещей, ибо где это видано, чтоб одна страна состояла из двух, коль одна, пусть и будет одна, и что это ни плохо, ни хорошо, а просто закономерно.

Что до размеров, то, сдается мне, это верно, что Германия обычно бывает то слишком маленькой, то слишком большой, но бояться ее, по-моему, все же не стоит. Правда, было бы плохо, если она не побаивалась бы самое себя, не следила бы за собою вполглаза. Но бояться самих себя легче всего, когда нас не боятся другие.

Лично я склонялся к тому, чтобы верить в объединение. Невзирая на то, что процесс идиотизации, о котором я говорил, у железного занавеса не остановился, идиотизм — наше общее, ялтинское, завоевание, и есть опасение, что от общности европейской культуры давно уж осталось только воспоминание, реально же существует лишь этот идиотизм, безразличие, примирение с мыслью о двух Европах, что и есть триумф Ялты, — но все-таки (в глубине души) я верил в «европейский потенциал».

Верил в то, например, что немцы многое знают о памяти и беспамятстве, что в послевоенные, а затем в «68-й» годы ими были усвоены важные, эталонные коллективные знания в этой сфере. Однако, похоже, все обстоит не так просто. Надеялся я и на то, что при объединении они естественным образом воспользуются так называемыми восточногерманскими ценностями, теми знаниями и опытом, которые были плодами жизни в рамках «брутализированной культуры», но вместо этого мы видим лишь голую власть денег (которая в нашем случае дополняется властью безденежья). Между тем для поиска конструктивных решений этой власти никак недостаточно.

Сегодняшняя Германия олицетворяет собой полное неведение друг о друге Западной и Восточной Европы. Восток ворвался на Запад. Канули в прошлое безмятежные времена дружеских разговоров в тоне взаимного снисхождения. И все же как раз сегодня и нужно во всем разобраться. *Вы* до сих пор говорили друг другу немцы из двух Германий, а если и говорили *мы*, то в скобках или в кавычках. Теперь им *приходится* так говорить; но, говоря *мы*, немцы не узнают себя. Не понимают друг друга. Слишком велик разрыв между *вы* и *мы*. (Не буду касаться личного опыта, накопленного по части этого *мы* при социализме, — того фонтана вранья, переливающегося всеми цветами радуги, пустозвонства и подлинного человеческого достоинства, из которых складывалось это *мы*...) Оглядывая ныне свой любимый город — Западный (sic!) Берлин и наблюдая это новое столпотворение, эти орды, штурмующие супермаркеты, я вижу себя, это я, усталый и агрессивный, толкаюсь в автобусе, это я никогда не даю прямого ответа на прямой вопрос, выжидая, ища в нем какой-то подвох, и при этом не понимаю, чего непонятного находят в этом другие. Увы, DDR c'est moi[1]. (Где те старые добрые времена, когда я был еще госпожой Бовари!)

[1] ГДР — это я (*франц.*).

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО, или КТО КОГО ЛЮБИТ

Европа, говоря напыщенным слогом, всегда имела перед глазами некий свой идеальный образ, сперва христианский, позднее — культурный (думаю, это sine qua non ее бытия). Теперь такового нет. И это не новость, просто раньше с этим *нет* не приходилось по-настоящему сталкиваться, оно было условным, всерьез не воспринималось. Сегодня же этот вакуум захватил улицу, и ощущение беспомощности из интеллектуальной сферы проникло в сферу обыденной жизни.

Хаос, неопределенность, порождаемые этой ситуацией, небезопасны. Они только усиливают депрессию. Другая опасность — это наше по-детски наивное, трусливое отношение к прошлому, желание от него отмахнуться, означающее в конечном счете, что мы не способны себя любить. Европа себя не любит. Пока все кому не лень витийствовали об интеграции, Европа распалась на *одинокие страны*.

КАДЕНЦИЯ: ОДА РАДОСТИ

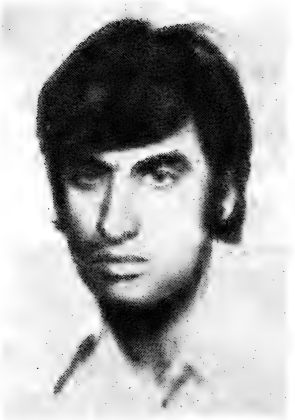
Между тем это новое состояние неопределенности дает и некоторые шансы. Так, Германия могла бы сегодня по-новому самоопределиться, но не с той половинчатостью, когда она видит себя и большой, и маленькой и, похоже, при этом стремится равняться на *настоящие* европейские государства, на *настоящий* Запад, на Англию, Францию. А могла бы стать государством нового склада, которое, учитывая собственный «жуткий опыт», не строилось бы на национализме, а было бы настоящей лабораторией свободы.

Такой шанс сегодня есть только у Германии. Сделать так, чтобы продолжением политики — другими средствами — был *мир*. Или это слишком красиво?

Что касается *настоящей* Европы, то ее просто нет. Нет никакого европейского дома. Европейский дом существует только тогда, когда существует Стена, существует Ялта, существует «та сторона», куда можно заглядывать, мечтая попасть «туда». Таким образом, мечтать попасть в европейский дом можно только тогда, когда этот дом существует — то есть когда существует Стена и когда мечтать ни о чем не приходится. Иными словами, мечтать о нем можно, когда нельзя, и нельзя, когда можно, потому что его тогда нет. Прискорбно, но Венгрия всегда оставалась Европой, как были Европой и Лейпциг, и штази.

Невозможно похитить Европу. Точнее: ее похищали, но то, что оставалось на ее месте, и было тогда Европой. Ибо Европа одна, несмотря на то что и в самом деле была расколота надвое. Европа — то, что реально есть. Без кавычек и скобок. И нет никакого *нечто*, куда мы должны попасть, существует лишь *это все*, и мы *внутри* всего этого. Вопрос только в том — в нем-то и заключаются жребий, опасность и шанс наступивших новейших времен, — вопрос в том, *что́ такое* оно, это все.

■



СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ

Миниатюры

Перевод с болгарского

Болгарская идея

Невероятно, но факт — наконец-то болгары объединились вокруг одной идеи.

Всем ехать в Америку.

Отдаем Болгарию под офис или помойную яму и на вырученные деньги живем в Америке.

Или просто покидаем Болгарию, садимся в лодки и присоединяемся к флотилии, которая плывет туда на кораблях Колумба.

По случаю пятисотлетия ее открытия.

На пятьсот лет позже, но ведь столько же лет мы были под игом.

Лучше позже, чем раньше.

Что бы мы там делали во время Гражданской войны?

Или во время «Великой депрессии»?

Сейчас как раз самый подходящий момент.

Оказывается, светлое будущее — вопрос не времени, как мы думали, а расстояния.

Просто уезжаешь в Америку.

Там все, что было задумано философами и поэтами, уже сбылось.

Сентябрь стал маем.

Построили памятники не освободителям, а самой Свободе.

Уже дан ответ на вопрос: «Что значит какая-то там личность?»[1]

По мнению очевидцев, личность там значит все.

Кроме того, они первыми ступили на Луну.

А мы до сих пор не можем ступить на землю.

На свою. Собственную. Которую у нас отняли столько лет назад.

Чего мы еще ждем?

Чтобы не хватило керосина для последнего самолета?

Или чтобы украли его шасси, а мы навеки остались на нашей милой родине — парламентской республике Болгарии?

Помчимся скорей.

И помчались.

И правильно сделали.

Человек живет один раз.

А это прогнившее государство не встанет на ноги как минимум в течение трех поколений.

Если вообще когда-нибудь встанет.

Лучше всего запереть его на ключ.

---

[1] Строка из стихотворения известного болгарского поэта Н.Вапцарова. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

© Станислав Стратиев, 1993.

Мчимся, летим по лестницам, падаем, встаем, стукаемся, как мячик, о ступеньки головой, а в голове скачет одна мысль. Если бы мы не носились туда-сюда на своих быстрых конях и не кочевали через десятки стран, вытаптывая траву, а сидели да вкалывали в своих родных степях, сейчас у нас была бы своя Америка.

И к нам плыли бы Колумбовы корабли.

Потому что я не уверен, что, приехав в Америку и растащив все тамошнее богатство, доведя ее до того печального состояния, в котором мы сейчас находимся, мы не обнаружим, что Новый Свет уже где-то в другом месте, что другие давно открыли его и устроили там сказочную жизнь.

И снова понесемся на конях и в лодках.

Перевод В. ГЕОРГИЕВА

Маленькие удовольствия

У этого народа хроническая тоска.

Вместо того чтобы радоваться жизни, он все время о чем-то горюет.

Все-то он печальный, все у него апокалипсис.

То три обоза невольников, то царь Асен топит свою жену, то молодую Калину пленяют татары, то отец продает туркам сына, то Мануш убивает брата.

Яна плачет по девяти братьям, умершим от чумы.

Йово не отдает Яну в турецкую веру, после чего начинается настоящее четвертование.

Ему отрубают одну руку, потом другую, потом ноги, выкалывают глаза — чистый Хичкок.

Эта тоска, наверное, у нас наследственная. История повторяется и сегодня.

Опять-то у нас проблемы, опять голод, безработица, преступность, трупы, изнасилование.

Опять у нас нет перспектив, культура гибнет, молодежь бежит, пенсионеры бедствуют, старики вымирают.

Экономика рушится, инфляция растет, политика безнравственная, хаос.

Все время у нас хозяйственная разруха, политические кризисы, межнациональные войны.

Да бросьте вы это, не занимайтесь этим.

Неужели мы не можем жить маленькими радостями жизни — скажем, перекрасить яхту, сменить садовника или собирать картины Гогена.

Ничто так не поднимает настроение, как поездка на Канарские острова, переезд в другое имение или покупка породистых лошадей.

Вместо того чтобы предаваться тоске, лучше сменим повара — может быть, это он во всем виноват.

Попробуйте, и вы поймете, что такое маленькие радости.

Надо избавиться от этой тоски.

От этих апокалипсисов.

Зима на Балканах

Зима. Стояна посылают за углем.

Он сует в карманы две бутылки грушевой водки и уходит.

На складе — оживление, народ тащит ящики.

Угля нет.

Естественно — ведь груш уродилось мало.

Стоян достает бутылку.

Взгляд кладовщика проясняется.

— Две тонны угля, — говорит Стоян.

— Угля-то нет, — говорит кладовщик. — Но зато есть подводные лодки, совсем новые, могу отложить парочку.

— И почем они? — спрашивает Стоян.

— Миллиард двести.

— Дорого, — говорит Стоян.

— Атомные же, — объясняет кладовщик. — Прямо из Одессы. Даже краска свежая. В Ливии они вдвое дороже. Не говоря уж об Ираке.

— Большие деньги, — говорит Стоян.

— Возьми ракеты «земля — воздух», они идут нарасхват, как горячий хлеб. Я оставил, для приятелей. А ты всегда продашь, своим. Прибыль — две тысячи процентов.

Стоян качает головой.

— Вот последнее, что могу предложить: 34-миллиметровые орудия, заряжаются автоматически, компьютерный прицел. Товар — первый сорт. Предлагаю тебе только потому, что нынешний год груш мало уродилось.

Стоян задумывается.

— А эти что тащат? — показывает он на уносящих ящики.

— Базуки, — пренебрежительно говорит кладовщик. — Что ты хочешь — сербы. У них денег нет.

Стоян достает вторую бутылку.

Кладовщика прошибает пот.

— Уголь, — говорит Стоян.

— Браток, — говорит кладовщик, — разве б я не дал, если б было. За две бутылки я бы мать родную продал. Но нету.

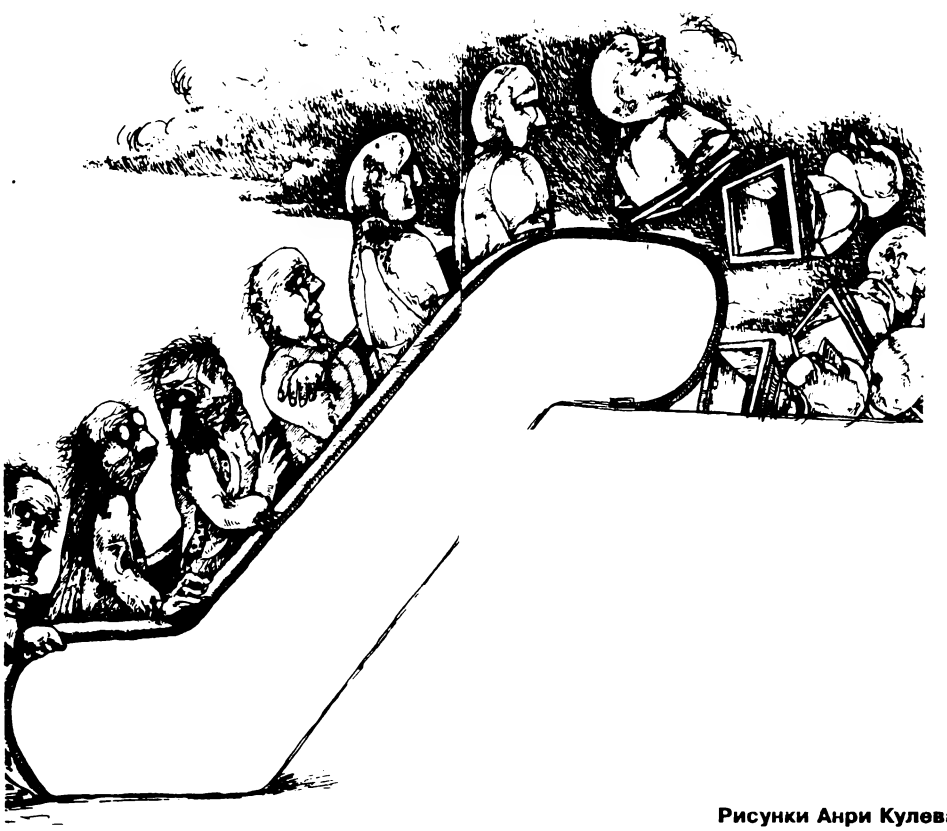
Стоян убирает в карман бутылки.

Кладовщик что-то в уме прикидывает.

Стоян направляется к выходу.

— Стой! — кричит кладовщик. — Стой!

Стоян возвращается.



Рисунки Анри Кулева

— Вот! — сует ему в руки кладовщик металлический контейнер. — Бери!
— Что это? — спрашивает Стоян.
— Ядерное топливо! — отвечает кладовщик. — Давай водку!
Стоян отдает ему водку, берет контейнер и несет домой.
— Купил уголь? — спрашивает жена.
— Угля нету, — говорит Стоян. — Взял ядерное топливо. В твердом виде.
— Очень хорошо! — говорит жена. — И в чем мы будем его жечь?
— Обещали реактор. Привезут несколько штук. С Украины. Сказали, чтоб зашел во вторник.
— Смотри, чтобы бракованный не подсунули, — говорит жена. — А то они часто взрываются.
И уходит на кухню.
Стоян снимает ботинки и, довольный, ложится на диван.
Они переживут и эту зиму.

Нормальный нашего двора

Большинство жильцов во дворе относятся к нему с жалостью.
Делают ему шляпу из газеты.
Позволяют прогуляться с собакой.
Некоторые покупают ему пиво.
Берут в воскресенье с собой на прогулку.
Он их забавляет.
Нормальный нашего двора.
Говорят, что он читает книги.
У него нет ни фирмы, ни кафе, ни продуктового магазинчика.
Он настолько нормальный, что живет на одну зарплату.
Единственные отмытые деньги — двадцать левов, которые
он забыл в кармане рубашки.
Которая даже не шелковая.
Нормальный нашего двора экономит, чтобы заплатить за электричество.
Улицу переходит на «зеленый свет».
Машина у него не «мерседес» и не «БМВ».
Ходят слухи, что у него вообще нет машины.
Конечно, никто не верит.
У его деда не было ни фабрики, ни земли, ни даже аптеки.
Неизвестно, был ли и сам дед.
При реституции[1] нормальный нашего двора ничего не получает.
Каким был пролетарием, таким и остался.
Вернуть ему могут только цепи.
Он не только не был диссидентом, но даже репрессированным.
Раньше у него были неправильные взгляды, сейчас тоже.
Нормальный нашего двора ходит в театр.
Люди пугают им своих детей.
Если не будут слушаться, станут такими же.
Его нормальность передается по наследству.
Если кто-то с вами здоровается улыбаясь — значит, это он, нормальный нашего двора.
Не бейте его.
Он безобиден.
Его единственное предназначение — родиться, голосовать и умереть.

[1] Реституция — восстановление в прежнем имущественном положении.

Почему у нас нет Шекспира

Болгарин не признает диалога.

Эта форма отсутствует во всех сферах его жизни.

Бесконечные монологи, сопровождаемые бурными аплодисментами.

Противную сторону вешают.

Это и есть болгарский диалог.

Болгарин вообще не дает слова другому.

Он его даже не выслушивает.

Слушает, но не слышит.

В это время он к нему приглядывается.

Но ни на миг не допускает, что другой может быть прав.

Болгарский диалог — это, в сущности, два длинных монолога, которые кончаются известной фразой: «Не хочешь добром, получай топором!»

И хрясь топором.

Мы вообще не можем себе представить, что можно вести спокойный разговор, в котором отстаивались бы три или четыре точки зрения и чтобы этот разговор окончился нормально.

То есть незначительными телесными повреждениями.

Если кто-то пытается отстаивать свое, а не наше мнение, мы пьем вино из его черепа.

Вот наш диалог.

Монологическая форма — единственная форма, которая властвует на Балканах.

Не случайно великие драматурги у нас редкость.

А Шекспира просто нет.

И не будет.

Это только в державе датской какая-то бывает гниль, а у нас все цветет и пахнет[1].

По той же причине мы здесь душим все — независимо от того, Дездемона это или нет, лишь бы оно было прекрасно и не похоже на нас.

Перевод М. ТАРАСОВОЙ

[1] Неточная цитата из пьесы У.Шекспира «Гамлет» в переводе Б. Пастернака.

ЯН ПЕТРАНЕК

Чехия, предоставленная самой себе

Нелегкий путь к себе

От того, что нас, чехов, чересчур допекает, мы стремимся отгородиться самоиронией. Было время, когда Прагу мы называли «Хрущевушки на Влтаве». Тогда ЦК КПЧ вздумал прописывать чешскому сельскому хозяйству — и это при его-то высоком уровне и хорошей результативности — кукурузную микстуру Никиты Сергеевича. Но пришли времена и похуже. Чехи язвили, будто проводится сбор подписей под петицией о присуждении Брежневу Нобелевской премии в области медицины, ведь всего за одну августовскую ночь ему удалось провести операцию по пересадке органов: Чехословакию, признанную сердцем Европы, он пересадил в задницу Советского Союза. С шуткой пытались мы выдраться из этой чернущей ночи. Человек собирался лететь на Луну, а мы проваливались в «душегубку» Средневековья. По крайней мере, именно так нам это тогда представлялось. Вторгшиеся в Чехословакию в шестьдесят восьмом году советские войска чуть ли не в одну ночь разрушили мир тех, кто верил в возможности социализма, считая его лучшим вариантом развития цивилизации.

Сахаровская идея конвергенции, идея синтеза или соединения «всего лучшего, что есть в обеих мировых системах», только еще зарождалась, чтобы стать опорой, не дать заблудиться мысли в лабиринте догматических представлений о мире.

В то августовское утро 1968 года — дело было на даче, в горах северной Чехии — меня разбудили рыдания жены, включившей с утра пораньше радио. И вместе с голосом диктора в комнату ворвался жуткий призрак. Кошмар последней трети XX столетия. Призрак, принимавший сотни обличий, самое распространенное из которых — своекорыстный неосталинизм.

Болезненно честолюбивый Густав Гусак решил воспользоваться исторической оказией, чтобы потешить свои личные амбиции (за долгие годы правления он расправился со всеми, кого ненавидел), и уже через год после капитуляции, которую, прибегая к обязательным тогда эвфемизмам, нарекли «договором о дружбе и сотрудничестве», спросил у Леонида Ильича, как ему поступать со строптивыми. Больше всего Гусак хотел (при официальном одобрении Москвы) избавиться от опасной касты идеалистов, все еще продолжавших верить в Маркса, а частично — и в Ленина. Верить в общество, где когда-нибудь каждый сможет получить по потребностям, отдав по способностям.

«Уморить голодом», — сказал Ильич. «Понятно», — согласился новый коммунистический генсек. Но поступал он наоборот. Гусак знал, что мандат выдан ему на долгие годы. И не спешил с резкими движениями. Как река, извиваясь, пробивает новое русло, так и действовать безопаснее, если постепенно, извиваясь, продвигаться вперед. Еще год-другой Гусак обнадеживал нас, будто нам не грозит абсолютная тьма. Мол, наступает время затянувшихся сумерек, неизбежного затемнения, обязательного, как в годы войны при Протекторате, чтобы не могли английские летчики отыскать наши заводы, мосты, вокзалы. Скоро, мол, начнет светать. И в комментариях того времени мелькала формула: «Политика — искусство возможного». И это тоже поддерживало иллюзию неспешного продвижения вперед.

Густав Гусак, «пронырливый ловкач», все хорошо просчитывал. Он понимал, что советский протекторат обеспечивает ему практически пожизненную должность прокуратора. Он предпочел действовать, совместив добродушие в обращении к массам с коротким поводком для оставшихся в политбюро просоветски настроенных коллаборационистов (в политбюро КПЧ других уже и не было) и с демагогическими обещаниями в области социальной политики. Суть была проста: не расширяя воспроизводства, спокойно и благополучно существовать за счет имеющихся национальных ресурсов. А национальная экономика давала такую возможность. Ведь пятьдесят лет назад Чехия была чертовски надежной опорой в экономике Австро-Венгрии. А уж коль промышленные предприятия превратятся в обломки — это станет проблемой для последующих поколений.

Сиживал я, бывало, за чашечкой кофе с Ярославом Ведралом и Вилемом Гейлом, и стояли перед нами три шахматные доски. Каждый играл с каждым. С нетерпением дожидались мы возможности сыграть на троих, называли наши встречи «турниром 1984». Как в известном романе Дж.Оруэлла, не предрекавшем слишком радостного будущего на год 1984. Мы спорили, кто и за какую из трех империй (по Оруэллу) будет играть. Ярослав Ведрал был отменным сатири-

ком. Сотни пражан переписывали слова его рифмованных политических сказок. Вилем Гейл — аналитик, его проницательный взгляд на мир обрел особую остроту после отбывания срока в заключении. Он был неумеха в технике, отладить зажигание в автомобиле было выше его сил, но в общих чертах он мог объяснить суть чего угодно. Его отличали энциклопедические знания, железная логика, невозмутимое спокойствие, тактичность и учтивость. Ходили слухи, будто следователи госбезопасности волей-неволей относились к нему с уважением. Поговаривают даже, что на одного из них после прослушивания магнитофонной записи допроса орал, как невменяемый, начальник: «Вы проводите допрос врага или берете урок по западной пропаганде?!»

Брежневское «уморить голодом» действовало. Ярослав Ведрал, стремясь прокормить семью, подался в грузчики по доставке мебели, он был уничтожен физически, пять лет советской оккупации согнали его в могилу. Созданные им политические сказки, сатирические стихи и хлесткие афоризмы войдут в XXI век. Вилема Гейла вынудили уехать из страны. Я предложил ему в известном пражском кафе «Главовка» подписать «Хартию 77». В ответ на мое предположение, что госбезопасность будет застигнута врасплох этой акцией, он только усмехнулся. Он был убежден, что система Оруэлла безупречно работает «в условиях этого эрзац-фашизма, называемого реальным социализмом».

Я проводил Вилема, когда ему не оставалось ничего другого, кроме как эмигрировать. Выбор, впрочем, был: или быстро собраться и уехать, или снова за решетку. Но ему не хотелось возвращаться в тюрьму. Раздав свою богатую библиотеку, он уехал в Мюнхен. На Радио «Свободная Европа» в течение нескольких лет он читал, картавя, острые комментарии на злобу дня. Каждый шаг режима Гусака подвергался тщательному разбору, как и все те явления в жизни восточных стран, о которых, по его мнению, были очень поверхностные сведения в западных державах. Он страшно злился на Запад, не вступившийся за Чехословакию, его злила измена ряда военачальников из генерального штаба Чехословакии. Долгие споры поколебали его уверенность, верно ли (мудро ли? оптимально ли?) мы поступили, не оказав вооруженного сопротивления советским оккупантам.

Ярда Ведрал, хороший шахматист, повторял: «Мне, мужику, по нутру было бы сразиться с ними. Но вооруженная борьба — это всего лишь одна, причем не самая радикальная форма сопротивления. Есть и другие. Мы упустили подходящее время для «молотовских коктейлей», настала пора психологической борьбы на баррикадах. Нужно что-то делать!»

Так родился «Театр песни» — «Дивадло шансону». В помещении картинной галереи на Петршине, в небольшом зале (где когда-то начинался «Освобожденный театр» Вериха и Восковца, известных чешских актеров, комиков и философов) была показана программа «Песенки-картинки». Сидя на полу — представления давались в картинной галерее, — зрители слушали чешских Галича и Высоцкого: это были Ярослав Якоубек и Карел Крил. Вместе с ними выступали Рудольф Пеллар (такой же громогласный, как Кобзон), Алена Гавличкова (напоминавшая манерой исполнения Маю Кристалинскую), Гонза Фалтинек (что-то среднее между Райкиным и Утесовым).

Ярда Ведрал, Вилем Гейл и я поддерживали разговор с публикой. Выпускалась своего рода устная газета — с фельетонами, байками, репликами на злобу дня. Окончив выступление, участник программы обязательно передавал оригинал и несколько копий своего текста в зрительный зал. Через несколько дней они наводняли Прагу, сотни списков переправлялись «в глубинку». В городах Острава и Ческе-Будеёвице появились аналогичные театры. Государственная политика плавно меняла свой курс. Народная оппозиция предпринимала «контризвивы». Самиздат делал свое дело. Машинописные издания объединялись в серии и — урочный час близился.

Моя жена, медицинская сестра, успокаивала меня: «Пиши, ну хоть в стол, я тебя прокормлю, держись». Я удивлялся ее спокойствию. Она работала в ожоговом отделении больницы, когда «скорая помощь» привезла молодого человека, который облил себя бензином и поджег. Живым факелом был Ян Палах, студент философского факультета; он не смог жить рядом с теми, кто, по его мнению, был слишком пассивен в сопротивлении злу, причиненному Чехословакии Московским Кремлем.

В последние свои часы он был в сознании. Перед тем как ему дали морфий, чтобы заглушить боль, моя жена успела сказать ему, что весь мир узнал о его поступке, что жертва его не была напрасной. Он слабо улыбнулся и кивнул. Он не думал о славе мученика, он просто хотел послужить людям той страны, в которой он жил и которую любил.

Время котельных, фальшивых и настоящих гробов

Профессора, историки, социологи, журналисты, интеллектуальная элита разделились на тех, кто остался верен профессии, но эмигрировал в Германию, Англию, Францию и еще бог весть куда, и на тех, кто асфальтировал дороги, проверял качество воды и скорость течения, живя в вагончиках по берегам рек, работал в котельной. Или в крематории. В главном крематории Праги — Страшлице обеспечивал последнее прощание с покойным бывший шеф иностранного вещания на Францию Чехословацкого радио. Он отшлифовал свой французский. В этом преддверии ада, пока гроб совершал последний путь на земле, продвигаясь к печи, он декламировал в оригинале Сирано, читал Бальзака, Ромена Роллана, Сартра и Гароди. Я уверен, что если души умерших еще находились в телах покойников перед сожжением, то они, наверное, воспаряли.

И д-р Заоралек, профессор, знаток французской литературы, извиняясь, пожимал плечами: «Пожалуй. я не теряю времени даром, раз не могу вести рубрику «Из страны наших друзей» в журнале «Похороны посредством сжигания».

Мне суждено было провести восемнадцать лет в котельной завода пневматических линий. Все же эта работа была не столь мрачной. Возле одного котла дежурил историк Карел Каплан (автор многочисленных трудов по новейшей чешской и чехословацкой истории, досконально изучивший архивы КПЧ), у другого — еще один известный чешский историк, д-р Йозеф Белда. Д-р Ян Шинделарж, профессор философии и известный социолог, работал лаборантом, проверял качество воды. Он дежурил посменно в паре с поэтом Ярославом Якоубеком.

Кто-нибудь из них высовывался из окна во двор, где я таскал огромные мешки с технической солью, и кричал, чтоб я бросал работу и скорее бежал включать радио. У каждого был свой коротковолновый рижский «ВЭФ» или «Селена», мы никогда не пропускали новости.

В то время Би-би-си сообщало о серии провокаций против д-ра Кригеля. Отличный врач, боец интербригады в Испании, потом член Политбюро ЦК КПЧ — единственный, кто в августе 1968 года в Кремле не поддался страшному нажиму и не поставил своей подписи под унизительным для Чехословакии соглашением о капитуляции. Порой кому-нибудь из западных журналистов удавалось проникнуть к нему и получить заветное интервью. За это Франтишек Кригель был наказан. Однажды в его квартиру на Сметанце (что возле Национального музея в центре Праги) ввалились два бугая, которые по приказу могли если не убить, так хорошенько избить упрямого противника режима. Но они не предполагали, что столкнутся с подобной отвагой и стойкостью. И еще с огромной изобретательностью и самообладанием его жены Ривы. Она открыла окно и что было мочи заорала: «К нам влезли убийцы, люди, помогите!» Д-р Кригель мужественно и находчиво оборонялся от двух громил сам, не давая им возможности приблизиться к жене, которая звала и звала на помощь в открытое окно. Наконец нервы у бандитов сдали: послышался шум открываемых окон в соседних квартирах, крики усиливались. Нападавшие дали тягу. Но вскоре, через неделю примерно, перед домом остановился похоронный катафалк, двое в черном внесли в дом гроб, позвонили у двери Кригеля: «Мы приехали! Где покойник?»

Провокация, как видно, была рассчитана на то, что сердце пожилого бойца интербригады не выдержит. Услышав по радио известие об этой циничной проделке госбезопасности, я тут же приехал к Кригелю. Франтишек и Рива показали мне новую порцию угроз и анонимных писем, предупреждавших, что скоро у них не будет уже никаких проблем. А Кригель проявлял заботу об Иржи Гаеке (чехословацком министре иностранных дел в период «пражской весны», который в августе 1968 года отправил в ООН протест против вторжения), потому что его телефон снова отключили. Не так уж часто это случалось с Иржи. Госбезопасность предпочитала прослушивать его телефон. Когда телефон не работал, Гаек разыскивал подальше от своего дома телефонную будку, и следить за ним становилось труднее.

Я вез Кригелей на своей машине к Гаеку, естественно, мы знали, что за нами следует пресловутая черная «волга».

«Как долго будет это продолжаться, когда же конец?» — вздохнул я. И тогда Франтишек ответил двумя пророчествами, достойными того, чтобы их процитировать здесь, ибо они осуществились. Он сказал: «Если ты думаешь, что из-за своей поездки ты лишишься машины, то ты прав — это случится скоро. Если же тебя интересует, когда падет этот режим, то свершится это еще до конца столетия».

Моя старенькая «шкода» исчезла в ту же ночь. Ее как бы украл случайный вор и разбитую бросил на окраине Праги.

Дорожная полиция вызвала меня к останкам автомобиля, чтобы получить отпечатки пальцев. Будто бы необходимо было идентифицировать отпечатки пальцев

вора. А для того чтобы покончить с кражами машин у подписавших «Хартию», полиция решила отобрать водительские права почти у всех диссидентов. Оставалось одно — ждать, когда же настанет время пышных похорон в Москве у Кремлевской стены и один за другим будут похоронены старцы в настоящих гробах, а не шуточных, и пусть лежат они в земле. Я не призываю следовать символике фильма «Покаяние». Меня вполне устраивает, что мир узнал эти символы. Воздействие аллегории ощутимо. Физически ощутимо.

Десять лет нового мышления

Весна 1985 года, приход Горбачева вызвал эйфорию, словно сквозь промерзшую землю после зимней стужи пробился первоцвет. Однажды Иржи Гаек поджидал меня после смены возле завода. Он жил в доме напротив. Мы прошли по улице и сели на лавочку в сквере. Я знаю, с каким уважением относился к социалистическим идеалам этот удивительный человек, государственный деятель, дипломат, свободно владеющий всеми официальными языками ООН (кроме китайского) и сверх того еще несколькими. Но он никогда не мог отрицать факты только по той причине, что они противоречат его убеждениям. Я понял это со всей ясностью в тот момент, когда он забросал меня вопросами, как видно уже давно занимавшими его.

Есть ли шанс реформировать социализм? В мире возникла абсолютно новая общественная инфраструктура, настолько динамично развивающаяся, что значительно обогнала Восток. Понимает ли это Горбачев, готов ли проводить коренные реформы, добиваться развития страны и отказаться от коммунистической монополии власти. Он должен вступить в диалог о том, о чем десятилетиями запрещалось говорить. На первой же свободной дискуссии даже самый тактичный противник вынужден будет напомнить о многих чудовищных преступлениях Сталина, и тогда выявится взаимосвязь норм морали и постулатов власти. Возможно ли возрождение коммунизма? Если оно возможно, то нельзя ли допустить плюрализма мнений внутри страны и вне ее, равных партнерских отношений. Но ведь в условиях оккупации о партнерстве не может быть и речи. Сколько должно пройти лет, чтобы Москва проявила хотя бы желание говорить обо всем этом? Хоть гипотетически! Что последует за выводом советских войск из ГДР? Как долго выдержит режим Восточной Германии, оставшись с глазу на глаз с Западной Германией?

Двадцать лет после Палаха

Еще в январе 1989 года пражская полиция отчаянно разгоняла собравшихся в центре города, тех, кто хотел положить букетик цветов на место, где двадцать лет назад Ян Палах, совершив свой поступок, стал символом совести и мужества. Нервное напряжение властей нарастало с каждым днем. Первые три года советской перестройки вроде бы давали понять — все вернется на круги своя. Однако установка Горбачева на мир — обстоятельство, имевшее принципиальное значение. До сих пор в Чехии и в Словакии бытует твердая уверенность, что в августе 1968-го Брежнев сказал: «Чехословакия никогда не получит разрешения на выход из социалистического лагеря. Даже под угрозой начала третьей мировой войны!» (Теперь безразлично, так ли дословно он говорил, точна ли цитата. Она передавалась из уст в уста во многих вариациях, но существо мысли сохранилось.)

На Мальте и в Рейкьявике Горбачев сумел убедить американцев, что он не стремится к войне. Наоборот, его больше устраивает мир и сокращение армии и оружия. И он думает о выводе советских войск с чужих территорий. Последний просчет советской внешней политики — война в Афганистане — особенно способствовал рождению нового мышления Горбачева. Но только когда последний советский солдат простился с Гиндукушем, в Чехословакии поверили, что над разделенной Европой рассветет. Шел февраль 1989-го. Товарищи директора крупных предприятий стали появляться в котельных, чтобы пожелать доброго здоровья знакомым диссидентам, узнать, что они думают о перспективах развития, а кое-кто из наиболее искренних этак заговорщически подмигивал, мол, «день Икс, час Зет приближается». После «бархатной революции» в ноябре 1989 года вопросом номер один стал срок вывода советских войск из Чехословакии. В феврале 1990 года из Праги специальным рейсом в Москву прилетел президент Вацлав Гавел. Президент, в недавнем прошлом диссидент, так и не привык носить галстук. И вот, пролетая над Украиной, он заходит в кабину пилотов, приветствует их, вглядывается в заснеженные просторы крупнейшего на свете государства, к которому до августа 1968 года чехи и словаки питали чувство симпатии.

Из кабины он прошел через весь салон в хвостовую часть, где сидели журналисты. «Я думаю, — сказал Гавел, — мы должны подписать с Горбачевым декларацию, которая откроет новую страницу в истории наших взаимоотношений. Никаких доработок старых договоров. Нам нужна четкая декларация на новых принципах. Может быть, Советскому Союзу она даже нужнее, чем нам».

Юристы из Министерства иностранных дел Чехословакии приступили к работе, и прежде чем самолет приземлился во Внукове, «черновик» задуманной Гавелом декларации был готов.

Можно, правда с натяжкой, признать, что через полгода, в конце июня 1991 г., мечта трех последних поколений чехословаков исполнилась. Республика в центре Европы сбросила большевистский хомут, последний советский солдат отбыл на восток.

Условный конец четвертичного периода

В центре Праги появилась надпись: «Русские ушли — кончился четвертичный период». Кто-то пририсовал в конце предложения вопросительный знак.

Каждый переломный момент в истории достоин пера драматурга. Ситуация возникает такая, что сравнить ее можно с достижением Северного полюса. Стрелка компаса мечется, самопроизвольно вращается без остановки. Все дороги ведут на юг.

Если бы корреспондентом агентства ИТАР-ТАСС по Центральной Европе был Козьма Прутков, он обязательно сообщил бы, что узнал от своего чешского друга Яры Цимерманна, будто в Праге удалось обнаружить уникальный... западный полюс, очевидно, дополнительно к известным уже Северному и Южному.

За последние двадцать лет отношение чехословаков к России заметно испортилось. В течение двадцати лет нарастало презрение к ортодоксальной коммунистической идее, усиливалось отвращение ко всему, что исходило от Востока. И только в узкой интеллигентской среде интерес к русской литературе, классической и современной, имел под собой солидную основу. Многие книги, не имевшие доступа в Чехию с Запада, приходили в русском переводе. Чешское и словацкое вещание Радио «Свободная Европа» немилосердно глушилось, но при этом удавалось почти на всей территории Чехословакии ловить Радио «Свобода» и слушать его отличные программы. Группа энтузиастов записывала эти передачи, переводила на чешский язык. Голос Солженицына, читавшего свой «Архипелаг» и другие произведения в сериях передач, прокручивался в записях на магнитофонную ленту (кассеты тогда еще не существовали). Для людей с ослабленным зрением самиздат выпускал звуковую диссидентскую газету.

После «бархатной революции» наступило время упоения свободой печати. Цензура исчезла, возникло такое количество изданий, что уследить за ними не представлялось возможным. Многие вполне приличные газеты, еженедельники, альманахи продержались несколько месяцев. Но потом интерес к ним стал спадать, и они навсегда исчезали.

Блестяще проявила себя номенклатура. Особенно та, из высшего эшелона власти. Она доказала свое отличное умение пользоваться разветвленной сетью связей в политической и хозяйственной сферах. С наиболее прозорливыми папашами произошла удивительная эволюция. Загодя они отправили сыновей и дочек учиться за границу, теперь дети возвращаются докторами и инженерами демократии. Их лозунг: мы были элитой при коммунизме, будем и после него. Трудно отличить их (да и никто не пытается это делать) от тех, кто, отказавшись играть роль «внутренних эмигрантов», бежал от советской оккупации жить, чтобы работать на Западе. Теперь и они возвращаются, постоянно сравнивая жизнь «там» и «здесь». Они обнаруживают пропасть, которую создало время, разбежавшееся в разные стороны. Эта пропасть возникла по многим параметрам. В узком смысле слова — это различия в комфортности жизни. Но в действительности все намного серьезнее, ибо речь идет о динамике развития жизни, ее условий. Психологически это можно сравнить со скачком в прошлый век. От мышления в микро- и макросвязях до телефонной, факсимильной, электронной сетей связи. Не говоря уж о таких стратегически важных основах нормального развития общества, как здравоохранение и образование.

Детям коммунистических лидеров, получившим западное образование, никто сегодня не строит преград, не мешает их продвижению. Они ориентируются на обретающую силу партию социал-демократов (ЧССД) или же остаются вне партийных структур. Для них не закрыты двери и в партии правительственной коалиции, в которую входят представители как атеистических партий, так и раз-

ных христианских вероисповеданий (больше католиков и меньше протестантов).

Часть бывших эмигрантов — противников коммунистического режима — возвратилась с энтузиазмом, сменившимся сегодня горькой досадой. Они в сомнении, стоит ли возвращаться на старую родину навсегда. Материальные доводы переплетаются с психологическими. Причины личного характера влияют на окончательный выбор. Чешские оклады значительно ниже тех заработков, которые у них были на Западе. Там у них свой дом, круг друзей, обеспеченное существование до конца жизни. Но особенно тяжело перенести, что все сверстники постарели (и больше, чем они!), а общество после первых восторженных объятий со свободой начало испуганно озираться, увидев всеобщее разорение. Оно касается вещей и людей, состояния материального и душевного.

Один из друзей, обнаруживший, что время не застыло на 1968 годе, но во многом начало обратный отсчет, оставил у меня на столе в редакции короткое прощальное письмо:

Я не покончу с собой из-за того, что увидел, здесь нужно постоянно бороться как со старыми структурами, так и с друзьями, которые не могут понять, насколько же мы отстали от всего остального мира. Просто я вернусь в Канаду, там еще сохранились чистые реки и нормальные люди. Здесь все нужно начинать сначала, с самого основания, а у меня на это уже нет сил. Советская оккупация длилась слишком долго. Попроси прощения за меня у горных речек в Йизерском крае. Пусть у тебя достанет сил для борьбы.

Твой Зденек

Вихревой и центробежный характер новых отношений

Все еще жива легенда о «золотых чешских руках». И не зря. Это прежде всего умение найти выход в запутанной, трудноразрешимой ситуации. Найти техническое решение. Когда в Праге вступало в строй метро, Чехословакия обязана была покупать тяжеленные вагоны Мытищинского завода.

Сотни рабочих сбежались посмотреть на диковинку. Из страны первого Спутника и первого в мире Космонавта привезли к нам вагоны, где электроизоляцией на контакте между движущимся вагоном и питающим рельсом служила дубовая чурка.

Стоит ли после этого удивляться, что в Чехии о русской технической смекалке гулял анекдот: «При последней аварии на космодроме Байконур погибли не все. Спаслись два кочегара и один трубочист».

Но подобная ирония лишь в малой степени возмещает ущерб от преступной деформации всей экономики Чехословакии. Виктор Гюго в своем романе «Человек, который смеется» повествует, как зарабатывали компрачикос на своих дьявольских затеях. Они крали детей и заключали их в глиняную вазу, рассчитанную на тело мальчика до пятнадцати лет. Во время роста внутри этой посудины тело ребенка деформируется настолько, что уродство можно использовать для клоунады и заставить смеяться аристократов, хорошенько подзаработать на этом.

Не только людей можно деформировать. Советский диктат страшным образом деформировал (непосредственно и в рамках СЭВ) всю национальную экономику Чехословакии. Чешский уран для советской атомной бомбы добывался химическим способом, и это принесло непоправимый ущерб, разрушило целые природные зоны, уничтожило подземные источники вод. Навязанная нам концепция развития железорудной и сталелитейной промышленности задушила ряд отраслей легкой промышленности. И вместе с деформированной экономикой в каннибальскую вазу советские компрачикос поместили всю социальную инфраструктуру Чехословакии.

«Золотым чешским рукам» на долгие годы хватит работы по восстановлению экономики. Благодаря умению приспособиться к условиям уровень безработицы в Чехии самый низкий в мире. Менее болезненными могли бы быть и социальные проблемы, если бы не произошел раскол республики на два государства — чешское и словацкое.

Нынешний словацкий кумир Владимир Мечиар в свое время учился в Москве в Высшей школе комсомольских работников.

Там учили тому, как стать генеральным секретарем Некоторой КП, а также президентом НБР (Некоторой Братской Республики). Судя по достигнутой им высоте, учился он в школе прилежно, усердно выполнял домашние задания. И теперь это осталось при нем. В чем-то он действует прямо-таки как кудесник. На его

рабочем столе — как он время от времени рассказывает в телепередачах — проступают разные тайные письмена, из которых он узнает о заговорах или об их отсутствии. Документы появляются и исчезают по мере исторической необходимости, потребности. Его байки пригодились бы как обязательный дополнительный материал к новейшим главам «Краткого курса ВКП(б)», не будь на свете совсем иных часов, отсчитывающих иное время.

Трудно сказать, верна ли бытующая в народе гипотеза, будто, предложи Вацлав Гавел в подходящий момент кресло премьер-министра Чехословакии Мечиару, не найти бы тогда более горячего защитника Чехословацкой Федерации, чем он.

Вопрос этот столь же условен, как и другой — а что, защищал бы Российскую Федерацию Джохар Дудаев, если бы в ноябре 1991 года Ельцин предложил ему должность министра обороны Российской Федерации. Вот бы однажды испробовать это на машине времени, когда станет возможным путешествие в прошлое. Боюсь, однако, что в этом случае придется создавать арбитражные международные организации по защите здоровья историков, претендующих на первенство в апробации своих гипотез.

Раскол Чехословакии — самый болезненный удар, который мы пережили после ухода русских. Неудачник интернационал уходил, оставляя после себя все пороки национализма. Его семена пали на благодатную почву, неумело вспаханную инженерами, которые даже не смогли предвидеть, что когда-нибудь рабочий класс составит группу социального меньшинства, а крестьянство, как в развитых странах, небольшим числом сможет прокормить все человеческое сообщество.

Теперь существуют Чешская республика и Словацкая республика, и большинство населения в обеих республиках сожалеет о распаде единого государства. Этот факт настолько неоспорим, что государственные мужи даже боятся говорить об этом и быстро переводят разговор на другую тему. Распад Чехословакии устраивал только тех политиков, которые получали при этом моментальную выгоду. Словацкие националисты (в большинстве своем, естественно, перекрасившиеся номенклатурные интернационалисты) боялись, что в общем с чехами государстве они скоро лишатся влияния, а на своей словацкой почве они сумеют дольше сохранить власть. При разделе чехи растерялись и заняли оборону. Трудно и со смущением приходилось им отражать обвинения, будто под знаменем чехословакизма осуществлялось притеснение словацкого народа — экономическое и культурное. Поэт Ярослав Якоубек по этому поводу только качал головой: «Это все равно что ревнивая жена кричит: «Докажи, что ты не спал с такой-то!» — как докажешь, что не спал? Как доказать, что мы не притесняли словаков, когда в политбюро, манипулировавшее всей Чехословакией, входили Гусак, Биляк, Ленарт, Хнеупек, все они словаки!»

Справедливости ради следует отметить, что чехи не воспринимали этих людей с точки зрения национальной принадлежности. Эти люди подобны хамелеонам, от слов и поступков которых одинаково старались уклониться и чехи, и словаки.

В чешских землях отделение Словакии оценивается как разъединение близнецов, причем восточное дитя попало в бедную семью, да к тому же и опекуном стал властный отец.

И если мир удивляется, что в наших народах нет ненависти, которая клокочет в жилах у сербов, хорватов, боснийцев, то следует добавить: мы надеемся, что раздел Чехословакии когда-нибудь будет преодолен в рамках единой Европы. Чехия согласна принять в свои ряды словацких актеров — сестер Вашариовых, Марковича, Ласика, Сатинского, Худика, Дочоломанского и т. д., и т. д., и т. д.,— словацких певцов, исполнителей, и в Словакии не меньше любят чешскую культуру. Культурный фронт настолько крепок, что возникающие порой политические интриги между Братиславой и Прагой никогда не достигнут опасного накала. И хочется добавить: «Спаси нас Бог».

По талой воде плывет пена

Еще до того как советская, позже российская, армия покинула западные земли за пределами границ СССР, странная карта объявилась у чешских, словацких, польских и восточногерманских автомобилистов. На ней обозначены те трассы, где можно было достать более дешевый бензин, чем на обычной заправочной станции, а часто даже и вместе с канистрой. В Чехии это районы — Пардубице, Млада-Болеслав, Миловице, Турнов, Ческе-Будеёвице. Торговые сделки сопровождались порой курьезами.

Возле города Пардубице проживает на даче чешский инженер, владеющий языком Гомера. Мать его, чешка, в пятидесятых годах вышла замуж за грека, партизана, раненного в Греции и присланного лечиться в Чехию. Здесь он и остался на постоянное жительство. В Грецию, где попытка левого переворота, поддержанная Сталиным, не удалась, он вернуться не смог. Так вот, у нас он женился, родил сына. И этот сын греческого партизана, покупая бензин на шоссе у советского солдата, обратил внимание на лицо продавца. В нем было сходство с лицом инженера, и грек обратился к солдату по-гречески — получил ответ тоже на греческом языке.

Вскоре выяснилось, что чешский сын греческого партизана покупает бензин у русского сына греческого партизана. Насколько мне известно, они до сих пор переписываются, а может, и навещают друг друга. Контакты между людьми иногда способны предотвращать трагедии, которые несут с собой войны, мировые и локальные.

Военная торговля процветала в то время, когда российская армия собиралась домой. Этот «бизнес» распространился на многое, включая оружие. Продавались плащ-палатки, бинокли, радиоприемники, телевизоры, а также форменная одежда, полушубки, папахи. Часто торговля превращалась в обмен, например, можно было приобрести джип за семь холодильников или за четыре холодильника и один большой морозильник.

Появилась профессия — международный «челнок». В северной Чехии возникли чешско-немецко-польско-вьетнамские группы, организующие продажу вещей от Пекина до Франкфурта. При этом прокручивались миллионы. Естественно, долларов.

И после июня 1991 года, когда последний советский солдат покинул Чехию, продолжалась еще подобная торговля по всей Чехословакии при участии русских воинских гарнизонов в Германии. Только развитие рынка сбыта западных товаров на территории Чехословакии прекратило этот бизнес. Принципиально изменился ассортимент. В Остраве, на севере Моравии, и на севере Чехии расцвела проституция: у чешских женщин легкого поведения вдруг появились конкурентки из Белоруссии и с Украины. К торговле телом быстро добавилась торговля наркотиками. На сегодняшний день это достаточно серьезная проблема. Министерство внутренних дел создает специальные отделы, стремясь выяснить ситуацию, взять ее под контроль и уничтожить наконец криминальную торговлю. Программа широкомасштабных действий рассчитана на долгие годы.

Прогуливаясь вечером по Праге, Брно, Братиславе, можно обнаружить, что многие центральные объекты находятся в руках «чужаков». Центр Праги — Вацлавская площадь, проспект на Пршикопе, включая Славянский дом, — это пространство почти открыто контролируется русской мафией.

На Рождество здесь распевали хором:

В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся.
Без тебя большевики
Обойдутся.
Поневоле ты идешь?
Аль с охотой?
Ваня, Ваня, пропадешь
Ни за что ты...

Демьян Бедный подивился бы, как попали сюда его стихи. Я не удержался от вопроса: «Чья песня, чьи слова?»

Мужик с кавказским лицом махнул рукой: «Черт знает...» и занялся своей бутылкой водки. Ах, Славянский дом, вот где ее неиссякаемый источник. Но здесь можно купить и кое-что иное: гашиш (первоклассное зелье), героин (180 американских долларов за грамм), девочку на час, на день, на неделю, в общем, по договоренности, а также оружие, услуги гомосексуалистов. Но центр этой торговли расположен на противоположном берегу Влтавы, в районе Либень. Это как бы пражские Химки-Ховрино. Организовано все добротно. Неточен лишь термин «русская мафия». Не нужно быть антропологом, чтобы с первого взгляда стало ясно — эти люди принадлежат «драматическому югу», они с Балкан или от подножия Эльбруса. Русские лица здесь редки. Но русская речь как язык «рынка» преобладает. Примерно раз в месяц чешские телевизионные новости сообщают о трагическом случае, «мокром деле» при совершении торговой сделки, и тогда телерепортеры рыщут со своими камерами по закоулкам Вацлавской площади или возле Славянского дома. Торговца, пытавшегося обмануть партнеров при торговой сделке, обычно находят мертвым, и в очень неприглядном виде: либо с забетони-

рованными ногами на дне реки (такой случай был в Пардубице), либо гангстерски застреленным в автомобиле (случай в Пльзени). А чешские детективы затуманенным взором глядят с экрана телевизора и обещают постараться быстро размотать клубок загадочного убийства. Всякий раз при встрече с подполковником Милославом Дочекалом. чешским Шерлоком Холмсом, я замечаю круги у него под глазами, его смертельную усталость. Он лично сумел раскрыть несколько тяжких преступлений, но на все не хватает даже его. Он с радостью приветствовал бы пополнение рядов чешских криминалистов. Но уж очень мало платят им. А таких полицейских. близко к сердцу принимающих интересы общества (и работающих без устали за мизерный оклад), таких полицейских очень мало.

Ура, у нас свобода и демократия

Сотни политических партий, клубов, групп и объединений, вышедших на арену после «бархатной революции», ускоренным темпом прошли проверку жизнью. Самое сильное движение, к которому в революционные ноябрьские дни 1989 года примкнули все недовольные режимом — ГФ (Гражданский форум), некоторое время еще сопротивлялось неизбежности распада. Настоящих диссидентов была лишь горстка, они группировались вокруг преследуемого самиздатовского ежемесячника «Лидове новины». За одну ночь движение обросло миллионами людей, обрадовавшихся падению коммунизма.

Наибольшие идеалисты из числа диссидентов рассудили, что движение Гражданский форум сохранит свою силу лишь на несколько лет. Иллюзорность этих предположений первым обнаружил экономист Вацлав Клаус, и он приступил к созданию собственной политической партии ГДП (Гражданская демократическая партия). Гражданский форум распался.

Несхожесть интересов и убеждений стала той центробежной силой, которая привела к расколу, а затем и возникновению по крайней мере двух новых, вернее, возрожденных партий христианского толка, зародыша воскрешенной социал-демократии (поглощенной в 1948 году коммунистической партией) и еще нескольких региональных объединений.

Вацлав Гавел. Иржи Динстбир и другие известные фигуры не намеревались проводить политику какой-либо партии. Гавел выступает как независимая личность. И многие одобряют его желание находиться вне партий. Порой крайне независимая позиция Гавела раздражает нынешнюю правительственную коалицию, и в отношениях между президентом Гавелом и премьером Клаусом пробегает искра. Оба они Вацлавы. со времени революции на «ты». Клаус видится общественности как искусный экономист и политик, упорно добивающийся своего. Многие, главным образом леваки, расценивают его как человека высокомерного и бесчувственного к социальным проблемам. Но и центристы принимают его с оговорками. Популярный сегодня анекдот: «В чем разница между Богом и чешским премьером?» Ответ: «Бог и не знает, что он — Вацлав Клаус». В рейтинге популярности выше Клауса и ближе к Гавелу — Иржи Динстбир, первый новый министр иностранных дел после «бархатной революции». Острое перо Динстбира-журналиста, автора диссидентского издания «Лидове новины», известно по работе в самиздате. Он – в числе многих других диссидентов, сделавших попытку вступить в КПЧ в предавгустовские дни 1968 года, долго не мог преодолеть психологический барьер перед любой партийной структурой. Они сильно опоздали с основанием партии свободных демократов. Сегодня партия достаточно уважаема. но скорее напоминает элитарный клуб реформаторов, близких президенту Гавелу. У них нет непременной для партийной организации жесткости. Чешская экономика находится в удовлетворительном состоянии стабилизации, и это сдерживает влияние достаточно сильной «новой» коммунистической партии. Коммунисты в парламенте представляют собой конструктивную оппозицию, однако абсолютно ясно, что это партия прошлого, новое поколение мало доверяет ей. Она сравнима с льдиной, дрейфующей от полюса к теплым морям. Со всей ясностью это обнаружится на парламентских выборах в будущем году. Большинство чехов считает, что наступает неинтересное время, настолько, что иностранным корреспондентам в Праге будет жить скучно. Но такие надежды излишне оптимистичны. Полиция обязательно обнаружит новую партию контрабандного урана, через Прагу перевозимого в Алжир. И скандалы с терпящими крах банками, компрометирующими еще не установившуюся рыночную экономику, миллиардные потери на налогах, и преступные интриги предпринимателей и политиков — все это можно предсказать наверняка, даже с гарантией. Иначе говоря: настало новое время. Ура! У нас свобода и демократия. А известно ли вам что-либо лучшее, чем это?

Перевод с чешского Е.ЕРМОНСКОЙ

Х.М.ЭНЦЕНСБЕРГЕР
ВЗГЛЯД НА ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ

Перевод с немецкого А.ЕГОРШЕВА

Защищаться могут только варвары.
Ницше

I
Скверное исключение из дурного правила

Животные борются, но не ведут войн. Среди приматов только человек уничтожает себе подобных планомерно, в массовых масштабах и даже с энтузиазмом. Война относится к числу его самых замечательных изобретений. Способность заключать мир — по-видимому, достижение более позднего времени. Древнейшие письменные памятники человечества, его мифы и саги повествуют главным образом об убийствах, как умышленных, так и не очень. Стремление схватиться в рукопашную объясняется не только примитивностью оружия. Психология человека такова, что ему доставляет больше удовлетворения выместить злобу на тех, кого он хорошо знает, то есть на своих ближайших соседях. Напрашивается вывод, что гражданская война не только старая привычка, но и первичная форма всех коллективных конфликтов. Свое классическое выражение она нашла уже две с половиной тысячи лет тому назад. С тех пор Пелопоннесская война является в этом деле непревзойденным образцом.

Война между государствами, напротив, относительно поздно созревший плод. Она предполагает существование касты воинов-профессионалов, постоянных армий, деление на военных и штатских и ведет к возникновению сложных ритуалов — от объявления войны до капитуляции. В XIX столетии взаимная резня подверглась своего рода рационализации: с одной стороны — благодаря введению всеобщей воинской повинности и техническому прогрессу она достигла колоссальных масштабов, с другой стороны — государства попытались подчинить ее положениям международного права. Впервые эти положения были зафиксированы в 1907 году в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. Гражданская же война выглядит исключением из правила, спонтанным конфликтом. В своем капитальном труде по военному искусству Клаузевиц даже не упоминает ее. Толковой теории гражданских войн нет и поныне.

Сумбурная реальность перечеркивает не только отточенные дефиниции юристов. Перед Новым Мировым Беспорядком, знамением которого являются гражданские войны, пасуют даже генеральные штабы с их детально разработанными стратегическими и оперативными планами. Новое и старое образуют при этом взрывоопасные смеси. Иначе выглядят и традиционные проблемы антропологии. Что менее логично: уничтожать знакомых людей или противника, о котором у тебя нет ни малейшего представления, даже, может быть, ложного? Для экипажей бомбардировщиков во время второй мировой войны противник был чистейшей абстракцией. И солдаты, сегодня еще ждущие в бункерах на ракетных позициях команды «пуск!», изолированы от восприятия ее последствий — ситуация настолько парадоксальна, что в сравнении с ней самая абсурдная гражданская война кажется почти нормальным явлением. Вероятно, это не исключение, а правило, что человек уничтожает ненавистное ему, а ненавидит он обычно соперника на своей территории. Между ненавистью к ближнему и дальнему своему прослеживается загадочная связь. Неприязнь испокон веков обычно вызывал сосед, и лишь с образованием крупных сообществ врагом объявляется иноплеменник, человек по ту сторону границы.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1993

II

Причины те же, а воюет — сброд

С окончанием «холодной войны» пришел конец и идиллическим настроениям Запада, уповавшего на свою силу. Гнетущего равновесия Pax atomica больше нет. До 1989 года две ядерные сверхдержавы непримиримо противостояли друг другу, а на стыке конфронтации находилась разделенная Германия. Страхи, порожденные этим состоянием, уже наполовину забыты. На смену им пришли другие. Нагляднее всего о разрушении биполярного мирового порядка свидетельствуют гражданские войны, ведущиеся сегодня во всем мире. Точное число их назвать невозможно, ибо хаос не подсчитаешь. Однако все говорит о том, что в будущем оно не уменьшится, а увеличится.

Никто не предвидел столь радикальной перемены. Все обескуражены. Возможно, политика перешла в новое агрегатное состояние. Чтобы оценить его, необходимо оглянуться на гражданские войны прошлого. От самой изнурительной и длительной в своей истории Германия, видимо, так никогда и не могла оправиться. Считается, что Тридцатилетняя война унесла жизни двух из каждых трех жителей страны. Однако ее развязали и вели государственные структуры. Это характерно и для большинства крупных гражданских войн Нового времени — между Югом и Севером в США, белыми и красными в России, фалангистами и республиканцами в Испании. Во всех этих войнах имелись фронты и сражались регулярные армии. Командные инстанции из своих ставок стремились четко руководить войсками и планомерно выполнять стратегические замыслы. Наряду с военным имелось, как правило, политическое руководство, преследовавшее ясно сформулированные задачи и выступавшее при надобности в качестве партнера на переговорах.

Если, однако, классические войны имеют тенденцию к концентрации власти и всемерному укреплению государственного аппарата, то в гражданских войнах всегда таится опасность развала дисциплины и распада военных формирований на вооруженные банды, действующие на свой страх и риск.

Их главари нередко заявляют о своей полной самостоятельности. Министерства обороны теряют военный, а правительства — политический контроль над противоборствующими группировками. Тем не менее гражданские войны в США, Мексике, России, Китае показывают, что обе стороны были еще в состоянии пойти на переговоры, добиться победы или капитулировать. Во всяком случае, эти войны заканчивались консолидацией нового режима и центральной власти, которая становилась хозяином положения. Может ли быть такой финал у гражданских войн в современном мире?

Эпоха империализма не знает ни одного внутреннего конфликта, который сразу же не принял бы международных масштабов. Следствием так называемой политики «здравого смысла» было то, что пламя любой гражданской войны раздували и регулировали внешние силы. Конфликтующие стороны служили пешками в большой игре. Великие державы стремились к расширению сфер влияния и своих колониальных империй. Достаточно напомнить о неоднократном вмешательстве европейцев и американцев в китайские дела, об интервенции после октябрьского большевистского переворота или ожесточенной схватке на Пиренейском полуострове, которую историки не без оснований считают генеральной репетицией второй мировой войны.

Еще в 70-х годах сверхдержавы придерживались именно такой стратегии. Используя своих марионеток, они вели в Африке, Азии и Латинской Америке множество войн и вмешивались в любой внутренний конфликт, не требовавший особого риска, но суливший изрядные дивиденды. Балансируя на грани третьей мировой войны, они прилагали максимум усилий для эскалации подобных конфликтов.

Лишь с окончанием «холодной войны» и распадом Советского Союза эта форма внешней политики приказала долго жить. Не только в Москве и Пекине, но и в Вашингтоне стали поговаривать, что затраты на братскую помощь значительно превышают прибыль от нее. В экономическом выигрыше оказались страны, не участвовавшие после второй мировой войны в этой игре. Руины имперского мышления, унаследованного от XIX века, — вот результат прежней политики «здравого смысла». Она не котируется сегодня на мировом рынке. Война, которая была простейшим средством обогащения, стала убыточным гешефтом. Капиталисты убедились, что кровавые бани, учиняемые в государственном масштабе, не приносят достаточно высоких доходов. Воодушевление, которое все больше вызывает политика мира у правительств промышленно развитых стран, объясняется, конечно, не внезапным нравственным прозрением, а этим вполне трезвым расчетом. Капитал в роли миротворца — это уже ново! Некоторые из его фракций, несомненно, по-прежнему связывают с войнами надежды на получение солидных барышей. Однако экспорт вооружений составляет сегодня всего 0,006% мирового торгового оборота. Продажа оружия превратилась в побочный источник доходов, который, не исключено, может быть частично перекрыт.

Страны, где идет гражданская война, не сулят нескончаемого потока прибылей. Их подвергают санкциям, лишая инвестиций. Запоздалое осознание этого процесса находит политическое выражение в миротворческих акциях ООН.

Сегодня гражданские войны вспыхивают стихийно, изнутри. Пламя их разгорается без поддержки извне. Еще недавно они пытались выглядеть как национально-освободительные движения или революционные восстания. И лишь с окончанием «холодной войны» показывают свою истинную суть.

Яркий тому пример — война в Афганистане. Пока страна оставалась оккупированной советскими войсками, ситуацию в ней можно было толковать по схеме разделенного на две половины мира. Обе стороны использовали конфликт в корыстных целях: Москва поддерживала своих наместников, Запад — моджахедов. Казалось, последние боролись за национальное освобождение, оказывали сопротивление захватчикам, угнетателям, «неверным». Но едва оккупанты ушли, разразилась настоящая гражданская война. Идеологическая завеса тут же рассеялась. Стало ясно, что иностранное вмешательство, целостность нации, истинность веры были лишь предлогом. Началась война всех против всех.

Подобные мутации можно наблюдать везде — в Африке, Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке. Ореол героизма, окружавший партизан, бунтарей, повстанцев, померк. В доспехах из высоких идей, имея мощных союзников за рубежом, герилья и антигерилья одно время выглядели явлением исторического порядка. Сегодня они — вооруженный сброд. Все эти самозваные национально-освободительные армии, народные движения и фронты превратились в банды мародеров, и от противников их уже почти не отличить. Нелепые наборы букв, которыми они украшают себя — FNLA или ANLF, MPLA или MNLF, — никого не могут ввести в заблуждение: у них нет общей цели, общего плана, общей идеи. Их объединяет только стремление грабить, насиловать, убивать.

III

Эмбрионы войн, культ беспринципности

Открыв атлас, отыщем районы, где идут гражданские войны. Облегченно вздыхаем: орудия стреляют, взрывы грохочут далеко от нас, чаще всего в странах «третьего мира». Что ж, понятно: отсталость в развитии, перенаселенность, религиозный фундаментализм. Нам кажется, что от полей сражений нас отделяют тысячи километров. Но это иллюзия. На самом деле гражданские войны давно пришли в большие города Запада. Метастазы этой опухоли поразили не только Лиму и Йоханнесбург, Бомбей и Рио-де-Жанейро, но и Париж, Берлин, Детройт, Бирмингем, Милан, Гамбург. И ведут здесь гражданские войны не только террористы, спецслужбы, мафиози, «бритоголовые», торговцы наркотиками, «эскадроны смерти», неонацисты и «черные шерифы». Это и неприметные, законопослушные граждане, которые вдруг превращаются в хулиганов, поджигателей, одержимых, убивающих первого встречного и все крушащих на своем пути. Так же как и участники гражданских войн в Африке, эти оборотни становятся все моложе. А мы-то думаем, что за окошком мир, потому что возвращаемся утром с горячими булочками, не получив в затылок пулю из-за аккуратно подстриженной живой изгороди.

Гражданская война не приходит извне. Она не вирус, занесенный иностранными туристами, а эндогенный процесс. Начинает ее обычно какое-нибудь меньшинство. Чтобы сделать цивилизованную жизнь определенного человеческого сообщества невозможной, достаточно, по-видимому, чтобы каждый сотый из нас захотел гражданской войны. Однако в промышленно развитых странах еще много людей, предпочитающих мирную жизнь, и они составляют значительную силу. Массы у нас пока не вовлечены в гражданские войны, потому что войны эти находятся в эмбриональной стадии. Но как показывает пример Лос-Анджелеса, пожар может каждую секунду вспыхнуть и охватить обширную территорию.

Но можно ли сравнивать тех с этими? Четника с торговцем подержанными товарами в Техасе, который вдруг взбирается на водонапорную башню и открывает огонь из автомата по толпе? Главаря банды в Либерии с «бритоголовым», разбивающим пивную бутылку о голову безобидного пенсионера? Автонома из Берлина с красными кхмерами? Чеченскую мафию с боевиками «Sendero luminoso»[1] ?И все это с упорядоченным бытом маленького городка в Германии, Швеции, Франции? Не делаем ли мы обобщений на пустом месте, не сеем ли панику, говоря о гражданских войнах?

[1] Светлый путь (*исп.*) — террористическая организация маоистского толка в Перу. (*Здесь и далее — прим. перев.*).

Боюсь, что при разных числителях знаменатель общий. И тут и там бросается в глаза, во-первых, аутичный[1] характер действующих лиц, во-вторых, их неспособность отличить разрушение от саморазрушения. Гражданские войны сегодня напрочь лишены легитимации. Насилие больше не нуждается в идеологическом обосновании.

В отличие от нынешних, раньше люди, о которых идет речь, были верующими. Они убивали и умирали во имя неких идеалов. Они «железно», «фанатично», «непоколебимо» придерживались того, что прежде называли мировоззрением, даже если оно было просто гнусным. Евангелия от Гитлера и от Сталина сторонники этих вождей читали с горящими глазами, ради «дела» они были готовы на любое преступление.

Еще в 60-х и 70-х годах повстанцы и террористы считали необходимым оправдывать и идеологически обосновывать свои действия, разбрасывая листовки, распространяя прокламации, обнародуя катехизисы или выступая с исповедями, пусть и на казенном языке. Продолжателям их дела сегодня это кажется излишним. Отсутствие всяких убеждений — вот их самая характерная черта.

В Латинской Америке партизаны хладнокровно убивают крестьян, за освобождение которых они, по их словам, борются. В союз с баронами наркобизнеса и спецслужбами они вступают без зазрения совести. Ирландские террористы используют пенсионеров в качестве «живых бомб» и взрывают коляски с младенцами. Особенно охотно любители гражданских войн приносят в жертву женщин и детей. Не только какой-нибудь четник гордится тем, что вырезал пациентов целой больницы. Жажда отправить на тот свет людей беззащитных чувствуется повсюду. Если у тебя на груди нет автомата, ты не человек, а вошь.

В партизанских отрядах и бандформированиях подвизаются в основном молодые мужчины. Их поведение показывает, как выхолостилось понятие патриархата. В число его древнейших традиций входило стремление мужчин объединяться в союзы. Накопившаяся в молодых мышцах энергия направлялась на выполнение определенных ритуалов. Таким же образом утолялась жажда крови. Мужающий юноша должен был доказывать свое бесстрашие перед публикой в бою с ровесниками. При этом требовалось неукоснительно соблюдать кодекс чести. Самураю и ковбою, отъявленному преступнику и благородному бунтарю полагалось мериться силами с как можно более сильным и опасным, по меньшей мере равным соперником. Сегодняшним насильникам все это чуждо. У возмужалости ныне другие показатели. Может, мачо нашего времени почитают за честь быть трусливыми? Нет, поверив в это, мы их переоценим. Им просто не хватает мозгов, чтобы отличить бесстрашие от трусости. И это тоже признак аутизма и культа беспринципности.

Эти, на первый взгляд, странные дефекты заметнее всего там, где предпринимаются попытки как-то обосновать свои действия. Например, в ходе гражданских войн, истинной подоплекой которых являются национальные распри. Из костюмерной кладовой истории извлекают тогда полуистлевшее, пропахшее нафталином платье. Люди, прибравшие к рукам власть, предпочитают прямо-таки опереточные наряды. Пропагандистский антураж тоже изрядно подержан. Идеологический мусор, производимый, например, Сербской академией наук, должен, по мысли авторов, создавать впечатление выстраданных убеждений, но даже беглого взгляда на события в бывшей Югославии достаточно, чтобы понять: воюющим между собой бандам он не нужен. Стоит, видимо, напомнить, что сражения, приведшие в XIX веке к образованию современных национальных государств, были не только бездумным пролитием крови. Спору нет, здесь была изрядная доля отвратительного шовинистического угара, но нельзя недооценивать конструктивной роли, которую сыграл европейский национализм старого образца. Ему мы обязаны демократическими конституциями, отменой крепостничества, эмансипацией евреев, созданием правовых государств, провозглашением всеобщего избирательного права. У главарей нынешних бандформирований напоминание о таких творческих актах способно вызвать разве что презрительную усмешку. Свежеиспеченным националистам нужна деструктивная сила, заложенная в этнических конфликтах. Под правом на самоопределение они понимают право определять, кому они сохранят жизнь на определенной территории, а кому нет. Уничтожать людей, «недостойных» жить рядом с ними, — вот вся их философия. Молодчикам, ведущим гражданские войны в Анголе, Сомали, Камбодже, наплевать на судьбу соплеменников. Они грабят их, косят автоматными очередями и выдают на заклание противнику без малейших угрызений совести.

Гораздо более шаткой, чем полагают на Западе, является и основа исламского фундаментализма. Каждый образованный мусульманин скажет вам, что это течение не имеет ничего общего с вероучением, возникшим почти полтора тысячелетия тому назад. Просто его радикально настроенные адепты так реагируют на стремление приспособить основные принципы, провозглашенные пророком Мухаммедом, к новым

[1] Аутизм (*здесь*) — отрыв от реальности, уход в свой мир, сверхранимость, неадекватность реакции.

условиям. Саддам Хусейн в позе правоверного мусульманина — разве это не кощунство и не карикатура на ислам? Недалеко от него ушли и многие деятели такого ранга в странах Магриба и Ближнего Востока. Объявив Западу негласную войну, они связывают с Западом же свою сокровенную мечту: заполучить самые смертоносные достижения его цивилизации — атомные бомбы, ракеты, боевые отравляющие вещества. Но перерезать глотку члены разнообразных фундаменталистских сект, фракций и боевых отрядов хотят прежде всего своим единоверцам. Значит, и здесь не настоящие убеждения, а всего лишь их имитация.

Серьезных причин для гражданских войн, находящихся в стадии утробного развития, нет и в больших городах Запада. Постоянные стычки между бандами в гетто североамериканских мегаполисов не объяснить классовыми противоречиями. Не годится больше для объяснения вспыхивающих здесь конфликтов и разный цвет кожи. Жертвами грабежей и разбойных нападений становятся преимущественно сами чернокожие. Участники недавних эксцессов в Лос-Анджелесе не громили виллы богачей, а подожгли учреждения собственной community[1], в том числе старейший книжный магазин Америки, владельцем которого был негр, и офис самого воинственного местного политического деятеля. В войнах банд не бывает победителей — в проигравших стреляют проигравшие.

А теперь поговорим об участниках войны, которая идет на молекулярном уровне в нашей собственной стране. Их называют правыми радикалами, неонацистами и полагают, таким образом, что знают, как к ним надо относиться. Но и здесь идеология не более чем ширма. Послушаем, что говорит о мотивах своих действий юный бандит, убивший несколько беззащитных сограждан: «Я ни о чем при этом не думал. Мне было скучно. Знаете, иностранцы мне чем-то (!) неприятны». Вот и все. О национал-социализме он ничего не знает. История его не интересует. Свастику и «Хайль Гитлер!» ему заменяет любая бутафория. Он одевается на американский манер, слушает американскую музыку, смотрит американские видеофильмы. Имперский штандарт он носит вместе с джинсами и футболкой. Он гордится тем, что называет себя английским словом — skinhead[2]. Средством общения с приятелями-единомышленниками ему служат банда[3], компакт-диск и модем. «Deutschtum»[4] — лозунг, лишенный какого-либо содержания, он лишь заполняет пустоты в мозгу. С той же легкостью, что и турка или вьетнамца, наш герой может «размазать по стенке» инвалида, бомжа, дебила, ветхую старушку, школьника, а накачавшись пивом, шнапсом и тяжелым роком — и взрослого немца, хоть в Саксонии, хоть в Тюрингии, хоть на берегу Рейна.

Если ему придется выбирать между Родиной и мотоциклом, почитанием предков и дискотекой, он, не колеблясь, выберет последнее. Поскольку собственное будущее его нисколько не заботит, до лампочки ему и судьба страны, в которой он живет.

То же можно сказать о правом радикализме как политическом течении. Ликование по поводу краха коммунизма заглушает голоса тех, кто объясняет, что дело экстремистов этого толка давно проиграно. Как только какая-нибудь радикальная партия правого направления оказывается вблизи от рычагов политической власти, сразу же выясняется, что концепции у нее нет. То, что лидеры движения выдают за программу, не более чем мираж, который исчезает при свете экономических реалий. Промышленно развитые страны — неотъемлемая часть мирового рынка и всецело зависят от него. Национальная автаркия, замкнутость по расовому или этническому признаку, сольные проходы по политическому полю привели бы к тому, что жители этих стран умерли голодной смертью. Не менее абсурдным явлением оказался бы и правый интернационализм. Поэтому так называемые новые правые не способны проводить в Европе даже мало-мальски конструктивную политику. Лозунг «Германия — только для немцев!» — дик не только по своей направленности. Если принять его всерьез, пришлось бы экспроприировать все иностранные предприятия и компании и закрыть, к примеру, франкфуртский аэропорт. Лидеры правых наверняка сами понимают, что блефуют. Их прежнее «мировоззрение» испарилось. Осталась тупая агрессивность.

IV

Самоотвержение, саморазрушение

Гражданские войны, как в эмбриональной стадии, так и вышедшие из нее, роднит не только аутизм комбатантов[5]. Второе отличительное свойство сражающихся — самоотвержение. Причем слово это приобретает совершенно новое значение. Вот что сказано об этом в книжке, изданной в 1951 году и ставшей для многих из нас настольной:

---

[1] Община, общество, общность (*англ.*).
[2] Бритоголовый.
[3] Рок-группа.
[4] Национальная самобытность немцев.
[5] Комбатанты — лица, входящие в состав вооруженных сил и принимающие непосредственное участие в военных действиях.

«Ненависти всегда хватало в подлунном мире. Но с некоторых пор она стала решающим политическим фактором во всех общественных делах... Тем не менее ненависть не смогла по-настоящему сконцентрироваться ни на ком и ни на чем. Она не находила тех, на кого могла бы возложить ответственность. Ее не устраивали в стране ни правительство, ни буржуазия, ни, казалось бы, соответствующие силы за рубежом. Тогда она проникла во все поры повседневной жизни, распространяясь по всем направлениям и принимая самые фантастические, самые непредсказуемые формы... Здесь каждый был против каждого и прежде всего против своего соседа...

Но сегодняшние массы от черни прошлых времен отличают самоотвержение и незаинтересованность в собственном благополучии... Самоотвержение не как добродетель, а как ощущение, что от тебя ничего не зависит, что тебя в любой момент и в любом месте может заменить другой... Это полное самоотрешение, это циничное или слегка презрительное равнодушие, с которым массы встречали смерть, появились совершенно неожиданно... Люди теряют рассудок, способность мыслить здраво, элементарное чувство самосохранения».

Ханна Арендт писала о периоде между двумя мировыми войнами. Американскую писательницу и политолога интересовало настроение широких масс как фактор возникновения тоталитарных систем. Актуальность ее выводов для нашего времени очевидна. Но в отличие от тридцатых годов сегодня люди определенного сорта не столь нуждаются в ритуалах, парадах, факельных шествиях, форменной одежде, широковещательных программах, громогласных обещаниях и клятвах. Они могут обойтись без фюрера или любого другого вождя. Им достаточно ненависти. Тогда террор был монополией тоталитарных режимов, сегодня он возвращается к нам в обезгосударствленной форме. Зачем нужны гестапо и ГПУ, если их наследнички сами берутся за дело!

Любой вагон метро может, таким образом, стать Боснией en miniature. Чтобы учинить погром, не нужны непременно евреи. Чтобы провести чистку, необязательны «контрреволюционеры». Достаточно того, что человек болеет за другой футбольный клуб, что дела в его овощной лавке идут лучше, чем у соседа, что он одевается иначе, говорит на другом языке, пользуется для передвижения инвалидной коляской или ходит, опираясь на трость. Любое отличие связано ныне с риском для жизни.

Но агрессивность вызывают не только другие люди, но и собственная «проклятая жизнь». Говоря словами Ханны Арендт, сегодняшним молодчикам не только все равно, живут они или умирают; им не важно, родились они когда-нибудь вообще или так и не появлялись на свет.

Как бы ни был велик генетический резервуар глупости, его недостаточно, чтобы объяснить происходящее при этом стремительное саморазрушение личности. Связь между причиной и следствием очевидна даже для подростка.

Стенания по поводу потери рабочих мест сопровождаются погромами, при виде которых каждому разумному капиталисту становится ясно, что бессмысленно вкладывать деньги туда, где никто не уверен, доживет ли он до завтра. Самый тупой сербский политик понимает не хуже пустоголового Рэмбо, что гражданская война, которую оба они ведут, неизбежно превратит их страны в экономическую пустыню. Напрашивается только один вывод: коллективное членовредительство — не побочный эффект, с которым приходится мириться, а истинная цель всех этих упражнений.

Воители прекрасно понимают, что победы им не видать и что их неизбежно ждет поражение. Поэтому они делают все возможное, чтобы обострить свое положение до предела. Они хотят «превратить в дерьмо» не только других, но и самих себя. Вот что пишет работник собеса из парижского предместья:

«Они сломали уже все — почтовые ящики, двери, замки в подъездах. Они разгромили и разграбили поликлинику, в которой бесплатно лечат их братишек и сестренок. Они не признают никаких правил. Они врываются в школы, детские сады, амбулатории и все разносят в щепки. Если им оборудуют футбольную площадку, они перепилят стойки ворот».

Картины микроскопических и макроскопических гражданских войн схожи как две капли воды. Вот рассказ очевидца нападения вооруженных бандитов на госпиталь в Могадишо. В городе не слышалось выстрелов, им ничто не угрожало, и их действия не были вынужденной боевой акцией. Госпиталь сильно пострадал уже до этого и располагал минимумом лечебной аппаратуры и лекарств. Осатаневшие молодчики действовали методично и основательно. Они вспарывали матрасы, разбивали бутылки с сывороткой крови, топтали пакеты с таблетками, крушили то немногое, что осталось из оборудования. Довольная ухмылка на их лицах появилась лишь после того, как они разбили рентгеновский аппарат, стерилизатор и кислородный прибор. Все эти зомби чуяли, что конца войне в стране не видать, что уже завтра жизнь будет зависеть от того, окажется ли поблизости врач, который заштопает рваные раны. Значит, им важно было уничтожить малейший шанс остаться в живых. Такой метод действий

можно, пожалуй, назвать reductio ad insanitatem[1] . При коллективном буйном помешательстве нет категории будущего — только настоящее. Последствий у него быть не должно. Чувство самосохранения отсутствует.

Как тут не вспомнить Фрейда, который в конце концов пришел к выводу, что должен существовать инстинкт смерти, направленный на уничтожение сначала собственной, а затем чужой жизни. Правда, эту гипотезу опытным путем не удалось подтвердить, и она осталась туманным предположением. Так ведь и чувство самосохранения — понятие проблематичное. Полагаться на него, может быть, даже наивно. Им, пожалуй, можно объяснить поведение бактерий и растений, но оно уже не помогает млекопитающим, а в истории человечества оказалось вещью в общем-то бесполезной. Миллионы людей сложили головы как святые мученики, герои, фанатики, не следуя инстинкту самосохранения. Мыслители-пессимисты, например де Местр, всегда отмечали первостепенное значение жертвенности и возвели необходимость подавления в себе инстинктов в добродетель. Наверное, в основе всех религий лежат приношение человека в жертву и самопожертвование, однако и атеисты никогда не испытывали недостатка в «высоких» целях, ради которых они убивали и гибли. Да и возможно ли существование того, что мы называем культурой, без способности к самоотречению?

Люди, поступающие самоотверженно в изначальном смысле этого слова, есть и ныне. Это энтузиасты, оказывавшие помощь попавшим в беду, рискуя собственной жизнью, оппозиционеры, идущие, подобно Яну Палаху и безымянным монахам-буддистам Индокитая, ради своих убеждений на самосожжение. Не забудем и пастырей сектантов, да и просто рьяных фанатиков, лишающих себя жизни в надежде вновь обрести ее в раю.

Однако не эти одиночки определяют лицо войны, а миллионы, лишившиеся всего, ради чего они могли бы совершить жертвоприношение. Сегодня в гражданских войнах вообще не делается ставок. Их ведут бесцельно, это придает им новое, жуткое качество. Политика как таковая утрачивает смысл. С незапамятных времен ее рассматривали как столкновение интересов, а значит, борьба шла не только за власть и материальные блага, но и за будущее, за возможность осуществить свои желания, проекты, идеи. И хотя при этом редко обходилось без кровопролития и исход борьбы со сложным переплетением интересов всегда был непредсказуем, намерения сторон просматривались более или менее четко. Когда же как собственная, так и чужая жизнь полностью обесценена, распознать их уже невозможно, и политическое мышление со всей его историей от Аристотеля и Макиавелли до Маркса и Вебера не стоит и ломаного гроша. В мире с блуждающими живыми бомбами остается место лишь для одной, негативной утопии — мифа Гоббса об изначальной борьбе всех против всех.

V

Лабиринты и тупики толкований

В описанной выше ситуации возникает сильное искушение объяснить труднообъяснимое попроще. Неудивительно, что политики и авторы газетных передовиц выбирают из толкований, что у них под рукой, наиболее худосочные. Они следуют при этом партийным канонам. Чтобы изложить суть их рассуждений, много слов не требуется.

Ораторы консервативного толка поют аллилуйю так называемому ancien régime[2] , при котором якобы царили дисциплина, порядок, высокая нравственность и хорошие манеры. Причину одичания человечества они видят в эмансипационных сдвигах, произошедших за последние два столетия, и в небрежении к прежним авторитетам. Спасение, по их мнению, в возврате к добродетелям, рожденным в патриархальных, разделенных на сословия сообществах. Как и какими политическими средствами можно реализовать такие представления в постиндустриальную эру, естественно, не объясняется.

Среди клонящихся к закату социал-демократов, напротив, еще раз победили идеи Руссо. Средства производства не национализированы, но применяется своего рода социальная терапия. Странная теория, что человек от природы добр, нашла последнее прибежище в работе по социальному обеспечению. Пасторальные мотивы образуют при этом причудливый гибрид с изрядно обветшавшими теориями о влиянии социальной среды и лишенной логического стержня версией психоанализа. Подо-

[1] Доведение до безумия (*лат.*).

[2] Устаревшая форма правления (*франц.*) — употребляется, как правило, для обозначения системы общественных отношений во Франции до 1789 года.

бного рода опекуны, добродушие которых поистине не знает границ, снимают с заблудших всякую ответственность за их действия. Эти никогда ни в чем не виноваты. Виновато окружение — родители, общество, чрезмерный уровень потребления, средства массовой информации, дурные образцы для подражания. Каждому убийце предлагается заполнить для его же блага своего рода альтернативную анкету:

«Мама не хотела, чтобы я появился на свет; учителя у меня были с авторитарными замашками / слишком либеральные; папа приходил домой вдрызг пьяный / не приходил вообще; банк выдал мне слишком большую сумму в кредит / арестовал мой счет; ребенком / в школе / учеником на производстве / в должности служащего меня баловали / держали в черном теле; мои родители развелись слишком рано / слишком поздно; возможности интересно проводить досуг были ограничены / безграничны. Поэтому мне не оставалось ничего иного, кроме как совершить поджог / кражу / покушение / убийство». (Нужное подчеркнуть!)

Преступлений, таким образом, в этом мире больше не совершают, потому что преступников больше нет, есть только клиенты. Гесс и Менгеле тогда тоже предстают жертвами, нуждающимися в нашей помощи — психотерапии. По этой логике вопросы морального порядка могут возникать лишь у терапевтов, ибо только они способны понять состояние других людей. А так как все остальные ни за что не отвечают, и меньше всего за самих себя, они перестают существовать как субъекты, а существуют лишь как объекты социального обеспечения.

По сравнению с заезженными тезисами подобного рода даже самые крутые материалистические теории выглядят убедительнее. Их авторы ссылаются по крайней мере на факты из экономической жизни, и то, что они проповедуют, поддается проверке. Только дураки могут считать, что марксистский анализ вышел из моды. Превратившись из мечты в глобальную реальность, мировой рынок рождает с каждым годом все меньше победителей и все больше побежденных, причем в странах не только «второго» и «третьего» мира, но и первого — капиталистического. Там из международных торгово-экономических отношений выпадают целые государства и даже континенты, тут все больше людей не выдерживают бешеного темпа жизни и сходят с дистанции.

Представив себе атлас, показывающий расселение огромных масс «лишних» людей на планете, то есть регионы, отставшие в развитии, с одной стороны, и зоны с неполной занятостью — с другой, и сопоставив места, где «лишние» прозябают, с регионами, где полыхают большие и малые гражданские войны, нельзя не заметить между ними взаимосвязь. Коллективный синдром насилия, видимо, не что иное, как отчаянная реакция побежденных на свое безвыходное экономическое положение.

Однако вопреки предсказаниям марксистских теоретиков политических последствий это не имеет. Тут они крупно ошиблись. Классовой борьбы в международном масштабе не происходит. Обе стороны знаменитого основного противоречия нашей эпохи сегодня меньше чем когда-либо заинтересованы в глобальной конфронтации. И, не думая собираться под общими знаменами, те, кто оказался в проигрыше, методично разрушают сами себя, а капитал отступает с поля боя всюду, где это допустимо.

Тут необходимо разочаровать, правда без особой надежды на успех, людей, упорно верящих, что отношения между эксплуататорами и эксплуатируемыми можно свести только к проблеме распределения, будто речь идет о пироге определенной величины и о том, как его поровну нарезать. Однако такой взгляд не только не имеет ничего общего с теорией Маркса — он просто ошибочен. Преподносят его чаще всего в форме утверждения, что «мы» живем за счет «третьего мира». Эксплуатируя его, мы, то есть промышленно развитые страны, разбогатели. Бьющие себя по этому поводу в грудь просто не в ладах с фактами. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести один показатель: доля Африки в мировом экспорте составляет 1,3%, доля Латинской Америки — 4,3%. Экономисты, занимавшиеся данным вопросом, сомневаются, что жители богатых стран вообще ощутили бы внезапное исчезновение беднейших континентов с лица земли. На эту катастрофическую диспропорцию не влияют ни долговые кризисы, ни колебания цен на сырье, ни утечка капитала, ни протекционизм.

Теории, объясняющие бедность бедных исключительно внешними факторами, не только дают дешевую пищу общественному возмущению. У них есть еще одно достоинство. Они снимают вину за столь кричащие противоречия с властителей бедной части мира и возлагают всю ответственность на Запад, который прошел недавно обряд перекрещения и зовется отныне и Севером. Африканцы, разгадавшие эту уловку, поговаривают теперь, что хуже эксплуатации со стороны транснациональных монополий только одно — отсутствие этой эксплуатации. Своего главного врага они видят сегодня не в акулах капитализма, а в политических гангстерах, которые десятилетиями систематически грабят их страны. Разве можно поверить, будучи в здравом уме, что длившуюся два десятилетия гражданскую войну в Чаде спровоцировали крупные банки, что Иди Амин был агентом ЦРУ, а тамильские «тигры» являются марионетками Пентагона? Тем не менее многие европейцы упорно придерживаются

мнения, что все беды в этом мире — результат закулисных политических игр. Выходит, гражданскую войну в Югославии развязали не сербы или хорваты, а некие статс-секретари из Бонна, стремящиеся якобы восстановить Германский рейх.

Такие бредовые толкования имеют место и в отношении гражданских войн-эмбрионов, только здесь проигравшие объявляют виновниками своего бедственного положения главным образом евреев, корейцев, мулатов, метисов, цыган и прочих инородцев. Все эти фантасмагории призваны скрыть поистине страшную правду: в Нью-Йорке и в Заире, в метрополиях и в странах, где царит нищета, все больше людей оказываются вытолкнутыми на обочину экономической жизни, эксплуатировать их больше невыгодно.

Поэтому блекнут теории о неравномерности развития, авторы которых объясняют основные конфликты современности неспособностью шагать в ногу. Глобальная модернизация представляется им однолинейным, непрерывным процессом. Гражданские войны и прочие безобразия, творимые в этом мире, проистекают, по их мнению, из противоречий, которые несет с собой прогресс. Медленное развитие стран «третьего мира», исламский фундаментализм, племенные распри — все это не более чем проявления отсталости. Наиболее вульгарная из этих теорий утверждает, что все общества, кроме западного, не сбросили еще пут самого мрачного Средневековья. Такие надуманные традиции, как, например, костюмированный бал этнических меньшинств, легко принимают за чистую монету.

Но может быть, эти теории все же содержат рациональное зерно и в них есть нечто обнадеживающее? Стоит преодолеть допотопный способ производства, закоснелый образ мышления — и счастливое будущее не за горами. Народам, отставшим в развитии, надо последовать за первопроходцами, и они догонят их, как бы далеко те ни ушли вперед. К сожалению, авторы этой историко-философской модели сами отстали от жизни. Проект такой модернизации обречен на неудачу хотя бы потому, что положение плетущихся в хвосте безнадежно, в какой бы части света они ни жили. Разрыв между ними и «ушедшими далеко вперед» не преодолеть — по экологическим, демографическим и экономическим причинам. Более того, он с каждым годом возрастает. Сегодня это ясно каждому. Не только безземельному крестьянину или безработному шахтеру, но и громилам из какой-нибудь банды и их сумасбродному главарю.

«Человек, подвергшийся колонизации, в глубине души не признает над собой верховной власти. Он унижен, но не убежден, что это действительно так». На примере колониального господства европейцев Франц Фанон уже более тридцати лет тому назад показал, что проклятьем заклейменный весь мир голодных и рабов восстает не только против нищеты, но и против постоянного унижения. Мысль не нова. Она из немецкой философии. У Гегеля сюжет развивается следующим образом.

Первобытное состояние человеческого общества — это борьба не только за жизненные ресурсы, но и за то, чтобы сородичи были уважаемы противником. Борьба идет не на жизнь, а на смерть — побежденный либо убит, либо сдался. В этом случае он становится рабом. Диалектика, однако, такова, что мир изменяет не господин, а подневольный — своим трудом, работая до тех пор, пока господин зависит от него. Этим он добивается признания. Великая французская революция и есть тот исторический момент, когда это происходит. Лишь она делает возможным возникновение универсального, гомогенного, правового государства, гарантирующего каждому гражданину, что любой гражданин найдет такое же признание, как и он сам. Достигнута эмансипация, все свободны. С Наполеоном Бонапартом история цивилизации заканчивается, равенство обеспечено.

Не надо быть гегельянцем, чтобы понять: потребность в признании — фундаментальный антропологический факт. Наивно полагать, что она когда-либо была удовлетворена. Сомнительно, что это вообще может случиться. Несомненно, подавляющее большинство людей, живущих сегодня на земле, может об этом только мечтать. Притягательная сила диктаторских режимов в XX веке объясняется, видимо, не в последнюю очередь тем, что все они обещали «униженным и оскорбленным» обеспечить их признание насильственным путем — в виде «народной общности», бесклассового общества, уммы правоверных. Обещание свое диктаторы выполняют, всякий раз отказывая людям в признании.

После крушения этих режимов борьба начинается вновь, только теперь «униженным и оскорбленным», выражаясь словами Франца Фанона, не хватает колонизаторов: «Человек, подвергнутый колонизации, — преследуемый, постоянно мечтающий стать преследователем... В племенных распрях оживают старые затаенные обиды. Люди, испытавшие колониальный гнет, мстят с упоением... Физическое саморазрушение коллектива — это, таким образом, один из способов сбросить психологическое напряжение от придавленности колониальным ярмом».

Гегель подходит к понятию признания с формальной точки зрения, пытаясь сфор-

мулировать его объективно. Человека, чувствующего себя униженным, такой подход никогда не удовлетворит. Одно дело провозгласить равенство всех перед законом — в некоторых странах оно в той или иной степени достигнуто. Правовому государству удалось ликвидировать вопиющие формы угнетения, в социальном — всем гражданам гарантирован прожиточный минимум и так далее. Но стремление к признанию приобрело сначала в метрополиях, а затем и во всем мире такую динамику, которая и не снилась немецкому философу в 1806 году.

Любая общность людей, даже самая благополучная и мирная, постоянно порождает неравенство, несправедливость, обиды, подозрения и разочарования самого разного рода. Вместе с формальными равенством и свободой граждан растут и их претензии. Если же они не удовлетворены, каждый в конце концов может почувствовать себя униженным. Потребность признания ненасытна. Газеты, телевидение, радио ежедневно сообщают нам факты, подтверждающие это. Острое желание носить кроссовки определенной фирмы может послужить в каком-нибудь гетто мотивом убийства с целью ограбления. Клерк, которому не удалось стать поп-звездой, совершает нападение на банк или открывает стрельбу по толпе, мстя за испытанное унижение.

И наконец. последняя, самая удручающая попытка объяснить возникновение гражданских войн связана с небывалым приростом населения Земли. Еще в 1950 году Ханна Арендт высказала следующее предположение. Легкость, с которой тоталитарные режимы вершили свои кровавые дела, объяснима демографическим взрывом, безродностью и бездомностью масс, становящихся, если рассуждать утилитарно, действительно «лишними». Ценность, которую они придают собственной жизни и жизни других, похоже, уменьшается тем быстрее, чем больше людей появляется на свет.

Эта мысль не укладывается в сознании. Но не только статистические данные о населении отдельных стран и регионов, миграционных потоках и беженцах показывают, как тесно стало на планете. Свидетельство тому — и повседневная жизнь. И пришелец с другой планеты, увидев массы безработных и бездомных, трущобы в мегаполисах, переполненные беженцами лагеря, поймет, что нас слишком много. Реакция на это выражается в том, что мы как в угаре, словно безумные, разим стоящих вокруг нас.

Стремление действовать таким образом заметно и ощутимо повсеместно. Даже, казалось бы, вполне нормальные люди охотно берутся за устранение «лишних», к которым они втайне причисляют и самих себя. Различны лишь масштабы их деяний. Все зависит от средств, которыми они располагают. У поджигателя это только бутылка с бензином, у власть имущих — ракеты. Тем, кто развязывает гражданские войны, мало «этнической чистки». Конечная цель их усилий — истребление целых народов. Если поголовное уничтожение населения от чего-либо срывается, людей надо депортировать. Тоже неплохой вариант. По отношению к внешнему миру насильственное переселение используется как демографическое оружие. В наказание за то, что третья сторона защищает остатки цивилизации, она должна позаботиться об изгнанных. В глазах главарей банд мирное население — это хлам, убирать который должен кто-то другой.

Трудно сказать, где при подобных умозаключениях анализ переходит в мизантропию. Грань стерта, когда говорят, что человечество, само не сознавая того, подчиняется биологическому императиву, то есть население планеты следует сократить до размеров, приемлемых для биосферы.

В подобных высказываниях нет недостатка. Есть ученые, аргументирующие таким образом, и подпевающие им самозваные адвокаты природы. В качестве иллюстрации при этом часто приводится овеянный легендами эксперимент, когда крысы во все большем количестве должны были жить на суживающемся пространстве. Если следовать этой логике, надо признать, что гражданские войны и иные формы коллективного членовредительства суть не что иное, как механизм, обеспечивающий ценой несчетных жертв выживание вида.

Концепции такого рода говорят только о мании величия их авторов. Исследования многих биологов с самого начала были на руку тоталитарным режимам. Достижения евгеники и врачей, проводивших эксперименты на человеческом материале, забыть нельзя. Результаты их теоретических изысканий и опытов можно было видеть в концлагерях. Сравнение с крысами не случайно. Но, кроме нравственной ущербности, биологизированное мышление имеет еще и интеллектуальный дефект.

Люди, аргументирующие таким образом, хотели бы рассматривать человечество как бы извне. Занятие бессмысленное уже потому, что противоречит азам теории познания. Главное, непонятно, как «гомо сапиенс» может стать на точку зрения вируса либо галактики. Оценить человеческое поведение объективнее с такой позиции невозможно. Меньше всего тут проходят ссылки на мысли, высказанные Ханной Арендт. Биологическая наука ничего не дает для понимания гражданской войны как таковой.

VI

Приметы. Опыты на себе

Сперва никакого кровопролития, все выглядит безобидно. Гражданские войны в западном мире начинаются незаметно, без всеобщей мобилизации. На обочинах постепенно накапливается мусор. В парках все больше использованных шприцев и битых пивных бутылок. На стенах домов появляются надписи, пропитанные аутизмом: где твое Я, вопрошают они, верни его себе! В школах ломают парты, в палисадниках пахнет калом и мочой. Все это — молчаливые признаки того, что война объявлена, и старожилы наметанным глазом видят их. Затем стремление обособиться становится все более очевидным. Прокалывают шины, срезают трубки в телефонных будках, поджигают автомашины. В этих спонтанных действиях — злоба к целому и неповрежденному, ненависть ко всему, что работает, ненависть, образующая с ненавистью к самому себе крепчайший сплав. Молодые люди идут на гражданской войне в авангарде. Это объясняется не только естественным избытком физической и эмоциональной энергии, но и непонятным наследием, полученным ими от отцов, неразрешимыми проблемами, которые принесло с собой богатство, навевающее уныние и не открывающее перспектив. Однако вандализм подспудно живет и в их родителях. Только эта страсть к разрушению загнана в общественно терпимые формы и проявляется в безумном увлечении ездой на автомобиле, чрезмерном усердии в работе, обжорстве, пьянстве, сутяжничестве, расизме или тиранством в семье.

Агрессивные побуждения сплетаются в тугой клубок, так что трудно разобрать, от кого при этом исходит опасность. Картина меняется мгновенно. Вот рассказ человека, который не ездит на автомобиле.

«Как-то поздним вечером сажусь в электричку. Вагон почти пуст, освещен плохо. В дальнем углу прикорнул старик, на другом конце о чем-то толкуют несколько подвыпивших мужчин. Рядом со мной сидят тоже двое, по виду служащие, наверняка работали сегодня сверхурочно. На остановке в вагон входят четыре парня, лет по двадцать. Естественно, в кожаных куртках и бутсах. Говорят очень громко, на непонятном языке, скорее всего каком-то восточном. Вызывающе идут по вагону, явно выискивая объект для нападения. Подходят ближе, меня охватывает тревога. Смотрят в упор. Чувствую, вот-вот набросятся. Но — проходят дальше, теперь вижу лица других пассажиров: ожесточение, злоба, все черты искажены, я бы сказал, обезображены этой злобой. То, что они выкрикивают, мне хорошо знакомо. Даже старик проснулся и бурчит себе что-то под нос. Потом я явственно слышу, как он говорит: «Вешать таких надо. Или расстреливать на месте. И вот во мне уже страх не перед чужеземцами, а перед соотечественниками».

«Загородная прогулка моей дочери, — рассказывает ее отец, — сорвалась из-за того, что в классе учатся три турчанки. Родители запрещают детям участвовать в таких экскурсиях, ведь риск слишком велик. Это говорит о том, что есть общественные места off limits[1] . Там нельзя находиться, не подвергаясь опасности. Нового в этом ничего нет. Еще лет десять назад всю жизнь в Кройцберге, одном из районов Западного Берлина, контролировали две сотни парней, называвших себя автономами. Этим они говорили: общество для нас не существует. И они в принципе достигли своей цели, заткнув рты остальному населению. Возникла ситуация, когда прав у людей не было, а царили всеобщий надзор, шантаж, страх. Власти оказались бессильны. Все, что как-то регулирует отношения между гражданами, автономы постепенно ликвидировали.

Подобные ситуации возникают и в странах Восточной Европы, и на территории бывшей ГДР. Тогдашняя «зона» по иронии судьбы вновь становится «зоной». В городах есть районы, где господствует кулачное право. Полиция, чувствуя свое бессилие, не отваживается вторгаться туда и становится невольным сообщником преступников. Такие районы можно назвать вольными территориями в том смысле, что их хозяевам удалось сбросить бремя цивилизации.

Миграция идет в двух направлениях: прибывают банды молодчиков праворадикального толка, а бегут люди, чья жизнь под угрозой; сначала иностранцы и инакомыслящие, а затем все, кто не желает подчиняться диктату бандитов. В перспективе — полный распад. Характерная черта этих процессов — деиндустриализация, как, например, сейчас в США. Средний класс перестает существовать. С одной стороны, возникают охраняемые кварталы с собственной службой безопасности, с другой — трущобы и гетто. В городских районах, покинутых испуганными жителями, мэрии, суды, полицейские чины не имеют никакого веса. Здесь царит правовой беспредел.

---

[1] Вход воспрещен (*англ.*).

Особый случай — пограничные районы, где при внешнем хаосе свои правила игры. Контрабанда, бизнес, связанный с нелегальной переброской людей через кордон, разбой и убийства уже основательно изменили там нормы общения между людьми. Этому в немалой степени способствуют и тайком оседающие мигранты. Они, как правило, выходцы из иной социальной среды и не понимают общепринятых норм человеческих отношений. Однако и местные жители быстро освобождаются от привычки соблюдать эти нормы. Миром начинают править жестокость и насилие. Как диктаторы вроде Саддама Хусейна обращаются с международным правом, так и здесь полностью исчезают внутренние обязательства, писаные и неписаные. В конечном итоге все решают ствол и пушка».

Люди, жизнь которых под угрозой, стоят перед дилеммой: бегство или самооборона. Привилегированное меньшинство выискивает свои пути к спасению: отправляется на курорты или в иные «райские уголки», укрывается на виллах и дачах, создает сельские коммуны или сектантские центры где-нибудь в глубинке. Миллионы же обездоленных кочуют в поисках прибежища по стране, а то и бегут за границу.

Тот, кто не бежит, «замуровывается». В международном масштабе для защиты от варваров повсюду сооружаются своего рода лимесы[1] . В самих метрополиях образуются настоящие архипелаги крепостей. В больших американских, африканских и азиатских городах давно уже есть «бункера блаженства и счастья», огороженные колючей проволокой. Есть целые кварталы с доступом только по спецпропускам, со шлагбаумами, телекамерами и овчарками у входа. Местность вокруг простреливается со сторожевых вышек из пулеметов. Сходство с концлагерем очевидно, вот только потенциальной зоной смерти обитатели этих убежищ из бетона и стали считают мир за забором. Однако за роскошь тотальной изоляции им приходится платить: они становятся пленниками чувства самосохранения.

Гражданская война предполагает самовооружение. Когда государство утрачивает монополию на применение силы, гражданам приходится защищать себя самим. Даже Гоббс, оставлявший за государством почти неограниченную полноту власти, настроен в данном случае критически: «Подданные сохраняют верность суверену только до тех пор, пока он способен их защитить. Ибо нельзя представить себе закон, на основании которого можно было бы лишить человека права защищать самого себя, когда это не в состоянии сделать никто иной».

Государственная власть пасует по различным причинам. Вначале это часто просто трусость и тактические соображения, как это было в Веймарской республике, а ныне в объединенной Германии. По мере того как эмбрион гражданской войны развивается, полиция и органы правосудия перестают владеть ситуацией. Если преступников все-таки порой и арестовывают, то переполненные тюрьмы превращаются в тренировочные лагеря для комбатантов. В других странах, например в Советском Союзе, государственная власть вообще теряет легитимность. Еще шаг, и правящая верхушка начинает, как это было в Югославии, попустительствовать возникновению вооруженных банд.

Люди имущие уже на ранней стадии этого процесса вербуют наемников, заменяя ими полицию. Охранные службы растут как грибы после дождя, образуя целую отрасль. Телохранитель становится символом социального положения патрона. Государственные учреждения нанимают для охраны объектов инфраструктуры даже «черных шерифов». Жители городов, которые не могут позволить себе роскошь иметь оплачиваемую охрану, объединяются в народные дружины или vigilant groups[2]. Люди, предпочитающие обороняться в одиночку, рано или поздно покупают себе по меньшей мере пистолет. Пример тут подают Соединенные Штаты, где огнестрельное оружие в руках граждан чуть ли не предмет национальной гордости.

Гражданские войны, от микро- до макроскопических, заразительны. В то время как число не участвующих в них убывает, так как они либо умирают, либо спасаются бегством, либо присоединяются к одной из воюющих сторон, участники все более походят друг на друга и поведением, и моральным духом. В городах действия полиции и армии не отличаются от гангстерских. Подразделения по борьбе с терроризмом практикуют для устрашения смертную казнь, а «эскадроны смерти», преследующие наркоманов и хулиганов, есть зеркальное отражение их мнимых противников. Люмпен-пролетариату противостоит люмпен-буржуазия, копирующая в выборе средств борьбы своего врага. Такая же картина, когда пожар гражданской войны охватывает обширную территорию. Нападающего не отличить от обороняющегося. Борьба идет во многом по принципу кровной мести. Страх и ненависть охватывают новые и новые массы людей, делая их поведение абсолютно асоциальным.

«Мы не знаем, что с нами случилось». От тех, кто вышел из ада в Сараево живым, эту фразу можно услышать на каждом шагу. Когда все попытки объяснить суть про-

[1] Лимесы — укрепленные линии на границах Римской империи.
[2] Отряды бдительности (*англ.*).

исходящего терпят фиаско, не остается, пожалуй, ничего иного, как поставить опыт на самом себе. Так и поступил американский писатель Билл Бафорд. В репортаже «Среди головорезов» он описывает, как почувствовал себя одним из них. Гражданская война еще не вспыхнула, она в латентной фазе. Дело происходит на стадионе.

«Хотя я еще не мог похвалиться близостью с «ними», я все же заметил, что их действия начали мне нравиться... Теперь, размышляя над этим, я прихожу к выводу, что процесс в чем-то схож с привыканием к алкоголю или табаку: сначала испытываешь отвращение; потом, преодолев его, удовольствие; постепенно влечение становится неудержимым. И наконец, ты находишь, что в этом, может быть, есть даже что-то саморазрушительное».

В следующей сцене приятие насилия достигает кульминации: «Теперь их было шестеро, и все они начали бить ногами мальчишку, лежавшего на земле. Он закрывал лицо руками. К моему удивлению, я мог различить по звуку, приходился ли удар ботинка в пальцы рук, в лоб или нос. Я оцепенел. Теперь, по зрелом размышлении, кажется, был близок к тому, чтобы положить всему этому конец... Но я так не поступил. Видимо, и мысли такой не было. Время словно замедлило бег, начало и конец каждой секунды были четко размечены — как кадры киноленты. И каждый кадр гипнотизировал меня... Впервые испытав все это, я будто перешагнул порог: по одну сторону его было понимание границ дозволенного, даже эти молодчики отдавали себе отчет в том, чего делать нельзя; по другую сторону — а мы теперь очутились там — таких границ было немного и отсутствовало понимание, что есть вещи, которых делать нельзя... Возбуждение, охватившее нас, граничило с чем-то большим, с трансцендентным чувством. Как минимум это была радость, скорее даже нечто вроде экстаза, от чего исходила фантастическая энергия. Остаться хоть в какой-то степени не захваченным ею было невозможно. Я слышал, как кто-то рядом со мной сказал, что он счастлив, очень счастлив, счастлив как никогда».

VII

Версии невиновности, минные поля

Рано или поздно даже простой разговор о гражданских войнах превращается в своего рода опыт на себе. Рёбер при этом никому не пересчитывают, и тем не менее любой спор о гражданской войне — отражение ее. Я не нейтрален, заражен ее духом, чувствую, как во мне накапливаются злоба, страх, ненависть. Я вовлечен в то, о чем говорю. Лимбическая система выбрасывает в мозг вещества, о которых я не имею ни малейшего представления. Рискую потерять контроль над собственными мыслями.

Спокойного обмена мнениями по такой теме быть не может. Тот, кто слышит только себя, раздувает конфликт. Золотой середины нет. Я ступил на минное поле, начиненное интеллектуальным и нравственным тротилом. Хотя я передвигаюсь по этому полю очень осторожно, я знаю, что в лучшем случае обойду мины, но разминировать его я не смогу. Я не согласен ни с кем, даже с собой.

Случайно родившись здесь, в Германии, я и по прошествии пятидесяти лет вижу себя закутанным в одеяло, сидящим на корточках в подвале. Я и сегодня могу отличить лай зениток от визга бомбы, падающей с неба. Порой во сне я слышу то нарастающий, то затихающий вой сирен — отвратительная музыка! Хорошо помню ужас, который испытывал при бомбежках: он и будоражил меня, и внушал апатию. А взрослые, что, напрягая слух и съежившись, сидели в подвале на скамьях и пережидали «зверские воздушные налеты», были частью «ни в чем не повинного гражданского населения». Слыша эти слова, я всякий раз погружаюсь в раздумье.

Когда гражданская война достигает апогея, выясняется, что большинство населения ее не хотело. Эти люди и сейчас хранят молчание. С ними никто не считается. При малейшей возможности они бегут с мест, где воюют. Женщины целыми днями бродят среди развалин в поисках горстки муки, нескольких картофелин, пары поленьев и озабочены тем, как бы увезти детей в безопасное место. Старики разгребают головешки на пепелищах. Небритые мужчины хоронят мертвых. Каждому из нас знакомы такие и еще более страшные картины. Эти люди не стреляют и не пытают захваченных в плен. На их серых, изможденных лицах не лежит печать ненависти к ближнему своему.

Но так было не всегда. С «ни в чем не повинными мирными гражданами», спасавшимися в подвале, в то время как зажигательные бомбы превращали город в море огня, произошла странная метаморфоза. Я знаю, как загорались глаза этих людей всякий раз, когда фюрер поднимался на трибуну и открыто говорил о своем замысле «начать в мировом масштабе беспримерную в истории борьбу не на жизнь, а на смерть и довести ее до победного конца». Я помню выражение их глаз, когда они за несколь-

ко лет до того наблюдали, как пылали синагоги. Без восторженной поддержки этих людей нацисты никогда бы не захватили власть.

Только слепцы могут считать, что это верно лишь в отношении немцев. Без той «фантастической энергии», без того «ощущения счастья», без того «экстаза», о которых пишет Билл Бафорд, пожар гражданской войны не может вспыхнуть ни под крышей нашего дома, ни около наших границ. Вначале всегда царит бурное ликование, будь то на трибунах того самого стадиона, будь то на улицах Ростока, Брикстона, Багдада или Белграда. Разжигатели войны нередко с огромным перевесом выигрывали выборы. Случалось даже, что избиратели вторично отдавали им голоса, оставляя их у кормила правления.

Лишь позже, много позже ответственность за совершенные преступления сваливают по всем нам известному образцу на того или иного бесноватого фюрера. Но кто, как не «ни в чем не повинные мирные граждане» нянчили разноликих фюреров, аплодировали им и молились за них? Снайпер в камуфляже, надзиратель в концлагере, молодчик, выкрикивающий нацистские лозунги, орущий народные песни, истово шепчущий молитвы, — все они не посланцы с другой планеты, а представители коллектива, который начиняет их злобой, жестокостью, жаждой мести. Лишь испытав на собственной шкуре опустошительные последствия своего поведения, «без вины виноватые» начинают что-то понимать.

VIII

Культура ненависти, обратная связь

Блажен, кто верует, что культура может сделать общество неуязвимым по отношению к насилию. Художники, поэты, музыканты, творившие в стиле модерн, теоретики этого направления в искусстве доказали обратное еще до начала XX столетия. Общеизвестно, с каким упоением они славили преступников и героев-одиночек с сатанинским блеском в очах, как настойчиво звали к разрушению цивилизации. От Парижа до Петербурга интеллигенция эпохи, именуемой fin de siècle, кокетничала с идеей всеобщего террора. Ранние экспрессионисты так же боготворили войну, как и футуристы. После первой мировой войны гимны насилию не зазвучали тише, скорее наоборот. Тысячи мастеров культуры начертали на своих знаменах лозунг: «Назад к варварству!» Писания маркиза де Сада были возведены в культ; поклонение им наблюдается и поныне. Эрнст Юнгер проповедовал очистительную силу гроз с дождем из стали, Селин заигрывал с антисемитски настроенной чернью. Для сюрреалиста нет ничего проще, заявлял Андре Бретон, чем выйти с револьверами в руках на улицу и, закрыв глаза, палить, палить, палить в толпу. Но насколько, спрашивается, серьезен культ насилия у европейских авангардистов? Их провокации свидетельствуют не только о лютой ненависти к существующим порядкам, но и о безграничном презрении к себе. Видимо, таким образом они компенсировали чувство собственного бессилия. Провокации помогали вырваться из тисков модернизации, угрожавшей авангардистам всеобщей нивелировкой. Не забудем и склонности к позерству; оно им было отнюдь не чуждо. Наконец, можно считать, что они действовали как РЛС раннего оповещения. В их восхищении — предчувствие грядущего. Впрочем, для разжигания военной истерии им просто не хватало опоры в массах.

Этого не скажешь об интеллигентиках-коммунистах и интеллигентиках-фашистах, мечтавших о поголовной ликвидации буржуазии, крестьянства, евреев, цыган и прочих инакомыслящих. Югославская интеллигенция доказала, что разжигание ненависти и идеологическая подготовка гражданской войны и ныне относятся к числу важнейших задач деятелей культуры.

Стандартизация массовой культуры на Западе привела к тому, что культ насилия и nostalgie de la boue[1] стали там всеобщим достоянием. В результате понятие авангардизма приобрело зловещий оттенок, чего зачинатели течения отнюдь не ожидали. Тогда, на заре движения, им бы и в голову не пришло, что вся эта рать люмпен-интеллигентов воспримет элитарные фантазии буквально и начнет имитировать их.

Между тем бойня, резня, избиение стали средством массового развлечения. Кино и видео соревнуются в том, чтобы сделать профессионального убийцу, террориста, захватывающего заложников, убийцу-маньяка героем дня, а существующий на государственные подачки театр, ковыляя позади индустрии, штампующей фильмы ужасов, пытается догнать ее спектаклями, от которых разит кровью и дерьмом. Плоская «картинка» выдает себя за «беспощадную конфронтацию, не делающую зрителю ни-

[1] Ностальгия по всему грязному (*франц.*).

каких скидок», за «смелую провокацию», за «целительный шок», но публика легко распознает лицемерие, рядящееся в тогу критицизма. А добрый старый рок плодит тем временем группы, названия которых говорят сами за себя — «Public Enemy»[1], «Slayer»[2], «Kahlschlag»[3], «Endsieg»[4], «Brutal»[5]. «Дебютный» альбом компании парней, именующей себя «Guns 'N' Roses»[6], назывался «Appetite for Destruction»[7] и разошелся тиражом в пятнадцать миллионов экземпляров.

Вандализм в цене и на рынке изобразительного искусства. Музеи приобретают граффити самого низкого пошиба. Неуемное желание испытать ужас выставляется напоказ. Речь идет, разумеется, об опосредованном наслаждении, соблазн испытать его возникает лишь благодаря удаленности от реальной жизни, и было бы наивно искать причинно-следственную связь там, где есть всего лишь стремление потрафить невзыскательному вкусу.

Используя атрибутику эстетически опустившихся кумиров, жаждущие крови юнцы давно не испытывают к ним никакого пиетета. Транс, в который их ввергают средства массовой информации, объясняется не желанием подражать, а обратной связью между отражением и действительностью. Многим из них кажется, что совершенные ими преступления вовсе не их рук дело, что убивают не они, а телевидение. В неспособности отличить реальность от «картинки» находят абсурдное подтверждение теории подражания.

Создавая личность, утратившую реальные черты, ее двойника, телевидение, радио, газеты как бы доказывают, что она тем не менее существует. Это следствие того патологического самоотвержения, диагноз которому поставила Ханна Арендт. Любой полоумный может рассчитывать сегодня увидеть себя на первой полосе «Нью-Йорк таймс» с наполненной бензином пивной бутылкой в одной руке и с вытянутой в фашистском приветствии другой, а вечером в программе новостей полюбоваться результатами своих деяний, совершенных накануне, — пылающими домами, изуродованными трупами женщин и детей, озабоченными лицами генералов-миротворцев. Так телевидение превращается в сплошные гигантские граффити, в протез, заменяющий личности ее изъеденное аутизмом Я.

IX

Бенгальские огни, чувство вины

Никогда еще так много не говорилось о правах человека, как в наши дни. Никогда еще не было так велико число людей, знающих о них в лучшем случае понаслышке. Всеобщая Декларация прав человека, по существу единогласно принятая в 1948 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, провозглашает в Преамбуле и тридцати статьях целый ряд политических и социальных прав, в том числе право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность, право на свободу мысли и совести, право на свободу убеждений и на свободное выражение их, право на социальное обеспечение, право на труд, а также право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния самого человека и его семьи. В довершение говорится : «Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены».

Коммунистические государства, ЮАР и Саудовская Аравия воздержались тогда от голосования, отдав хотя бы таким образом дань истине. Представители всех других государств, в том числе и тех, где гонения, цензура, угнетение и даже пытки были в порядке вещей, подписали Декларацию недрогнувшей рукой. И сегодня в ООН абсолютное большинство составляют страны с откровенно или замаскированно диктаторскими режимами. Демократические страны можно по пальцам перечесть, но и они почти все запятнали себя тем, что, начиная с 1948 года, вели колониальные войны и всегда были готовы поддержать любой диктаторский режим, если это сулило им выгоду.

Четыре пятых населения Земли живут в условиях, находящихся в вопиющем противоречии со звонкими формулировками Декларации. Ежегодно к ним прибавляются почти сто миллионов человек, обреченных на то, чтобы жить гораздо хуже, чем жили их родители. И тут цинизм гордо звучащих ООНовских постулатов очевиден. Таким

[1] «Враг общества». (*англ.*).
[2] «Убийца» (*англ.*).
[3] «Сплошная рубка, лесосека» (*нем.*).
[4] «Окончательная победа» (*нем.*).
[5] «Беспощадный, зверский» (*нем.*).
[6] «Винтовки и розы» (*англ.*).
[7] «Жажда разрушения» (*англ.*).

же издевательством над гражданами Советского государства была сталинская конституция 1936 года, гарантировавшая им все основные права.

Пусть европейцы и американцы пеняют на себя, что их сегодня со всех сторон ловят на слове: ведь именно они возвели права человека в политическую норму, сначала в 1776 году Декларацией независимости Соединенных Штатов Америки, а затем Декларацией прав человека и гражданина, провозглашенной в 1789 году в Париже. Чуть позже, в 1793-м, в разгар террора, целью государственной политики даже было объявлено достижение le bonheur commun — всеобщего счастья. Стремление к справедливости, готовность помочь и посочувствовать мы встречаем, разумеется, в тех странах, которые не могут похвастаться декларациями о свободе, равенстве и братстве, не реже, чем в Европе или Северной Америке. Бедные африканские страны приняли больше беженцев из «горячих точек» планеты, чем Европейское сообщество. Борьба за демократию идет на всех континентах. Что же касается ксенофобии и расизма, то тут богатые страны, от Японии до Соединенных Штатов, уверенно удерживают лидерство.

Красиво рассуждать об универсализме любят, однако, не только на Западе. Зато рожденные здесь в диспутах постулаты подлежат исполнению во всех регионах земного шара. Универсализм не знает расстояний, он безусловен и абстрактен. Идея соблюдения прав человека возлагает на каждого из нас поистине безграничные обязательства. В этом ее теологическая суть, которую не смогли выхолостить никакие секуляризации. Каждый должен быть в ответе за всех и стремиться быть подобным Богу, ибо это предполагает вездесущность и даже всемогущество. Поскольку, однако, наши возможности действовать отнюдь не беспредельны, разрыв между претензией и реальностью все увеличивается. И вот мы уже перешли границу, отделяющую нас от притворства и лицемерия. Выясняется, что универсализм всего лишь ловушка для простаков-моралистов.

Повсюду в мире, ежедневно и ежечасно, люди умирают с голоду, их истязают, насилуют, убивают, лишают крова, а вы спокойно взираете на все это, занимаетесь будничными делами, ничего не предпринимаете, короче, умываете руки, обращаются к нам проповедники универсализма, пуская в ход все свое красноречие. И этот упрек адресован как правительствам, так и обыкновенной домашней хозяйке, как великим державам, так и рядовому обывателю.

Да, мы все превратились в сторонних наблюдателей. Это отличает нас от предков — они жили слухами, если, конечно, сами не совершали преступлений, не были их жертвами либо очевидцами. О событиях за пределами своего поселения они знали лишь понаслышке. Еще в середине XX столетия мировой общественности ничего (или почти ничего) не было известно о величайших преступлениях нашей эпохи. Гитлер и Сталин сделали все, чтобы скрыть их. Геноцид шел под грифом «Совершенно секретно». В концлагерях не было телевизионных камер.

Ныне головорезы охотно дают интервью, а телевидение, радио, газеты гордятся репортажами с мест, где люди убивают друг друга. Гражданская война превращается в телесериал. Комбатанты выставляют напоказ совершенные ими преступления, явно рассчитывая повысить свой престиж. При этом они берут пример с угонщиков самолетов и террористов, специализирующихся на захвате заложников, ведь гангстеры подобного рода непременно требуют, чтобы их показали по телевидению, причем не иначе как в героическом ореоле. И средства массовой информации идут на это, обеспечивая бандитам общественное признание. Журналисты уверяют нас, что исполняют всего лишь профессиональный долг. Считается, что они с безжалостной непредвзятостью фиксируют события, а комментаторы сдабривают их репортажи эмоциями, главная их которых — возмущение.

Но к обвинению в равнодушии и безучастности неизбежно примешивается подспудная констатация другого факта: мы уже привыкли испытывать ужас, и то, о чем мы еще вчера не могли подумать, может произойти сегодня в любую минуту, где угодно. А значит, и в нашей стране. Фигура потенциального преступника, насмотревшегося фильмов-боевиков, известна каждому полицейскому. Нынче эти молодчики — фактор политической жизни. Поэтому, сообщая о преступлении, средства массовой информации вольно или невольно тиражируют его.

Если телеэкранный террор не делает тебя террористом, он делает тебя вуаёром, соглядатаем. Каждый из нас сегодня — объект перманентного шантажа. Ибо лишь превратив нас в очевидцев преступления, голосом, полным укоризны, можно задать вопрос: «А что вы, собственно, сделали, чтобы предотвратить его?» Так телевидение, самое коррумпированное из средств массовой информации, присваивает себе роль верховного судьи в вопросах общественной морали.

Обращенное ко всем нам требование что-то предпринять (но что?) и как-то действовать (но как?) влечет за собой массу непредвиденных последствий. Это требование к сообществу, которое провозгласило права человека и изобрело «угрызения со-

вести». Это требование к Западу, слывущему богатым и по-прежнему считающему себя оплотом цивилизации. Мораль — последний козырь евроцентризма.

Попробуйте заговорить с курдом или тамилом о проблемах Северной Ирландии либо Страны басков. Они посмотрят на вас с недоумением. Какое нам до этого дело, у самих забот полон рот — ответят вам скорее всего азиаты и будут, безусловно, правы. В психологический тупик попадают и зрители в американском Огайо, итальянском Пьемонте, германском Гессене, следя на телеэкране за разборками между кланами, «кликухи» которых им ничего не говорят. Переварить поток информации из «ящика» простому смертному не дано. Только узкие специалисты могут запомнить названия народностей, обретших свободу с распадом Советского Союза.

Тем не менее телевидение требует даже от продавщицы из супермаркета, чтобы она отличала ингуша от чеченца, а грузина от абхаза. Уже несколько лет не сходит с телеэкрана Нагорный Карабах, и мы вынуждены составлять себе представление о событиях в этом уголке земного шара, видя груды трупов. Нам приходится запоминать имена бандитов, которые, языка не сломавши, и выговорить-то нельзя, и беспокоиться о судьбе исламских сект, народных ополченцев в Руанде или противоборствующих сторон в Камбодже, хотя мотивы их действий нам никогда так и не понять. Считается, однако, что понять мы их обязаны, ибо в противном случае мы жестокосердые невежды и зажравшиеся эгоисты, которым наплевать на чужие страдания.

Воспринимая такие упреки, мы чувствуем смятение. Многие ощущают себя виноватыми и жертвуют значительные суммы в общественные фонды. Вы хотите обеспечить себе моральное алиби — говорят им. Филантропия, гуманитарная помощь — это лишь паллиатив, ловкий маневр для облегчения совести. Как, однако, угодить проповедникам добродетели — держится в секрете.

«Лекари», рассчитывающие сделать своих пациентов более восприимчивыми к горестям и бедам мира сего, увеличивая дозы снадобий, в лучшем случае наивны. Ведь они глушат таким образом в своих подопечных последний отголосок совести. Психика, перегруженная информацией, срабатывает как бумеранг. Телезритель чувствует свою некомпетентность и бессилие, замыкается в себе. Он игнорирует обращенные к нему призывы или даже встречает их с негодованием. Внутренняя самооборона не только понятна — она неизбежна. Никто ведь не знает, как должна выглядеть «правильная» реакция на массовые убийства, совершаемые денно и нощно.

Но и это не все. В фармакологии есть понятие неадекватной реакции. Неправильно или в слишком больших дозах принятое лекарство может вызвать нежелательный эффект. Нравственные требования, совершенно не соответствующие имеющимся возможностям как-то действовать и что-то предпринять, приводят в конце концов к тому, что люди, к которым они обращены, впадают в апатию и отвергают всякую мысль о своей личной ответственности. Так возникает позыв к варварству, перерастающий порой в агрессивность.

X

Зов на помощь. Бессилие попечителей

Чрезмерные требования предъявляются не только к людям, но и к политическим системам. Международный механизм прекращения то и дело вспыхивающих гражданских войн не выработан. Бессильными оказались и политологи-теоретики, и умудренные опытом дипломаты, и высокочтимая Организация Объединенных Наций, не говоря уж о Европейском союзе. Упреки в пассивности сыплются и на них. «Голубые каски» уже в пятнадцати странах мира. Политические издержки — колоссальны, мандаты — противоречивы, успехи — сомнительны. Даже если причины конфликтов вообще поддаются пониманию, миротворческие миссии их не устранят.

Посредничество предполагает у воюющих сторон желание и способность пойти на мировую. Они же обычно одержимы идеей вести войну до победы, даже если она кончается самоуничтожением. Поэтому арбитр должен учитывать, что может стать мишенью для всех бандформирований. В адрес организаций, оказывающих гуманитарную помощь, постоянно раздаются угрозы. Автоколонны с гуманитарными грузами подвергаются нападениям. Посредников подозревают в коварных замыслах, шантажируют, захватывают в заложники. Переговоры саботируют. Миротворческие контингенты подвергаются артобстрелу. Правительства, направляющие их в районы боевых действий, отказывают им не только в праве на применение силы для решения поставленных задач, но и в праве на самооборону.

Воюющим сторонам грозят применением санкций и введением эмбарго, однако угрозы эти не приводятся в исполнение. Еще ни разу не удалось взять комбатантов в

сплошное блокадное кольцо. Таких попыток даже не было, хотя именно военная блокада сулит наибольший успех. Отрезанные от мира, лишенные электроэнергии, без подвоза боеприпасов и продовольствия, без коммуникаций и притока капиталов, без транспортных средств противники выдохнутся буквально за несколько месяцев. Однако именно эффективность этого средства препятствует его применению. Уже после первых робких шагов страны, решившиеся на вмешательство, попадают, образно говоря, на скамью подсудимых, ибо изоляция военного очага неизбежно тяжело отражается на положении «ни в чем не повинного гражданского населения».

В результате авторитет «интервентов» стремительно падает. Тем не менее каждое вмешательство влечет за собой требование новых вмешательств. Почему в стране икс комбатантов усмиряют и примиряют, а страну игрек бросили на произвол судьбы? Сторона, терпящая в гражданской войне поражение, не понимает, почему внешний мир не спешит ей на помощь. Когда же в помощи отказывают, надежда оборачивается разочарованием, возмущением, злобой и даже жаждой мести. Подобную реакцию можно было наблюдать уже в первой четверти столетия, свидетельством чему «Петербургский дневник» поэтессы[1], датированный 1919 годом.

«Пусть убивают нас, губят Россию (и себя в конечном счете) невежественные, непонимающие европейцы... Абсурдно-преступное поведение Антанты (Англии?) продолжается... Очень хотели бы мы все, здесь живущие, в России, чтобы Англия поняла на своей шкуре, что она проделывает... Не бывало в истории. Все аналогии — пустое. Громадный город — самоубийца. И это на глазах Европы, которая пальцем не шевелит, не то обыдиотев, не то осатанев от кровей... Вот точная формула: если в Европе может, в XX веке, существовать страна с таким феноменальным, в истории небывалым, всеобщим рабством и Европа этого не понимает или это принимает — Европа должна провалиться. И туда ей и дорога».

Чем сильнее полыхает огонь гражданских войн, тем хлестче град упреков. Воздерживающихся от военного вмешательства обвиняют в дискриминации вопиющих о помощи и в варварском отношении к ним. В результате все больше обесценивается сама идея антиколониализма. С одной стороны, уважение суверенитета, независимости, невмешательство были возведены в ранг высших добродетелей. С другой стороны, западные державы объявляют ответственными за поддержание порядка в этом мире, так что истинный виновник всех бед выступает в роли потенциального избавителя от них, и — наоборот. Раздаются даже голоса, требующие реколонизации до статуса подмандатных территорий.

Это исключительный вариант проецирования, однако он очень удобен как способ защиты. В развязывании гражданских войн виноваты, мол, не местные князьки с их ратями, а те, что у власти за морями, за долами. И никого, похоже, не смущает, что целые народы таким образом объявляются «не достигшими совершеннолетия», что они выглядят марионетками в театре, имя которому мир. Это укрепляет чувство превосходства в бывших господах-колонизаторах, которые всегда относились к порабощенным народам, как к детям: им нельзя давать в руки опасных предметов, за ними нужен глаз да глаз. А классным надзирателем может быть только Запад. Ему и отвечать за все последствия своих действий.

В хаосе интервенций и миротворческих акций грозит потонуть различие между захватническими войнами и внутренними конфликтами, зафиксированное в международном праве. Именно с учетом этого были предприняты практические шаги во время войны в Персидском заливе, когда Ирак сначала напал на слабое соседнее государство, а затем подверг ракетному обстрелу далекий, совершенно не причастный к конфликту Израиль.

Антигитлеровская коалиция никогда бы не сложилась, если бы Гитлер ограничился истреблением граждан собственного государства. Никто в мире не выступал и против Сталина, пока он терроризировал только народы Советского Союза. «Холодная война» началась лишь после попытки экспортировать страх войны атомной.

Универсальная этика далека от того, чтобы учитывать столь элементарные различия. Она требует неограниченного применения силы, повсеместно и в любую минуту. Но у сторонников этой доктрины нет шансов на успех. Правительства стран — потенциальных миротворцев давно уже лишились поддержки собственного населения. Война в Югославии показала, что европейцы не хотят и не могут остановить кровопролитие. Роль мирового жандарма не по плечу даже такой сверхдержаве, как США. Ни чувства вины, ни денег, ни солдат нет в таком количестве, которого хватило бы, чтобы погасить пожар гражданских войн, полыхающий сегодня чуть ли не во всех регионах земного шара.

[1] Речь идет о Зинаиде Гиппиус.

XI

Антиномии. Приоритеты

В 1931 году гениальный Курт Гёдель доказал, что не существует математики без противоречий, опрокинув представление, бытовавшее у его коллег веками. С тех пор им приходится жить в убеждении, что нельзя вытащить себя за волосы из болота противоречивостей. А если это не удается сделать логикам с их изощренным умом, то как это может удаться тем, кто хотел бы с помощью простой аксиоматики разрешить постоянно возникающие антиномии[1] этики?

Пора распрощаться с фантазиями о всемогуществе нравственности. Ни обществу, ни индивидууму не уйти от проверки степени своей ответственности и определения приоритетов. (Здесь, видимо, не мешало бы пояснить, что такое приоритет. Ведь люди нередко разыгрывают из себя дурачков, как только замечают, что чьи-то взгляды не соответствуют их миропониманию. Так вот: слово «приоритет» не означает ни простого «или — или», ни необходимости выбора между альтернативами. Что должно произойти в первую очередь? Где я могу применить свои силы и способности наиболее эффективно? Каким вариантам отдать предпочтение? Вот и все о семантике. Надеюсь, ясно? Конец отступления для тугих на ухо.)

Проводить подобные различия — занятие трудное и неблагодарное. Слишком сильно противодействие определенных идеологических традиций. Попробуй заговори о конечности и относительности диапазона наших действий, как тебя тут же обзовут релятивистом. Но ведь втайне каждый знает, что должен в первую очередь позаботиться о своих детях, своих соседях, своем непосредственном окружении. Да и христианство всегда проповедовало любовь к ближнему, а не дальнему своему.

Попытки определить градацию ответственности — занятие отнюдь не зряшное. Издавна существуют такие явления, как усыновление и принятие на себя звания крестного отца или крестной матери, доказывающие, что речь идет необязательно о пространственной близости и тем более не о простом родстве, а об установлении тесной связи между оказывающим помощь и нуждающимся в ней. Это позволяет не только сконцентрировать материальные ресурсы и эмоциональную энергию. Отношения абстрактные уступают место конкретным. Всякая попытка оказать помощь или получить ее неизбежно приводит к конфликтным ситуациям. Разрешить их можно только в том случае, если обе стороны хорошо знают друг друга.

Однако в определении приоритетов есть обратная — темная — сторона, и было бы нечестно умолчать о ней. Французское слово Triage можно перевести как «сортировка», «отбор». Понятие, обозначаемое этим словом, возникло в военной медицине около двух столетий тому назад. После крупных сражений врачам надо было решать, как поступать с ранеными — в условиях бездорожья, при ограниченной вместимости лазаретов и недостатке терапевтических средств. Постепенно возобладало правило Triage, разделения на три части. Легкораненым оказывали помощь наспех, в тыл они должны были добираться сами. Безнадежных бросали на произвол судьбы. Лечили только тех, для кого это было необходимо и позволяло надеяться на успех. Дилемма, перед которой стояли эти врачи и целители, очевидна. Они подвергали себя моральному риску, с которым связано решение: жизнь или смерть. В интенсивной терапии и при пересадке органов подобные ситуации возникают и сегодня постоянно. Лишь злопыхатель может сравнить Triage с экспериментами эсэсовских медиков над людьми: в первом случае речь идет о спасении жизни, во втором — об ее уничтожении. Универсальных способов, обеспечивающих лечение всех пациентов на равных основаниях, не просматривается. Наоборот, в будущем тупиковых ситуаций такого рода будет, очевидно, больше и они станут острее.

В описанном выше экстремальном положении видна мучительная безысходность — неизбежный элемент современной этики ответственности. Идет ли речь о помощи голодающим, политическом или военном вмешательстве, депортации, массовой миграции обездоленных — все мыслимые варианты решения этих проблем приводят в конечном итоге к логике Triage, независимо от того, признаем мы это или нет. Однако и градация ответственности, сколь понятна ни была бы ее мотивировка, не показывает, как пройти по минному полю. Она может быть лишь паллиативом. Соблазну универсальных решений ей нечего противопоставить, кроме лишенной иллюзий прагматичности.

Никто не станет оспаривать, что солидарность со всеми страждущими мира сего — благородная цель. Хвала тому, кто этого действительно хочет и — делает. Однако достаточно взглянуть на свою собственную страну, чтобы понять, как готовность в

---

[1] Антиномия — противоречие между положениями, каждое из которых признается логически доказуемым.

любую минуту встать на защиту безбрежных идеалов добра и справедливости легко уживается с обыкновенным варварством, с будничной жестокостью. Немцам, например, не пристало выступать гарантами мира и соблюдения человеческих прав, пока молодчики на берегах Рейна и Эльбы даже средь бела дня избивают людей, поджигают дома, сеют страх и наводят ужас.

Мы не несем вины за кашмирскую проблему. По сути, не знаем подоплеки раздоров между суннитами и шиитами, тамилами и сингалами. Решать судьбу Анголы должны в первую очередь сами ангольцы. И прежде чем усмирять боснийских мусульман и сербов, мы должны вырвать корни, питающие ростки гражданской войны в собственной стране. Немцам следует сказать себе: Мы должны заниматься не Сомали, а Хойерсвердой, Ростоком, Мёльном, Золингеном. Это в наших возможностях, тут каждый может что-то сделать, за ситуацию отвечаем мы, и никто иной.

Не нужно быть немцем, тем более знать английский и латынь, чтобы понять значение слов: Hic Rhodus, hic salta![1] First things first.[2] Пожар сегодня у порога каждого дома.

XII

Мимолетное чудо

Не все одержимы манией убийства и разрушения. Не все хотят гибели других и своей собственной. Рано или поздно наступает день, когда у комбатантов уже больше нет сил истреблять друг друга. Им кажется — они достигли цели. Страна в развалинах, мертвые в могилах. И вот тогда-то появляются истинные герои гражданской войны: вид совсем не геройский, приходят незаметно, по телевидению их не показывают.

В уцелевшей мастерской калекам делают протезы. Женщины собирают тряпье — авось сгодится на пеленки. Шины разбитого грузовика режут на подметки. Починили водопровод, заработал генератор. Удалось раздобыть бочку бензина. По улице прошел почтальон. Мать, лишившаяся детей, приколачивает к дверям кусок фанеры с надписью «Кафе». Буквы, намалеванные яркой краской, видать издалека. Священник собрал возле церкви в сарае оборванных вчерашних вояк и налаживает с ними ремонт автомобилей. Жизнь неудержимо входит в мирную колею — до следующего раза...

И гражданские мини-войны не длятся вечно. После ожесточенного уличного боя приходят стекольщики, кто-то чинит покореженную телефонную будку, в переполненных больницах всю ночь не гаснет свет — хирурги спасают раненых.

Упорство этих людей похоже на чудо. Они знают, что не могут привести в порядок весь мир, а лишь его крошечный кусочек: обрушенный колодец, сожженный дом, искалеченное тело... Они знают даже, что убийцы вернутся, не через неделю, так через год, не через год, так через десять лет. Гражданские войны вечно не длятся, но угроза их не проходит.

Сизифа хотели сделать героем-экзистенциалистом, бунтарем-одиночкой с дьявольским пламенем в очах, сверхчеловеческой трагической фигурой. Этот замысел вряд ли можно назвать удачным. Сизиф — скорее будничная, а потому гораздо более значительная фигура. Древние греки считали его имя сравнительной степенью прилагательного sophos, что значит умный. Гомер назвал его даже умнейшим. А он был фокусник, а не философ. Рассказывали, что ему удалось заковать в цепи Смерть, положив тем самым конец убийствам. И убийств не было до тех пор, пока Арес, бог войны, не освободил безносую и не выдал ей Сизифа. Но Сизиф перехитрил Смерть и во второй раз — вернулся из царства теней наверх, к людям. Дожил он до глубокой старости.

Потом, в наказание за свой человеческий разум, он должен был вновь и вновь вкатывать на гору тяжелый камень. И камень этот — мир.

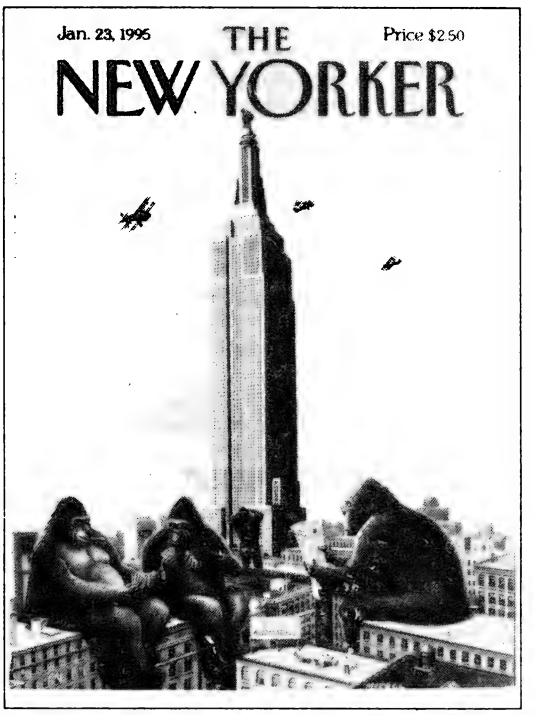
■

[1] Здесь Родос, здесь прыгай! (*лат.*)
[2] Начни с себя (*англ.*).

Литературная пресса мира

ЖУРНАЛ, НАЗЫВАЮЩИЙ СЕБЯ «ЛУЧШИМ В МИРЕ»

К 70-летию «Нью-Йоркера»



Выпуск подготовил **ПЕТР ВАЙЛЬ**

Джентльмен в цилиндре разглядывает в лорнет порхающую бабочку — этим рисунком над оглавлением каждого номера задается интонация журнала «Нью-Йоркер». Разумеется, не стоит слишком нагружать символикой фирменный знак, рассуждая о том, что бабочка эфемерна, а взгляд рассеян и чуть брезглив. Пожалуй, обратим лучше внимание на то, как ловко все сидит на джентльмене, сколько спокойного достоинства в его осанке, как непринужден и свободен его жест.

Изящество и легкость при сохранении респектабельности — неписаный девиз «Нью-Йоркера» на протяжении уже 70 лет.

Приверженность единой стилистической традиции подчеркивается внешним оформлением — обложкой, шрифтом заглавия и рубрик. Они практически не меняются, и если сейчас в киоске выложить номер «Нью-Йоркера» 30-х годов, его наверняка купят, сгоряча не поглядев на дату. Среди современных броских изданий этот журнал выделяется старомодной скромностью и выглядит оттого островком стабильности.

Между тем читатель, воспитанный в русской журнальной традиции, наскоро перелистав один-два выпуска «Нью-Йоркера», возможно, сочтет его легковесным. И будет отчасти прав. Но лишь отчасти, лишь со своей привычной точки зрения.

В Америке есть толстые литературные журналы на российский манер, но они существуют на периферии культурного процесса: не там создаются имена и репутации, не там читающая публика узнает об изменениях тенденций и направлений. Образованный класс раскрывает «Нью-Йоркер» в желании охватить сразу все происходящее во всех сферах социально-культурной жизни.

Такой широкий охват журнал обеспечивает, причем достаточно оперативно.

«Нью-Йоркер» — еженедельник с нынешним тиражом в 800 тысяч экземпляров. Без корешка, но толстый: обычно 110 — 130 страниц. Правда, количество рекламы и характер материалов могут сильно варьировать объем: то снижая до 90 страниц, то, наоборот, увеличивая до 160, а в специальных выпусках и до 200 с лишним.

Непривычно для русского читательского обихода и содержание. «Нью-Йоркер» — и литературный журнал, и не совсем, и даже совсем не. Проза, стихи, очерки, раздел критики с проблемными статьями, эссе и рецензиями — и рядом: светская хроника, заметки по вопросам бизнеса и права, актуальная общественно-политическая передовая, письма, статьи на острые злободневные темы, кино- и театральные рецензии, обозрение телепередач, карикатуры, городские сплетни, практичес-

кая аннотированная информация о спектаклях, фильмах, концертах, выставках данной недели.

Разброс впечатляющий — что возможно трактовать противоположным образом, в зависимости от вкусов трактующего. Но несомненно одно: как бы ни были пестры рубрики, они наполняются качественными текстами. «Он печатается в «Нью-Йоркере» — этим в Штатах сказано очень много. Эссе и рассказ, предлагаемые вниманию читателей «ИЛ», представляются показательными для «Нью-Йоркера».

При всех переменах последнего времени, о чем еще пойдет речь, престиж журнала остается незыблем и весьма высок — выше всех в стране, и попасть на эти страницы считают за честь известнейшие писатели, критики, публицисты. Оттого, надо думать, в русле американской идеи самодостаточности «Нью-Йоркер» уверенно рекламирует себя как «лучший журнал в мире». Любопытно, что с этим согласны очень многие авторитеты, в том числе и неамериканцы.

Разгадка особой репутации «Нью-Йоркера» — не просто в качестве, а в установке на стиль. Эпитеты «добротный», «основательный» — не из этого лексикона. Тексты обязаны быть не только хорошими, но непременно — блестящими. В крайнем случае — поблескивающими. Такими, чтобы на них, забыв о бабочке, с увлечением направил свой лорнет изящный джентльмен в цилиндре.

П.В.

ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ И СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА

Интервью с заместителем главного редактора журнала «Нью-Йоркер»
***ХЕНДРИКОМ ХЕРЦБЕРГОМ** ведет МАРИНА ЕФИМОВА*

— Мистер Херцберг, «Нью-Йоркер», как известно, был основан в 1925 году журналистом Геральдом Россом. Почему был выбран именно этот момент для создания журнала? Что нового предлагал в то время американскому читателю такой журнал?

— Двадцатые годы в Америке были годами экспериментирования — и социального, и культурного: достаточно сказать, что это время называют «эпохой джаза». Я бы назвал ее еще и «эпохой урбанизации культуры». И дело не только в архитектуре. Я имею в виду новый дух культуры — ироничность, интеллект, широта взглядов, интерес к международным проблемам (который пришел на смену изоляционизму)... Примерно таким был рождавшийся тогда стиль американской городской элиты. И новый журнал стал выразителем этого нового стиля. Так что его тогдашняя популярность неудивительна. Удивительно, что он сохранил популярность и в 30-е годы, которые были уже совсем другими...

— Вы имеете в виду депрессию?..

— Я имею в виду дух социального и политического недовольства, связанный с «Великой депрессией»... Тон 20-х годов звучал тогда уже как плохо настроенный рояль. Но основатель журнала Геральд Росс сумел быстро почувствовать перемены, перестроиться, и журнал благополучно пережил этот тяжелый период... как и все последующие...

— Я полагаю, мистер Росс был очень талантливым журналистом...

— ...и выдающимся человеком. Ведь он даже не был ньюйоркцем, а происходил из глубокой провинции — из шахтерского городка в штате Колорадо... Росс был то, что мы называем «рафнэк», «жестоковыйный» — драчун, задира, человек, который не боится и даже любит всякое противоборство... Одним словом, ковбой... Такой человек, казалось бы, не очень подходил для создания элитарного журнала, но он прошел всю первую мировую войну военным корреспондентом, побывал в Европе, пожил в Нью-Йорке... И вот — загорелся идеей журнала...

— А как возникло лого журнала «НЙ», вот этот рисунок, который всегда помещается над оглавлением, — джентльмен в цилиндре и с лорнетом, по имени Юстас Тилли? Он, кстати, напоминает карикатуру на петербургского сноба пушкинских времен...

— Совершенно верно, он чувствовал бы себя уютнее в Москве или Петербурге девятнадцатого века, чем в Нью-Йорке двадцатого... Юстас Тилли — это как бы дружеский шарж на «истинного денди», который чрезвычайно точно представлял характер журнала. Карикатурист Рэй Эрвин в свое время просто нарисовал его для обложки первого выпуска журнала. Однако персонаж этот стал, как известно, символом «НЙ».

— Кстати, в обеих энциклопедиях, и «Американе» и «Британике», в статьях, описывающих ваш журнал, на первое место ставится его юмор и только на второе — уровень литературных произведений. Что вы об этом думаете?

— Так было вначале. Потом соотношение постепенно менялось, и сейчас, я бы сказал, на первом месте журнализм, на втором — литература, и на третьем — юмор. Но все эти три компонента по-прежнему присутствуют. Вот как раз перед беседой с вами мы с главным редактором Тиной Браун отбирали для журнала карикатуры. Так что я полчаса подряд смеялся...

— *Опишите, пожалуйста, одну из тех, которые вы отобрали.*

— Человек падает, поскользнувшись на банановой кожуре, и один зевака говорит другому: «Надеюсь, он подаст за это в суд на клинтоновское правительство?»

— *Но это политическая, злободневная шутка... Моя любимая карикатура относится к концу 70-х, однако, по-моему, она и сейчас точно вышучивает ментальность нью-йоркских интеллигентов: компания сидит в гостиной, а за диваном стоит страшное чудовище. И один из интеллигентов говорит: «Спокойно... все нормально... мы избавляемся от него, разговаривая о нем...» Мистер Херцберг, в России есть традиция литературных журналов, которые, в общем, формируют вкусы читающей публики. Можно ли в Америке назвать таким журналом «НЙ»?*

— Конечно, в смысле литературных вкусов «НЙ» — один из самых влиятельных американских журналов, рассчитанных на массового читателя. В нем — самый большой беллетристический отдел. А тираж «НЙ» все же солидный — 800 чысяч экземпляров... Беллетристика — настолько важная составная часть журнала, что начиная с прошлого года мы стали издавать ежегодное литературное приложение... В «НЙ» печатались не все, но очень многие писатели, ставшие уже классиками: Джон О'Хара, Сэлинджер, Дороти Паркер, Трумэн Капоте, Чивер, Джон Апдайк... Между прочим, и Стивена Кинга «НЙ» напечатал первым... А из русских у нас были Владимир Набоков и Иосиф Бродский...

— *В «НЙ» было опубликовано несколько рассказов и еще одного моего соотечественника — Сергея Довлатова. И Сергей рассказал, как один из американских литературных друзей шутливо объяснял ему его удачу. «Ваши рассказы, — говорил он, — точно соответствуют уровню нынешнего «НЙ». Если бы вы писали чуть хуже... или чуть лучше (!)... они бы вас не взяли...» Как можно определить те рамки, тот литературный уровень, который приемлем для «НЙ»?*

— Это трудно сформулировать, потому что проверочным эталоном является такая неуловимая вещь, как вкус литературных редакторов «НЙ». И они, надо сказать, мало заботятся о том, чтобы сформулировать свой подход. Но приблизительно я бы определил стандарт прозы журнала «НЙ» так: это тонкое, даже изысканное описание мира американской элиты — тех, кого мы называем верхушкой среднего класса... необязательно описывать их самих, но во всяком случае то, что составляет круг их интересов...

— *Кто же из известных писателей не подошел под этот стандарт?*

— Мне помнится, Филип Рот, например, ни разу у нас не печатался... Курт Воннегут, Норман Мейлер...

— *Но неужели вкусы редакторов журнала все эти десятилетия остаются неизменными?*

— Во многом — да. Но некоторые изменения явно произошли. Скажем, еще недавно редакторы «НЙ» были невероятно строги в своих требованиях к литературному языку: у нас не допускались не только бранные слова, но даже вульгаризмы и сленг. Нормана Мейлера главным образом потому и не печатали, что он отказывался выбрасывать нецензурные слова... Но сейчас мы стали много терпимее и, я полагаю, с большим удовольствием опубликовали бы работы мистера Мейлера. Так что по крайней мере *этот* стандарт изменился...

— *Насколько я знаю, при жизни основателя журнала Геральда Росса, то есть до конца 50-х, в «НЙ» не было политического раздела, того, который одно время назывался «Notes and Comments» («Заметки и комментарии»), а сейчас — «Comment» («Комментарий»).*

— Это не совсем так. Раздела не было, но политическая ориентация журнала более или менее выявилась еще при жизни Росса, в 40-х, хотя не по его инициативе, а по инициативе его тогдашнего заместителя Уильяма Шона...

— *И как бы вы определили эту ориентацию?*

— С самого начала, с 40-х годов, политическая позиция журнала по всем спорным вопросам была либеральной, а в *наше* время журнал придерживается направления, я бы сказал, *радикального* либерализма.

— *Может ли журнал отвергнуть какого-то автора за его политические воззрения?*

— В разделе «Комментарий» мы представляем определенный спектр политических взглядов — либеральных, как я уже сказал. Так что если статья на *политическую*

тему выходит за пределы этого спектра, мы ее не опубликуем... Но *литературное* произведение не может быть отвергнуто по политическим причинам (за исключением каких-нибудь невероятных крайностей). И проза и репортажи журналистов отвергаются только в том случае, когда они в профессиональном отношении не дотягивают до уровня журнала...

— *Сергей Довлатов рассказывал историю, как из одного его рассказа, напечатанного в «НЙ», был выкинут абзац, который можно было бы назвать «антисоветским», причем даже без ведома автора. Это было в середине 80-х...*

— К счастью, меня еще тогда не было в журнале, и я ничего не знаю об этой истории. Но уверяю вас, что с конца 80-х ничего подобного случиться не могло... Вообще же говоря, у журнала «НЙ» неплохой послужной список в борьбе с коммунистическими режимами...

— *В одном из сравнительно недавних номеров «НЙ» была большая статья Дэвида Ремника о нынешней русской литературе. Это обычная практика журнала — печатать такие обзоры о новинках иностранной литературы или просто нам повезло?*

— Это не так уж необычно, но, конечно, Россия и русская литература особенно важны для нас, и мы довольно часто публикуем материалы, связанные с Россией... Так что мы очень обрадовались, когда Дэвид Ремник захотел написать о сегодняшней русской литературе. Мы опубликовали и другую его статью — о Солженицыне, еще до возвращения писателя в Россию... В некотором смысле русская литература в Америке — не такая уж и «иностранная». Американцы читают немногих зарубежных писателей, но из тех, кого они читают, русские авторы занимают одно из самых важных мест. Не только классики, но и современные писатели, особенно те, кого было принято называть «диссидентскими»... Впрочем, к счастью, этого понятия больше не существует...

— *Вы упомянули новое ежегодное литературное приложение к журналу «НЙ». Почему вы решили его издавать?*

— Дело в том, что сейчас, по решению нашего нового главного редактора, Тины Браун, мы стали публиковать в журнале меньше беллетристики, чем обычно, — по одному рассказу в каждом номере (а раньше их было два)... И ежегодное литературное приложение призвано возместить эту потерю и, кроме того, показать нашим читателям, что редакция журнала по-прежнему высоко ценит художественную литературу.

— *Тогда почему вы сократили число рассказов, публикуемых в каждом номере? Разве у читателей журнала упал интерес к серьезной литературе?*

— Ну, в общем, да. Литературные произведения больше не производят сенсации, как это бывало раньше. В дни моей юности, когда в журнале появлялся рассказ Сэлинджера, все только об этом и говорили... Читатели мчались к киоскам и раскупали весь тираж... Сейчас такого не случается.

— *Вы это объясняете падением литературного вкуса публики или отсутствием писателей масштаба Сэлинджера?*

— Отчасти я объясняю это тем, что многие талантливые люди, которые раньше стали бы писателями, сейчас идут в кино, в телевидение... Кроме того, журналистика приобрела, конечно, небывалую силу и масштаб — очевидно, из-за стремительного темпа жизни, из-за наплыва событий, которые чрезвычайно важны для людей сейчас, сегодня... А литература занимается «вечными темами», и хотя в конечном счете они гораздо важнее для человека, чем злободневные темы, но повернуть внимание современного читателя в их сторону, отвлечь его от сиюминутных дел стало гораздо труднее, чем раньше... Что касается литературного приложения, то его покупают те, кто действительно любит серьезную прозу. Первый, пробный номер вышел прошлым летом и имел такой успех, что было решено сделать его ежегодным.

— *Мистер Херцберг, какие еще перемены принесла с собой в журнал новый главный редактор — Тина Браун? Я знаю, что до этого она вела журнал «Ярмарка тщеславия» — больше светский, чем литературный или общественно-политический.*

— Я думаю, что те преобразования, которые внесла Тина Браун, никак не повредили сути «НЙ» и не изменили его традиций. Но перемены, конечно, есть. Например, воспользовавшись тем, что это еженедельник, Тина Браун внесла в журнал больше злободневных материалов, создавая в каждом номере разнообразную смесь жанров и тем. В изобразительном плане журнал стал более красочным, увеличилось количество иллюстраций, появились фотографии. Естественно, его обложка осталась в том же стиле, то есть легко узнаваемой, но гораздо более яркой... С приходом Тины Браун число подписчиков журнала увеличилось с 600 тысяч до 800 тысяч... Журнал ожил. Мы недавно получили характерное письмо от одного читателя, который пишет: «Я заметил в последних номерах журнала несколько опечаток. Очень этому рад, потому

что это значит, что я стал читать журнал внимательней и от корки до корки, а не перелистывать на досуге, как раньше...»

— *Как бы вы определили нынешнее финансовое положение журнала?*

— Пока мы все еще теряем деньги, хотя и меньше, чем раньше. Дело в том, что «НЙ» — единственный в своем роде журнал. С одной стороны, он массовый, с другой — рассчитан на квалифицированного читателя: и по серьезности статей, и по уровню литературных произведений, которые часто бывают авангардными, экспериментальными... Другие журналы такого рода обычно издаются значительно меньшим тиражом. Так что сейчас, в сущности, решается вопрос — достаточно ли в Америке читателей, которым доступен уровень «НЙ»...

— *Ну и какую судьбу вы предсказываете серьезным журналам в Америке?*

— Малотиражные журналы, такие как «Нью-Йорк ревью оф букс», «Нью рипаблик», в общем, в безопасности: чтобы выжить, им достаточно какой-нибудь сотни тысяч читателей. Гораздо труднее придется таким журналам, как «Харперс», «Атлантик», «Эскуайр»... Что касается «НЙ», то одно могу сказать: мы скорее предпочтем выйти из бизнеса, чем занизить стандарты в угоду публике. Потому что иначе «НЙ» перестанет быть «НЙ».

СОЛИДНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Карикатуры «НЙ» — особое явление в... Вот тут возникает затруднение: в американской периодике? в американском юморе? Да нет, пожалуй, надо сказать решительно: в американской жизни. Во всяком случае, в жизни того слоя общества, который задает тон на верхах — в большой политике, большом бизнесе, академическом мире, в миновавших стадию богемы художественных кругах. Это — респектабельная публика. Крутой солидняк.

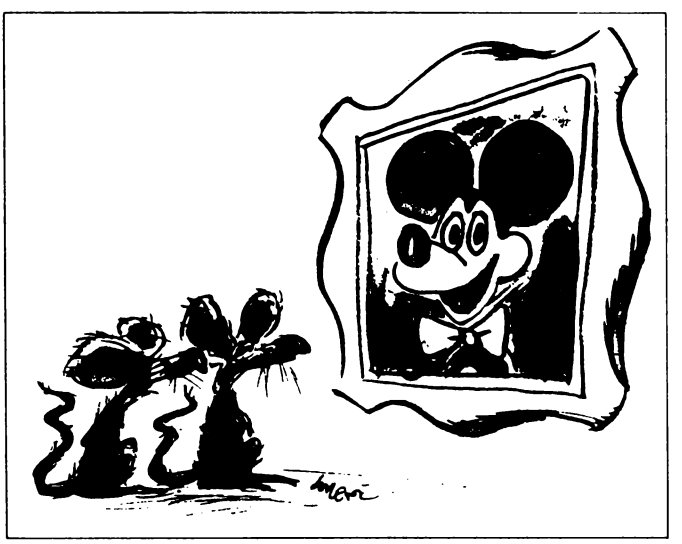
Альбомы карикатур из журнала регулярно выпускаются отдельными изданиями. Более того, выходят и пользуются успехом тематические сборники: «Собаки «Нью-Йоркера», «Коты «Нью-Йоркера», «Юристы «Нью-Йоркера», «Врачи «Нью-Йоркера». Обратим внимание на последние заглавия: две самые высокооплачиваемые профессии в Америке и их клиентура — вот кто рассматривает картинки, подписываясь на журнал и покупая такие альбомы-антологии.

Рисунки, которые представлены здесь, очень отличаются друг от друга: собственно, они и подобраны так, чтобы представить основных художников «НЙ» с их темами и манерами в достаточно широком диапазоне. Но при всем различии их объединяет некая старомодность.

Вообще в «НЙ» есть и броский, динамичный современный стиль журнальной графики — но для, так сказать, служебной надобности. Таким образом, например, оформлен раздел «Что происходит в городе»: иллюстрации к сообщениям о премьерах театра и кино, вернисажах и концертах.

Что же до художников, выступающих самостоятельными авторами, то они вполне соответствуют общему стилю журнала. Их юмор — сдержанный, мудрый, с оттенком меланхолии и легкого абсурда: короче, юмор английской традиции. С известной приблизительностью этот стиль можно определить так: солидная элегантность.

Майкл Джексон среди подписчиков «НЙ» не числится.



— Ну ладно, живая легенда. А что он сделал для своего народа?

Рис. Ли Лоренца

(28.11.94)

— Мы решили примириться с недостатками друг друга: я без ума от орешков, а Джек вечерами уходит из дома и возвращается только под утро.

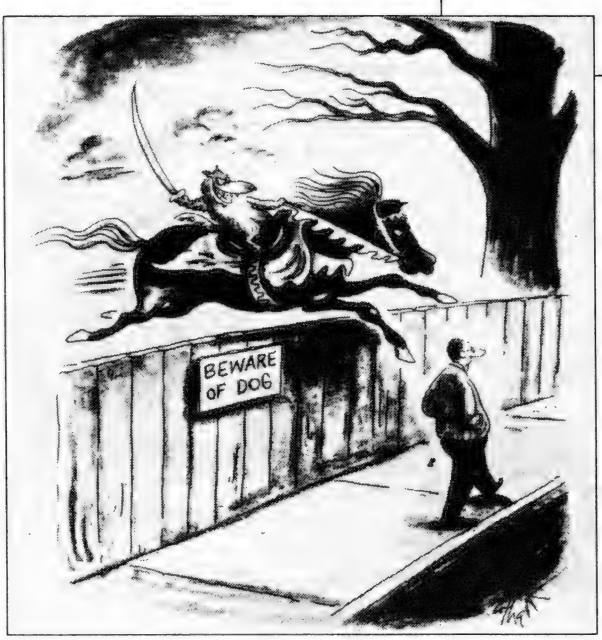
Рис.Роберта Уэбера

(12.12.94)

— Бабушка, зачем у тебя такой большой адвокат?

Рис. Дэнни Шенахана

(31.04.94)



Надпись: "Берегись! Злая собака".

Рис.Фрэнка Готама

(14.11.94)

ЖУРНАЛ В АМЕРИКЕ

*Беседа **ИОСИФА БРОДСКОГО** с ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ*

— Иосиф, вы очень часто печатались в «Нью-Йоркере». Как это произошло технически? Кто кого обнаружил?

— Как правило, стихи предлагались переводчиками, чаще других в 70-е годы — Джорджем Клайном. И видимо, то, что им предлагалось, как-то отвечало эстетическим стандартам «НЙ». Стандарты эти во многом определял такой замечательный поэт Ховард Моос, много лет возглавлявший отдел поэзии. Очень грубо, очень приблизительно русский аналог такого стиля — Ходасевич. Ходасевич, если б он выработался в академического поэта. То есть при всем различии публиковавшегося материала направление «НЙ» можно было бы охарактеризовать как ходасевичевскую ноту.

Я концентрируюсь, может быть излишне, на изящной словесности, но это то, что мне интересней.

При определенной выбранной тенденции журнал стремился тем не менее к стилистическому разнообразию, и там печатались авторы с разными стилистическими манерами. Что еще важно: вполне знаменитые литераторы Америки посылали туда свои вещи и очень часто получали отказ. Иными словами, идолов не существовало. Имя не срабатывало, чем этот журнал и замечателен. Там отказывали и Одену, и Фросту. Принципом был определенный эстетический критерий, а не табель о рангах.

— «НЙ» себе цену знает и ведет себя с большим достоинством, если не сказать — заносчиво. Что вы скажете о его известной рекламе — «лучший журнал в мире»?

— Ну, для этого надо знать мир лучше, чем я. Но вполне может быть, что они и правы. И уж по крайней мере, верно, что это лучший журнал в Соединенных Штатах. Был точно лучшим. Я употребляю глагол «был» потому, что сейчас журнал не тот, что раньше. Я не хотел бы говорить об упадке, но безусловно — об определенном спаде или перемене тенденции, ориентации.

— В «НЙ» множество разных рубрик и разделов, и как раз теперь их становится все больше. Но его главным козырем, создавшим высокую репутацию, всегда была литература — проза и поэзия.

— Главным достоинством или — извиняющим обстоятельством. О поэзии можно поговорить отдельно. Стихи, публиковавшиеся в «НЙ», как бы задавали тон на протяжении, по крайней мере, всего послевоенного периода. До недавнего времени существовало понятие «New Yorker poem» — стихотворения из «НЙ». Речь в этом случае шла о высоком техническом уровне текста, о качестве исполнения, внимании к детали и о некоторой сдержанности тона.

Уровень задавался тем, что лучшее в литературе Соединенных Штатов появлялось именно там. А оттуда это поступало как бы обратно в страну. Напечататься в «НЙ» всегда считалось большой честью прежде всего из-за тиража, но также и потому, что там платили лучше, чем где бы то ни было.

— Из литературных журналов до сих пор один только «НЙ» платит прилично. А другие, вроде «Атлантик мансли» или «Партизан ревью», — немного.

— В общем, да, хотя смотря за что. За статьи, имеющие социальный резонанс или содержащие качественно новый информационный материал, — довольно хорошо. Но «НЙ» и тут их, конечно, превосходит. И за стихи там платят гораздо лучше, чем остальные. Тоже не Бог весть сколько, но тем не менее.

— «НЙ» тем и уникален, что сочетает высокий художественный уровень с высокими гонорарами. Часто это вещи разные. В «Плейбое», скажем, дают большие деньги, и время от времени там публиковались серьезные авторы — Набоков, между прочим, — но системой это так и не сделалось. В то же время во всем мире всегда были издания, где платят мало, но напечататься там престижно. То же самое ведь и в Штатах.

— Есть, например, «Нью-Йорк ревью оф букс» («Нью-Йоркское книжное обозрение», еженедельник форматом газетного таблоида с книжными рецензиями, литературными статьями, эссе. — *П.В.*). Я неоднократно слышал высказывания людей очень преуспевающих — наиболее энергичным образом высказываются о деньгах богатые люди — что-нибудь вроде: нет, я не могу себе позволить печататься в «Нью-Йорк ревью оф букс». Потому что они платят за статью 300 — 400 долларов, тогда как в «Эскуайре», скажем, можно получить шесть-семь, что называется, кусков. Но при всем том «Ревью оф букс» выдерживает высокое качество и остается чрезвычайно достойным — при всех его леволиберальных наклонностях — предприятием.

Есть еще такой довольно толковый журнал «Хадсон ревью» (общественно-литературный ежемесячник. — *П.В.*).

— Но что касается вашей основной специальности — стихи в этих изданиях появляются не так уж часто.

— Стихи печатают везде мало и неохотно. Но, к примеру, в журналах империи «Конде-Наст» (концерн, владеющий многими роскошно изданными модными журналами, в частности «Вогом». — *П.В.*), если дело доходило до поэзии, то там платили очень много и могли появляться хорошие вещи. Например, замечательные стихи «В молочном лесу» и, кажется, «Рождество в Уэльсе» Дилана Томаса были напечатаны однажды в журнале «Мадемуазель». Это было в начале 60-х, и это, конечно, уже отклонение от нормы.

— Вроде Набокова в «Плейбое», даже еще более экзотично. Пожалуй, теперь подобное отклонение и вовсе невозможно.

— Вероятно. Был такой период в культурной истории Соединенных Штатов, когда наблюдался расцвет литературных журналов,— 50-е, 60-е, до середины 70-х. Изменение этой картины объясняется разными причинами. Прежде всего, я думаю, демографическими сдвигами. Затем финансовые соображения: все подорожало — печать, но особенно распространение, — что в сильной степени связано со скачком цен на нефть, со всеми этими опековскими мероприятиями в 70-х.

Я помню, ехал в то время как-то в машине по Парк авеню, вечером. В середине Парк авеню стоит, как вы знаете, небоскреб — «ПанАм-билдинг», всегда очень освещенный. Он уже не ПанАм, кстати, это тоже связано (крупнейшая авиакомпания Америки ПанАм прекратила свое существование в конце 80-х. — *П.В.*). Ночные нью-йоркские небоскребы для литератора с каким-то опытом, особенно стихотворчества, — зрелище. Мне они всегда напоминали сильно использованную копирку — знаете, когда ее смотришь на свет, там такие дырочки. И вдруг я вижу — копирка эта черная. И я подумал: да, и для нашего бизнеса все эти нефтяные дела ничего хорошего не сулят.

— Но главной причиной упадка литературных журналов вы назвали «демографические сдвиги». Насколько я могу судить, речь идет об омоложении общества, что сопровождается сгущением информационного потока и распространением массовой культуры, ее демократизацией.

— Все это в полной мере относится уже к 80-м. Пришло новое поколение образованных людей, стремящееся, грубо говоря, к удовольствию. Так называемые «яппи». Молодые преуспевающие люди. МПЛ.Им для преуспеяния — как для профессионального, так и для социального, — требовались некие сжатые основные познания в разных областях. И они, к примеру, читали не книги, а рецензии. Чем короче рецензии, чем стремительнее — тем больше ты поглощаешь информации, тем быстрее узнаешь о разнообразных предметах.

В том районе Нью-Йорка, где я прожил двадцать лет, Гринич-Виллидж, чуть не в каждом квартале были книжные магазины. Знаменитая 8-я улица вся практически состояла из книжных магазинов. Но в начале 80-х они начали исчезать. Публика стала покупать меньше книг и больше журналов. Разница в том, что популярный журнал, помимо того, что информирует, — еще развлекает. Журнал типа «НЙ» — увлекает. Увлекал.

— Вы снова вводите прошедшее время, говоря о «НЙ». Вы хотите сказать, что в последнее время журнал меняется в «развлекательном» направлении?

— «НЙ» пытается приспособиться к новым временам. К новой читательской аудитории, ориентированной на карьеру и на получение быстрых суммарных сведений по поводу общественных взглядов и эстетических стандартов.

— Таким образом, приход в «НЙ» Тины Браун в качестве главного редактора не случаен — ведь она пришла из «Vanity Fair», «Ярмарки тщеславия»: само название говорит о чем-то.

— Тот журнал она гальванизировала и превратила в то, к чему нынешние периодические издания стремятся. Это мода, светская жизнь, политика — но политика на уровне скорее слухов. То есть это глубоко буржуазное издание. Оно чрезвычайно привлекательно, возразить нечего: буржуазные стандарты — двигатель общества, то, к чему масса всегда стремится.

Сознание читательской среды можно уподобить женщине, покупающей «Вог». Может, она и дурнушка и ей не по карману все эти шифоновые платья, но все равно она покупает модный журнал для ощущения, что, по крайней мере, в курсе дела, ну и приобщилась.

— Примерно так обстоит дело со спортивным болельщиком, который смотрит состязания, некоторым образом отождествляясь с атлетами. Но ведь все это относится все-таки к типу «Vanity Fair», а не «НЙ».

— «НЙ» таким журналом не был, но теперь становится. У нас на глазах. Это началось с увольнения его главного редактора, занимавшего этот пост на протяжении тридцати, кажется, лет — мистера Шона. Уильям Шон, но его всегда так все и

звали — мистер Шон. Ему «НЙ» обязан своей репутацией более, чем кому бы то ни было. Но сменились хозяева, и пришел новый главный редактор, Роберт Готлиб, который стал менять «НЙ» в ту приблизительно сторону, что и Тина Браун сейчас. Но он, видимо, делал это недостаточно энергично.

— Вы публиковали и публикуете в «НЙ» не только стихи, но и статьи, причем довольно специальные и довольно сложные. Вот сравнительно недавно было напечатано очень большое эссе о Фросте, никак не популярное, которое, я думаю, «Эскуайр» ни за что бы не взял. Я хочу сказать, что «НЙ» если и демократизировался, то не до последней степени.

— Нет, конечно. Но, боюсь, это все скорее метастазы прошлого. Атавизм. Как раз с помощью таких атавистических выпадов журнал и поддерживает свою шатающуюся репутацию.

— Лет через пять могут и не захотеть напечатать такую статью?

— Скорее всего. Они и в этот раз сначала предложили статью о Фросте сократить. Я категорически отказался, что в этом бизнесе вообще-то неслыханно — настолько автор считается заинтересованным. Я объяснил, что возражаю, во-первых, в принципе, потому что не для того пишется, чтобы сокращать. А во-вторых, потому, что я не хочу уступать пространство, которое принадлежит литературе, — телевизионным обозрениям. Тому, чем «НЙ» пытается привлечь массового читателя. Телевизионная реальность — действительно одна из самых важных для человека, живущего в Соединенных Штатах. Может быть, следующая сразу за зарплатой и продуктовым магазином, а может, и их опережающая. Но подробно обсуждать телепередачи в литературном журнале — это уже полная сдача позиций. Мне просто не хочется об этом думать.

— Обсуждать телереальность — вид современного психоанализа. В конце концов, 95 процентов населения сидит у телевизоров, и журнал, если он не хочет самоустраниться из, скажем так, нормальной реальной жизни, должен как-то на это явление реагировать.

— В этом все и дело. Что происходит вообще в журнальном мире? Идут постоянные исследования рынка, чтобы определить вкусы и потребности читателя. Эти все предприятия — журналы — существуют без каких бы то ни было дотаций, на хозрасчете, говоря по-русски, и поэтому дотошно изучают свою публику. Но всякое исследование, по определению, — сужение возможностей, а не их расширение. Кроме того, в искусстве рыночный принцип совершенно иной: не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Это пункт, в котором я с малых лет расходился с Карлом Марксом. Никакого спроса на «Божественную комедию» не было, пока Данте ее не написал.

— Строго говоря, если исходить из массового спроса, можно вообще ничего не печатать, особенно когда есть телевизор. Но журналы все-таки пока, к счастью, выходят. И в России, скажем, несмотря на кардинальные перемены, литературный процесс пока делается именно в журналах, как было и в XIX веке. В Америке последних десятилетий дело обстояло по-иному.

— В России романы печатаются в журналах! А тот же «НЙ» никогда не делал этого. Только рассказы. Могли опубликоваться выдержки из будущей книги, но, как правило, посвященной какому-то специфическому вопросу. Но не роман с продолжением. В этом смысле литературный процесс в журналах здесь не делается. Но двигателем литературной торговли журнал является, поскольку публикует рецензии и рекламу издательств — хотя не только издательств. Это и создает некий климат. Не универсальный, конечно, — хотя бы из-за тиража. Обычно у журналов такого полусерьезного пошиба тираж максимум полтора миллиона. В стране с населением в 250 миллионов не очень приятно даже думать о проценте.

— В сегодняшней России о полутора миллионах никто и не мечтает. И вообще-то получается, что в Штатах от авторитетного журнала литературный процесс зависит даже больше, чем в России. Там вы получаете товар из первых рук, от самого автора, со всеми достоинствами и недостатками. А четкой системы рецензирования, при которой все мало-мальски заметное обсуждается, в России нет. В американском же случае вы доверяете журналу и его рецензенту, который может при желании вознести или низвергнуть вещь. Тут, кстати, есть почва для всякого рода злоупотреблений, для этакой литературной коррупции.

— Никогда об этом не слышал. Существует другая опасность — достаточно грустная и неизбежная: клубность. Проталкивание людей и книг своего круга. Вот «НЙ» старается этого всеми силами избегать и беспристрастность выдерживает довольно четко. Соблюдаются приличия.

— Соблюдение приличий — принцип «НЙ». Эстетически в том числе тоже — начиная с

этого джентльмена в цилиндре на заставке. Журнал ведь подчеркивает свою чинность, такую старомодность. Даже просто перелистывая, видишь это по карикатурам.

— Рисунки немножко старомодны, действительно. Но, знаете, мы все несколько разбалованы, разложены идеями новаторства, модернизма, авангарда. Это явление можно, наверное, локализовать где-нибудь в 20-х годах...

— *Вокруг «Улисса», обобщая.*

— Если угодно. Но вот сейчас до конца столетия осталось пять лет, и говорить об авангарде в конце века, мне кажется, немножечко диковато, абсурдно. Я замечаю, когда читаю всякую российскую периодику, как современные писатели стараются быть непременно впереди прогресса. И в ход идет все: от заборного словаря до композиционных ухищрений, которым уже минимум лет пятьдесят-шестьдесят, если не более. Этим грешат почти все, от мала до велика.

— *Во многом это идет от незнания мирового контекста, что объясняется известными обстоятельствами нашей истории.*

— Так или иначе, во всем этом колоссальный инфантилизм или провинциализм. В конечном счете — незнание своего голоса.

Две вещи важны в литературе — содержание и стилистика. С первым у многих русских авторов довольно благополучно, но со вторым — мало у кого. Вот был у нас замечательный пример, вам хорошо известный, — Сережа Довлатов.

— *Вот от него, любимца «НЙ» на протяжении целого десятилетия, позвольте вернуться к американским журналам. Помимо глобальной борьбы читательского типа сознания со зрительским, текста с экраном есть и более локальная оппозиция, внутри самого чтения: книга — и журнал. И может, не стоит предъявлять журналу слишком высокие требования? За всякого рода серьезностью можно пойти в книжный магазин, благо они в Штатах потрясающие.*

— Но это совсем разные вещи — по крайней мере, сейчас. Вот в XIX веке, когда издательское дело приобрело широкий диапазон, журналы в известной мере дублировали книги.

— *Не зря по-русски выпуск журнала раньше назывался «книжка», а теперь — «номер»: серийность вместо штучности.*

— Совершенно верно. Со временем журнал превратился в самостоятельный феномен, нечто среднее между книгой и газетой. Газета — письмо со срочной информацией, журнал — письмо, в котором человек пытается опомниться, книга — нечто уже третье.

— *Ведение дневника, скажем. С этой точки зрения — степени срочности, — что такое для вас публикация журнальная и публикация книжная, какая разница?*

— Более или менее одним миром мазано. Хотя журнал тем хорош, что это немедленное влияние и моментальный контакт с читателем. Что касается книг, я отношусь довольно сдержанно к своей деятельности вообще и не могу сказать, что так уж особо заинтересован в их издании.

— *Да, я не раз наблюдал, как вы были ничуть не обрадованы, а как раз наоборот, очередной книжкой, выпущенной неизвестно как и кем в России.*

— Накапливается некоторое количество стишков или эссе — и можно сунуть это под обложку. Так и получается книга. Журнал же, помимо того что способ заработать, — вот такой немедленный контакт. Журнал не альтернатива книги. Это еще один вариант чтения.

ПЕТР ВАЙЛЬ
ДОВЛАТОВ НА БРОДВЕЕ

Когда-то, сравнительно недавно, была такая популярная передача на Радио «Свобода», которой теперь нет, в силу разных причин, не имеющих отношения к предмету заметок. 49-минутная «американа», составленная из интервью, репортажей, коротких комментариев, музыкальных фрагментов — пестрая и динамичная.

Все уже было готово к пробному выпуску, так называемому «pilot'у» — продумана общая концепция, выбрана главная тема, даже записаны отдельные куски — но названия не было. То есть варианты, конечно, предлагались дюжинами — все не то. Появился Довлатов — он приходил на радио обычно два-три раза в неделю, участвуя в общей культурной программе «Поверх барьеров» и в персональной «Писатель у микрофона». Обещал тоже подумать, наглядно подумал и сказал: «Бродвей семнадцать семьдесят пять».

Это было до обидного просто: назвать адрес редакции — Broadway 1775.

Всегда кажется ответственным — придумать заглавие. На самом деле это важно только в быстрой — газетно-журнальной — публикации, когда заголовок есть часть текста. На долгой дистанции он живет сам по себе, точнее, и не живет вовсе, превращается в сочетание букв и звуков, в общем-то бессмысленное. Взглянуть на отечественные газеты: в популярнейших любимое слово «комсомол» — ну и что? И раньше это значения не имело, и теперь.

Я как-то придумал название еженедельника, одного из тех, в которых мне пришлось работать вместе с Довлатовым, — «Новый Свет», — и страшно гордился его красивой многозначностью. Когда вышел первый номер, оказалось, что в китайской типографии перевернули клише, и заглавие можно прочесть, только держа газету наперевес перед зеркалом. И вообще издание просуществовало восемь недель. А не гордись!

«Новый Свет» был кратковременным ответвлением от еженедельника «Новый американец» — вот это название принадлежит опять-таки Довлатову. Тут все оказалось куда более долговечным — и сама газета, и ее имя. Хотя вначале, в 80-м, это словосочетание — «новый американец» — выглядело не только претенциозным, но и попросту уводящим в сторону. Газету делали как раз те, кто не намеревался, строго говоря, становиться американцем — то есть ассимилироваться. Для того и затеяли русский еженедельник. Но выяснилось, что мы были одними из тех, кто — о том не подозревая — разрабатывал новую социокультурную концепцию Соединенных Штатов.

Делая основной упор на «новый», Сергей, конечно, не предполагал, насколько был прав, уверенно называя «американцами» нас, которые многим окружающим, да и самим себе, казались социальными инвалидами. Начать с того, что большинство собравшихся под знаменем «Нового американца» — и прежде всего главный редактор Довлатов — английским тогда владели в постыдной степени.

Это, кстати, главный побудительный мотив возникновения этнических бизнесов — будь то газета или химчистка. Или даже их экзотическое сочетание: в Нью-Йорке есть 48-страничный еженедельник, издающийся для нужд корейских химчисток города — по-корейски, разумеется. Я узнавал: для корейских прачечных— совершенно иное издание, ничего общего.

Этническая специализация — норма нынешней жизни: в газетных киосках сидят индийцы, медсестрами служат филиппинки, такси водят арабы и гаитяне (я однажды ехал с лакированным, как телефон, водителем по имени Жан Лафонтен). Основная объединяющая идея конца века — национальная — разрушила нарядную утопическую концепцию «плавильного котла». Американский melting pot покипел-покипел, но сплава не вышло — так, недоваренный супчик, в котором каждый ингредиент легко различим. Самый ход жизни привел к той идее, которую теоретическая мысль подхватила, дав точное уродливое имя — мультикультурализм.

Сработал англосаксонский здравый смысл — тот самый, который действует, скажем, в составлении словарей. Язык живет сам по себе, а словарь призван не нормировать, а фиксировать. Вот так социология запечатлела истинное положение дел в обществе: этносы не сплавляются в качественно новое единство под названием «американский народ» — он уже существует как качественно новое единство в виде сочетания множества разных этносов.

Так что Довлатов верно придумал название «Новый американец» для нас и наших читателей, опасливо бродивших вокруг «плавильного котла», хотя тогда это и представлялось тем, что именуется wishful thinking: стремлением выдавать желаемое за действительное. Интуиция в очередной раз Довлатова не подвела.

Наверное, это было в нем самое поразительное — интуитивное, звериное чувство языка и стиля. Он мгновенно и болезненно реагировал на банальность, с редким занудством приставая потом с издевками целый день — он называл это «донять попреком». В присутствии Сергея приходилось соблюдать языковую дисциплину, и мне иногда не хватает этого террора, когда я чувствую, что распускаюсь. Я даже замечал тогда, что говорю — для большего самоконтроля — короткими фразами: какими Довлатов писал.

Его-то предложения укорачивались прежде всего для того, чтобы повысить удельный вес каждого, чтобы мысль или образ не смешивались с другими, чтоб поставить их на некий пьедестал из заглавной буквы и точки. Это американская писательская техника, их школа — более всего Хемингуэя, я думаю, хотя именно его Довлатов в зрелости не слишком чтил: объяснимое отталкивание после слишком сильного юного притяжения.

Фраза делалась короткой поневоле и оттого, что в ней не должны были встречаться слова, начинающиеся на одну букву. Об этом довлатовском правиле искусственного замедления письма посвященные (я в том числе) рассказали уже давно. Но надо бы в таком писательском самоистязании выделить одно — безраздельное, раз-

нузданное торжество стиля. Ведь Довлатов, всегда и все писавший по фактической канве, без колебаний менял факт — самым вопиющим образом, — если факт начинался с неподходящей буквы.

Понятно, что чаще всего насилию подвергались числительные и имена собственные. Указывать места не буду: в этом есть что-то доносительское — да и пусть исследователи сами потрудятся. Но Довлатову ничего не стоило заменить, допустим, Лондон на Париж, если в предложении необходимо было присутствие героя по имени Леонид — пусть даже таким образом Париж становился столицей Великобритании. Семидесятые менялись на шестидесятые, внося нелепость и анахронизм, и без подсказки никогда не догадаться, что все дело в соседнем предлоге «с».

Стилистическая правда была ему куда дороже. То же — в устных рассказах. Сергей много и охотно сочинял про знакомых. Причем я не раз наблюдал, как он рассказывал небылицы про людей, тут же сидевших, развесивших уши не хуже прочих, будто речь шла не о них. Об одном основательном, самодовольном человеке, с медленной веской речью Сергей сообщал: «Веня мне вчера сказал: «Мы с Кларой решили... что у нас в холодильнике... всегда будет для друзей... минеральная вода». Довлатов соблюдал то правдоподобие, которое было правдивее фактов, — оттого его злословию верили безоговорочно.

«Фактические ошибки — часть моей поэтики», — важно произносил Сергей, хотя вообще-то литературоведческих терминов не употреблял и не любил, даже как-то раздраженно не любил. Ему, по-моему, не нравилась сама идея анализа текста — как попытка с заведомо негодными средствами. Он не раз говорил, что лучшая из мыслимых рецензий — та, в которой кратко пересказывается содержание, а в конце написано: автор редкостно талантлив, книга выше всяческих похвал, и прочесть ее должен каждый.

Он хотел конкретности и сам предлагал ее. Этот стиль тоже был воспитан любовью и пристальным вниманием к тем писателям, чьими классическими книгами XX века можно пользоваться как путеводителями, справочниками, практическими пособиями. Сергея это приводило в восторг: как-то полтора часа он мне говорил по телефону о точности деталей в «Великом Гэтсби».

Стремление к внятной, простой конкретности — и в мелком примере с наименованием радиопередачи «Бродвей 1775». Проще некуда — но это именно то, к чему неукоснительно шел Довлатов. В известной мере такой путь — тупиковый для прозаика, его желаний и возможностей. Он выбирал кратчайшие пути — потому в гипотетической перспективе здесь не эссе, конечно, а очерк. Не случайно Сергей хоть и бранился и сетовал на растрачивание сил — но газетной журналистикой занимался увлеченно. В ней его привлекала возможность немедленного наглядного проявления профессионализма.

В «Новом американце» Довлатов любил быстро придумать текстовку к снимку, поменять рубрику, на ходу отредактировать заметку — здесь он приучился с почтением относиться к ремесленным обязанностям, требующим изобретательности и мастерства. Довольный собой Сергей полувопросительно говорил: «Профессионал?!» Это у нас было чем-то вроде авгуровской переклички.

Довлатов уехал в эмиграцию, чтобы стать профессиональным литератором, и очень гордился, что стал им. Корона с властителя дум не падала, когда он склонялся над заурядной работой, постигнув науку получать удовлетворение и от публикации в одном из престижнейших журналов мира, и от сочинения заголовка радиопередачи. Не говоря уж о том, что во втором случае реакция была мгновенная и на родном языке. Довлатов говорил: «Вот получишь Нобелевскую премию, запрыгаешь от восторга, как таракан, по всему миру интервью дашь, но хочется, чтобы об этом узнал Моня из магазина на 108-й».

Было еще чистое стилистическое удовольствие от достижения. «Бродвей семнадцать семьдесят пять» — фраза звучала упруго и динамично, с четким джазовым свингом. Можно представить толстую негритянку, кричащую в микрофон этот текст, и рядом — свесившегося над саксофоном пепельного старика и тощего, кол проглотившего барабанщика с неразличимыми от скорости руками.

За почти двенадцать лет жизни в Нью-Йорке Сергей ни разу не был ни в одном музее и, похоже, искренне удивлялся — что там делать, но Нью-Йорк как столицу джаза изучил неплохо. Слышал живьем Диззи Гиллеспи, Эллу Фицджеральд, Дейва Брубека, Арта Блейки. Мы вместе ездили на летний джазовый фестиваль в Ватерлоо, Нью-Джерси, ходили на концерт в дом Луи Армстронга в Куинсе, где грандиозно играли трясущиеся ветераны, смотрели фильмы о довлатовских любимцах — Чарли Паркере и Телониусе Монке, и Сергей потом рассуждал о соединении таланта с самоубийственным безумством. «Round Midnight» и «Loverman» в исполнении Паркера Довлатов мог слушать сколько угодно. Еще — «My Favorite Things» Джона Колтрейна. В августе 90-го Сергей мне подарил диск с этой вещью, а через неделю она

пригодилась: я начал с нее траурный финал передачи «Бродвей 1775».

В названии, придуманном Довлатовым, — цифры. И в них — «американа», типичный Нью-Йорк, с его номерными улицами и авеню, что кажется таким скучным поначалу, но оказывается таким удобным. Здесь господствуют здравый смысл и первобытная простота. Занятно, что в этом самом городском из городов возвращаешься к Колумбовым ориентирам: в Нью-Йорке все соотносят себя со сторонами света — «на северо-восточном углу», «двумя кварталами южнее», «на западной стороне улицы». Построенный без лекала, умышленный хлеще Петербурга, мечта Малевича и Мондриана, Манхэттен вырастает из океанских просторов и пионерских прерий, и язык никогда не даст этого забыть.

Следопытский жаргон горожан восхищал Довлатова, потому что был так хорошо знаком по Сэлинджеру или Дос-Пассосу. Потому что это была точность — не столько факта, сколько самоощущения, самоутверждения в окружающем мире. Это он больше всего ценил у великих американцев и еще, конечно, — юмор.

Юмор самого Довлатова, как и у них, прост: никогда не эксцентричный, без гротеска и гиперболы, без иронической натуги, по сути антииронический — сдержанный и достойный. Впрочем, все это можно отнести к его стилю вообще.

В прозе он такого достигал, в жизни — хотел бы, но мешал темперамент: русский литератор армяно-еврейского происхождения — гибрид чудовищный. Пока, в ожидании личного самоусовершенствования, Сергей проявлял благородную сдержанность в манере одеваться. Он обожал покупать дорогие неброские вещи, но, появляясь в обнове, желал признания, намекал, поворачивался, поводил плечами и, разумеется, получал что-нибудь вроде: «Хорошая на тебе курточка. Долларов сорок отдал?» Тогда наслоения цивилизации слетали: «Плебей! Ничтожество! Жалкий провинциал! Пятьсот пятьдесят на Мэдисон авеню!»

В прозе Довлатов распускаться себе не позволял: только короткий всхлип о заблудшей жизни — очень редко, строго дозируя. Ни напора на читателя, ни претензий на особую духовность, ни учительства, ни пафоса. Все словарные значения термина «understatement», фирменного знака американской словесности, — «преуменьшение», «сдержанное высказывание», «умалчивание» — подходят ко всем элементам довлатовской прозы.

В нем это было с самого начала, но до превосходной степени развилось в последние годы. И переписывая свои прежние рассказы так, чтобы слова во фразе не начинались с одной буквы, Довлатов по ходу снижал и градус письма — сам при этом возвышаясь. Как бы осмеял Сергей этот незатейливый каламбур! Но он и вправду рос, словно тянулся за небоскребами, среди которых научился жить, выглядеть и быть своим за те годы, которые разделили очень нового американца и солидного американского писателя. Первый раз я увидел Довлатова зимой 78-го на юго-западном углу Бродвея и 56-й стрит. Последний — летом 90-го, в квартале к северу, возле здания по адресу Бродвей 1775.

* * *

«Нью-Йоркер» опубликовал десять больших рассказов Сергея Довлатова[1]. Подобное внимание высокомерного переборчивого журнала к иностранному прозаикуновичку — случай редчайший, едва ли не беспрецедентный, удивлявший всех, в том числе Довлатова самого.

Приложение 1

Сергей Довлатов. Шарж Майка Уордена.

Приложение 2

Дорогой Сергей Довлатов!

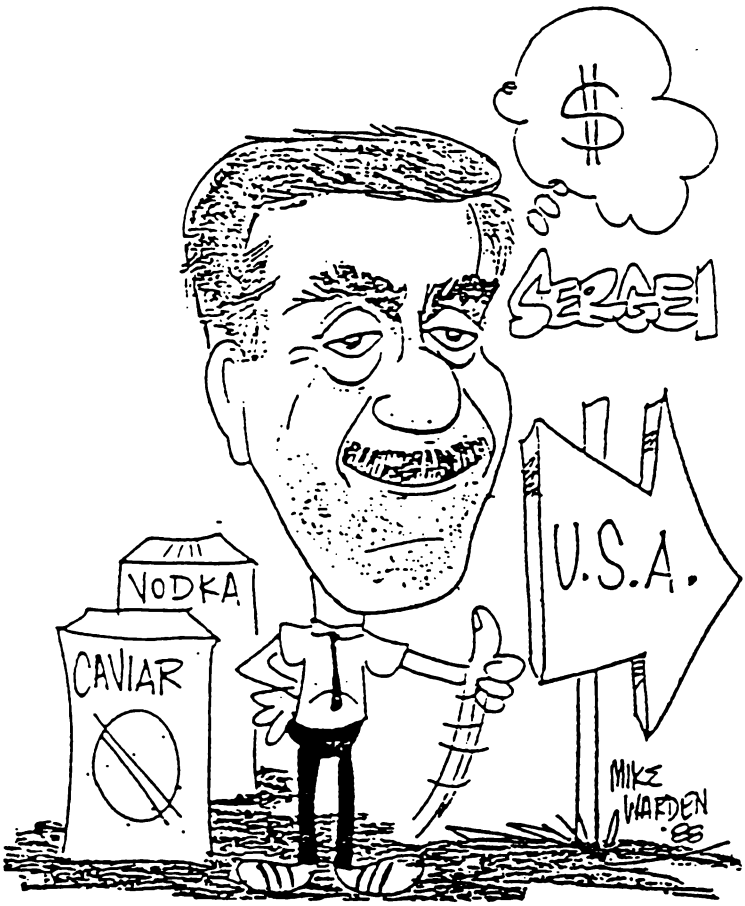
Я тоже люблю Вас, но Вы разбили мне сердце. Я родился в этой стране, бесстрашно служил ей во время войны, но так и не сумел продать ни одного рассказа в «Нью-Йоркер». А теперь приезжаете Вы, и — бах! — Ваш рассказ сразу печатают. Что-то странное творится, доложу я Вам.

Если серьезно, я поздравляю Вас с очень хорошим рассказом и поздравляю «Нью-Йоркер» с публикацией наконец-то подлинно глубокого рассказа универсальных качеств. Как Вы, конечно, уже поняли, большинство рассказов в этом журнале посвящено радостям и печалям верхушки среднего класса. До того как Вы появились, в «Нью-Йоркере» не часто писалось о тех, кто бы не мог быть постоянным читателем «Нью-Йоркера».

Я многого жду от Вас и Вашего творчества. У Вас большой талант, и Вы отдаете его этой безумной стране. Нам повезло, что Вы здесь.

Ваш коллега — Курт Воннегут.

[1] См.: С. Довлатов. «Переводные картинки. (В джунглях американского издательского бизнеса)», «ИЛ», 1990, № 9. (*Прим. ред.*)



Dear Sergei Dovlatov —

I love you, too, but you have broken my heart. I was born in this country, and served it fearlessly in time of war, and yet I have never managed to sell a story to the New Yorker. Now you come over here, and bang! You sell a story right away. Something very fishy is going on, if you ask me.

In all seriousness, I congratulate you on a very fine story, and I congratulate the New Yorker for publishing a truly deep and universal story at last. As you have surely discovered for yourse by now, most of their stories deal with the joys and sorrows of the upper middle class. Until you came along, not much had been said in a New Yorker story about people who might not even be regular readers of the New Yorker.

I look forward to seeing a lot more of both you and your work. You have great gifts to give this crazy country. We are lucky to have you here.

Your colleague,

Kurt Vonnegut

ДЖОН ЛАР
ЛЕДИ И ТЕННЕССИ

Эссе

«Он научил меня не лгать».
Леди Мария Сент-Джаст
о Теннесси Уильямсе

Леди Мария Сент-Джаст[1], которая, как говорили, не была ни леди, ни святой, ни справедливой, умерла в Англии 15 февраля 1994 года. Она прославилась своим веселым нравом и заносчивостью, завоевавшими ей много друзей и врагов. Она была щедрой хозяйкой и отлично готовила, и скромным пирогам не было места на ее столе. Однажды на званом обеде, где я присутствовал, ее вызвали к телефону — звонили из Уилбери, ее величественного загородного поместья в Уилтшире. Она вернулась в возбуждении.

— Обрушился потолок в столовой! — сказала она. — Но, слава Богу, пострадали только слуги!

Ее дерзость нравилась многим. Ее преданными друзьями были сэр Джон Гилгуд, которого она называла королем-слугой еще со времен их театрального турне по Дальнему Востоку сразу после войны, и Гор Видал. Но самой глубокой и самой длительной привязанностью Марии был Теннесси Уильямс. Она послужила моделью для гордого несдающегося характера Мэгги в «Кошке на раскаленной крыше» (1955.) Она была и исступленной, постоянно возбужденной, «двуликой» Графиней сомнительного происхождения в написанной в 1976 году пьесе «Это (Представление)» [«This Is (An Entertainment)»], в названии которой даже какое-то время фигурировала ее девичья фамилия — «посвящается Марии Бритневой». И именно Марию, вместе с юристом Джоном Истменом, Теннесси Уильямс назначил сопопечителем Фонда Розы Уильямс, созданного им в честь его обожаемой сестры, подвергшейся лоботомии — в этом году ей исполняется 85 лет. Мария редко выступала на сцене, но из-за путаницы в бестолково составленном завещании Уильямса с 1984 года и до самой смерти ее можно было назвать актрисой, играющей на подмостках мира.

— Она была музой, — объясняет Гор Видал. — Она была живой реликвией, хранительницей огня. Это позволяло ей делать что-то, и очень мило со стороны Теннесси, что он дал ей такую возможность. У нее не было целей в жизни.

Жизнь Марии была непроста с самого начала. Она родилась 6 июля 1921 года в России, в Санкт-Петербурге; но уже спустя 13 месяцев, как она говорила, ее мать, Мэри, спасаясь от голода, эмигрировала в Англию с Марией и ее старшим братом Владимиром. Их отец, д-р Александр Бритнев, судя по всему, остался в лапах убийц-большевиков.

«Маленькая Мэри... была такой крохотной, что никто не мог поверить, что ей уже больше года», — пишет Мэри Бритнева в автобиографической книге «Чужая среди вас». Как пишет сама Мария в своей книге «Пятичасовой ангел» — по существу, сборнике писем Уильямса, в составлении которого я недолгое время участвовал и который Мария в конце концов решила подготовить самостоятельно, — когда она приехала в Англию, у нее был рахит. Она так и осталась женщиной маленького роста (в ней было примерно 5 футов), с копной темных волос, огромными серо-карими глазами и носом-клювиком, который она задирала перед всеми. Но сохранилось в ней и что-то другое — смесь горя и ужаса, которые ее мать принесла в их новую английскую жизнь и которые, вместе с ностальгией по потерянному аристократическому миру, стали для Марии частью ее наследства. Жизнь в Англии опровергала русскую поговорку, которую часто повторяли в доме Бритневых: «По одежке встречают, по уму провожают». В автобиографии Мэри Бритневой можно прочесть:

«Увы, здесь вас и встречают и провожают «по одежке»! Если человек плохо одет, или если у него нет английских манер поведения за столом — будь у него самый блестящий ум, с ним не будут считаться, он так и останется quantité négligeable[2]».

В расчет принимается только видимость, а не суть — Мэри инстинктивно ощетинилась, когда семье Бритневых пришлось заново завоевывать положение в английском обществе. Чтобы иметь возможность отправить детей в хорошие школы (Мария, по ее

[1] Saint Just— в буквальном переводе означает «святая справедливая». *(Здесь и далее — прим.перев.)*
[2] Ничтожество *(франц.)*.

© 1994 by John Lahr. All Rights Reserved. «A Life in the Wings» originally appeard in The New Yorker.

собственным словам, получила дорогое, хотя и не широкое, образование), Мэри Британева давала уроки французского и русского и делала подстрочные переводы Чехова.

У нее были амбиции в отношении дочери; она рассказывает, как водила Марию на уроки танцев, которыми та занималась с присущим ей упорством. В 1933 году, еще не имея положенных 12 лет, молодая танцовщица Мария поступила в труппу Русского балета Монте-Карло. Через три сезона ей пришлось отказаться от балета из-за повреждения ноги и, как она говорила позже Ричарду Эйру, руководителю Королевского национального театра, из-за того, что «у меня грудь была слишком большая». Тогда Мария решила стать звездой драматического театра. Она поступила в актерскую школу Мишеля Сен-Дени и начала делать карьеру.

Неистовая энергия Марии — ее способность моментально выплескивать наружу свою тревогу — была обыграна Уильямсом в «Это (Представление)», где Графиня говорит о «потрясающей скорости, с которой я путешествую во времени». Мария была одержимым человеком, и ей удалось собственными силами вскарабкаться по ступеням и английской аристократической лестницы, и аристократической лестницы успеха. Она громко разговаривала и ходила с большим стеком.

— Она пугала людей, — говорит Гор Видал.

Как признавалась сама Мария в письме к Эйру, написанном, когда ей было уже за шестьдесят, за ее рычаньем скрывалась застенчивость, которую она стремилась побороть.

— Ее сердце было полно ужаса, — говорит актриса и певица Пола Лоуренс. — Ужаса.

Мария прилагала немыслимые усилия, чтобы жить на пределе своей мечты — этого трудно добиться в любое время, и особенно трудно это было в обедневшей послевоенной Великобритании. Но она была готова противостоять всему миру, в ней было то, что Элиа Казан в предисловии к «Пятичасовому ангелу» назвал ее «безоглядной, отчаянной погоней за тем, что она ценила в жизни». А если жизнь не предлагала ей нужный сценарий, Мария сама придумывала его.

— Никогда не езди в Париж один; это город любовников, — говорила Мария Дотсону Рейдеру, другу Теннесси Уильямса и автору мемуаров о нем «Теннесси: Плач моего сердца». — И я дам тебе еще один совет. Всегда спи в двуспальной кровати. Мы с Теннесси всегда спим в двуспальной кровати.

Рейдер вспоминает, что Уильямс, который в этот момент забылся одним из своих болезненных дневных снов, внезапно оживился при этих словах:

— Да, крошка, мы всегда спим в двуспальной кровати. Каждый в своей комнате.

В «Пятичасовом ангеле» Мария использует ту же самую манеру. В этой книге, как во время удивительного сеанса чревовещания, она выступает и в роли предмета разговора, и в роли вездесущего рассказчика: «Татарское высокомерие; театральность; неприязнь ко всему буржуазному, пуританскому или второсортному; превыше всего по-дикарски острое чувство юмора; таков же и ум. Именно этот ум оказался непреодолимо притягательным для человека, чей собственный характер казался совсем другим, — для американского драматурга Теннесси Уильямса». Такие прозрачные намеки позволяют Марии режиссировать умело сочиненный спектакль о своем идеализированном «я», спектакль, в котором фантазия не встречает возражений и позволяет легко обходить молчанием предполагаемые факты.

Почти всех, включая Уильямса, увлекал трогательный образ Марии — дочери благородных русских белоэмигрантов, чей дед по отцу был врачом «вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Царском Селе», а отец остался в 1922 году в России, где «вскоре после этого... был расстрелян Советами». Однако из ставших недавно доступными архивов КГБ и правительственных документов явствует, что большая часть этих сведений была выдумана самой Марией. Мать Марии была по рождению английской подданной и училась в Англии; дед Марии по матери, Чарльз Герберт Бакнелл, был стопроцентным англичанином. (Он был деловым партнером Лео и Жоржа Саксов, французских оптовых торговцев драгоценными камнями в Санкт-Петербурге, — это добавляет особенно непривлекательную черточку в антисемитские настроения Марии.) Поэтому нельзя говорить о том, что Британевы на самом деле удирали от бесчинствующих большевиков; у них были английские документы. И если верить русским исследователям, по отцовской линии семья Британевых происходила из разночинцев — интеллигенции плебейского происхождения. Их предками были мелкобуржуазные торговцы из Кронштадта, владельцы буксирных судов, водолазного оборудования и общественных бань. Никаких данных об общении деда Марии с царицей не сохранилось. А что касается ее отца, то, судя по архивам КГБ, он не только не был расстрелян большевиками, но и служил в Красной Армии. Д-р Британев действительно был казнен в 1930 году, в эпоху

Сталина; потом, 18 апреля 1969 года, он был «реабилитирован» коммунистами. Связями Бритнева с большевиками объясняются те привилегии, которыми пользовалась его семья в особенно жестокие 20-е годы: они относительно свободно могли ездить из России в Англию и обратно. Все это заставляет задуматься о принадлежности Марии к русской белоэмиграции или даже о ее происхождении из рядов этой эмиграции.

Мария стремилась придать правдоподобие своей истории и ореолу своего артистического предназначения, вращаясь среди богатых и знаменитых людей; они служили для нее своего рода амулетом от потерь.

— Ей всегда нужно было обожать какую-нибудь знаменитость, быть кому-то горячо преданной, даже если эти знаменитости и не нуждались в преданности, тем более горячей, — говорит Видал.

В 1945 году она привязалась к сэру Джону Гилгуду, который стал ее защитником и ввел ее в мир театра.

«Я была рабочей скотиной, — признавалась Мария в журнале «Интервью». — Я делала все! Я одевала Джона... Я была его главной фавориткой. И, конечно, все меня ненавидели, потому что ревновали».

Чтобы добиться признания, Мария была способна на самые неосторожные поступки. Гилгуд рассказывал о постановке 1946 года, в которой Мария впервые поднялась от дублерши до статистки:

— Поскольку Эдит Эванс, игравшая роль чахоточной жены в «Преступлении и наказании», слишком много кашляла во время одной из моих основных сцен, Мария ткнула ее лицом в подушки, чтобы та замолчала. Как вы понимаете, мадам не была в восторге.

Не был в восторге и Хью (Бинки) Бомонт, важная шишка в продюсерской фирме Х.М.Теннента в Уэст-Энде, ставившей спектакль. Он разорвал контракт с Марией.

— Я никогда не считал ее хорошей актрисой, но она мечтала об успехе на этом поприще, — вспоминает Гилгуд.

Мария навсегда завоевала себе место в сердце сэра Джона, но не сумела удержаться на плаву в английском театре.

— Она не была хорошей актрисой, — говорит английский театральный критик Милтон Шульман, живший по соседству с Марией. — Она слишком много фантазировала вне сцены, и на сцену ее фантазии уже не хватало.

У Марии не было также ни привычного облика, ни сдержанности, необходимых для статичного английского театра конца сороковых — начала пятидесятых годов. У нее был творческий темперамент, но она не могла быть творцом. Она не могла примириться с этим. Потом она встретила Уильямса и пристроилась в хвост чужой удачи.

Краеугольный камень в основание дружбы и романа Уильямса с Бритневой был заложен во время их первой встречи. В своей книге Мария пишет, что была «восемнадцати- или девятнадцатилетней» инженю. (На самом деле она была застенчивой двадцатисемилетней женщиной.) Она встретилась с Уильямсом на обеде в доме Гилгуда 11 июня 1948 года. Как рассказывала Мария в ток-шоу Дика Кэветта:

— Меня пригласили на этот чудесный вечер. Ноэл Кауард играл на рояле. Вивьен Ли, Лоренс Оливье, самые замечательные люди... Вдруг я увидела в углу сгорбленного маленького человечка, он был очень одинок — один носок красный, другой синий. Я решила, что он тоже дублер.

Поскольку Гилгуд был первым постановщиком «Стеклянного зверинца» в Лондоне, маловероятно, чтобы Уильямс, который только что получил Пулицеровскую премию за «Трамвай «Желание» (1947), пришел к нему на обед незамеченным. Но кое-чего явно не заметила сама Мария. Четы Оливье на обеде не было: согласно их биографиям, большую часть этого года они провели в Австралии. А что касается рояля, то по клавишам порхал, вероятно, дух Ноэла Кауарда, поскольку сам он в это время уехал в Нью-Йорк для встречи со своими издателями и вернулся в Лондон только спустя две недели.

Гор Видал, увязавшийся за Уильямсом в Париж после того, как драматург удрал от перспективы провала лондонского дебюта Хелен Хейс в роли Аманды Уингфилд, считает, что Уильямс и Мария могли встретиться на несколько недель позже, на приеме у Бинки Бомонта. Но, где бы ни состоялась эта встреча, она сделала Марию, Видала и Уильямса веселыми собутыльниками. Видал вспоминает, как на следующий день они втроем шли по Стрэнду:

— Мария все время ела. Они с матерью бедствовали. Они все еще жили по карточкам. У нее было несколько ирисок, она мне дала одну. А у меня шатался зуб — искусственный, и он немедленно остался в конфете. Это вызвало у Марии буйный хохот. Она чуть не умерла. Мы втроем подружились. А потом она привязалась к нему.

Уильямс увидел в Марии то, что Элиа Казан называл «символом, архетипом отча-

янного «мятежного духа». Он сразу угадывал романтиков в людях, стремившихся возвести защитную стену вокруг себя. Томас Лэнье Уильямс, который был старше Марии на 10 лет, тоже придумал себе артистическую биографию, взяв в 1938 году псевдоним Теннесси Уильямс. Вообще-то ему следовало бы назвать себя Миссисипи Уильямсом, потому что до того, как в 1918 году его семья переехала в Сент-Луис, он рос в епископальных приходах штата Миссисипи, где его дед был пастором. Однако имя Теннесси воскрешало в памяти самое героическое наследие его ненавистного пьяницы отца, чьи предки были среди основателей этого штата. Уильямса роднили с Марией трудное начало жизни (в шесть лет он перенес дифтерию и инфекционное заболевание почек), травма, связанная с переменой места жительства (переезд в Сент-Луис стал той психической травмой, вокруг которой строится действие «Стеклянного зверинца»), и чувство постоянно грозящей опасности, пусть и умело скрываемое. Уильямс писал с юных лет, но к моменту встречи с Марией он только-только встал на ноги; чистота ее устремлений и нищенские условия, в которых она жила, тронули его. В 1949 году он писал из Лондона своим друзьям, писателю Дональду Уиндему и актеру Сэнди Кэмпбеллу:

«Она ненавидит Лондон и полностью разругалась с конторой Бомонта, так что никакой перспективы работы здесь для нее нет. Только работа на телевидении, три недели репетиций, а платят всего сотню долларов. (Один спектакль.) Судя по всему, здесь у нее нет интересных друзей, никого, кто бы ей действительно нравился, а семья ее очень бедна, за исключением тетки, но та относится к ней очень холодно. Бедное дитя».

Мария играла роль преданной, очаровательной (и нуждающейся) девочки; Уильямс был для нее добрым милым папочкой, который всегда готов оплатить ее поездки, гостиницы, долги, украшения, иногда даже платья или меха.

— Когда я была с ним, я испытывала блаженство, — говорила позже Мария, и она действительно блаженствовала; великая магия таланта и славы Уильямса защищала ее от мира, который в отношении ее, как правило, был небезопасным.

Женщине с такими дерзкими социальными и артистическими амбициями, как у Марии, было совершенно необходимо удачно выйти замуж, и Уильямс стал первым человеком, на которого она попыталась накинуть свои сети.

— Она была безумно влюблена в Тенна, безумно, безумно влюблена, — говорит журналистка Хэрриет Ван Хорн, знавшая Марию в период ее бродячей жизни в Нью-Йорке, где она пыталась сделать карьеру актрисы и готовила в однокомнатной квартирке ужин, на который были приглашены, в числе прочих, Уильям Фолкнер и Марлон Брандо. (Говорили, что Мария спала с Брандо, а в последние годы жизни, когда у него случились неприятности с правосудием, она была верным другом семьи великого актера.) Хотя очевидных доказательств постельных отношений между Марией и Уильямсом нет, Ван Хорн различала нотки истинной страсти в рассказах Марии о писателе:

«Ее описание — «Теннесси такой загорелый. У него голова — как темный орех. Я обожаю ерошить ему волосы». Такие вещи не говорят о человеке, если не испытывают к нему физического влечения».

Мария писала в своем дневнике:

«Я на самом деле люблю Теннесси и думаю, что нет на свете человека, такого милого и нежного, такого доброго и великодушного, такого талантливого... Его поддержка и дружба — вот что я ценю больше всего в жизни».

Мария консультировалась с психотерапевтом по поводу своих отношений с Уильямсом и, несмотря на очевидность противоположного, хотела верить, что он был оступившимся гетеросексуалом.

— Было бы чистым бредом настаивать на том, что Теннесси не был голубым, — говорит Видал.

Но в то время Мария настаивала даже на большем.

— Она позвонила мне и сказала: « Я должна тебя сейчас же увидеть», — рассказывает Артур Миллер.— Она пришла и сказала: «Мы с Теннесси хотим пожениться, — заметьте, не «собираемся» пожениться. — Что ты на это скажешь?» Я обалдел. Я спросил: «Ты уверена, что вы оба этого хотите?» Я почувствовал, что в этом сообщении было много фантазии. Она играла какую-то роль, она порхала по комнате и была крайне возбуждена и романтична, как четырнадцатилетняя девочка. Мне оставалось только стоять и думать, не ослышался ли я. Мне кажется, она хотела, чтобы я поговорил с Теннесси и заставил его жениться на ней.

— Она любила трахаться, — говорит Пола Лоуренс, которая, как и ее муж Чарльз Боуден, была близким другом Марии в Америке. — Но, — добавляет Лоуренс: — Она была разборчива. Она хотела быть уверенной в том, что заключает выгодную сделку.

В 1951 году Мария сделала аборт, и Уильямс писал своему доброму другу Полу

Бигелоу, что ей пришлось испытать «древнейшие переживания добросердечных дамочек... Не болтай об этом, лапочка! Это не большая диковинка, чем язва. Но спустя год, буквально неделя в неделю, Уильямс уже в более приподнятом настроении открывает своему агенту Одри Вуд «наш маленький секрет»: у Марии был роман с самым старинным американским издателем Уильямса Джеймсом Лафлином, известным под именем Джей, — красивым миллионером, основателем издательства «Нью дирекшнс». Уильямс писал:

«Мы оставили Марию в Париже, как всегда без денег, веселую и очаровательную... не очень огорченную тем, что наш друг Джей, похоже, решил покончить со своей американской интрижкой. Она напоминает мне бруклинскую «королеву» из анекдота: ее любовник ушел в плавание. Подруга спрашивает ее, как она поживает, а та в ответ говорит: — Я безутешна! У меня было всего пять моряков после ужина!

Когда я уезжал, Мария искала утешения в объятиях Джона Хьюстона. Я привел их в Мулен-Руж... Я и дня не провел дома, как получаю телеграмму от Марии : «КАК НА ОСТРИЕ НОЖА. ХЬЮСТОН ЧАШКА КИПЯЩЕГО ЧАЯ. ХОЧУ ОСТАВАТЬСЯ В ПАРИЖЕ. ПОЗВОНИ»... Надеюсь, что ей удастся извлечь выгоду из этой встречи, для того она и была задумана, и что это не будет просто очередным ее неприятным приключением. Она говорит, что «всегда забывает об осторожности», в любом смысле этого слова, а природа, кажется, все время пользуется этим!»

К 1954 году Марии удалось поймать Лафлина на крючок: в лондонской «Таймс» появилось объявление о помолвке. Однако Лафлин охладел к ней и спустя несколько месяцев разорвал помолвку. Это было огромным унижением для Марии. По ее словам, Лафлина отпугнула ее экстравагантность, когда она купила ему восемь шелковых галстуков.

— О Господи! Что же ты сделаешь, когда получишь все мои деньги? — Она приводит эти слова Лафлина в «Пятичасовом ангеле» (книга посвящена ему.) Она продолжает:

— Я была просто потрясена. «Если ты получишь какие-то деньги, — конечно, я их потрачу!»

Мария прекрасно знала, что Лафлин богат. В пресс-релизе, который она подготовила позже с помощью нью-йоркского специалиста по связям с общественностью, упоминается о ее «решении разорвать помолвку с наследником стальных мультимиллионеров». Уильямс отправил Лафлину письмо, в котором безоговорочно требовал, чтобы тот дал Марии денег в качестве компенсации за «разочарование, причиненное ей тем, что ее публично отвергли».

На самом деле Лафлина испугал крайне легкомысленный характер Марии.

«Я считаю тебя одной из самых привлекательных девушек в мире, — признавался он в письме к «Дорогой Марии». — Но я также боюсь тебя — боюсь того, как может нарушиться моя жизнь из-за этой энергии, которая бьет из тебя, как из гигантской русской динамо-машины — и часто в неправильном направлении».

В написанном от руки пятистраничном письме к Уильямсу он еще более прямо высказывает свои опасения:

«У нее такая сильная воля, она постоянно стремится подавлять и, говоря ее словами, «поднимает такой шум», когда я пытаюсь противостоять ее желаниям, — пишет он. — За те годы, что я знаю ее, она стала еще более активной и энергичной, ее все больше тянет вмешиваться в интересы и дела людей, которые неточно соответствуют придуманному ею образу».

Он добавляет:

«Сомневаюсь, чтобы она была действительно «раздавлена», как ты говоришь. Мне кажется, ты по-настоящему не представляешь себе, какой жизненной силой она обладает. Ничто не может ее раздавить и не раздавит».

25 июля 1956 года Мария вышла замуж за Питера Гренфелла лорда Сент-Джаста, сына Эдварда Гренфелла, получившего титул барона в 1935 году. Гренфелл был английским партнером Дж.П. Моргана по банковскому делу, они вместе основали компанию «Морган Гренфелл и К°». Питер страдал от болезненной депрессии, приводившей его к частым приступам неконтролируемой дрожи и плача, любил загородные развлечения (греблю, стрельбу), балет и оперу. Его мать, овдовев, покровительствовала искусствам, в частности оплачивала гастроли Русского балета Дягилева в Уилбери; еще ребенком Питера приучили любить все русское. Это был красивый мужчина, в его удлиненном лице было что-то славянское. Марк Бирли, старый друг лорда Питера и крестник его матери, говорит:

— Ходили даже слухи, что в действительности отцом Питера был один из танцоров и что все произошло во время одного достаточно беспорядочного уик-энда.

Мария была для Питера не только живым воплощением связи между его про-

шлым и настоящим; она пообещала помочь ему вылечиться, и он стал воспринимать ее и как связующее звено с будущим.

— Он думал, что она могла помочь ему, — говорит Бобби Хендерсон, стряпчий лорда Питера. — Она обладала влиянием на него. Она ошеломляла его. Она была забавна, это развлекало его. Это была возможность ухода от действительности. Конечно, он испытывал к ней сильные чувства. Казалось, что он хотел быть возле нее, но потом это прошло.

Любовь-ненависть, которую испытывал лорд Питер к Марии, была очевидной с самого начала.

— Он удрал из магазина, когда она покупала перчатки для свадьбы, — рассказывает Маргарет Энн Стюарт, часто встречавшаяся с Сент-Джастом в конце 50-х годов. — Он поехал в клинику. Потом он ей позвонил и извинился — во всяком случае, так он говорил мне,— а в следующий раз он увиделся с ней уже на свадьбе.

Нью-йоркский пресс-релиз Марии рассказывает нам историю Золушки, но в новом свете: она пожертвовала многообещающей карьерой ради многообещающего в денежном отношении брака.

«Таким образом, Мария заставила своего друга Теннесси Уильямса распрощаться с надеждой на то, что она сыграет ведущую роль в его новой пьесе, — говорится в пресс-релизе. — Бедная, но гордая британская актриса уже училась, по распоряжению Теннесси, говорить с южным акцентом».

Теперь бедность становилась предметом для шуток. В первом же абзаце Мария говорит о себе:

«Наверное, я — единственная девушка, которая выходила замуж за пэра в платье из нижнего этажа магазина Джимбела, в шляпке за один доллар с лентой от «Вулворта», в туфлях за десять центов!»

По словам Клариссы Хилд, друга семьи Гренфелл, Мария познакомилась с Питером через свою тетку по отцу, которая работала компаньонкой при вдовствующей леди после смерти первого лорда Сент-Джаста в 1941 году. Иными словами, Мария прошла путь от нижней ступеньки социальной лестницы до брака с хозяином замка. Вдовствующая свекровь, которая позже называла Марию «маленькой большевичкой» и которой Мария отвечала такой же ненавистью и отзывалась о ней как о «весьма заурядной, честно говоря», вначале попыталась придать соответствующий вид женитьбе сына.

«Я верю, что ты дашь Питеру любовь и избавление, — писала она Марии перед бракосочетанием. — Он жестоко страдал, и доктора были потрясены его мужеством, потому что он не стал ни пьяницей, ни наркоманом».

Питер Сент-Джаст стал пьяницей довольно скоро, но его положение и его проблемы были достаточно масштабны, чтобы соответствовать запросам молодой жены. Согласно пресс-релизу, Сент- Джаст встретил Марию, приехавшую в Англию на каникулы из Америки вместе с дочерью главы актерского агентства Эм-си-эй Джин Стайн, и сказал :

— Дорогая, согласны ли вы стать моей женой?

На самом деле Мария забрала Питера Сент-Джаста из лечебницы, чтобы он на ней женился. Они провели брачную ночь в отеле «Кларидж», где страшно поссорились, и на следующий же день лорд Питер на две недели удрал от нее.

— Вид у него был довольно странный, — вспоминает Стайн и продолжает, объясняя намерения Марии: — Стать леди Сент-Джаст и иметь деньги. Вам смешно? У нее не было ничего. Полная безнадежность. И еще — иметь этот красивый загородный дом и законное положение.

Но пока была жива вдовствующая леди, Мария была в Уилбери лишь гостьей, да и то ей приходилось ждать для этого удобного случая.

Видал вспоминает о Питере Сент-Джасте как об «очаровательном человеке, когда он был в хорошей форме». Но рассказы Марии о муже становились все более желчными, и эта желчность приводит Видала к выводу, что — несмотря на публичные заявления Уильямса — она не была прототипом Мэгги в «Кошке на раскаленной крыше».

— Наверное, она заставила его сказать так — я имею в виду, что Теннесси мог сказать что угодно, — говорит Видал. — Мэгги любила Брика; Мария не любила Питера, вот и все. И Мэгги физически желала Брика, а Марию не тянуло к Питеру Сент-Джасту.

Их союз был беспокойным.

— Он часто возвращался к ней, когда был болен, — говорит леди Стюарт. — Но когда он был здоров, она знать его не желала.

Хотя брак увенчался рождением двоих детей — Наташи и Кэтрин, — Сент-Джасту приписывают по крайней мере одного, а может быть, и двух незаконных детей. А вдовствующая свекровь относилась к Марии плохо; даже обещанное великодушие оказалось ложью. (В письмах Марии после имени свекрови часто можно видеть изображение ведьмы на помеле.) Лорд Питер и леди Мария получали минимальное содержание.

— Мария с двумя детишками жила в крохотной квартирке в Лондоне, — говорит Хэрриет Ван Хорн, навещавшая ее в конце 50-х годов. — Для Марии был куплен дом на Джеральд-роуд, но он был записан не на ее имя, а на имя девочек. Ей из любезности разрешили жить там.

Мария пыталась представить частые срывы Питера в смешном свете. Ван Хорн вспоминает, как она говорила:

— Ох, Питер снова в сумасшедшем доме. Ему там нравится. Он учится делать пепельницы.

Ван Хорн объясняет:

— У других людей бывают несчастные браки. У нее было не это. У нее был несчастный муж, немножко сумасшедший.

У Марии всегда было то качество, которое Уильямс, говоря о другой разочарованной романтичной особе, Чанс Уэйн, называл «невероятной несгибаемой гордостью побежденных».

Мария перенесла на Теннесси Уильямса всю страсть и романтический идеализм, которых ей не хватало в браке. Он был сказочным Святым Георгием, приходившим к ней на помощь во все учащавшиеся периоды разрывов и раздоров.

— Случалось, что у нее совсем не было денег, — говорит журналистка Друсцилла Бейфус. — Я вспоминаю, что сказала мне Мария, когда я приехала в Уилбери и обратила внимание на красивые обои — по-моему, это были обои от Уильяма Морриса. Она сказала: «Правда, чудесно? За них заплатил Теннесси. Каждый раз, когда я ложусь в постель и смотрю на эти обои, я благодарю Господа за Теннесси».

В то время как Сент-Джаст отвергал заботу Марии, Уильямс приветствовал ее; Сент-Джаст считал ее обременительной помехой, а Уильямс со своего заокеанского наблюдательного поста видел в ней достойный восхищения характер; Сент-Джаст изнурял ее периодическими вспышками насилия (после одной драки с ним у Марии, как она рассказывала друзьям, случился выкидыш), а Уильямс, неизменно вежливый южанин, заботился о ней, во всяком случае внешне. Депрессии лорда Питера превращали его в бесполезное ничтожество, а Уильямс превращал свои страдания в некое публичное достояние, он открывал их подобно «почти героическому памятнику», если воспользоваться его собственными словами из «Сладкоголосой птицы юности». Постепенно в мыслях Марии Уильямс превратился в несостоявшегося мужа, а она сама — в нецелованную невесту.

«Это была дружба, — писала она в предисловии к «Пятичасовому ангелу», разоблачая бесстыдную и безумную глубину своей романтической фантазии, — которую им удалось сохранить на протяжении более тридцати лет».

Приношения Марии на алтарь таланта Уильямса были оплачены ее многочисленными выступлениями в его пьесах: роль без слов в лондонской постановке «Лета и дыма» в 1951 году; попытка сыграть роль Бланш в небродвейской постановке «Трамвая» в 1955 году (о которой Брукс Аткинсон сказал: «Мария Бритнева, английская актриса, не может выразить внутреннего напряжения этой запуганной дамы»); камея во «Внезапно прошлым летом» в 1959 году, где она в начальных сценах пьесы изображала немую умалишенную женщину с куклой, подвергшуюся лоботомии; небольшие эпизодические роли в «Орфее, спускающемся в ад» в Ройял-корт в 1959 году и в постановках «Вывески концерна «Красный дьявол» в Лондоне и в Вене в 1977 году. Иногда Уильямс пытался усмирить театральные амбиции Марии.

«Ты должна реально представлять, что тебе следует, а чего не следует делать в театре», — писал он ей в 1952 году, отвергая ее просьбу дать ей роль Эсмеральды в «Камино реаль». Но в других случаях он выступал на ее стороне.

«Куколка, — писал Уильямс Марии в 1954 году,— я организовал общегородскую кампанию под лозунгом «ДАЙТЕ РАБОТУ МАРИИ!» Уильямс был настолько во власти Марии, что в начале 70-х годов иронически говорил об их отношениях, как о «леди и ее рабе».

— Она умела потрясающе переплетать свой жизненный путь с жизнью других людей, — говорит Пола Лоуренс. — Не успевали вы опомниться, как уже попадали в ее сети. Но она делала это с невероятной нежностью, проявляла к вам самый неподдельный интерес, делала фантастические подарки, оказывала знаки любви и внима-

ния. Кто мог не желать такого отношения?

Конечно, неорганизованный и рассеянный Теннесси Уильямс желал его.

«Я совершенно не способен выучить относительную стоимость всех этих дурацких монет, шиллингов, полукрон, соверенов и прочих, — писал он Одри Вуд из Лондона в 1948 году, как раз перед тем, как в его жизнь вошла Мария. — Когда Марго (режиссер Марго Джонс, которая также обожала Уильямса) покинет меня, я окажусь в полном хаосе!»

Мария сумела стать необходимой. Она посылала ему подарки, занималась его бельем, по-матерински резко наставляла его («Читай, отмечай и переваривай в душе».). В самом деле, Мария обладала и физическим, и эмоциональным сходством с Эдвиной, матерью Уильямса,— она была такая же маленькая, властная, волевая и испытывала ту же ностальгию по безвозвратно ушедшему аристократическому прошлому. Странную власть Марии над Уильямсом можно объяснить тем, что это сходство невольно придавало ей в его глазах особый авторитет и притягательность.

Мария превратила жизнь Уильямса в обществе в праздник. Актер Кит Бакстер, выступавший вместе с Марией в «Вывеске концерна «Красный дьявол», говорит:

— Одним из ее свойств, которые особенно возбуждали Тенна, была ее жизненная сила. Там, где была Мария, энергия била ключом; а энергетический запас Тенна был уже порядком растрачен.

Она вносила неожиданные комедийные нотки в меланхоличное существование Уильямса.

«За одну ночь и утро леди Сент- Свин произвела неизгладимое впечатление на Буффало и в особенности на дирекцию и актеров театра «Арена», — сообщал он Гору Видалу в 1973 году в письме, написанном вместе с Марией. — У нас был заказан самолет на 2 часа дня, а в 11.30 она решила поехать посмотреть на Ниагарский водопад, и мне вместе с таксистом и помощником администратора гостиницы с трудом удалось убедить ее в том, что у нас никак не может хватить времени для реализации этого плана. Она вернула мне деньги с видимой неохотой».

(В этом месте Мария приписала: «В любом случае он дал мне слишком мало. Скряга».)

С самого начала друзей Уильямса забавляло, насколько крепко Мария держит его в руках. Дональд Уиндем писал в своих мемуарах:

«Она — одна из немногих людей, которые с помощью лести и насмешки, юмора и хитрости иногда могут заставить Теннесси увидеть глупости, которые он делает, и отказаться от них. В то же самое время она укрепляет свои позиции, злостно поддерживая его намерения, если он нуждается в их одобрении».

Даже к концу жизни Уильямса, после шестидесяти лет, в возрасте, который он называл своим каменным веком, Мария — хотя и сокрушавшаяся из-за его гомосексуализма и привычки к наркотикам — сохраняла контроль над ним, исполняя все его желания.

— Она поставляла или пыталась поставлять ему не только мальчиков... но и наркотики, — утверждает Брюс Смит, специалист по связям с общественностью, написавший мемуары под названием «Дорогое представление», в которых рассказывает о дружбе с Уильямсом в период 1979 — 1981 годов. Смит отказался оставаться с Уильямсом после того, как обнаружил комплект иголок для шприца в его квартире. В неопубликованном отрывке из мемуаров Смит пишет о том, как однажды он зажал Марию в угол и сказал ей:

— Я видел иголки в посылке, пришедшей сегодня утром. Не надо изображать из себя святую, — и добавляет: — Она широко открыла глаза и ушла в кухню.

Дотсон Рейдер, не чуждавшийся наркотиков и иногда останавливавшийся в доме Уильямса в Ки-Уэсте, также «убедился в том, что она была его снабженцем». Рейдер продолжает:

«Он не мог достать секонал. Доктор не давал ему таблеток...

Я убедился, что она давала ему таблетки, потому что стоило ей прийти, как они вдруг оказывались у него... Я думаю, что она получала рецепты на свое имя и давала ему лекарство. Я по-настоящему разозлился за два дня до премьеры «Гардероба», потому что он был не в форме. Мы все обедали у Васа Воглиса, там мы тоже должны были заниматься делом, и Теннесси пришел с ней. Они провели вместе целый день, и он был совершенно заторможенный. Он пропустил репетицию. Она выглядела очень довольной. Я начал нападать на нее. Я сказал: — Ты, грязная тварь! Ты пичкаешь его наркотиками! Ты убиваешь его, сукина ты дочь!

На это она среагировала очень по-английски, очень по-великосветски. Она повернулась к Теннесси и сказала:

— Милый, ты не собираешься защитить меня от этого негодяя?

Я сказал, что иду к нему в гостиницу и спущу в туалет все, что найду там. А если у него снова появятся наркотики, сказал я, то я обращусь в полицию, чтобы ее депортировали... Я думаю, что в этом заключалась одна из причин того, что он всегда был рад ей... Она потакала ему в его дурных наклонностях...»

Еще одной слабостью Уильямса была страсть общаться со знаменитостями. И здесь Мария выступала в роли его защитника и помощника: она облегчала ему существование в мире, когда он оказывался слишком пьяным или одуревшим от наркотиков, чтобы справляться с этим самостоятельно. Однажды, после бродвейской премьеры «Влечения» Мартина Шермана (1979), они оба вместе с Рейдером пришли за кулисы, чтобы поздравить исполнителя главной роли Ричарда Гира. Актер сидел в шортах на столе, когда Уильямс протянул ему руку.

«Гир уставился на Теннесси и не ответил на его рукопожатие, — вспоминает Рейдер, отнюдь не бывший поклонником Марии. — Но, должен признаться, я был горд за нее. «Вы не знаете, кто перед вами, молодой человек? Вы не знаете, кто протягивает вам руку? Это Теннесси Уильямс, самый великий драматург в мире. Как вы осмеливаетесь не пожать ему руку!»

Власть известности усиливала и даже узаконивала диктаторские замашки Марии.

— Она пыталась убить меня, — признается младший брат Уильямса, Дейкин, вспоминая, как Мария столкнула его со ступенек нью-йоркского театра «Лицеум» после премьеры «Зова» в 1973 году. В то время Дейкин был в плохих отношениях с Уильямсом, который обижался на него за то, что тот поместил его в клинику в 1969 году.

— Там была дыра в перилах шириной в два фута, — говорит Дейкин. — Семьдесят пять футов вниз, а там бетон. Леди сумела поставить меня как раз перед этой дырой. Потом она сказала: «Отойди назад, Дейкин», положила мне обе руки на плечи и толкнула... К счастью для меня, под дырой проходила винтовая лестница, которую она не увидела; падая, я ухватился за ступеньки и сумел удержаться.

В 1979 году Дейкин увидел Марию в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где Уильямсу должны были вручить почетную премию Центра им. Кеннеди. Дейкин вспоминает:

— Я пришел к ней и сказал: «Послушай, Мария, зачем ты хотела сделать это?» — намекая на попытку покушения на мою жизнь. Она ответила: «Ну что же, Дейкин, ты ведь вел себя по-скотски». Мой брат спросил, в чем было дело, и сказал ей: «Ты могла убить Дейкина». А она сказала Теннесси: «О, это было лишь намерение, милый».

Уильямса, который, если не был пьян, всегда стремился к примирению, забавляла и пугала прямолинейность Марии.

«Ты, кажется, произносишь вслух все то, о чем скромные люди только думают, — писал он ей в 1949 году. — Я самым настоятельным образом советую и умоляю тебя утихомириться, вести себя как примерные маленькие собачки на Пятой авеню».

Но это было выше сил Марии. Несколькими точными словесными мазками она могла набросать портрет человека. «Уроды без шеи», первая фраза «Кошки», была ее детищем, и она придумала целый словарь колючих прозвищ, чтобы позабавить Уильямса. Его агент, величественная Одри Вуд, была «Леди Мандарин»; его толстощекая приятельница Карсон Маккаллерс — «Вставная челюсть»; обходительный агент Роберт Ланц, родившийся в Берлине, — «Крем-с-приветом». Друсцилла Бейфус вспоминает, что в начале 50-х годов, когда у Марии была однокомнатная квартирка в Нью-Йорке, она пришла к ней в первый раз и нашла только покрытый пятнами крови носовой платок и записку, пришпиленные к двери: «Наверху самоубийство. Я скоро вернусь». Бейфус говорит:

— Я так и не узнала, на самом ли деле кто-то наверху покончил с собой. После этого мы все пошли обедать, всем было весело, об этом случае не было сказано ни слова. Я чувствовала себя как в пьесе Чехова.

Драматург Джон Гуэйр, навещавший Марию в Уилбери, говорит:

— Можно понять, почему она нравилась Теннесси. Она разыгрывала мелодрамы каждую минуту. Совершенно маниакальный склад характера. Люди делились на хороших и плохих. Она доверяла только своему нюху. Она жила только инстинктами. Это было опасно. Она мгновенно оценивала людей и оказывалась либо совершенно права, либо совершенно не права.

С годами Уильямсу все больше нравилось нацеливать картечь сарказма своей подруги на разных солидных людей и наблюдать за их реакцией. Когда Мария пожа-

ловалась, что не в состоянии понять образ Стэнли Ковальски, созданный Брандо в «Трамвае», Уильямс повел ее за кулисы, чтобы она сама сказала это актеру.В 1955 году он повез Марию во Флориду под вымышленным именем мисс Боу, чтобы она увидела провал Таллулы Бэнкхед в роли Бланш в спектакле, сыгранном на гастролях перед возвращением в Нью- Йорк. Мария пробовалась на роль Стеллы в этом спектакле, но неудачно. Скандал был обеспечен.

«С той минуты, как мисс Бэнкхед увидела Марию, в ней не осталось ничего естественного, — пишет Сэнди Кэмпбелл в «Б», изданном частным образом отчете о спектакле, в котором у него была небольшая роль. — Тенн облизывался в предвкушении встречи между Б. и ею».

Уильямс, который в душе был недоволен исполнением Бэнкхед, привел мисс Боу на вечеринку по случаю премьеры («Мария, конечно ... резко высказывалась об игре Б.».) На следующий день неизбежно произошла ссора между Бэнкхед и Уильямсом, который накануне лицемерно хвалил ее, а теперь говорил о плохой игре. Присутствовавший Кэмпбелл так описывает эту сцену:

— И у вас хватает самообладания, чтобы говорить мне такие вещи после того, как вы стояли передо мной на коленях в уборной, — говорила Б.

— Вы называете меня лицемером?..

— А привести на прием эту суку Марию — это вообще невероятно, — сказала Б.

Тенн выпрямился:

— Моя милая, больше мне здесь нечего делать. Назвать так моего лучшего друга — этого я вынести не могу!

И он вышел.

— Она служила ему хребтом, — говорит Гор Видал о роли Марии в жизни и карьере Уильямса. — Он предпочел бы ускользнуть в ближайший бар и забыть обо всем. Он иногда выражался очень непристойно, а с годами это только усилилось. Он мог сидеть в компании разных уважаемых людей и вдруг говорил: «О, я видел на Стрэнде этого парня, у него...» Все в комнате замирали. И тогда слышался голос Марии: «О, Теннесси, замолчи же!» Я сказал Марии, что ей следовало именно так назвать свою книгу. Иногда ему это нравилось; но вообще он был хитрым стратегом, когда дело касалось его карьеры, и иногда он сам приказывал ей замолчать. И она сразу же становилась кроткой как ягненок.

Едкий юмор Марии нередко разрушал привязанности Уильямса. Кроме того, благодаря этому юмору между ними существовал дух сообщничества, который многие принимали за близость.

— Если ей казалось, что Тенн начинет испытывать к кому-то недоверие, она сразу же нашептывала ему какие-то гадости, — говорит Рейдер. Мария явно раздувала параноидальные опасения Уильямса в отношении Одри Вуд, которые привели к полному разрыву между писателем и его агентом в 1971 году, после тридцати двух лет сотрудничества. Мария недолюбливала Вуд с первых дней своего пребывания в Нью-Йорке, когда ей пришлось долго ждать Одри в приемной, чтобы получить недельную стипендию в 25 долларов, о которой договорился Уильямс. По словам агента Бриджет Ашенберг, работавшей с Вуд, Мария была единственной, кто сумел довести до слез старейшину американских театральных агентов.

— Произошла какая-то ужасная сцена в уборной между нею, Тенном и леди Марией, — рассказывает Ашенберг об оскорблении, которое Уильямс нанес Вуд за кулисами во время представления «Зова». — На следующий день она пришла в офис в темных очках. Она сказала: «Я не хочу говорить об этом». Она ненавидела эту женщину. Она ее ненавидела.

Позже, в 1979 году, когда интересы Уильямса стал представлять агент Митч Дуглас, Вуд иногда заглядывала в его кабинет и спрашивала: «Как у него дела?» Дуглас вспоминает, как однажды утром она внезапно спросила:

— Что, приятель, ты еще не встречался с Марией? — Я ответил: «Еще нет». И она сказала: —Остерегайся ее, дружок, это сука.— Одри никогда не говорила так ни о ком.

(Впервые Дуглас услышал голос Марии, когда та позвонила ему и сказала: — Митч, я нахожусь в квартире Теннесси, там помойка. Полы грязные, окна еще грязнее.

Дуглас вспоминает:

— Я сказал: «Мария, я не занимаюсь мытьем полов».)

Марию раздражало, что Вуд с успехом играла роль и критика, и доверенного лица при Уильямсе, и она сочла нужным упомянуть об этом в «Пятичасовом ангеле». Она пишет:

«Рукопись, которую Теннесси послал Одри и к которой она отнеслась так отри-

цательно, была рукописью новой пьесы — «Кошка на раскаленной крыше». Одри была не в состоянии понять пьесу, Мария была вынуждена растолковывать ей смысл».

Это утверждение поражает своей абсурдностью. «Кошка» посвящена Вуд, и она, конечно, понимала пьесу; она сделала ряд критических замечаний, которые Уильямс учел при окончательной доработке.

«Я счастлив, что вы так по-доброму указали мне на это, — писал ей Уильямс по поводу ее замечаний относительно «Орфея» (1957). — Ваша реакция на пьесу значит для меня гораздо больше, чем чья бы то ни было».

Пересматривая историю, Мария пересматривала и свое место в истории жизни Уильямса, которое было предметом споров между ними с момента публикации «Мемуаров» писателя в 1975 году. Как неоднократно рассказывала Мария журналистам, она выкинула «Мемуары» в корзину. По ее словам; она была оскорблена гнусными баснями Уильямса. Еще больше ее оскорбило то, что он упомянул ее всего одиннадцать раз, называя при этом «случайной актрисой», и пообещал читателям, что «в другой раз он напишет о Марии больше». Самым ярким упоминанием о ней в книге было «Леди одержима folie de grandeur[1]». Мария устроила Уильямсу скандал, и он принес ей извинения в виде нескольких машинописных страниц, посвященных их взаимоотношениям, которые, как он обещал, должны были быть напечатаны одним из английских издательств. В конце концов они были напечатаны в «Пятичасовом ангеле». Уильямс писал:

«В американском издании моих «Мемуаров» эпизоды, относящиеся к этой благотворной дружбе, были по определенным причинам сокращены редакцией до такой степени, что она представляется не более чем знакомством, практически не имевшим смысла».

Но что произошло в действительности, было ли описание amitie amoureuse[2] Сент-Джаст и Уильямса вычеркнуто из книги чужой рукой? «Нет», — отвечает Кейт Медина, редактор книги. Сам Уильямс буквально исключил Марию из официальной истории своей жизни. Она впитала его в себя, но впитал ли ее Уильямс, как утверждает Мария в «Пятичасовом ангеле»?

— Думаю, что в определенном смысле это имело место, — говорит Гор Видал. — Хотя он был кошкой, гулявшей в полном одиночестве. Он, конечно, в какой-то степени ценил то, что она делала для него, то есть то, что она за ним присматривала. Но я не думаю, что он когда-нибудь испытывал к кому-нибудь нежность.

Когда, в конце жизни, Питер Сент-Джаст был тяжело болен и Мария преданно ухаживала за ним, Хэрриет Ван Хорн спросила у нее:

— Представь себе, что смертельно заболели оба, и Питер, и Тенн. За кем ты будешь ухаживать?

По ее воспоминаниям, Мария ответила:

— Ну конечно, за Теннесси, дорогая.

Случилось так, что Уильямс умер в 1983 году, за полтора года до Питера Сент-Джаста. В последние годы жизни Мария часто спрашивала у Полы Лоуренс:

— Как ты думаешь? Если бы Теннесси остался жив, чем бы это кончилось?

Как объясняет Лоуренс:

— Она хотела, чтобы мы подтверждали ей, что они так или иначе были бы вместе. Может быть, не поженились бы официально, но были вместе. Это было так грустно. «Девочка, смотри на вещи реально!» О Господи!

Фантазии Марии о том, что она осталась вдовой Уильямса, и ее собственные артистические разочарования реализовались в ее роли сопопечителя Фонда Розы Уильямс, в который была вложена большая часть состояния Уильямса, около 5 миллионов долларов. Мария выполняла придуманную специально для нее работу опекуна Розы — она часто посещала ее в лечебнице и обновила обстановку в ее комнатах: там появились кровать с пологом, белая плетеная мебель, подушки в цветах.

— Это была комната для девочки-подростка, — говорит Лоуренс, муж которой ухаживал за Розой вместе с Марией. — Это была комната, которой у нее никогда не было.

Уильямс, построивший в честь Розы алтарь в своем доме в Ки-Уэсте, увековечил ее память во многих пьесах и главным образом — в роли Лауры в «Стеклянном зверинце» (1945). Как и Лаура, Роза страдала почти болезненной застенчивостью, и это было связано с подавлением всяких сексуальных влечений в девочке, росшей в семье, где мать была пуританкой, а отец — тираном. По мере того как Роза взрослела, ее

[1] Мания величия *(франц.)*.
[2] Дружеская влюбленность *(франц.)*.

поведение становилось все более странным. Ее обуревали галлюцинации, ей казалось, что ее убьют или отравят. Потом развились навязчивые идеи и агрессивность. (Однажды, когда она шла на прием к психиатру, у нее отобрали кухонный нож.) После того как врач предупредил, что Роза способна убить своего отца, родные поместили ее в лечебницу; позже они дали согласие на лоботомию. В отличие от Уильямса, которому работа давала возможность «внешнего забвения и внутреннего насилия», у Розы не было возможности изгнать своих бесов. Понадобилась операция, чтобы превратить ее направленное вовне насилие в глубокое беспамятство.

В свои заботы о Розе Мария вкладывала достаточно тепла и ответственности, но ее добровольное участие в литературных делах Уильямса было поистине фанатичным. Эта деятельность притягивала ее, как свет притягивает мотылька, и она с такой страстью вмешивалась во все дела, что даже ее поверенный, легендарный сэр Арнольд Гудман, указывал ей на необходимость придерживаться каких-то рамок. Он пишет в своих мемуарах «Скажите им, что я иду своим путем» (1993):

«Она яростно сражалась за сохранение в первозданном виде различных постановок, хотя я постоянно указывал ей, что в ее обязанности сопопечителя не входит подбор актеров. Впрочем, делать какие-то замечания Марии — это то же самое, что пытаться свернуть с дороги тяглового вола».

Поскольку Фонд обладал авторскими правами на пьесы Уильямса, положение Марии позволяло ей все чаще давать или не давать разрешение на постановку, а также другими способами запечатлеть в умах потомков ее собственные представления о себе самой - - и об Уильямсе. Она распространила свои имперские амбиции даже на могилу Уильямса, установив на ней — без всяких на то оснований, поскольку он принадлежал к епископальной церкви, — русский православный крест.

Мария хотела, чтобы только ей было позволено говорить об Уильямсе. В предпоследней главе «Пятичасового ангела», где ее фантазия вновь взяла верх над фактами, можно прочитать:

«У Теннесси было две великие страсти — его работа и его сестра Роза. В своем завещании он уполномочил Марию заботиться и о той, и о другой».

Насколько Марии удалось претворить в жизнь придуманный ею же самой миф, можно судить по ее собственным некрологам. «ВЕДЬМА- АРИСТОКРАТКА, ЛЮБИВШАЯ ТЕННЕССИ УИЛЬЯМСА» — гласил заголовок в «Ивнинг стандард». «Гард ян» излагала историю Марии в более спокойных тонах: «Она была самой близкой подругой Теннесси Уильямса, и ее почти родственная преданность была вознаграждена после его смерти, когда она стала его литературным душеприказчиком. Трудно было найти более бдительного стража для творческого наследия Уильямса».

Некрологи и собственные утверждения Марии противоречат истине, она стала литературным душеприказчиком Теннесси Уильямса за неимением никого другого.

- Марию никогда не назначали литературным душеприказчиком, — говорит другой сопопечитель Фонда, Джон Истмен. — Мы с Теннесси говорили об этом. Он сказал: «Я беспокоюсь только о Розе».

По меньшей мере в одном из пунктов своего завещания Уильямс выразил ясное пожелание отделить сопопечителей, наделенных правами опекунов, от тех, кому предстояло заниматься его литературным наследием; в дополнении к завещанию он давал право заниматься этими проблемами исключительно Гарвардскому университету.

Завещание стало причиной неоднозначных конфликтов между Марией и Уильямсом.

— Ее всегда занимали деньги, — говорит Рейдер. — Она боялась за свое будущее. Она старела. Он говорил ей: «Не бойся, крошка. Ты включена в завещание».

Однако замечает Рейдер:

— Теннесси всегда говорил людям, что они включены в его завещание.

Мария спорила с Уильямсом — и даже на несколько лет, по словам друзей, поссорилась с ним, настаивая, чтобы он сделал ее своей наследницей. Именно из-за этой ссоры в период с 1959 по 1967 год Мария и Уильямс обменялись всего-навсего двадцатью письмами, приводимыми в «Пятичасовом ангеле».

— В конце концов корень зла для нее заключался в деньгах, — говорит Пола Лоуренс. — Она любила деньги. Деньги были связаны с безопасностью, любовью, чувствами.

Для Марии, которой приходилось содержать большое поместье, двух дочерей, обучавшихся в частной школе, и заблудшего мужа, финансовая стабильность означала очень многое. Она хотела, чтобы Уильямс завещал ей какой-то процент доходов от одной из его основных пьес — он сделал это в отношении некоторых других важных для него людей, например, его мать должна была получать половину доходов от

«Стеклянного зверинца», а добрый друг и любовник Фрэнк Мерло — определенный процент от «Татуированной розы». Когда Уильямс умер, он оставил Марии долю дохода от редко исполняемой «Пьесы для двоих» (так стала называться впоследствии пьеса «Зов») — с финансовой точки зрения это был такой же великодушный жест, как завещанная Шекспиром жене «вторая по качеству кровать в доме». Уильямс также сделал Марию сопопечителем Фонда — что приносило ей достаточно приличное вознаграждение, — но ее пребывание в этой должности зависело от продолжительности жизни Розы. Согласно завещанию, после смерти Розы прекращалась деятельность сопопечителей и выплата им жалованья. При всей преданности, которую демонстрировала Мария в отношении Розы, этот пункт завещания гарантировал надлежащий уход за больной.

В самом буквальном смысле попечители Фонда выполнили свою задачу — то есть увеличили экономическую мощь Фонда.

— Мы сделали это, — говорит Истмен, — под руководством Марии.

В 1984 году Мария и Истмен начали оказывать помощь душеприказчику, назначенному, согласно завещанию, — Юго-Восточному банку Флориды, — в управлении имуществом Уильямса, и в течение последующих пяти лет доходы подскочили с 349 000 до 545 000 долларов в год; в период с 1989 по 1993 год они увеличились до 809 000 долларов в год. Однако Мария, не имевшая академического образования и не понимавшая, каким образом создается или поддерживается литературная репутация, содействовала постановкам и мешала дискуссиям. Доходы от наследия Уильямса росли, но споры о его творчестве затухали. Ученым запрещали цитировать неизданные произведения писателя, даже снимать копии с ранних его работ, занимающих не один десяток коробок в Техасском университете в Остине.

«Эти люди хотят поддерживать репутацию Уильямса, а для этого им нужно писать о нем и изучать его творчество, — писала Марии библиотекарь Кэти Хендерсон, хранитель собрания, в 1992 году. — Если Вы будете отказывать исследователям в возможности делать фотокопии, нужные им для работы, это отвратит внимание критиков и уменьшит число зрителей».

Сегодня, более чем через десять лет после смерти писателя, его письма не изданы; его дневники не опубликованы; не существует образцовых изданий его лучших пьес; доступ к его личной библиотеке закрыт; нет плана издания его неизданных произведений. (Мария отменила публикацию «Что-то смутно, что-то ясно» в издательстве «Нью дирекшнс» в 1993 году, по-видимому, из-за гомосексуальной направленности произведения.) Поскольку образ леди Сент-Джаст, подававшийся общественности, был тщательно выстроенным карточным домиком, любая проверка угрожала разрушить его; поэтому Мария была полна решимости самостоятельно выбрать биографа Уильямса.

— Его постоянно порочат, — говорила она, имея в виду множество недостаточно проработанных воспоминаний об Уильямсе — в том числе его собственных, — в которых большое внимание уделялось его пьянству, наркотикам и гомосексуальной ориентации. — Я не могу допустить, чтобы будущие поколения узнали его таким.

Она рассматривала кандидатуры многих писателей. Я был среди них — ко мне обращалась не сама Мария, а ее агент, — но семейные обстоятельства вынудили меня отказаться от работы над биографией Уильямса. Мария связывалась с несколькими авторами писательских биографий, в том числе с А.Скоттом Бергом, Джудит Терман и Марго Питерс, которые, как она считала, могли навести дополнительный глянец на образ Уильямса. Но в конце концов способности литераторов и запросы Марии пришли в непримиримое противоречие. Ни один уважающий себя автор не согласился бы потратитть пять — десять лет на работу, которая в результате контролировалась бы третьей стороной.

Гор Видал говорит:

— Я объяснял ей: «Тебя беспокоит только одно — как ты будешь выглядеть во всей этой истории. Любой биограф позволит тебе проверить все, что он будет писать о тебе, поскольку это будет биография Теннесси, а не Марии».

Конечно, основная проблема для нее заключалась именно в этом.

Мария действительно заключила договор с Марго Питерс, автором биографий Шарлотты Бронте и Бэрриморов, и та работала над книгой об Уильямсе в 1989 — 1991 годах. Процесс шел трудно.

— Она твердо решила просматривать мои рукописи, — рассказывает Питерс. — Я постоянно говорила ей: «Мария, эту биографию пишу я. Вы дали мне право заниматься этим, но это моя работа. Я не могу ничего делать, если вы будете проверять, что я пишу». Были такие вопросы, которые она даже не давала мне изучать. Сначала мне было позволено цитировать Уильямса, потом она это запретила.

Питерс отказалась от работы над биографией, потом возобновила ее. В конце концов пути обеих женщин разошлись после резкого телефонного разговора.

— Я никогда не доверю вам его, — так, по словам Питерс, сказала ей Мария. Питерс до сих пор кипит при одном воспоминании об этом разговоре.

— Вы разорили Теннесси Уильямса! — кричала она Марии. — Вы продолжаете разорять его! Вы разрушаете его репутацию! Вы разрушаете возможность изучать его творчество! Я не буду работать над его биографией или сотрудничать с вами ни за какие блага на свете!

И она швырнула трубку.

Мария восхищалась Маргарет Тэтчер и, если ей приходилось сталкиваться с чем-то противоречившим ее желаниям, пользовалась тактикой бывшего премьер-министра: она не брала пленных. Она хвасталась Вирджинии Спенсер Карр, подписавшей контракт с издательством «Скрибнер» — действительный по сей день — на составление биографии Уильямса, что ей уже удалось «раздавить» две биографии, а потом осмелилась провернуть этот трюк и с самой Карр, запретив ей цитировать произведения Уильямса. Как обнаружили и Питерс, и Карр, переговоры не были стилем Марии — она предпочитала уничтожать противника. Она не сообщила даже «избранной» Питерс, что за пять лет до смерти Уильямс согласился сотрудничать с театральным продюсером Лайлом Леверичем. Леверич, который хотел писать его биографию в двух частях, хранил два письма от Уильямса, в которых писатель назначал его своим биографом и разрешал ему «полный доступ ко всей моей частной переписке и дневникам».

Уильямс впервые встретился с Леверичем в 1976 году, когда тот руководил маленьким сан-францисским театром «Витрина», где была успешно поставлена «Пьеса для двоих». На следующий год Леверич написал длинное письмо в «Нью-Йорк таймс»; в нем он полемизировал с Робертом Брустайном, автором обзора, посвященного книге «Письма Теннесси Уильямса Дональду Уиндему: 1940 — 1965»; эта книга, изданная в 1977 году, остается лучшей из всех, написанных об Уильямсе, — и Уильямс послал ему письмо с благодарностью. На следующий год Леверич жаловался на обеде, что собственные «Мемуары» Уильямса сослужили ему плохую службу, и предложил написать книгу о работе Уильямса в театре, на что драматург ответил:

— Крошка, ты ее напишешь!

В январе 1979 года Уильямс дал поручение своему тогдашнему агенту, покойному ныне Биллу Барнсу, представлять права Леверича. А потом Уильямс решил, что Леверич должен стать его биографом — Леверич согласился с этим заданием. В 1984 году, вскоре после смерти Уильямса, Чарльз Кэррол, который в качестве личного представителя Юго-Восточного банка Флориды был единственным душеприказчиком Уильямса до опубликования завещания в июне 1988 года, вновь подтвердил, что официальным биографом Уильямса является Леверич.

Леверич относительно спокойно работал над первым томом биографии на протяжении 10 лет, хотя судьба рукописи книги «Том: неизвестный Теннесси» была такой же невероятной, как и судьба ее героя: вначале она должна была выйти в издательской фирме «Конгдон и Уид», но та обанкротилась, тогда права перешли к Уильяму Морроу, и наконец в 1990 году — к издательству «Гроув Уиденфилд»; выход книги был намечен на осень 1991 года. Однако к середине 1988 года было обнародовано завещание Уильямса; Мария и Истмен стали сопопечителями Фонда, и Мария самовольно провозгласила себя защитницей литературного наследия Уильямса. Она бросилась на это дело с тем же мстительным энтузиазмом, с которым подчиняла себе Уилбери после кончины свекрови. Тогда Мария обосновалась в имении с детьми и двумя мопсами («Бам-бам-бам, и враги убегают один за другим», — радостно писала она Уильямсу о том, как выгнала кухарку, дворецкого, буфетчика и горничную.) Подобно миссис Гоуфорт из «Молочный фургон здесь больше не останавливается» (1963), Мария приговаривала любого, кто проявлял непослушание, к заточению в «забывальне» («oubliette») — тайной средневековой темнице, куда, по словам Уильямса, «людей заточали, чтобы о них забыли». Она решила оспорить задним числом разрешение на публикацию книги, данное Леверичу, на том основании, что в двух письмах Уильямса не было особо оговорено право на цитирование писем и дневниковых записей. Леверич возразил на это, что подобное разрешение было дано ему Юго-Восточным банком Флориды, и продолжил работу, но Мария отвергла ее, назвав еще одной «пиратской книгой». Она обсуждала эту проблему в письме к Андреасу Брауну, владельцу издательства «Готэм бук март» и исследователю литературных архивов, которого Одри Вуд наняла в 60-х годах для изучения бумаг Уильямса и составления каталога и который вернулся к этой работе после смерти писателя. Мария упре-

кала его за помощь Леверичу и заверяла, что Леверич никогда не получит разрешения стать биографом Уильямса. Ответ Брауна был резким. «Да, — писал он Марии, имея в виду помощь Леверичу, — я делал это на протяжении пяти лет до смерти Теннесси, и делал главным образом потому, что Теннесси просил меня об этом».

Мария не прекращала своих попыток дезавуировать биографию, написанную Леверичем. В завещании Уильямса предусматривалось, что «все мои бумаги должны быть доступны для тех людей, работающих над моей биографией, которым будет оказано доверие моими душеприказчиками и/или попечителями». Однако Мария убедила Леверича в том, что она обладала полномочиями отменить решение душеприказчика о назначении его официальным биографом. В безнадежной попытке доказать качество своей работы и получить заверение в том, что никто не будет оспаривать на законных основаниях его право на публикацию, Леверич обратился к ряду выдающихся литературных и театральных деятелей с просьбой прочесть рукопись. Одним из этих людей был Артур Миллер, который написал:

«Это действительно выдающаяся работа... оригинально написанная. Я думаю, что она сослужит хорошую службу для репутации Уильямса и, кроме всего прочего, поможет многим молодым людям оценить его достижения и его глубоко идеалистическое отношение к природе человека».

Что касается издательства «Гроув», его адвокаты полагали, что позиция Леверича достаточно сильна, но компания не была готова к проведению потенциально разорительного крестового похода против такой альтруистки, как леди Сент-Джаст. В конце 1990 года издательство решило отложить публикацию книги до тех пор, пока Леверич не получит подтверждения первоначально данного ему разрешения от душеприказчиков Уильямса, или до тех пор, пока не умрет Роза Уильямс и Фонд не будет распущен.

Мария утверждала, что она ни в чем не виновата. В другом письме к Брауну она возлагала всю ответственность за жесткую позицию попечителей на Джеймса Лафлина. Леверич послал первый, неотредактированный вариант рукописи Лафлину, чтобы получить его комментарии, но весной 1989 года Лафлин вернул ему рукопись и пояснил, что не мог прочесть ее, потому что был занят ремонтом своего дома в Коннектикуте после пожара. Однако он добавлял, что, по его мнению, эта книга «не соответствует планам Марии», потому что «она хочет чего-нибудь покороче и в другом ключе». Впоследствии Лафлин писал адвокату, занимавшемуся наследством Уильямса:

«Я пишу Вам, чтобы подтвердить, что Лайл Леверич действительно прислал мне свою рукопись об Уильямсе с целью узнать мое мнение о качестве этой работы, официальной биографии.

Я восхищался глубиной его исследований, но мне показалось, что книга лишена литературных достоинств, необходимых для официального жизнеописания Теннесси Уильямса».

Что же произошло? Браун, хорошо знавший и Лафлина, и Леверича, хотел разобраться в этом.

«Насколько я помню, — писал он Лафлину 27 июня 1990 года, — Лайл прислал Вам свою первую, неотредактированную рукопись, чтобы получить общие замечания, а не для того, чтобы Вы дали Марии или управляющим имуществом свои рекомендации относительно того, можно или нет признать этот труд «официальной биографией». Кроме того, я не помню, чтобы во время наших разговоров о Лайле и его книге Вы когда-либо говорили, что эта биография не заслуживает титула «официальной».

Лафлин дал объяснения по этому поводу в открытке, на которой стоит штамп «5 июля»:

«Ответ может быть один — «шантаж». Извините!»

Мария последовательно вела свою линию. Будучи держателем авторских прав, она могла в любой момент передать право на издание книг Уильямса другому издательству и, следовательно, заблокировать планы Лафлина опубликовать его переписку с Уильямсом. (В конце концов она заключила с Лафлином сделку, согласно которой его книга должна была увидеть свет только после выхода ее собственной книги.) В мае 1992 года Лафлин писал Леверичу: «Мне необходимо оставаться в дружеских отношениях с душеприказчиками, потому что у нас много общих дел, но цензура мне совсем не по душе».

Другие, в том числе Гор Видал, заступались перед Марией за Леверича и за свободу слова. По словам Видала:

— Я осуждал ее. Я кричал на нее. Она знала, что, во-первых, он (Леверич) провел очень кропотливую работу, а во-вторых, знал об этой истории с абортом. Я сказал

ей: «Господи, да все с этим сталкивались. В чем проблема? Можно подумать, что ты стоишь в числе претендентов на английский престол и это может повредить твоей репутации. Ты всего лишь актриса — а актрисы на такие дела смотрят просто».

Леверич на самом деле писал Марии, предлагая ей «просмотреть и прокомментировать» обнаруженные им деликатные детали. Она не ответила ему. Хотя Мария справедливо возражала против дезинформации и неумного школярства в других работах об Уильямсе, она так и умерла, не сняв запрета с книги Леверича.

— Мария разрушила жизнь этого человека, — говорит Браун. — Это настоящее моральное преступление.

— Я испытывал горе, — сказал мне 74-летний Леверич сразу после смерти Марии. — Теннесси дал Марии возможность обзавестись друзьями во всем мире, а она обзавелась только множеством врагов.

Английская актриса Шейла Гиш стала особенно ярым врагом Марии в 1983 году, когда та незаконным путем пыталась помешать ей выступить в главной роли в «Трамвае» в театре «Гринвич» в Лондоне. Уильямс с восторгом отнесся к тому, что роль Бланш сыграет актриса, пользующаяся большим успехом.

«Вы будете великолепны в этой роли, — писал он Гиш 26 февраля 1982 году и добавлял с грустью: — Для меня же время уходит, и я почти счастлив, что это так».

Через несколько месяцев после того, как время Теннесси действительно истекло, Мария пригрозила запретить спектакль и разорить театр из-за Гиш, которую Уильямс, по ее словам, не любил как актрису. Однако имя Гиш было указано в контракте, дававшем театру право на постановку пьесы, и, поскольку Мария еще не вступила официально в права сопопечителя, директор театра Алан Стрэхан отверг эти угрозы. Работа над постановкой продолжалась, а потом спектакль с большим успехом был перенесен и в театр «Мермейд». Однако успех Гиш сыграл против нее. Отныне ей не разрешали играть главные роли в «Кошке на раскаленной крыше», «Стеклянном зверинце» и «Ночи игуаны». Она обратилась в «Эквити»[1] и к адвокату, требуя принять законные меры против того, что она называла «личным маккартизмом» леди Сент-Джаст и ей удалось привлечь на свою сторону против Марии таких друзей, как сэр Алек Гиннесс, режиссер Джон Декстер и драматург Мартин Шерман. Ничто не помогло.

— Мне пришлось пережить очень-очень трудные времена, — говорит Гиш. — Если ты видишь, что способна действительно сделать что-то — и сделать лучше, чем кто-либо другой, — то чувствуешь себя так, как будто говоришь Иэну Маккеллену: «Прости, милый. Больше ты не сможешь играть Шекспира».

Известие о смерти Марии застало Гиш на юге Франции.

— Я не могла в это поверить, — говорит она. — На следующий день я здорово напилась, я испытывала чувство огромного, ОГРОМНОГО облегчения, потому что это был человек, который не оставлял меня на протяжении десяти лет. Я даже не понимала, как тяжел был этот груз.

Когда Джин Ньюлин, куратор театральной коллекции Гарвардского университета, в августе 1984 года приехала в Уилбери, Мария выглядела обезумевшей от горя. Уильямс умер. Лорда Питера ждала больница. Ей было не до размышлений о наследстве Уильямса, но Ньюлин приехала, чтобы обсудить судьбу рукописей, и сумела убедить Марию принять участие в собрании душеприказчиков в октябре. Мария сыграла большую роль в том, что Уильямс подписал приложение к завещанию, согласно которому его бумаги переходили не к Южному университету — альма-матер его обожаемого деда Уолтера Дейкина, в память которого должен был быть учрежден литературный фонд, — а к Гарварду. (За закрытыми дверями удалось найти решение, устраивавшее обе стороны — Южный университет получал материальный доход, включая определенные проценты от изданий, а Гарвард становился правовым владельцем рукописей.) Лайл Леверич был с Уильямсом в Новом Орлеане, когда Мария позвонила ему по поводу завещания. Он вспоминает, как Уильямс попросил его: «Скажи ей, что я сплю».

— А потом он повернулся ко мне и сказал: «Они хотят, чтобы я изменил завещание». Именно это он и сказал. Он бормотал что-то по поводу того, что не хочет делать этого. Он качал головой.

Однако в последние месяцы жизни Уильямс, устав от непрекращающегося нажима, подписал приложение, и теперь Ньюлин хотела, чтобы Мария приехала в Америку и приняла участие в управлении имуществом Уильямса, хотя, по ее собственным

[1] Профсоюз актеров в Англии. *(Прим.ред.)*

воспоминаниям, «Джон Истмен был страшно настроен против нее». Истмен был достаточно заметной фигурой в обществе, он участвовал в обсуждении судьбы распавшегося ансамбля «Битлз» в начале 70-х годов, и список его богатых клиентов был достаточно впечатляющим. Его сестра Линда была замужем за Полом Маккартни, чьи интересы теперь представлял Истмен. Он был также поверенным в делах Эндрю Ллойда Уэббера, Дэвида Боуи, Билли Джоэла и управлял имуществом Виллема де Кунинга. Фирма Истмена (созданная сыном и отцом) составила завещание Уильямса, но Джон познакомился с писателем всего за несколько лет до его смерти.

— Он не был по-настоящему заинтересован в Уильямсе, — говорит Ньюлин. Но тут же она добавляет: — Я была знакома с Марией. Я понимала, что именно она была тем человеком, который знал Теннесси, и я начинала тревожиться за материал.

Октябрьская встреча была отложена, когда у лорда Питера произошел рецидив, а позже, в том же месяце, он скончался. Имущество лорда Питера оценивалось в 4 миллиона 65 тысяч фунтов стерлингов, львиная доля которых отошла его дочерям, Наташе и Кэтрин, однако завещание было сразу оспорено его незаконнорожденными потомками, и Мария была очень встревожена.

— Она чувствовала себя беспомощной после этих потерь. Она не знала, что делать, — вспоминает Ньюлин. — «Как быть? Оставаться в Уилбери? Продать имение? Я не буду его продавать». Все было точно так, как в «Вишневом саде». Тук, тук, тук. Это за вами.

Сопопечительство сулило Марии получение каких-то средств и, вероятно, возможность выбора пути в жизни, зашедшей в тупик.

Ньюлин убеждала ее в необходимости заняться этим делом.

— И вот что я вам скажу, — говорит она. — Это было необходимо. Нам был необходим человек, который лично знал бы Теннесси Уильямса, который был бы знаком с работой.

На первом собрании душеприказчиков Мария молчала.

— Она была слушателем, — говорит Чарльз Кэрролл. — Но так было только один раз.

Мария была тихой мышкой, которая училась, как стать крысой. Она была примерно на двадцать лет старше Истмена, она знала театр и знала Уильямса.

— Он ничего не знает, — жаловалась она Поле Лоуренс, поссорившись с Истменом. По словам Кэрролла, присутствовавшего на первых собраниях, Истмен «пытался умиротворить» Марию.

— Мария была самым горячим сторонником Теннесси Уильямса, — говорит теперь Истмен, но при этом добавляет: — Иногда сторонники оказываются весьма неприятными людьми, если их просят не вмешиваться в дело.

Но, даже несмотря на эти замечания, Истмен рисует нам картину счастливого и равноправного сотрудничества.

— Мария не создавала мне проблем в работе, — говорит он. — Мы обсуждали каждое важное решение. Мы с ней подписывали каждый контракт.

Людям, работавшим с наследством Уильямса, казалось, что Истмен только радовался, что все литературные дела взяла на себя Мария.

— Истмен явно хочет отделаться от всех дел, которые не приносят денег, то есть от литературных проблем, — говорит Гор Видал.

Роберт Ланц, представлявший интересы наследства Уильямса в 1985 — 1989 годах, отмечал, что «в случае с душеприказчиками Теннесси дела обстояли очень странно. Они не соблюдали равновесия».

Конечно, Мария стремилась извлечь выгоду из своего участия в деле. Она пыталась остановить многие постановки, начатые с благословения Юго-Восточного банка Флориды в первые месяцы после смерти Уильямса.

— Она писала одно мерзкое письмо за другим, — говорит Кэрролл. Она ополчилась против Энн-Маргарет за участие в телевизионной постановке по «Трамваю» — а этот проект был задуман еще при жизни Уильямса. Когда бродвейский театр захотел получить имя Теннесси Уильямса, Мария потребовала денег за эту честь.

— Она вела себя так, что все были рады от нее отвязаться, — говорит Кэрролл. — Так это ничем и не кончилось.

Рокко Ландесман, руководитель нью-йоркской театральной компании «Джуджамсин», тоже хотел назвать один театр именем Уильямса.

Он говорит:

— Я хотел дать его имя театру, который сейчас называется театром Уолтера Карра. Я обратился к Марии Сент-Джаст. Она много говорила сама и совсем не слушала меня. Основная мысль ее сводилась к тому, что, если мы поставим на Бродвее «Ор-

фей спускается в ад», она все уладит. Мне было очень неприятно, потому что я хотел присвоить имя Теннесси самому красивому театру Нью-Йорка. Но я не хотел поддаваться на шантаж.

Пока Фонд не получил все авторские права, банк неоднократно напоминал Марии, что она не имеет права выступать в качестве единственного душеприказчика, но она уволила Кэрролла с его объяснениями так же спокойно, как уволила бы любого слугу. Выражая постоянное беспокойство по поводу разбазаривания средств Фонда Розы Уильямс (общая сумма выплат на управление 5-миллионным имуществом и на судебные разбирательства достигла 1 370 437 долларов), Мария всячески способствовала ему.

— Она всегда прилетала на «Конкорде», — говорит Кэрролл. — Она по тридцать дней жила в лучших отелях. Наконец, учитывая ее положение, мы сказали ей, что будем оплачивать билет первого класса из Лондона и обратно, но только на назначаемые нами встречи. Ей это не понравилось, но потом она согласилась.

Все увеличивающиеся запросы Марии распространялись и на имущество Уильямса.

— Она все время увозила с собой разные вещи, даже из квартиры Теннесси на Манхэттен Плаза, где он редко останавливался, — говорит Пола Лоуренс. — Уж такой была Мария. Она была грабительницей.

Летом 1988 года муж Лоуренс, Чарльз Боуден, нашел для Розы более подходящую лечебницу.

— У Розы было несколько побрякушек, ювелирных украшений, — говорит Лоуренс. — Когда Розу перевозили, Мария забрала их. Я думаю, она не считала это воровством.

Мария считала своей собственностью даже незначительные мелочи. Раньше Роза неплохо рисовала и теперь развешивала свои работы на какой-то бельевой веревке.

— Каждый раз, когда Мария приезжала, она снимала их и увозила с собой, — рассказывает Лоуренс. — У нее была куча рисунков Розы. Для чего? Что она хотела с ними делать? У Теннесси в нью-йоркской квартире было несколько картин. Она говорила: «О, тебе нужно взять одну из них. Тебе она понравится». Ну и что же, теперь они все в Уилбери. Она просто взяла их себе. Она утверждала, что, если она не будет охранять эти сокровища, они попадут в руки этих «хищников» — так она называла «голубое» окружение Теннесси.

По словам Марии, в тот момент, когда она узнала о смерти Уильямса, она испытала великое физическое потрясение, которое предопределило течение последних десяти лет ее жизни и стало своего рода символом. Она смотрела телевизионную передачу новостей с лордом Питером в его больнице. По словам Илейн Данди, писательницы и первой жены Кеннета Тайнена, Мария рассказывала об этом так: она подошла к телефону, невероятная боль пронзила ее руку до самых пальцев, и она выронила трубку.

Мария утверждала, что с этого момента ее пальцы были скрючены ревматическим артритом. Она не могла открыть дверь, повернуть ручку или отвернуть кран. Мария старалась не обращать внимания на артрит так же, как она игнорировала все неприятные события в своей жизни, но все последние годы ее жизни превратились в непрерывную агонию. Лоуренс считает, что «артрит — это болезнь людей, помешанных на контроле, людей, которые должны чем-то манипулировать и что-то хватать, а Мария была именно такой». Появление болей совпадало с усилением ее роли в качестве стража литературного наследия Уильямса, и, по словам Джин Ньюлин, «чем больше она страдала, тем больше она не хотела ничего никому уступать».

В феврале 1984 года бывший агент Уильямса в агентстве Ай-си-эм Билл Барнс — которого Уильямс вознаградил тем, что вдохнул в его затухавшую карьеру новую жизнь в начале 70-х годов, — пригласил Марию и Джеймса Лафлина к себе домой, чтобы прочесть два дневника Уильямса, датированные концом 30-х — началом 40-х годов. Барнс говорил, что Уильямс передал ему эти дневники в благодарность за тяжелую работу. Барнс собирался издать оба дневника в издательстве «Саймон и Шустер». Лафлин нашел записи «изумительными», но в письме, отправленном Барнсу спустя несколько дней, он писал, что и Мария, и он хотели бы, чтобы они увидели свет в более «литературной форме». По словам Леверича, оба дневника, которые он читал с разрешения самого Уильямса, были «самыми значительными из всех его дневников, которые я видел. Это было своего рода зеркало души молодого художника, который пытался достичь какого-то уровня в своем творчестве, они были трогательными и искренними». Однако у Барнса не было письма, подтверждающего, что он получил дневники в подарок, и в 1985 году ему был предъявлен иск на 2 миллиона долларов со стороны управляющих наследством, обвинявших его в злонамеренных

Но более молодые режиссеры, которые не обладали ни светским опытом, ни шармом, чтобы удержать ее на должном месте, оказывались в незавидном положении. Саймон Кертис, руководитель драматической редакции Би-би-си, пытался убедить Марию, чтобы она разрешила ему снять фильм по сценарию Уильямса «Stopped Rocking». Как говорит Кертис:

— Она вела себя ужасно. «Кто будет писать сценарий?» — спросила она. Я ответил: «Это и есть сценарий».

Ховард Дэвис, автор наиболее проницательной из всех современных постановок «Кошки на раскаленной крыше» (1988), отказался от попыток обворожить Марию, и хотя его спектакль был хорошо принят на Бродвее, Мария запретила ему даже пытаться работать над другими пьесами Уильямса. Она категорически запретила снимать бродвейский спектакль для телевидения. Дэвис, чья постановка «Кошки» была основана на различных версиях пьесы, говорит:

— Мне была невыносима сама мысль о возможности вести с ней переговоры. Она была совершенно вездесуща, она во все совала нос.

Дэвис говорил Марии, что ему необходимо внести в пьесу незначительные изменения, главным образом в сложном третьем акте.

— На самом деле то, что я сделал, было самой огромной компиляцией из всего, что можно, — говорит Дэвис. — Потом я послал ей текст с изменениями, заставив ее поверить — я имею в виду, что врал и нес чушь, — что они были минимальными.

Мария одобрила этот вариант.

— Я могу только предположить, что она не читала мой текст, — говорит Дэвис.

Когда же Мария увидела один из прогонов в Лондоне, она пришла в восторг.

— Она прыгала от радости, как будто бы мне каким-то образом удалось оживить материал с помощью игры и режиссуры, — говорит Дэвис, гордившийся тем, что все изменения остались незамеченными. Но к вечеру премьеры Мария прочитала оригинал пьесы и пришла в ярость.

— Она обвиняла меня в том, что я лжец и мошенник, — говорит Дэвис. — Я сказал: «Это так, но ведь все в порядке. Неделю назад вам все нравилось, и сейчас вам не нравится только то, что вы не сразу заметили разницу...»

Когда готовилась премьера «Кошки» в Нью-Йорке с Кэтлин Тернер в роли Мэгги, Мария настаивала на том, чтобы присутствовать на репетициях. Дэвис отказался пустить ее.

— Я сказал: «Если вы сделаете хотя бы один шаг в этом театре, я попрошу уйти всех актеров и, конечно, уйду сам», — вспоминает Дэвис. Тем не менее Мария попыталась действовать за его спиной и передавала замечания самой Тернер. По словам Дэвиса, Тернер не собиралась следовать ни одному из них.

— Я слышал ее голос в коридоре. Она кричала что-то вроде: «Выгоните эту женщину из моей комнаты и проследите, чтобы она здесь больше не появлялась!»

Грегори Мошер также выгнал Марию со своих репетиций «Трамвая». Он вспоминает:

— Я стоял за сценой и слышал, как Мария делала весьма специфические замечания Джессике Ланж — она говорила какие-то банальности относительно жестов и смеха. Когда она вышла, я спросил: «Мария, почему вы делаете ей замечания?» Она ответила: «Я не делаю никаких замечаний». «Извините, но я же слышал. Я был тут. Вы делали ей замечания». Она сказала: «Вы не имеете права разговаривать со мной таким тоном!» Я ответил: «Я не хочу разговаривать с вами никаким тоном. Вы прекрасно знаете, что вам не о чем говорить с актерами». На это она заявила — и при этом начала рыдать: «Я не допущу, я не допущу, чтобы со мной так разговаривали! Я уезжаю в Англию!» И она уехала в Англию.

Мошер был художественным руководителем чикагского театра «Гудмен» и театра Центра им. Линкольна, он поставил все основные пьесы Дэвида Меймета, но для Марии, ничего не знавшей об американском театре, он был никем. Мария также понятия не имела о том, что существовало по меньшей мере три различных напечатанных версии «Трамвая «Желание».

— Победить ее было невозможно, — говорит Мошер. — Если ей показывали текст, по которому шла работа, она отвечала: «Марлон говорил не так». Если же пьесу ставили по редакции, признанной отделом драматических постановок, она говорила: «Теннесси написал не так». Казан внес в сценарий сотни изменений — он просто переписал некоторые строчки. Почему эта редакция до сих пор существует?

Только со временем Мошер начал понимать связь, существовавшую между возней вокруг литературного наследия Уильямса и Марией.

— Я никак не связывал ее с тем фактом, что до сих пор никто не может сказать,

какая из редакций «Трамвая «Желание» является окончательной, — говорит он. — Или с тем фактом, что текст «Дома, в котором нельзя жить» («A House Not Meant to Stand») до сих пор не опубликован полностью, и пьеса не поставлена в Нью-Йорке. Как это было возможно? Оказывается, все дело было в том, что ей это не нравилось, вот и все. Она не хотела, чтобы я ставил эту пьесу в Линкольн-центре. Она говорила: «Эту пьесу нельзя играть». Я отвечал: «Вы даже не видели ее. Откуда вы знаете, можно ее играть или нет?» Она говорила: «Это плохая пьеса». А я сказал ей: «Это хорошая пьеса. Это, конечно, не «Трамвай», но это хорошая пьеса».

Мошер жалуется, что в отношениях с актерами Мария стремилась выполнять функцию надсмотрщика — она могла сказать им:

— Акцент не имеет никакого значения, мне это Теннесси говорил, — объясняет Мошер. — Эти слова, «акцент не имеет никакого значения», всегда, в ста процентах случаев, означают «у вас это все равно никогда не получится, так что не убивайтесь». Они никогда не означают ничего иного. Эта женщина производила впечатление такой трогательной простушки.

Мария даже принесла на репетицию фотографии Уилбери и показывала их актерам, говоря, что именно этот дом послужил Уильямсу моделью для «Белль Рев» — это была чистой воды выдумка, специально рассчитанная на то, чтобы поразить воображение: пьеса была написана в 1945 — 1946 годах, а она познакомилась с Уильямсом только в 1948-м. К ее удивлению, все актеры смеялись.

Ожесточенная баталия разгорелась по поводу цвета пеньюара Бланш. Уильямс в своих ремарках называл его багряным, но Мария настаивала на том, что он должен быть бледно-розовым.

— Я сказал: «Нет, он будет темно-красным. Это задает тон всей постановке», — вспоминает Мошер. На это она ответила: «Нет, вы не правы. Вы совершенно не правы!» Я сказал: «Мария, я знаю, я читал пьесу». Она сказала: «Хорошо, извините. Я знаю, что это может прозвучать нескромно, но кто вы такой? А это, между прочим, лучшая американская пьеса XX века!» И тут я понял, что она думает, будто это она ее написала. Что еще могли значить слова «это может прозвучать нескромно»? В этом заключалась ее проблема вдовы.

Чтобы защитить актеров и самого себя от груза легенды, окружавшей пьесу, Мошер запретил любые обсуждения фильма Казана и игры Брандо. Однако Алек Болдуин, игравший Стэнли, рассказывал, что Мария пристраивалась к нему во время его поездок по городу, чтобы делать ему замечания.

— Для актера самое главное — это перестать контролировать себя, стать естественным, — говорит Болдуин. — Она заставляла всех нас контролировать свои поступки.

Болдуин обратился к Мошеру, чтобы тот помог ему избавиться от Марии, а перед началом спектакля он любил брать мегафон и развлекать труппу:

— Все внимание! Говорит Мария. Могу я попросить вас о минуточке внимания?

Болдуин поразительно точно имитирует английскую чопорность Марии:

— Я собираюсь угостить вас всех шампанским с клубникой в уборной Джессики после сегодняшнего спектакля. Пожалуйста, прошу вас всех, постарайтесь быть на высоте. Джессика, милочка, пожалуйста, погромче, дорогая. Вас не слышно в четвертом ряду. Алек, дорогой, постарайся быть посексуальнее, если можешь. И пожалуйста, приходите ко мне на шампанское с клубникой после спектакля. Я вас всех люблю.

В этой шутке Болдуин высмеивал также абсолютное непонимание пьесы Марией. При всей страстности ее отношения к работам Уильямса она была не в состоянии оценить их истинное значение.

— Она совершенно не понимала Теннесси, — говорит Мошер. — Знаете театральный анекдот о парне, который получил роль в первой постановке «Трамвая» и написал в письме матери: «Итак, я занят в этой чудесной пьесе о враче, который спасает женщину»? Вот так она и понимала. Она понимала, что самым главным в жизни для Теннесси было то, что он ее любил... Она думала о том, как обессмертить себя, а не его. Я бы понял такое поведение, если бы Теннесси Уильямс был несравненно более прославленным деятелем культуры, но он не был таким.

В финале «Это (Представление)» Генерал, который выражает мысли самого Уильямса, галантно воздает должное Графине (и Марии):

— Моя последняя просьба — это моя последняя команда. Обеспечьте даме безопасный проход через горы! Вы сделаете это? Во имя прошлого?

В каком-то смысле завещание Уильямса обеспечило Марии ту безопасную гавань, которая в пьесе оставалась лишь воображаемой. Но за пятнадцать лет,

прошедших после написания пьесы и до смерти Уильямса, его отношения с Марией постепенно охладевали. В последней, неоконченной новелле Уильямса «Негатив», написанной в ноябре 1982 года, речь идет о бывшем поэте, который не может дописать поэму и которого вот-вот отправят в приют. Ему звонит таинственная леди-Мона, которая вроде бы знает все о его проблемах и хочет стать его музой. Они встречаются в темном кафе. Лицо леди Моны закрыто черной вуалью. Поэт поднимает вуаль, его пугает хищный взгляд женщины, и он бросается в Темзу.

— Он знал, что она беззастенчиво преувеличивала степень их близости и пользовалась этим в своих целях, — говорит Брюс Смит, отмечая, что в конце жизни Уильямс «стремился отдалиться от нее. Когда бы я ни приехал к нему, если она в это время была в Лондоне, я видел ее нераспечатанные письма. Эмоционально он уже расстался с ней. Он говорил мне: «Я не знаю, зачем она хочет приезжать сюда на премьеры, потому что она тут не нужна и ее просто не хотят видеть».

Митч Дуглас подтверждает, что Уильямс вежливо отстранял от себя леди Сент-Джаст.

— Мария хотела быть повсюду, — вспоминает он о репетициях последней пьесы Уильямса, «Гардероб для летнего отеля», на Бродвее. — У нее была масса замечаний и, если мне позволят так выразиться, она влезала во все. Теннесси улыбался, он был очень мил с ней, а потом поворачивался к окружавшим его людям и говорил: «Знаете, она не очень разбирается в пьесах такого рода».

По словам Чарльза Кэрролла, Уильямс думал о том, чтобы изменить завещание и исключить Марию из числа сопопечителей Фонда, но «он всегда все откладывал на потом и так и не сделал этого».

А Элизабет Макканн говорит, что Мария «на самом деле не была заинтересована в изучении творчества Уильямса и в сохранении его для будущего. Ее интересовало только то, что могло пригодиться ей. Сейчас. В этот момент». Макканн присутствовала на похоронах Марии, проводившихся в соответствии с русскими православными обычаями, когда в конце церемонии прощающиеся целуют покойника.

— Я помню, как смотрела на этих людей, которые строем шли к гробу, чтобы поцеловать ее, и думала, что не смогу приблизиться к Марии Сент-Джаст даже в смерти, — говорит Макканн. — Я бы скорее сама умерла, чем сделала это. «Спасибо большое, Мария, как-нибудь в другой раз». Это было уже чересчур.

Если Марии не удалось погубить то, что она любила, то есть искусство Уильямса, она, бесспорно, нанесла ему глубокую рану. Огромный труд Уильямса — он писал ежедневно в течение четырех — восьми часов на протяжении почти сорока лет — является национальным достоянием, одним из величайших свидетельств романтики и варварства индивидуализма в нашем столетии. Его материальная ценность воплощена в Фонде, но его интеллектуальная ценность, его значение для определения цели человеческого существования в XX веке по чистой случайности не получило должного осмысления. Теперь, когда ответственность за управление литературным наследием Уильямса несет исключительно Джон Истмен, есть надежда на торжество здравого смысла. Фонд снял цензурные запреты Марии и дал «Нью дирекшнс» разрешение на публикацию «Что-то смутно, что-то ясно», а в прошлом месяце было заключено соглашение с Лайлом Леверичем, по которому станет возможным приступить к изданию его двухтомной биографии.

— Там было гораздо меньше проблем, чем могло показаться на первый взгляд, — говорит Истмен. — Все хорошо, что хорошо кончается.

Может быть, все действительно будет хорошо, но все-таки сохраняются проблемы, которые на первый взгляд могли показаться незначительными. Уильямс принадлежит миру, а не юристам, и Фонд должен разработать процедуру, согласно которой пользующиеся доверием писатели, ученые и театральные деятели смогут в разумных пределах получить доступ к опубликованным и неопубликованным работам писателя. Диалог между нашим величайшим драматургом и человечеством по-прежнему заглушается дезинформацией.

— Потребуется работа двух поколений ученых, чтобы оценить значение написанного им в последние годы жизни, — говорит Джин Ньюлин. — И эту работу уже пора начинать.

А тем временем леди Мария Сент-Джаст, оставшаяся до конца дней своих такой же бесстыжей и самоуверенной, создавшая весь этот кошмар, мирно покоится в Уилбери: ее похоронили не с членами клана Гренфеллов, с которыми она всегда враждовала, а с теми, кого она любила и кто верил каждому ее слову и исполнял любые ее прихоти — с ее собаками.

Перевод Е. БОГАТЫРЕНКО

ТОМ ДЖОНС
РЕЗКОЕ ПОХОЛОДАНИЕ

Рассказ

Черт подери, как резко вдруг похолодало, и я маневрирую, оставляя открытыми все краны, потому что дом мой и большинство домов здесь, на Западном побережье, не «настоящие» — в них нет ни нормальных окон, ни подвалов (которые предохраняют трубы, как того не способен сделать узкий лаз), ни дорожек перед фасадом с парочкой чудесных дубов или вязов, всегда растущих возле дома настоящего, одного из тех добрых старых домов, что стоят на Среднем Западе. Окна здесь раздвигаются в стороны. Подвала нет. Нет ни дорожки, ни настоящих деревьев, сплошь вечная зелень, а когда холодает и идет снег, никто не знает, что надо делать. Дюймовый слой снега — и в школах уже отменяют занятия, а всю общину разбивает паралич. «Помогите, я беспомощен!» Ну что ж, разнообразия ради похолодало, и, сдается мне, это не так уж плохо, потому что замерзнут все блохи и москиты, к тому же любое разнообразие есть нечто, и, возможно, я смогу отделаться от этой беспросветной постафриканской депрессии — ох, детка, как я подавлен, — но в три часа утра я просыпаюсь и думаю, нет, какая-нибудь труба как пить дать лопнет, вот я и открываю потихонечку все краны, а потом выхожу и открываю краны во дворе, самые уязвимые. Конечно, они уже начали покрываться коркой льда, и я вовремя до них добрался, что весьма неплохо, поскольку в моем состоянии с лопнувшей водопроводной трубой мне попросту не совладать. Я только что вернулся из Африки, где изображал перед туземцами врача, свалился с тяжелым приступом малярии и потерял тридцать фунтов, но домой «Глобальная помощь» отправила меня не из-за этого, а из-за легкого психоза. То был пока что самый сильный мой припадок, и от лития у меня начался такой жуткий псориаз, что я стал похож на человека-аллигатора. От мании можно принимать тегретол, но однажды я чуть не остался без лейкоцитов и едва не помер, поэтому, будучи взвинченным на полную катушку, я предпочитаю двинуться морфием, который держал при себе галлонами и который прекрасно успокаивает — к тому же, в отличие от выпивки, позволяет держать себя в руках. Хотя, должен признаться, разрешения на медицинскую практику в Штатах я лишился именно за злоупотребление препаратами, после чего, когда страсти по этому поводу улеглись, и оказался в «Глобальной помощи». Воистину воля Божья. Судьба. Карма. Все что угодно. Как бы то ни было, наркомания в Африке — вещь незаменимая, подлинная движущая сила, там можно делать все что вздумается, главное — прочно держаться на ногах, не разгуливать в Найроби нагишом по президентской лужайке и не быть высланным из страны (что со мной и произошло, да и вас бы за это выслали; ладно, каюсь, соврал, не все там можно делать, так что подавайте на меня в суд). Только вот под литием, если не напиться до бесчувствия, особенно не поторчишь, и остается лишь сидеть посасывать пиво «Примус» да скулить по поводу того, что в такую жару впереди еще столько работы.

Выйдя из дома проверить краны, я заодно осматриваю свой «олдсмобил» и пытаюсь вспомнить, не в прошлом ли году менял антифриз. В постели мне приходит в голову, что минуло уже три года, поэтому я выхожу, завожу мотор и сижу в машине, стуча зубами, — боже мой, тринадцать ниже нуля! Но довольно скоро теплый воздух машину размораживает, я еду в отдел бытовой техники супермаркета «Сейфуэй» и покупаю один из тех антифризных тестеров, в которых имеются маленькие шарики. В четыре утра я сижу на кухне, пытаясь вынуть его из пластикового чехла, и вынимается он двумя частями, с перевернутым вверх тормашками баллоном. Без сомнения, некий невежда из Центральной Америки засовывает их туда вверх тормашками на какой-нибудь невольничьей фабрике за двадцать центов в час. Я знаю, у него проблемы, — дело в том, что мне его проблемы понятны и близки, — но как же я и мой треклятый антифриз? Конечно, я тебе сочувствую, дружище, но что будет со мной? И я пытаюсь на скорую руку исправить положение, как вдруг осознаю, сколь велика возможность разбить стекло и порезать большой палец, и как раз тогда, когда тот голос, то есть я, голос, который постоянно ко мне обращается, наверно, мое эго, говорит мне: «Осторожно, Ричард, смотри не порежь палец», — в тот самый миг я разрезаю большой палец до кости. Так что не успеваете вы и глазом моргнуть, как я уже еду с полотенцем на пальце в больницу и думаю: минуту назад все было просто прекрасно, и вот я везу себя в пункт первой помощи.

© 1993 by Thom Jones.Reprinted by permission of Donadio & Ashworth

Входит еще один малый, со страшным ожогом — перед самым лицом у него взорвалась скороварка, а со лба он лысеет, и видно, как сходит кожа — точно скорлупа с вареного яйца. Парню явно понадобится накладка для прически. Выходит доктор, жующий бутерброд, и я слышу, как он велит сестре готовить для парня капельницу с дилаудидом, коего он в общем-то заслуживает. Я бы и сам от него ради моего пальчика не отказался, но получаю всего лишь новокаин, и мой доктор говорит:

— Вы у меня тут, надеюсь, не одуреете?

Я говорю, нет, я не из таковских, но у меня другая проблема, он спрашивает, какая, и я говорю ему, что не умею дрочить левой рукой. Все смеются, потому что это ночная смена, когда подобные шуточки уместны — даже при дамах. К тому же это правда.

После того как он накладывает шов, боли я не чувствую, хотя и говорю: «Готов спорить, завтра будет болеть», а он говорит, нет, он выпишет мне немного обезболивающего, и я думаю, какой замечательный доктор. Он дает мне обезболивающее. И пока он расположен давать, я принимаюсь выклянчивать у него антибиотики для простаты, ибо ощущаю в левом яичке сильную тяжесть.

— Вы ощущаете в левом яичке тяжесть? — недоверчиво переспрашивает он.

Ну да, черт возьми, такое у каждого бывает. Я говорю ему, что мое левое яйцо кажется мне похожим на наковальню. То есть когда я где-то болтаюсь, мне хочется убаюкивать его на ладони, а когда я неподвижен — положить на маленькую шелковую подушечку. Оно особенно не болит, но я постоянно чувствую, что у меня есть левое яйцо, тогда как о том, что у меня есть зубы, пупок и правое яйцо, даже не подозреваю. Я говорю ему, что палец мне засовывать не надо, поскольку я уже тысячу раз это испытывал. Моя простата давит на семенники, и если не подрочить, она увеличивается, отчего состояние ее ухудшается, и доктор согласен — такое действительно бывает, и он совсем не хочет засовывать мне палец, тем более что, по моим словам, пару месяцев назад меня смотрел уролог. Он натягивает пластиковую перчатку, щупает мое яйцо, провозглашает его распухшим и выписывает рецепт на антибиотики, после чего велит мне бросить пить кофе. Я хотел было сказать ему, что дрочу не потому, что являюсь сексоманом. У меня низкий сексуальный импульс, а это не больно-то и весело. Я делаю это только для того, чтобы почаще опорожнять простату. А может, стоило сказать ему, что я и сам врач, хотя и расстрига, что я недавно вернулся из Африки, и яйцо мое, возможно, заражено слоновой болезнью? Мало вероятно, конечно, но как знать! Однако он ни бельмеса не смыслит в тропической медицине — это моя епархия, и я решаю попросту держать язык за зубами, что в моем случае лучший выход.

Дежурная сестра очень даже симпатична, она нарушает предписания врача — во всяком случае, дает мне чашку кофе и булочку в придачу, и мы молча сидим, слушая, как другой врач с сестрой лечат парня с обожженным лбом. Немного человеческого общения, и моей депрессии как не бывало, я начинаю жалеть парня с ожогом, который объясняет, что долго не ложился из-за бессонницы и варил сладкий картофель, когда взорвалась скороварка. Он намеревался подсластить картошку бурым сахаром и съесть в шесть утра, и при этом он смеется, потому что в него капает дилаудид. После того как Линда Ронстадт допела по радио «Всего один взгляд», диктор сообщает, что мы установили рекорд холода — в аэропорту тринадцать с половиной ниже нуля, — и я замечаю, что диктор тоже радуется; когда страдания обществу причиняет природа, возникает нечто вроде солидарности.

В моем же случае дает себя знать эффект Винсента Ван Гога. Где-то я читал, что, отрезав себе ухо, он «почувствовал себя на миллион». Правда, всего дня на два. Нам вечно показывают серию из четырех кошек, коих он изображал в различные периоды жизни, по мере того как постепенно ухудшалось его душевное состояние. Кошка Один — натуралистическая с виду кошка, но жизнь идет своим чередом, безумие его усугубляется, и вот он уже рисует Кошку Четыре, которая выглядит так, точно он наглотался некачественного ЛСД, — и мне мир казался именно таким, пока я не порезал палец. Порез-то позволил мне денька три отдохнуть от хандры, в жизни моей настало просветление, и с помощью этих строк мне приходится напоминать себе, что все дурное проходит, надо лишь суметь переждать. Когда наступает облегчение, об этом забываешь, поэтому во время трехдневной паузы я прилепил на дверцу холодильника такую записку: «Ричард, ты славный, добрый малый, и все дурное действительно проходит, так что помни об этом, когда тебя в следующий раз прихватит тоска и ты решишь, будто тоска эта всегда была и будет, ибо это паранойя и ни к чему хорошему она не приведет. Это просто-напросто очередное скверное настроение в духе Достоевского — сделай себе одолжение, позабудь о нем!»

Я почувствовал себя так хорошо, что у меня даже хватило духу выбраться из дома, купить новую одежду и сходить в кино, а потом, в последний день перед возвращением депрессии, я съездил в больницу Вестерн-стейт и с разрешения врачей увез оттуда на денек свою младшую сестренку Сьюзен. Сьюзен всегда было намного хуже, чем мне; она слышала голоса и совершила неведомо сколько попыток самоубийства, пока не взяла наконец мой маленький револьверчик и не пустила себе в висок винтовочную пулю 22-го калибра — правда, не совсем в висок, ведь не может не дрогнуть рука в последнюю минуту, а чуть впереди виска, и это оказалось просто идеальной лоботомией. Помню, я услышал выстрел, а потом она вошла ко мне в комнату (я приехал домой на летние каникулы) и сказала: «Ричард, я только что застрелилась, почему же я жива?» Голос у нее был спокойный, совсем не тот скрежет ногтями по стеклу, который она издавала, когда была безумной (то есть почти всегда), и впоследствии я понял, что в тот самый миг, когда пуля со свистом пронеслась сквозь ее мозг, она исцелилась. Все говорили, что шрам — это весьма досадно, ведь она была такой красавицей, но что проку в красоте, если ты живешь в аду? А в больнице она о своей наружности и думать позабыла, ибо ей и вправду было на все на свете наплевать, но и при этом, наверно, оставалась самой красивой пациенткой в Вестерн-стейт. Во время той поездки у меня появился дополнительный повод за нее поволноваться, когда я увидел, как грубо санитар обращается со стариком, пытаясь прекратить его скулеж, причем успешно. С ней-то вообще можно было делать что хочешь, кроме меня, заступиться за нее было некому. А потом я, несмотря на свой настрой на добрые дела, едва не пожалел, что приехал, потому что Сьюзен захотелось съездить в зоопарк Пойнт-Дефайенс и посмотреть на Синди, слониху, о которой много писали и говорили после того, как ухаживавшего за ней служителя перевели в другое место за нарушение инструкции — он подружился с ней и украдкой стал ходить в слоновник.

В североамериканских зоопарках три сотни слонов, и хотя Синди — слониха азиатская, небольшая и к тому же самка, она все-таки считается самым опасным слоном в Америке. Только в прошлом году в Соединенных Штатах слонами были убиты три человека, и это Сьюзен видела и слышала по цветному телевизору в больничной комнате отдыха, а она совсем как ребенок — ей подавай слона, когда на улице десять градусов мороза. Сначала Синди запихнули в клетушку теснее той, куда в Марионе, штат Иллинойс, упрятали мафиози Джона Готти, а я не припоминаю, чтобы в список преступлений Синди входило человекоубийство. Она была попросту смутьянкой, и ее наказывали теснотой, пока об этом не возвестил некий активист из Общества защиты животных и не поднялся большой скандал, который кончился тем, что Синди перевезли в зоопарк Сан-Диего, лучший зоопарк на свете. По-моему, произошло нечто вроде побега (прошу на меня по этому поводу не ссылаться), во время коего Синди носилась по полю для гольфа, а потом — поимки с применением начиненных транквилизаторами стрел, и когда в Сан-Диего с Синди так и не сумели совладать, ее вновь отправили сюда, в Такому, и посадили под самый строгий арест. Это было просто отвратительно. Я сказал Сьюзен, что в Индии Синди нашла бы себе работу — бревна таскать или нечто в этом роде, — а ночью лежала бы в реке, и ее чистил бы большой щеткой специальный мальчик-слуга, верный товарищ, который не отходил бы от нее ни на шаг. И слониха наверняка была бы важнее мальчика, сказал я ей, именно так и надо ухаживать в Америке за слонами — выписать каждому по специальному слуге, предоставить мальчикам вид на жительство, щедро оплачивать им сверхурочную работу и заставлять их находиться при слонах круглые сутки. То есть непрерывный рабочий день. Как можно винить Синди за все те дерьмовые номера, что она откалывала? И в разгар моей речи по щеке Сьюзен скатилась слеза, и я не знаю, от холода та слеза возникла или же Сьюзен взволновало незавидное положение Синди. Причина, по которой мою сестренку упрятали в дурдом, состояла в том, что на полу перед ней вполне можно было разжечь костер, а она сидела бы себе и смотрела, как он горит. Когда умерли наши родители, я забрал ее к себе в штат Вашингтон и принялся нанимать помощниц, чтобы за нею присматривали, но помощницы постоянно бросали свою работу — бросали, пока я жил в «третьем мире», где ничего нельзя поделать. Так оно все и происходило: «А тем временем в джунглях. / А тем временем в Штатах...» Несмотря на полнейшее равнодушие ко всему, Сьюзен всегда рассуждала логично и весьма здраво. Она напоминала некое подобие мистера Спока, коему наплевать и растереть на все, что не касается детских игр и забав. Вся закутанная, с повязанными шарфом ушами, чистотою своей она походила на Еву Марию Сент в «Портовом районе».

Мы доехали до Нортстрема, что в Университетском районе, и я купил Сюз новые нитки, а потом отвел ее в парикмахерскую, где ее подстригли «под мальчика», и она превратилась в такую красавицу, что я об этом даже пожалел, потому что если до

той поры полудурки из больницы ее, возможно, и не замечали, то теперь не заметить просто не могли. Уже начинало темнеть, и настала пора возвращаться, когда Сьюзен заприметила из машины Космическую Иглу — она там никогда еще не была, поэтому я отвел ее на самый верх, и она выбралась на смотровую площадку, где на высоте пятисот восемнадцати футов ветер резал опасной бритвой, но от огней Сиэтла Сьюзен пришла в восторг, а после домашней лоботомии боль она стала испытывать совсем не так, как нормальные люди, да и мне хотелось ее немного развлечь, правда, я там мерз, особенно большой палец, который начал болеть. Однако мне не хотелось уходить греться и оставлять ее там одну, потому что ей вполне могло взбрести в голову броситься вниз. Там, конечно, есть предохранительные сетки, но вдруг желание умереть пропало не окончательно? Мы пообедали во вращающемся ресторане, где публика подозрительно на нас посматривала из-за того, как Сьюзен ест, а в дурдоме манеры несколько портятся, но мы это выдержали и поехали ко мне смотреть телевизор, после чего я с большим удовольствием улегся спать, но не смог уснуть из-за пальца. Я думал о том, что так и не успел отоварить рецепт на обезболивающие пилюли, когда Сьюзен зашла нагишом ко мне в комнату и села на краешек кровати.

— После того выстрела я все время чувствую себя как звери в зоопарке. Я хочу выпустить их на волю, — сказала она, удивительным образом подметив при этом самую суть, ибо шрам в ее лобных долях содержит больше стальных решеток, нежели все тюрьмы на свете, а ведь люди с повреждением лобных долей особой проницательностью, как правило, не отличаются. Я заставил ее надеть пижаму, вспомнив при этом, что обычно творилось, когда она оставалась дома — всегда приходилось просить кого-нибудь за ней присматривать, — и пожалев, что не отвез ее в тот же вечер в больницу, потому что она не ложилась и бродила по дому, а потом внезапно улетучились все чудесные ощущения нескольких прошедших дней. Я почувствовал себя паршиво, но пока моя маленькая сестренка в этой вызванной пулей веселой эйфории разгуливала по дому, нельзя было терять бдительность.

Один раз она вышла на улицу босиком. Потом я застал ее за поеданием пачки масла. Немного позднее она вытащила из кладовки все консервы, составила их рядами — черные бобы «Прогресс» (beaucoup), мясной суп с ячменем и консервированный морковный сок — и принялась играть в магазин. Я сказал ей:

— Миссис Мэм, я беру вот эту банку и эту. А есть у вас персиковый пирог?

— Прости, Ричард, но персикового пирога у нас нет, — говорит она.

— И все-таки, детка, мне бы очень хотелось отведать чудесный большой кусок персикового пирога, подогретого, и еще ванильного мороженого с ромовой подливкой, а может, и приправить все это гарниром из чего-нибудь вроде вишневого мараскина. Сгодится и мускатный орех. Не хочешь же ты сказать, что в этом заведении торгуют только супом, бобами и морковным соком? Неужели у вас больше ничего нет?

— Да, Ричард. Только суп и бобы. Но они очень питательные.

— М-да, придется позвонить Бетти Крокер[1], дорогая, потому что мне очень хочется пирога.

Сюзи озабоченно смотрит на меня и говорит, что, насколько ей известно, Бетти Крокер умерла. Я понял, что мне так и придется сидеть на кушетке и наблюдать за ней без конца, и, конечно же, мне кажется, будто я слышу, как во дворе кто-то бродит, поэтому я достаю из-под подушки свой револьвер и обхожу вокруг дома, а под ногами у меня хрустит заледеневший снег. Во дворе никого не было. Вернувшись, я посмотрел на Сьюзен, которая уснула в моей постели. Узрев наконец восход солнца и услыхав, как птицы приветствуют щебетанием новый день, я направился к холодильнику, где увидел свое недавнее заявление: «Ричард, ты славный, добрый малый» и так далее. Я содрал его с холодильника и разорвал на тысячу мелких клочков. Только идиот мог написать нечто подобное. Так вот оно что, похоже, я не выношу Африку, не выношу собственный дом, и единственное, что мне будет не в тягость, — это смерть. Поэтому я вынул из своего револьвера все патроны, кроме одного, крутанул барабан, приставил ствол к правому виску и спустил курок. Когда я услышал щелчок ударника — вуаля! — мне тотчас же стало лучше. Перестал пульсировать палец. Прошла изжога. Исчез страх перед утром и солнечным светом, и рассвет представился мне чем-то хорошим, а пение птиц — чудесным. Даже до незаметности привычные предметы в моем доме — покрытые дюймовым слоем пыли безделушки, простой деревянный стул, перевернутая на сушке утренняя кофейная чашка — стали казаться мне такими уместными, такими живыми и нужными. Я начал радоваться жизни и радоваться тому, что жив, особенно после того, как, посмотрев на револьвер, увидел, что мой

[1] «Бетти Крокер» — марка печенья. *(Прим. перев.)*

патрон уже в патроннике. Снова эффект Ван Гога. Я вернулся от Кошки Четыре к Кошке Один.

Звонят из больницы, потому что я оставил Сьюзен ночевать:

— Где Сьюзен?

— Смотрит «Дни нашей жизни», — говорю я, запихивая револьвер в верхний ящик рядом с телефонной книгой.

— Она принимает стелазин?

— Да, — говорю. — А как же. Благодарю за заботу. Ну, прощайте!

Тут как раз звонят в дверь, и я заполучаю парочку свидетелей Иеговы. Я достаточно насмотрелся на них на «черном континенте», чтобы преодолеть инстинктивный страх из-за того, что они, похоже, искренне всем довольны, по крайней мере,относительно — то есть, если сравнить подобную компанию с обычным населением, они вроде вполне счастливые люди, так что очень скоро мы уже пьем кофе, входит Сьюзен, и они заводят речь о Царствии Христовом на Земле, где лев возляжет рядышком с агнцем, а Сьюзен принимает все за чистую монету, ведь сказано же: «Если не обратитесь и не будете как дети...» Сьюзен — простодушное дитя, да и двоим Свидетелям простодушия не занимать, а я, король агностиков, слушаю и думаю: как, интересно, лев будет есть солому? У него же казенного образца организм, предназначенный для поглощения плоти, костей и потрохов, — у него острые зубы, когти и хищнические инстинкты, а не двадцать семь желудков, точно у какой-нибудь придурковатой буренки и иже с ней. Я принимаюсь листать журнал «Эвейк!» и натыкаюсь на заметку нигерийского корреспондента, озаглавленную «Гвинейский червь — последние деньки». Как специалисту по тропической медицине, мне, пожалуй, больше, нежели любому жителю страны, известно о Dracunculus medinensis, «огненном змее», или гвинейском черве. Заражение происходит в результате употребления воды, содержащей ракообразных (Cyclops). Черви проникают сквозь стенки кишечника в заднебрюшинную область, где и растут, достигая трех футов в длину, а потом, как правило, мигрируют в нижнюю часть ног, где образуют болезненный волдырь. Африканцы вскрывают язву и извлекают взрослого червя, поддевая его палочкой и очень осторожно вытаскивая, поскольку, если оторвется часть, дохлое тело может вызвать сепсис и ногу, возможно, придется ампутировать. Боль, причиняемая гвинейским червем, сродни боли при подагре, и на удаление его может потребоваться дней десять. Хуже всего то, что обычно они живут не в одиночку, а целыми компаниями. Я видел, как из ноги одного старика достали семерых.

Если когда «Глобальная помощь» и отправит меня снова в Африку, я приму участие в программе искоренения червей, и пока Свидетели услаждают слух Сьюзен россказнями о рае земном, я думаю о жаре и насекомых в экваториальном поясе и о мутной воде, которую сельские жители берут из рек — они наливают воду в кувшины, дают ей часок отстояться, а потом черпают сверху, где с виду она вроде бы чистая. Нелегко втолковать им, что ракообразные циклопы могут незримо плавать на поверхности и от одного глотка могут завестись сразу семь червей — от глотка, сделанного три года назад. С деревенскими можно говорить хоть до посинения, и все равно они будут эту воду пить. Поэтому приходится травить циклопов, стараясь не слишком отравить при этом воду. Это, конечно, можно сделать, но с учетом того, как там обстоят дела; дабы сделано это было в лучшем виде, все приходится делать самому, вот почему сама мысль о возвращении туда мне ненавистна: совсем не хочется снова выступать в роли человека-оркестра.

С другой стороны, ни брат Боуг, ни прочие братья из главного управления «Глобальной помощи» мне не доверяют; им не нравится, когда я прихожу в контору, охваченный безудержным весельем, точно Морис Шевалье в его смокинге и соломенной шляпе — «Джамбо, джамбо, бвана, джамбо бонжур!» — и обмениваюсь со всеми типично африканскими рукопожатиями, а потом, быть может, исполняю небольшой номер на семьдесят восемь оборотов в минуту: «О, oui, oui, восхитительный миг, я веду мою крошку домой!» или «Эй, вот-те на — загуляли дотемна! Что са чуто эти тефочки!» И так далее. Они терпеть не могут, когда я в мажоре, и терпеть не могут, когда я в миноре, а больше всего они терпеть не могут, когда меня охватывает безумие (паранойя) и я с порога говорю: «Вы не поверите, что со мной сейчас произошло!» Видеть каждый день этих унылых братьев и до конца дней своих работать врачом-администратором, носить костюм с галстуком и водить по утрам и вечерам машину, лазить в подпол и заматывать изоляционной лентой трубы — вползаешь в узкий лаз, а вентиль отводного шланга сломан, и задница у него забита ветошью — бомба замедленного действия для самовозгорания, удивительно, как это дом до сих пор не взлетел на воздух (более того, неудивительно, что он весь в пыли), что-что, еще и муравьи-древоточцы вдоба-

вок? Как подумаю обо всем этом — прости-прощай, прекрасная Америка!

Но когда я отвожу Сюз обратно в больницу, дела, в общем-то, идут на лад. Как по заказу, навстречу мне идет психиатр-индеец, который пятнадцать лет провел в Кампале, Уганда, — он был одним из трех психиатров во всей стране, — и я спрашиваю его, как поживает папаша Иди Амин. Очевидно, поживает он неплохо — знай себе сидит в Саудовской Аравии с парезом или чем-нибудь подобным, и не успеваете вы и глазом моргнуть, как док уже говорит мне, что намерен еще раз изучить историю болезни Сьюзен, а это значит, что он намерен перевести ее в более спокойное отделение, и у меня словно гора с плеч. Перед моим уходом мы с Сюз идем прогуляться по обширному больничному парку — места там тихие. Я не могу отделаться от мысли, что если брат Боуг меня уволит — хотя после самого последнего казуса я полон решимости вести себя прилично, — я смогу пожить здесь: принимать халдол и литий, смотреть цветной телевизор и нести околесицу. Где те времена, когда в больницу ложились просто-напросто «немного отдохнуть», отнюдь не покрывая себя при этом позором? Быть может, мне и нужен-то всего-навсего небольшой отдых.

Сьюзен все еще одолевают мысли о тех свидетелях Иеговы. Пока мы сидим на скамейке, она достает из кармана пальто их брошюрки и показывает мне пейзажи с рогами изобилия, наполненными плодами и щедрыми дарами, с радугами и ярко раскрашенными видами земного рая. С видами, которые я, как это ни парадоксально, наблюдал в самых гнусных местах «третьего мира», и я думаю: имеющие глаза да увидят, а имеющие уши да услышат — такие-то дела, и я принимаюсь рассказывать Сюз об Африке, быть может, когда-нибудь я смогу взять ее туда с собой, а она приходит в волнение и спрашивает, какая она, Африка. Можно там увидеть львов?

И я ей говорю:

— Да, детка, ты увидишь львов, жирафов, зебр, обезьян и попугаев, а еще пигмеев.

И ей очень хочется повидать пигмеев. Тогда я рассказываю ей о вожде пигмеев, который любит выменивать мясо на табак, футболки, конфеты и безделушки, и о том, как один раз, когда меня одолела мания, я убежал в буш и стал жить в этом племени, и пошел с ними на охоту, и мы нашли в лесу медовые соты; один охотник, не обращая внимания на пчел, которые его кусали, полез на дерево и сбросил соты вниз. В отряде нас было человек пять, а меда — фунтов десять, и мы тут же, на месте, все съели, ни капли не оставили, потому что жутко хотели жрать после курения травы. Я не рассказываю Сюз о том, каково лететь на самолете до Нью-Йорка, четыре часа дожидаться рейса в Лондон, сидеть шесть часов в гостинице при аэропорте, а потом совершать десятичасовой перелет в Найроби, проходить таможенный досмотр и ехать в кузове самосвала с африканцем-камикадзе за рулем, ехать по рытвинам, сквозь густую красную пыль, сквозь москитов, черных мух, мух цеце, не рассказываю о речной слепоте, о костоломной лихорадке, о билхардиазе, лихорадке думдум, тропической язве, СПИДе, проказе и так далее. Испытать все это, дабы спасти чью-то жизнь, а в благодарность, быть может, получить лишь плевок в физиономию — об этом я ей не рассказываю, как не рассказывают маленьким детишкам о том, что дед-мороз — всего лишь выдумка. И все равно, если бы имел я глаза и мог увидеть, если бы имел я уши и мог услышать — Африка вполне могла бы оказаться садом эдемским. Я хочу сказать, что с моим характером можно и ночную поллюцию испохабить. Я не говорю ей о том, что львы не едят солому и никогда не ели, и поэтому она счастлива. Да и для меня, придурка, это приятная минута. Мне начинает казаться, будто с ней я сумею отыскать еще один островок стабильности.

Очередной визит в больницу: зима уже уступила дорогу весне, и расцвели вишни. За две недели температура поднялась с десяти ниже нуля до шестидесяти пяти, элавил с литием приободряют, я прекрасно себя чувствую, спокоен, мне очень хорошо. (Я готов вернуться и сражаться в джунглях, так-то! «Ша-ла ла-ла-ла-ла».) Сьюзен говорит мне, что видела вещий сон. Она необыкновенно сосредоточенна и очень ясно выражает свои мысли. Она говорит, что ей снилось, как мы с ней едем по раю в синем «додже-67».

— «Додж-67». Мы что, детка, неудачники в раю?

— Возможно, но это ровным счетом ничего не значит, ведь мы были счастливы.

— А другие люди? Кто там был? Был там Артур Шопенгауэр?

— Глупенький! Мы других людей не видели. Только дома. Мы ехали в гору, и все было как в диснеевском мультике, а мы смотрели друг на друга и улыбались, потому что были в раю, потому что добрались туда, потому что избавились от всякого дерьма.

— Нет, погоди. Мы катались на какой-то колымаге...

— Да, Ричард, но это не имело значения.

— Дай договорить. Ты сказала, что люди там живут в домах. Значит, людям приходится строить дома. Красить их, делать в них уборку, содержать в хорошем состоянии. То есть ты хочешь сказать, что у людей в раю есть работа?

— Да, но им нравится их работа.

— О Боже, неужели это никогда не кончится? Работа! Что же я буду делать? Я врач. Если люди там не болеют, они могут заставить меня трудиться, к примеру, углекопом.

— Да, но ты свою работу полюбишь. — Она двумя руками хватает меня за руку, прижимается лбом к моей груди и смеется. Впервые за все время я слышу, как смеется Сьюзен, — конечно, с той поры, как мы были детьми.

— Ричард, это совсем как Земля, только без всякой дряни. Ты тоже был счастлив. Так что не волнуйся, прошу тебя. А Африка похожа на сад эдема, Ричард?

— Растительность там, конечно, пышная, но по большей части совершенно нечего делать, — говорю я. — Это прекрасное место для чтения «Анны Карениной». А в раю можно читать романы, милая? Есть там у них библиотека? Смогу я, отработав смену в шахте, принять чудесный душ, прыгнуть в «додж» и покатить в библиотеку?

Сьюзен смеется второй раз.

— Мы будем путешествовать от блаженства к блаженству, Ричард, и ты не будешь постоянно задавать вопросы, которые касаются реальности. Тебе этого не придется больше делать. Там будут и мама с папой. Мы с тобой, вся наша семья, совершенно здоровые. Никаких угольных шахт. Ни войн, ни драк, ни обид. Сатана будет в преисподней. Сейчас он на земле и мучает нас, но это его последние деньки. Зачем, по-твоему, мы здесь?

— Я часто задаю себе этот вопрос.

— Только продержись еще немного, Ричард. Сумеешь? Сделаешь это ради меня, Ричард? Зачем мне рай, если там не будет тебя? Ричард, скажи, что придешь.

Я сказал:

— Конечно, детка, ради тебя — все что угодно. Я раскаиваюсь.

— И никаких больше Достоевских?

— Я буду анти-Достоевским. Но ведь пока что мы просто-напросто сидим здесь — что, в ожидании Годо?

— Нет, Ричард, не умничай. Пока что мы позавтракаем. Что ты принес?

Я открыл магазинный пакет и достал оттуда завернутые в плотную бумагу половинки сандвича из хлеба домашней выпечки с курицей и салатом. Сандвичи были начинены ростками люцерны и тертым сыром и проколоты зубочистками с красными, синими и зелеными целлофановыми ленточками, а сбоку лежали две большие, прекрасные, крепкие маринованные чесночины. И еще пара коробок клубничного джема, две баночки фруктового салата со свежевзбитыми сливками и маленькими деревянными ложечками и два больших картонных стакана ароматного, дымящегося черного кофе.

Начинается дождь, и нам приходится пересаживаться на переднее сиденье моего «олдса», где мы с Сюзи доедаем лучший легкий завтрак в жизни, и вдруг «Ширелльз» запевают «Посвящается тому, кого люблю», и я думаю, что все у меня будет хорошо, а пока — что может быть лучше прохладного благоуханного дня и бриллиантовых дождевых капель на широком ветровом стекле девяносто восьмого «олдса» с видом на вишневые деревья, цветущие под весенним дождиком?

Перевод В. КОГАНА

■

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
БЕССМЕРТИЕ ПУТНИКА

Милан Кундера и Итало Кальвино среди любимых призраков

> ...жест нельзя считать ни выражением индивида, ни его изобретением (ибо никакой человек не способен изобрести свой совершенно оригинальный и только ему свойственный жест), ни даже его инструментом; напротив, это скорее жесты пользуются нами как своими инструментами, носителями, своим воплощением.
>
> *Милан Кундера. «Бессмертие»*

> Пока я знаю, что на свете есть кто-то, кто показывает фокусы из любви к фокусам; пока есть женщина, которой нравится чтение ради чтения, я лишний раз убеждаюсь, что жизнь продолжается... И каждый вечер я предаюсь чтению, как та далекая, незнакомая читательница...
>
> *Итало Кальвино. «Если однажды зимней ночью путник»*

Натаниел Готорн и библиотечное привидение

Известна история, случившаяся с Натаниелом Готорном, в молодости усердно посещавшим бостонскую библиотеку «Атенеум». Среди старичков, приходивших в библиотеку, чтобы подремать в кресле у камина, прикрывшись газетой, был и некий доктор Харрис, восьмидесятилетний священник, изо дня в день читавший «Бостон глоб». Как и полагается, однажды Харрис отошел в мир иной. Но тем не менее продолжал появляться на своем месте все с той же газетой в руках. Никто, кроме Готорна, его не видел или, во всяком случае, не проявлял явно своего интереса к привидению, которое спустя какое-то время стало поглядывать на Готорна с нетерпением, словно призывая того начать разговор. Готорн на этот разговор не решился по причинам самого обыденного свойства: «В читальном зале «Атенеума» разговаривать запрещено, так что мне при всем желании не удалось бы к нему обратиться, не вызвав нареканий со стороны сонных джентльменов, нас окружавших. Да и хорошо бы выглядел я, вздумав обратиться с почтительной речью к тому, что в глазах большинства присутствующих, несомненно, являло собой всего лишь пустующее кресло? И помимо всего прочего я доктору Харрису не был представлен»[1].

В этой истории нас привлекают три явно неслучайных момента: то, что действие ее происходит в библиотеке, что один из ее участников — писатель, и что священник-привидение не становится литературным героем Готорна, в своем творчестве более чем склонного к мистике (подозрение, что кто-то еще из посетителей видел старика Харриса, но не подал вида, можно считать несущественным, в конце концов Готорн тоже вида не подавал, а впечатлениями от увиденного поделился лишь с другом, да и то много лет спустя).

В письме этому другу есть объяснение того, почему Готорн не решился оценить степень «вещественности» призрака, коснувшись его или вырвав, например, из его рук газету: «Наверное, мне самому не хотелось расставаться с этой милой иллюзией. Вполне возможно, что все объяснялось очень просто, но стоило ли мне разрушать этот очаровательный сюжет, придуманный самой жизнью?»

И ведь верно: зачем разрушать созданное не тобой, когда можно *создать* свое? Обстоятельства появления призрака объясняют отчасти тот факт, почему эта история из жизни не стала историей литературной.

Юному Готорну (даже если тогда он еще ничего не писал, то все равно уже был писателем), пребывающему в воображаемо возвышенном мире готических романов и восточных сказок, где волшебство и магия являются обыкновенными проявлениями повседневности, жизнь пытается грубо услужить, подбрасывая сюжет, казалось бы, достаточно невероятный. Более неподходящее для подобной услуги место, чем библиотека, представить просто невозможно: все ее пространство заполнено призраками, большинство из которых для воображения гораздо более привлекательны, нежели «материализовавшийся» пожилой священник с «Бостон глоб» в руках, вся заслуга которого

---

[1] По кн.: Фрэнк Смит, Рой Стемман «Тайны загробной жизни». М.,1993, с.9-10.

только в том и состоит, что он продолжает сидеть в своем кресле у камина и после смерти. Именно излишняя «вещественность» и обычность — если не сказать обыденность — библиотечного призрака помешали ему завладеть профессиональным вниманием писателя, хотя именно к этому призрак (или тот, кто его послал) скорее всего и стремился.

Без подлога нет подлинника

Писатель более склонен доверять призракам воображаемым, чем реальным. Романы рождаются из случайных жестов и прочитанных (или даже непрочитанных) книг. «Было бы глупо пытаться автору убедить читателя, что его герои жили на самом деле. Они родились вовсе не из утробы матери, а из одной-двух впечатляющих фраз или из одной решающей ситуации», — по необходимости кокетничая, сообщает Милан Кундера в «Невыносимой легкости бытия»[1] , сам-то прекрасно понимая, что если кто и вечен в подлунном мире, то это те самые литературные герои, что имели счастье родиться несколько необычным для простых смертных образом. «Когда пишешь, всегда что-нибудь скрываешь. Для того чтобы потом это вышло наружу. Истина, которой суждено выйти из-под моего пера, — как осколок, отлетевший от утеса куда-то далеко-далеко. Ибо без подлога нет подлинника», — как бы шутит Итало Кальвино («Если однажды зимней ночью путник»[2]) .

Ибо без подлога нет подлинника. Как нет литературы без жизни или жизни без литературы. Но что есть в данном случае подлинник? В случае библиотечного призрака именно он — подлог, подлинники же — на страницах книг, которыми уставлены книжные полки и шкафы. Нечто подобное происходит и в более глобальном масштабе. История (с большой буквы) — больший призрак для каждого конкретного человека, чем история (с буквы маленькой), написанная на листе белой бумаги. Милан Кундера в эссе «Когда Панург перестанет быть смешным»[3] проводит незримую, но четкую границу между Историей человечества и историей романа: «Если первая не подвластна человеку, а навязана ему как некая чужеродная сила, с которой он не может справиться, то вторая — история романа, живописи, музыки — порождена человеческой свободой, глубоко личными творческими усилиями человека, возможностями его выбора. Суть истории искусства противоположна сути Истории как таковой. Благодаря своему личностному характеру история искусства — это месть человека безличной Истории человечества».

К ужасу Истории мы еще вернемся, как, впрочем, и к призракам. Но пока обратимся к двум недавно появившимся в русском переводе романам, которые и стали поводом для написания этих беглых заметок, где мы попытаемся не только обратить внимание читателя на общность некоторых принципиальных черточек этих двух произведений изящной европейской словесности, но и позволим себе немного поговорить об «истории историй», внеся свою скромную лепту в месть Большой Истории.

Итак, Милан Кундера написал роман «Бессмертие»[4], в котором помимо прочего рассказал, как этот роман рождается, разрастается, наполняется героями, событиями, историческими экскурсами и в конце концов вбирает в себя и самого автора. Итало Кальвино пошел еще дальше и написал роман «Если однажды зимней ночью путник», которого как бы вообще не существует.

Общее в этих романах прежде всего то, что они насквозь литературны. Мало того, авторы последовательно и изящно разрушают границы между литературой и действительностью. Разрушение в данном случае есть на самом деле созидание. Пересказывать сюжеты сочинений М.Кундеры и И.Кальвино — дело неблагодарное и вполне бесполезное. Гораздо интереснее предпринять попытку проследить за тем, как рождается замысел романа, как он обретает зримые черты и как, обретя их, он позволяет автору присутствовать на своих страницах не только в роли якобы все знающего комментатора, но и в роли действующего лица, обязанного отвечать за все, что он сочинил, как перед читателями и критиками, так и перед собственными героями. Даже в том случае, когда герои, встречаясь с автором, не знают, что он и есть их создатель, автору об этом забыть не дано: каково, например, общаться с героем, жену которого ты благополучно убил? Попробуем предпринять эту попытку на примере романа Кундеры, задав себе вопрос: как сделано его «Бессмертие»?

---

[1] См. «ИЛ», 1992, № 5-6 *(перевод с чешского Нины Шульгиной)*.
[2] См. «ИЛ», 1994, № 4 *(перевод с итальянского Г.Киселева)*.
[3] См. «ИЛ», 1994, № 7 *(перевод с французского Ю.Стефанова)*.
[4] См. «ИЛ», 1994, № 10 *(перевод с чешского Нины Шульгиной)*.

Как сделано «Бессмертие» Кундеры?

Роман гипотетически существует, еще вполне независимо от воли своего создателя, уже в тот момент, когда автор, «растянувшись в шезлонге напротив бассейна в спортивном клубе, расположенном на последнем этаже современного здания, откуда сквозь огромные окна виден весь Париж», и ожидая профессора Авенариуса, с которым в очередной раз вознамерился поболтать, видит улыбку и жест пожилой дамы. Улыбку и жест, которые на самом деле принадлежат двадцатилетней женщине. Дама в этот момент о своем возрасте не помнит: «Некая квинтэссенция ее прелести, независимая от времени, этим жестом явила себя на миг и поразила меня. Я был несказанно растроган. И всплыло в моей памяти слово «Аньес». Аньес. Ни одной женщины с таким именем я никогда не знал». И не узнав бы, будучи отмеченным каким-то иным, не писательским даром: «Как Ева, сотворенная из ребра Адама, как Венера, рожденная из морской пены, Аньес возникла из жеста той шестидесятилетней дамы, что помахала возле бассейна инструктору и чьи черты уже расплываются в моей памяти. Тот жест разбудил во мне тогда бесконечную и неизъяснимую печаль, а из печали родилась фигура женщины, которую я называю Аньес».

Слушая утренние новости по транзистору, автор ощущает себя в том состоянии полусна-полуяви, которое и становится пространством еще не написанного, но уже существующего романа. Да, именно так — состояние становится пространством: «Это самый прекрасный отрезок сна, самая восхитительная часть дня: благодаря радио я ощущаю свое неизменное забытье и пробуждение, те самые чудесные качели между бодрствованием и сном, что сами по себе достаточный повод для нас не сожалеть о своем рождении». Как бы проснувшись, он представляет себе Аньес, которая, подобно ему, лежит на широкой кровати и «сладостно балансирует между сном и явью». Потом Аньес встает, бросает на экран телевизора ночную рубашку, и автор впервые видит героиню своего романа нагую. Словно почувствовав посторонний взгляд, она убегает в соседнюю комнату одеться. Этот день, суббота, обычно утомительный, на сей раз отличался от всех прочих: прошло ровно пять лет, как умер ее отец, после смерти которого в ее душе воцарилась тишина, «тишина умолкших птиц в верхушках деревьев». Это была тишина птиц из хрестоматийного стихотворения Гёте, которое отец в последний раз читал ей в один из трех дней перед смертью. Так возникает тема Гёте, которая чуть позже обретет черты заново прочитанной истории его странных взаимоотношений с Беттиной фон Арним, и шире — тема бессмертия. Посмертным собеседником Гёте станет Хемингуэй, о выходе сто двадцать седьмой по счету биографии которого автор слышит все в тех же утренних новостях, находясь между сном и явью.

У Аньес тем временем появляются муж Поль, дочь Брижит, сестра Лора, детство, юность, воспоминания. И тот жест, с которого все и началось. Этим жестом она попрощалась с мальчиком, не решившимся ее поцеловать, испытав сначала досаду, а потом сострадание к нему. Ей было шестнадцать лет: «На ходу она повернула к нему голову, улыбнулась и выбросила в воздух правую руку, весело, легко, плавно, словно бросала ввысь цветной мяч». Неизвестно, как долго этот жест «пользовался ею», но избегать его она стала после того, как увидела «свой жест в исполнении сестры, с раннего детства восторгавшейся ею и во всем подражавшей ей». Этот жест, заимствованный Аньес у отцовской секретарши, уснул в ней, чтобы проснуться потом только однажды, во время прощания с отцом: «...словно внезапно в одно и то же мгновение встретились два отдаленных друг от друга времени, словно в одном жесте встретились две разные женщины. Ее пронзила мысль, что эти две женщины, возможно, были единственными, кого он любил».

В воспоминаниях, которые появились у Аньес, есть и эпизод прогулки с отцом, которому она задала вопрос, верит ли тот в Бога. Отец ответил, что верит в компьютер Творца. У Аньес этот образ трансформировался в представление, что «Творец вложил в компьютер дискету с подробной программой и потом удалился». Эта программа обязательна к выполнению лишь в самых общих чертах, она «не является провидческой антиципацией будущего, а указывает лишь пределы возможностей, внутри которых вся сила предоставляется случайности». Насколько же случайны случайности?

Роман рождается из жеста, случайного набора новостей и упоминаний имен в утренней программе новостей. Диктор Бернар станет любовником сестры Аньес Лоры, а профессором Авенариусом будет возведен в чин стопроцентного осла. Но это будет позже. Пока наш автор (в то время как множество событий в жизни его главной героини уже успело произойти) все еще нежится в постели, вполуха прислушиваясь к новостям, дикторы (один из которых Бернар), шутливо перебивая друг друга, рассуждают о погоде, звучит песенка о новой марке «рено», опять Бернар — он сообщает о выходе биографии Хемингуэя, а серьезный голос вслед за тем рассказывает о судебном процессе, который будоражит всю Францию: во время совсем несложной опера-

ции пациентка умерла из-за неудачно проведенной анестезии. Некая организация, защищая права потребителей, предлагает запечатлевать все операции на пленку, дабы суд потом мог отплатить полной мерой за умершего на операционном столе. Эту новость слышит и Аньес, и так лишенная блага одиночества, и представляет себе, как каждый шаг человека будет официально запечатлен на пленку. «Эти мысли снова воскресили в ней тоску по Швейцарии». Швейцария была пением птиц в верхушках деревьев.

Автор между тем продолжает слышать по транзистору у изголовья то, что его героиня уже не слышит: не может же она слышать о катастрофе, в которой сама погибла? Обольстительный бархатный голос Бернара сообщает: «...неизвестная девушка этой ночью села на шоссе спиной к движению транспорта. Три машины, одна за другой, успев в последнюю секунду объехать ее, вдребезги разбились, свалившись в кювет; есть погибшие и раненые. Самоубийца, осознав свою неудачу, исчезла с места катастрофы совершенно бесследно, и лишь сходные показания раненых свидетельствуют о ее существовании». Это известие настолько потрясает автора, что он просыпается. Ибо жертвой этой катастрофы — правда, только он один пока об этом догадывается — стала Аньес, возвращавшаяся на машине из Швейцарии. Впрочем, профессору Авенариусу автор рассказывает, что услышал об этой катастрофе, лишь когда принялся за третью часть своего романа. Время в жизни и в романе идет по-разному. Между появлением обнаженной Аньес перед взором автора и сообщением о катастрофе, в которой она погибла, прошло несколько дней или лишь несколько часов, или минут, или мгновений. Но в них вместилась вся ее жизнь. И не только ее. Автору «ничего не остается, как встать, позавтракать и сесть к письменному столу».

Уже позже, после смерти Аньес, возникает тема ее любовника Рубенса, классификатора любви: «Такова жизнь: она не похожа на плутовской роман, в котором героя от главы к главе подстерегают все новые и новые события, не имеющие никакого общего знаменателя. Она похожа на сочинение, которое музыканты называют «темой с вариациями». «Бессмертие» Кундеры тоже можно уподобить такому музыкальному сочинению, являющемуся вариацией не только по отношению к самому себе, но и, например, по отношению к «Невыносимой легкости бытия», где автор рассуждает о симметрической, «романной» композиции «Анны Карениной», предлагая читателю понимать слово «романный» «отнюдь не как «выдуманный», «искусственный», «непохожий на жизнь». А ровно наоборот — «ибо именно так и компонуются человеческие жизни». «Они скомпонованы так же, как музыкальное сочинение. Человек, ведомый чувством красоты, превращает случайное событие (музыку Бетховена, смерть на вокзале) в мотив, который навсегда останется в композиции его жизни. Он возвращается к нему, повторяет его, изменяет, развивает, как композитор — тему своей сонаты. <...> Сам того не ведая, человек творит свою жизнь по законам красоты даже в пору самой глубокой безысходности». «Нельзя, следовательно, упрекать роман, что он заворожен тайными встречами случайностей <...>, но можно справедливо упрекать человека, что в своей повседневной жизни он слеп к таким случайностям. Его жизнь тем самым утрачивает свое измерение красоты».

Из этих рассуждений рождается разговор между автором и Полем («Бессмертие») о «важности совершенства», происходящий в гимнастическом зале, том самом, где, как мы помним, и берет свое начало роман. Поль рассказывает о том, как обожаемый его женой Малер (теперь его жена уже не Аньес, которая отчасти по вине автора погибла в автокатастрофе, а Лора, ее сестра) за две недели до премьеры своей Седьмой симфонии заперся в гостиничном номере и все ночи напролет перерабатывал инструментовку, будучи убежденным, что его сочинение будет загублено, если во второй части вместо гобоя мелодию будет вести кларнет. «Это совершенно точно», — говорит автор, думая о своем романе. Полю эта забота композитора о «непостижимом совершенстве» кажется чрезмерной. Она все равно не будет оценена слушателями. «Его мысль, столь очевидно справедливая, веселила его, в то время как я становился все более грустным: если мой читатель пропустит хоть одну фразу моего романа, он не поймет его, а меж тем где на свете найти читателя, который не пропускал бы ни строчки? Разве я сам не грешу тем, что пропускаю строчки и страницы больше, чем кто-либо другой?»

Смогли мы ответить на вопрос, как сделано «Бессмертие»? Конечно нет. Если не Бога, то уж точно автора можно уподобить Творцу, вкладывающему в компьютер дискету с программой, той самой, которая «не является провидческой антиципацией будущего, а указывает лишь пределы возможностей, внутри которых вся сила предоставляется случайности». Во всяком случае, мы можем снять с автора прозвучавшее обвинение в убийстве главной героини. Автор невиновен. Даже более того, будучи сам смертным, он дарит своим героям бессмертие, да и себе самому, оказываясь в пространстве своего романа. Поэтому стоит поговорить о теме бессмертия в «Бессмертии» и вне его, а также о той невероятной власти, какой обладает писатель. Однако мы позволим себе это сделать лишь после того, как обратимся к роману Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник», роману, которого, как мы заявили, вообще не существует.

Возьмите и поверните: идея Вечного Возвращения

Главный «недостаток» этого романа, во всяком случае для того, кто рискует о нем писать, заключается в том, что этот «несуществующий» роман, с одной стороны, описывает сам себя, с другой стороны, сам себя, как бы на полях, комментирует, впрочем, даже этим не ограничиваясь, — он вторгается в твою отдельную частную жизнь и, будучи уверенным, что именно его в данный конкретный момент ты читаешь, настоятельно тебе советует, каким образом ты должен это делать. Так он начинается во втором лице, которым являешься ты, Читатель, чтобы закончиться твоей женитьбой на Читательнице, которая в брачной вашей постели, отложив в сторону свою книгу и гася свет, предлагает тебе сделать то же самое, на что ты вынужден ответить: «Еще немножко. Я уже дочитываю «Если однажды зимней ночью путник» Итало Кальвино». А чуть раньше совсем другой Читатель объясняет тебе, что «главный вывод, вытекающий из всех на свете историй, двояк: непрерывность жизни и неизбежность смерти». Именно после этой фразы ты и решаешь жениться на Людмиле, Читательнице, которую встретил в книжном магазине, куда пошел купить новую книгу Итало Кальвино, которая начинается с того, что ты открываешь новый роман Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник», который на самом деле оказывается совсем не тем романом, но и тот не тот роман обрывается на самом интересном месте, чтобы превратиться в другой роман, который тоже обрывается на самом интересном месте, — и так почти до бесконечности; и все, как уже говорилось, кончается тем, что ты все-таки упорно пытаешься дочитать «Если однажды зимней ночью путник». Таким образом, сюжет романа одновременно прост и непостижим. Роман написан не столько писателем, сколько Читателем, который вместе с тем является писателем, то есть имеет возможность буквально реализовать мечту каждого читателя. А кажущаяся невыполнимой, эта мечта заключается в том, чтобы читать одновременно несколько книг (большинство так и делает), много книг, бесконечное множество книг. Если ты читаешь одновременно бесконечное множество книг, то ты никогда не узнаешь, чем кончается каждая из них. Но тебе уже дан ответ (см. выше — о двояком выводе, вытекающем из всех на свете историй). Поэтому, чтобы реализовать свою мечту воочию, ты можешь читать роман Итало Кальвино, добавляя в него по мере прочтения какие угодно другие истории. Ты имеешь на это право (если ты, конечно, умеешь писать или хотя бы читать истории), так как именно этим и занимается Итало Кальвино, выступающий под самыми разными личинами: «Перед писателем, решившим самоупразднить, дабы зазвучало то, что вне его, открываются два пути: написать книгу, пусть одну-единственную, но такую, в которой исчерпалось бы все и вся; или написать все книги и попытаться отобразить все и вся по крупицам, разбросанным в каждой книге. Единственная книга, содержащая все и вся, была бы не чем иным, как священным писанием, вселенским словом откровения. Думается, однако, что вселенскость не выразить средствами только языка. Для меня главное то, что пребывает вовне, ненаписанное, неописуемое. Остается один путь — написать все книги, написать книги всех авторов вообще». Это слова из дневника писателя Сайласа Флэннери, написанные за него Итало Кальвино, который пишет роман, в котором содержится множество романов, едва ли не на каждой странице которых Кальвино (или некий «всеобщий писатель») рассуждает о природе писательского ремесла. В конечном итоге приходишь к мысли, что «Если однажды зимней ночью путник» следует рассматривать как некое наглядное пособие для писателей, которые, ко всему прочему, еще и читатели, так что и для читателей роман является в некотором смысле наглядным пособием. Пересказать этот роман нельзя, но зато стоит попробовать включиться с ним в диалог, участие в котором читателю как бы и предлагается. Во всяком случае, именно так — при желании — можно понять автора. Перелистаем роман заново, обращая внимание исключительно на подчеркнутые карандашом места.

« — Больше всего на свете мне хочется, — говорю я, ибо теперь, как ни крути, приходится продолжать разговор, — повернуть назад стрелки часов.

Женщина дает какой угодно ответ, например:

— Ну так в чем дело: возьмите и поверните.

— Да нет, я имел в виду, что мысленно, усилием воли хочу заставить время обратиться вспять, — уточняю я, хотя не совсем понятно, сказал я это на самом деле или только собирался сказать, или так истолковал мое бормотание автор». И чуть раньше: «Главное — избавиться от чемодана. Тогда я смогу восстановить предшествующие обстоятельства. Предшествующие всему тому, что произошло впоследствии. Это-то я и имею в виду, когда говорю, что хотел бы повернуть назад течение времени, уничтожить последствия некоторых событий и восстановить первоначальные обстоятельства. Но с каждой минутой в моей жизни накапливаются все новые и новые обстоятельства; и каждое из этих новых обстоятельств влечет за собой новые последствия, и потому, чем настойчивее я пытаюсь вернуться к отправной точке, тем дальше я от нее удаляюсь...»

Здесь, как бы помимо нашей воли, вклинивается голос Милана Кундеры, начинающего свой роман «Невыносимая легкость бытия» с рассуждений об идее вечного

возвращения. Кундера сочувствует этой гипотетической для него концепции мироустройства: «...идея вечного возвращения означает определенную перспективу, из ее дали вещи предстают в ином, неведомом нам свете; предстают без облегчающего обстоятельства своей быстротечности», и сетует на глубокую нравственную извращенность мира, «по сути своей основанного на несуществовании возвращения, ибо в этом мире все наперед прощено и, стало быть, все цинично дозволено». В привычной для нас системе координат современности Кундера, бесспорно, прав. Не прав он только в одном: Вечное Возвращение все-таки существует (или может существовать). Тем не менее его голос в нашем диалоге очень важен — хотя бы потому, что напоминает о теме, к которой мы вновь (среди прочих) должны будем вернуться. Но пока вернемся к тексту романа Кальвино.

Читая его, ты бросаешься «в погоню сразу за всеми призраками — воображаемыми и живыми».

Писатель как призрак

Ты узнаёшь, что тем самым «всеобщим писателем», о котором мы уже упоминали, вполне может оказаться «ничем не примечательная личность» из тех, кого в Америке называют ghost-writer — писатель-призрак. «Он придает форму книги рассказам других людей, которые не умеют или не успевают писать сами». А нельзя ли предположить, что любой писатель по определению является призраком?

Обратимся к словарю (кстати, и наши авторы имеют склонность к их чтению, а также составлению разного рода перечней и созданию классификаций). Словарь предоставляет в наше распоряжение три определения слова «призрак»: 1. Образ кого-л, чего-л., представляющийся в воображении; 2. Неясное, смутное очертание, контур (здесь же: что-л. ожидающееся, возможное в будущем, намечающееся); 3. Что-л., только кажущееся возможным, реальным; мираж. Понятное дело, что литературных героев эти определения касаются впрямую: «Как я уже сказал, герои рождаются не как живые люди из тела матери, а из одной ситуации, фразы, метафоры; в них, словно в ореховой скорлупе, заключена некая основная человеческая возможность, которую, как полагает автор, никто еще не открыл или о которой никто ничего существенного не сказал», и чуть ниже: «Герои моего романа — мои собственные возможности, которым не дано было осуществиться» («Невыносимая легкость бытия»).

То есть через героев автор реализует свои собственные призрачные возможности, не осуществленные или не осуществимые в реальности. Любой герой в той или иной степени является образом автора, спроецированным в некий призрачный мир. Одновременно автор остается еще и сторонним наблюдателем, в некотором смысле соглядатаем созданного им самим мира. Герои тем не менее взгляд его на себе постоянно чувствуют: вспомним Аньес, убегающую от этого взгляда в соседнюю комнату. Все это, однако, можно воспринимать как метафору. Но — до определенного предела.

Когда автор собственной персоной появляется на страницах своего романа, внутри романа, призрачные герои которого существуют в призрачном мире, то сводить все к метафоре уже просто непозволительно. Присвоив себе права литературного героя, автор окончательно обретает черты одного из созданных им самим призраков. В «Бессмертии» явлен пример буквальной «материализации» призрака автора. Но автор, даже помимо желания, казалось бы, даже не говоря о самом себе почти ни слова, всегда присутствует на страницах своего произведения. Классическим примером первого рода мы можем назвать «Божественную комедию», второго — «Одиссею» и «Илиаду».

Если же взглянуть еще шире, то так называемое «авторство» представляется понятием, по существу, наименее важным. Мир нем, но чтобы существовать, он должен быть описан. Все писатели вместе (и каждый в отдельности) в некой перспективе выполняют по отношению к миру роль «всеобщего писателя», того самого писателя-призрака. «Какая разница, чье имя стоит на обложке? Перенесемся мысленно на три тысячи лет вперед. Кто знает, какие книги нашего времени сохранятся тогда и каких писателей будут еще помнить. Некоторые общеизвестные книги будут считаться анонимными, каким считается для нас сегодня эпос о Гильгамеше; будут и авторы, известные каждому, но после них не останется ни одного произведения, как это произошло с Сократом. Вполне возможно, что все сохранившиеся книги припишут одному-единственному мифическому автору, такому, как Гомер», — говорит Итало Кальвино, приписывая свои слова Гермесу Маране, великому книжному мистификатору и фальсификатору.

Тот же Гермес Марана (интересно, имеет ли его имя отношение к Гермесу Трисмегисту, создателю тайного учения?) сообщает о старом индейце, слепом и неграмотном, по прозвищу «Сказитель», рассказывающем бесконечные истории, которые на поверку оказываются пересказом произведений всемирно известных авторов, причем иногда этот «пересказ» предшествует не только опубликованию «пересказанного произведения», но, возможно, даже и его написанию: «...одни утверждают, что старый индеец есть не что иное, как универсальный источник повествовательной материи, первичная магма, из

которой расходятся индивидуальные вдохновения каждого писателя; другие считают его ясновидящим, который употребляет в пищу галлюциногенные грибы и таким образом проникает во внутренний мир самых сильных духовидческих натур, улавливая их психические волны; третьи полагают, что это реинкарнация Гомера, автора «Тысячи и одной ночи», создателя индейского эпоса «Пополь-Вух», а также Александра Дюма и Джеймса Джойса; им возражают, говоря, что Гомер не нуждается в переселении душ, поскольку никогда не умирал, а продолжает жить и творить на протяжении тысячелетий, ибо помимо обычно приписываемых ему двух поэм является автором большинства самых известных дошедших до нас произведений». Мы готовы принять любую из вышеприведенных концепций, а лучше — все сразу, потому как только в полноте своей они могут претендовать на некую адекватность истине, которая, как известно, недостижима. Однако все это имеет значение лишь в определенной временной перспективе, посему пока, говоря о наших авторах, мы все-таки имеем в виду Милана Кундеру и Итало Кальвино, чье посильное участие в создании рассматриваемых нами романов отрицать не будем.

И вернемся к менее глобальной теме бессмертия в «Бессмертии», а потом поговорим о власти писателя, не забывая об Ужасе Истории, которому он противостоит.

Бессмертие в «Бессмертии»

Аньес размышляет о двух вариантах бессмертия, какие могут быть запрограммированы компьютером Творца. Первый, скажем так, сведенборгианский: если Творец располагает лишь нашей планетой для обеспечения посмертного существования, то посмертная жизнь по большому счету мало будет отличаться от жизни «подлинной», только в ней будет меньше возможностей для одиночества, ибо мертвых значительно больше, чем живых. Второй вариант более напоминает «научно-фантастические» мечты: если «над компьютером нашей планеты существуют еще и другие, вышестоящие», то «посмертное бытие никак не должно было бы походить на земную жизнь, и человек мог бы умирать с ощущением смутной, но все же обоснованной надежды». Аньес явно отдает предпочтение второму варианту, вовсе не желая посмертной жизни в окружении тех же людей и предметов, которые сопутствовали ей в жизни земной.

Далее, со ссылкой на Гёте, сам автор размышляет о земном бессмертии. Признавая, что перед лицом этого бессмертия люди не равны, он призывает различать два его вида — малое бессмертие, то есть «память о человеке в мыслях тех, кто знал его», и великое бессмертие, «означающее память о человеке в мыслях тех, с кем он лично не был знаком». Лицом к лицу с таким великим бессмертием человека ставят жизненные пути художников и государственных деятелей. Если человек ни художником, ни государственным деятелем определенного масштаба не является, но желает приобщиться к великому бессмертию, то он вынужден прибегать к мистификациям и жестам. Беттина фон Арним «исправила» адресованные ей малозначимые письма Гёте и свои собственные послания поэту и опубликовала их в книге «Переписка Гёте с ребенком», что позволило ей превратить «эпизод» в жизни Гёте, которым являлась для него встреча с нею, в свой триумф. Беттина стала «одной из историй жизни Гёте уже после его смерти». Но уж в посмертии Гёте вряд ли пожелает общаться с Беттиной, да и со всеми иными из тех, с кем он встречался в жизни. Посему в посмертные собеседники ему автор «лишь в силу самой искренней любви» воображает Хемингуэя, способного действительно заинтересовать поэта, еще при жизни очарованного Америкой. Хемингуэй менее всего похож на «романтиков с бледными лицами», что к концу жизни Гёте заполнили всю Германию.

Для Беттины и Лоры характерен один и тот же жест, которым они как бы оправдывают свое собственное существование в мире. Автор называет его жестом, взыскующим бессмертия. «Беттина, претендующая на великое бессмертие, хочет сказать: отказываюсь умирать вместе с сегодняшним днем и его заботами, хочу превзойти самое себя, стать частью истории, поскольку история являет собой вечную память. Лора же, хоть и претендует лишь на малое бессмертие, хочет того же самого: превзойти самое себя и ту горестную минуту, которую она проживает, сделать «что-то», чтобы остаться в памяти тех, кто ее знал».

Но жест, как мы помним, не принадлежит индивиду, не является его выражением, жесты «пользуются нами как своими инструментами, носителями, своим воплощением». Этот жест, свойственный в той или иной степени всем людям, есть выражение зачастую неосознанной мечты всех и каждого о Вечном Возвращении, реализованным частным случаем которого можно считать способность человека оставаться в памяти других (большего или меньшего числа). Обладатель великого бессмертия возвращается к каждому новому поколению родившихся и к каждому конкретному человеку. Обладатель всего лишь малого бессмертия, казалось бы, обречен на забвение со смертью тех немногих, кто его помнил. Но. Здесь мы подходим к вопросу о невероятной и волшебной власти писателя.

Голос молчаливого никто

Человек испытывает ужас перед историей и все же мечтает в ней остаться даже после смерти.

Позволим себе привести некоторые мысли Мирчи Элиаде, имеющие отношение к предмету нашего разговора, не закавычивая их[1]. Так, Элиаде пишет, что современный, вполне рациональный человек гораздо менее свободен, нежели его далекие предшественники. С современной точки зрения человек может быть творцом лишь в той мере, в какой он историчен; иными словами, ему запрещено любое творчество, кроме того, которое берет начало в своей собственной свободе, а следовательно, ему отказано во всем, кроме свободы творить историю, творя самого себя. Однако все более спорным становится вопрос о том, может ли современный человек делать историю. Напротив, чем более он становится современным, незащищенным от ужаса истории, тем меньше у него шансов делать историю. История или делается сама по себе, или позволяет делать себя все более ограниченному кругу людей, которые не только препятствуют массе современников прямо или косвенно вмешиваться в историю, которую они делают, но к тому же располагают средствами заставить каждого отдельного человека переносить последствия этой истории, то есть жить непосредственно и беспрерывно в страхе перед историей. Свобода делать историю, которой хвалится современный человек, иллюзорна почти для всего человеческого рода.

Для традиционного человека современный человек не представляет ни тип свободного существа, ни тип творца истории. Напротив, человек архаических цивилизаций может гордиться своим способом существования, который позволяет ему быть свободным и творить. Он свободен не быть тем, чем он был, способен отменить свою собственную «историю» с помощью периодической отмены времени и коллективного возрождения. Человек, желающий видеть себя причастным истории, никак не мог бы претендовать на такую свободу по отношению к собственной «истории» (для современного человека не только необратимой, но еще и являющейся составной частью человеческого существования). «Чистота» архаического человека после периодической отмены времени и обретения заново своих нетронутых возможностей обеспечивает ему на пороге каждой «новой жизни» существование, длящееся в вечности, а с ним окончательную — здесь и сейчас — отмену мирского времени. Нетронутые «возможности» природы каждой весной и «возможности» архаического человека в преддверии каждого нового года не однородны. Природа обретает вновь лишь саму себя, тогда как архаический человек обретает возможность окончательно победить время и жить в вечности. И поскольку ему не удается это сделать, поскольку он «грешит», то есть впадает в «историческое» существование, во время, он каждый год упускает эту возможность. Но по крайней мере сохраняет свободу аннулировать свои ошибки, стереть воспоминания о своем «впадении в историю» и попытаться окончательно выйти из времени...

Не эта ли задача — понять, что не время и История определяют отношения с миром, — стоит перед современным человеком?

Собственно, чем писатель, хотя бы некий идеальный (или опять же «всеобщий») писатель, отличается от всех остальных людей, взыскующих бессмертия, земного и небесного? Перед небесным бессмертием все равны, в отличие от земного, только не все в него верят. Да и вообще это тема скорее теологическая, и мы не рискнем ее слишком глубоко касаться. Земное бессмертие (хоть в малом, хоть в великом варианте) все равно достаточно эфемерно. Писатель же подобен архаическому, то есть «традиционному» человеку, имеющему возможность не «впадать в историю», но творить собственные миры, в которых почти бесконечно может реализовывать нереализованные возможности, причем не только свои собственные. Как и архаического человека, его каждый раз подстерегает неудача, но он всегда все может начать сначала. Сошлемся вновь на дневник писателя Сайласа Флэннери, написанный за него Итало Кальвино, который пишет роман, в котором и т.д.: «Временами я думаю о содержании еще не написанной книги как о чем-то уже существующем. Это передуманные мысли, произнесенные реплики. Все, что должно было произойти, произошло; в известных местах и при известных обстоятельствах. Выходит, книга — это не что иное, как письменное отображение неописанного мира. А иногда мне кажется, что ненаписанная книга и существующий в реальности мир как бы взаимодополняются. Тогда книга становится описанной, оборотной стороной неописанного мира. Ее содержание — это то, чего нет и не может быть до тех пор, пока не будет описано; и в том, что есть, без этого подспудно ощущается пустота и незавершенность.

Словом, я так или иначе хожу вокруг мысли о взаимозаменяемости неописанного мира и книги, которую должен написать. Именно поэтому писание представляется мне делом настолько тяжким, что может попросту раздавить меня». Так оно иногда и происходит. От подобной участи всех без исключения писателей спасает лишь то, что пи-

[1] См. Мирча Элиаде. «Космос и история». М., 1987, главы «Возрождение времени», «Несчастье», «История», «Ужас истории» и др.

сатели существуют все же в некой совокупности. Этот всеобщий писатель (всемирный ghost-writer) своими написанными и даже ненаписанными книгами противостоит «пустоте и незавершенности», позволяет любому Читателю оставить хотя бы на время Историю и прожить другую жизнь, реализуя через нее свои нереализованные возможности. Мало того, книга есть вневременное и уж тем более внеисторическое средство общения между людьми, доступное не только конкретным, допустим, Читателю и Читательнице. Это — общение, как объясняет Кальвино, «по каналу, проделанному чужими словами». «Именно потому, — продолжает он, — что их произнес сторонний голос — голос молчаливого никто, окрашенный типографской краской и оттиснутый типографским шрифтом, эти слова могут стать вашими, воплотиться в ваш язык, шифр, средство, благодаря которому вы будете обмениваться сигналами и узнавать друг друга». Читателя тоже ожидает неудача при этом «выпадении из Истории», но зато у него остается возможность бесконечно впадать все в новые и новые истории.

Чисто человеческая история

Когда-то все романы начинались с того, как свидетельствует опять же Кальвино, точнее, один из читателей, которому в уста эти слова вложил Кальвино, так вот, все романы начинались с того, что «одинокий путник шел по безлюдной дороге. Вдруг что-то привлекло его внимание. Он думал, что в этом кроется некая тайна или предзнаменование. Тогда он принимался задавать вопросы. И ему рассказывали длинную историю...» А далее выясняется, что Путник появляется лишь на первых страницах, он дело свое сделал и больше не нужен, ведь книга-то не о нем. Кого уподобить Путнику — писателя или читателя? Как это так: писатель пишет о себе, а читатель в той же книге читает о себе? Есть ли здесь противоречие? Есть. Но мнимое. Ведь писатель (каждый в отдельности и все вместе) пишет некую бесконечную книгу, и читатель читает эту бесконечную книгу. Ко всему прочему, писатель является еще и читателем. Так что в этой бесконечной книге для всего и всех найдется место. Читатель и писатель иногда могут и меняться местами.

«Вы полагаете, что у каждой истории должны быть начало и конец?» — вопрошает еще один читатель, в чьи уста сей вопрос вложил писатель. Наверное, Кальвино. И какую «историю», с большой или маленькой буквы, он имеет в виду?

«История... Можно ли еще ссылаться на столь устаревший авторитет? Все нижеследующее отражает чисто личную точку зрения на этот вопрос: будучи романистом, я всегда чувствовал себя в сердцевине истории, посреди дороги, где можно вести разговор не только с теми, кто меня опередил, но даже и с теми (хотя это проблематично), кто идет следом за мной. Я, разумеется, говорю об истории романа, а не о какой другой, и говорю о ней так, как я ее вижу: она не имеет ничего общего с внечеловеческим «разумом» Гегеля, она не предопределена заранее и не тождественна идее прогресса; это чисто человеческая история, творимая людьми, вернее сказать — некоторыми людьми, и, следовательно, сравнимая с эволюцией отдельного художника, который действует то банально, то непредсказуемо, то гениально, то без проблеска гениальности, а к тому же постоянно упускает отпущенные ему возможности», — как бы отвечает на эти как бы вопросы другой писатель. Наверное, Кундера.

Почему бессмертен Путник?

А нашему читателю, смеем надеяться, окончательно стало ясно, почему библиотечный призрак изначально был лишен Готорном права попасть на страницы книги? Да-да, именно потому, что он был придуман самой жизнью. Он уже существовал сам по себе, то есть был представителем как бы описанного мира. Писатель же предпочитает еще не реализованные возможности: «Молодая особа, которую я рассматриваю в подзорную трубу, наверное, знает, о чем я должен написать. Точнее, не знает и ждет, когда я напишу то, чего она не знает. Она лишь чувствует пустоту ожидания. Пустоту, которую должны заполнить мои слова» (из дневника Сайласа Флэннери). Хотя, с другой стороны, Бог его, Готорна, знает, почему он, Готорн, явившегося ему «во плоти» призрака не описал в романе или новелле. Я (пора, наконец, избавиться от многозначительного «мы») этого не знаю. Не знал этого скорее всего и сам Готорн, как не знает Кундера, почему и как написал он свое «Бессмертие». А на вопрос «почему бессмертен Путник?» не ответил бы и сам Кальвино. Впрочем, он себе такого вопроса и не задавал. Да и вообще, это вопрос из какого-то другого романа. Который еще не написан. Но уже существует.

■

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЖЕСТА

Если представить себе — чему роман Кундеры отчаянно сопротивляется, — что герои «Бессмертия» существовали на самом деле, то наибольший интерес рассказанная писателем история могла бы вызвать у их знакомых. Подобно тому, как сам Кундера представляет себе беседующих в горних Хемингуэя и Гёте, можно вообразить себе соседей и сослуживцев Аньес и Поля, сжимающих в запотевших ладонях пейпербэк с французским переводом. (На каком, кстати, языке говорили Хем и Иоганн Вольфганг? На чешском? Немецком? Английском? Ангельском?) И полушепотом делящихся последними новостями:

— А у Аньес-то, представляете, был любовник! И однажды пришла она с ним в номер, а там его приятель, и они вместе...

— А чего ожидать от женщины, которая мечтала бросить мужа и дочку!

— А сестрица ее тоже хороша! Звонила по телефону, шантажировала самоубийством...

И так далее. Как заметил Чоран, сплетни и метафизика — две самые интересные вещи на свете.

К слову сказать, сплетни можно подразделить на два вида: собственно факты (классический вариант — см. приведенный выше диалог) и их интерпретации. Разумеется, Кундера (в отличие от Джекки Коллинз) уделяет больше внимания второму типу, так что в конце концов черные очки двух сестер оказываются едва ли не более «пикантной» деталью, чем их любовные переживания. Точнее, их любовные переживания становятся неотделимы от черных очков.

Впрочем, мастерство интерпретации само по себе не способно поддержать интереса. К примеру, мой знакомый X, когда волнуется (или когда выпьет), всегда вставляет в речь английские слова. Это наблюдение, и притом не особо интересное. Если я теперь добавлю к нему интерпретацию и скажу, что этим он пытается вернуть себя в то время, когда еще был филологом-американистом, то она покажется либо произвольной, либо очевидной, но в любом случае — тоже не особо интересной, по крайней мере, тем, кто не представляет себе всей истории его жизни. В том смысле, что не более интересной, чем классическая сплетня о неизвестной слушателю Y, которая изменяет своему мужу. То есть и факт и интерпретация интересны только тогда, когда касаются небезразличных слушающему людей и как бы встраиваются в хорошо известный контекст. Причем, чем лучше известен контекст, тем интереснее. Поэтому сплетни про знакомых можно слушать до бесконечности.

Превращение мелкой детали в событие — особый дар, и Кундера наделен им сполна. Зарывать такой талант в землю (то есть ограничить его применение только сферой пражских или парижских знакомых) — преступление, и поэтому он выдумывает множество людей, переплетенных семейными, эротическими, дружескими и семантическими связями, создавая себе тем самым пространство для игры интерпретаций.

Многофигурность тут — непременное условие: самые удачные сплетни — эротические, а сексуальность, вопреки распространенному заблуждению, подразумевает не двух участников, а множество, даже если коитус и ограничен одной парой. В любовной геометрии треугольник является простейшей фигурой.

Итак, придумать людей, чтобы потом рассказать о тайне их жизней. На последней странице Кундера проговаривается (проговаривается ли? может быть, точнее — сознается?), что ему доставляет огромное наслаждение, глядя на человека, найти метафору, которая описала бы его. Так профессор Авенариус «играет с миром как меланхолический ребенок, у которого нет братика», а Поль — «остроумный союзник своих могильщиков»[1]. Для того чтобы читатель разделил восторг автора, последнему приходится изрядно потрудиться, описывая своих героев. Но когда вспышка метафоры выхватывает наконец из мрака неведения общие контуры их фигур, предательское подозрение начинает брезжить в мозгу читателя, зачарованного несколько искусственной красотой открывшейся ему картины. Он чувствует себя обманутым: автор предлагает восхититься тем, как удачно он нашел метафору для своих героев, тогда как, судя по всему, он искал героев для своих метафор. Мастерство заключается в том, что подобные подозрения в большинстве своем возникают, когда роман уже прочитан.

Для тех, на кого не хватило метафоры, находится образ или идея, описывающие их жизнь. Еще раз выражаю готовность восхититься тем, кто сведет жизнь моих знакомых к череде нескольких мотивов, будь то повторяющийся жест, черные очки, идея

---

[1] О, этот марксизм, впитанный почти что со школьной скамьи! Пролетариат — могильщик буржуазии! Коммунисты — могильщики молодых пражских интеллектуалов! Как будто история — одна большая могила, куда друг за другом зарывают общественные формации и интеллектуальные увлечения, а не огромный океан, в котором бурлящие течения выносят на поверхность то обломки корабельных снастей, то личные вещи пассажиров. То Рембо, то Маркса, то Кундеру.

бессмертия или даже — несмотря на фрейдистскую банальность — любовь к отцу. Потому, если я верю в существование Поля, Аньес, Лоры и Рубенса, то я должен благоговейно склонить голову перед талантом Кундеры.

Человек как метафора, человеческая жизнь как развертывание одной или нескольких основных метафизических идей. Потому что, как заметил однажды Бродский, сплетни — это и есть метафизика. И романы Кундеры возвращают нам это ощущение.

Кундера подбирает метафору, идею или образ для каждого из персонажей, но реальный человек не укладывается в одну метафору. Для живого человека каждая метафора — только одна из множества допустимых. Потому так радует, когда описанные Кундерой люди чем-то похожи на знакомых читателя. Теперь я могу добавить к сочиненным мною метафорам, описывающим Z. еще одну, придуманную Кундерой для его героя, но мною у писателя позаимствованную, как позаимствовал Рубенс, танцующий с Аньес, жест Гёте, кладущего руку на грудь Беттины. Потому что метафор, как и жестов, меньше, чем живущих людей.

Жизнь реального человека не укладывается в одну — тем более изысканно выстроенную — историю. Если угодно, каждая новая попытка осмысления чьей-либо жизни прекрасна именно тем, что она — не последняя. Кундера пишет, что, живи мы вечно, любой эпизод нашей жизни стал бы в какой-то момент событием. В этом-то и заключена прелесть эпизода. Точно так же прелесть рассказа о человеческой жизни в том, что, будь мы бессмертны, ни один из этих рассказов не был бы оконченным и окончательным. Именно так и надо понимать бессмертие Гёте и Беттины, Бетховена и Хемингуэя. Они бессмертны до тех пор, пока все новые и новые биографы перекраивают их жизнь на свой лад, сортируя факты на случайные и значимые, забывая об одних эпизодах и подчеркивая другие. Ибо биография — искусство умолчания и контраста; грима, накладываемого визажистом на лицо умершего[1].

Однако вряд ли кто даст себе труд написать новую версию жизни Аньес или Лоры, и потому «Бессмертие» — последнее слово. Отныне и навсегда их жизнь будет прочитываться так, как ее прочитал Кундера.

В этом — отличие его романов от традиционных реалистических (и многих пост- и просто модернистских) произведений. Собственно говоря, так же как у Гёте и Беттины речь шла не о любви, у Кундеры и его текста речь идет не о литературе. «Бессмертие» — не только не роман в старом смысле слова, но даже и не роман и метароман (то есть история создания романа) в одной книге. Это трехголовое чудище — роман, метароман и комментарий, сплетенные воедино.

Разумеется, создание подобного монстра входило в планы автора. Однако при таком подходе к собственному тексту в нем не остается ничего случайного. Каждый следующий поворот сюжета уже заранее намертво вписан в идейную схему. Результат временами выглядит несколько засушенным и схематичным. Кундера почти не оставляет простора для фантазии читателя: неслучайно про него так нелегко писать литературоведческие статьи: слишком мала вероятность обнаружить в тексте что-то, загодя не откомментированное автором. Остается только соглашаться с его комментарием, при желании восхищаясь остроумием последнего[2].

Впрочем, если бы текст был неограничен, Кундера успел бы дать толкование каждому эпизоду, толкование самому толкованию и т. д. Порадуемся тому, что у романа есть конец, тем более что финал изящно смыкает композицию в кольцо: Поль повторяет за Лорой жест, который он подсмотрел у нее, который она подсмотрела у Аньес, которая сама появилась из жеста пожилой дамы, подсмотренного Кундерой в том самом бассейне, где спустя ровно два года Поль...

Лишний авторский комментарий разорвал бы эту закольцованность. Слава Богу, что Кундера воздержался хотя бы от него. «Бессмертие», как и «Невыносимая легкость бытия», завершается образом, а не интерпретацией или объяснением[3].

И поскольку объяснения нет, о финале хочется думать еще и еще. История жеста, который — один на всех — оборачивается историей любви или, если угодно, сексуальности, которая у героев тоже одна на всех. Не случайно скрепляющий их жест — жест любви, жест отдачи себя. Общая сексуальность обволакивает персонажей полупрозрачным облаком, пресловутый механизм переноса делает их желания недифференцированными, постоянно меняющими свой объект. Жизнь действительно превратилась в один большой «партуз» — любой из героев, каковы бы ни были его намерения, не способен контактировать только со своим собеседником. Каждый жест и каждое слово оказыва-

[1] Не случайно биографии так любит Поль, остроумный союзник сами-помните-кого.

[2] Поэтому так хорош фильм Фила Кауфмана по «Невыносимой легкости бытия», в котором половина связей, проговоренных Кундерой, оставлена, но не откомментирована. Режиссер любезно дает зрителю что-то додумать самому — возможность, которой писатель почти лишает читателя.

[3] Кстати, каким именно: образом Поля, повторяющего жест Лоры? Стихом Гёте, хлопающим под сводом бассейна крыльями, как гордый белый гусь? Метафорой для Авенариуса? Незабудкой, которую Аньес когда-то мечтала держать перед глазами как последний, едва приметный отблеск красоты?

ются обращенными ко всем остальным участникам этой странной нефизиологической оргии, живым и умершим. Так, очарование финального жеста Лоры, прощающейся с автором и читателями романа, — именно в двусмысленности его адресации (вспомним: Кундера называет Лору наркоманкой двусмысленности). Он обращен к Полю, но адресован Авенариусу, а может быть — покойной сестре. Точно так же Аньес, выбрасывая в воздух руку, обращалась не к своему незадачливому ухажеру, а к единственному мужчине, которого она любила, — к отцу, которому было суждено увидеть этот ее жест только перед смертью.

Однако, в отличие от более традиционных романов, «Бессмертие» интересно не только персонажами и образами. Многих читателей романы Кундеры увлекают прежде всего своими оригинальными идеями, щедро рассыпанными на их страницах. Идеи действительно интересны, но оригинальны ли?

Если говорить о «Бессмертии», то нетрудно усмотреть влияние Бодрийара в рассуждениях Кундеры об исчезновении реальности для жителя современного города, получающего информацию из радио, газет и телевидения; влияние современных теорий телесности в описаниях отношений его героев со своим телом; влияние Мишеля Фуко во всей четвертой части романа; влияние Фукуямы и того же Бодрийара в размышлении о конце истории и идеологии. Перечень влияний, оказанных властителями дум на ведущие идеи романа, можно продолжить. И уж, разумеется, можно до хрипоты спорить по мелочам: Элиас Канетти писал о возможности задавать вопрос и требовать на него ответа как проявлении власти (у Кундеры — главка «Одиннадцатая заповедь»), но наверняка об этом рассуждали и другие авторы, и совершенно невозможно выяснить, кто у кого позаимствовал эту убедительную мысль; в частности, у кого ее позаимствовал автор «Бессмертия». Возможно, она посетила его самостоятельно.

В том, что сказано выше, нет ни грана осуждения. Просто для меня Кундера — не повар, а скорее метрдотель. Тот, кто решает, что́ в каком порядке подавать и как расставить принесенные блюда. Высокое мастерство сервировки стола.

Временами кажется, что для Кундеры важны не идеи как таковые, а важна именно возможность соотнесения с ними людей. Однако мы уже говорили о том, что сами персонажи словно выстроены под заранее привнесенную идею. Получается странная вещь: чем лучше понимает автора читатель (то есть чем больше он знает излагаемые Кундерой идеи), тем схематичнее для него роман и бледнее персонажи. И наоборот: чем меньше он знает идеи, тем более реальными кажутся герои.

Неоригинальность используемых в романе идей естественна и непротивопоказана жанру: роман — не философский трактат, и пишущих людей гораздо больше, чем способных выдвинуть новый тезис. С другой стороны, читающих намного больше, чем способных одолеть первоисточник. Благодаря этому для каждой книги находится свой благодарный читатель. Иначе говоря, каждому читателю найдется, за что поблагодарить Кундеру.

В частности (вынужден опять повторить надоевшее слово) — за мастерство. На этот раз за мастерство лектора или — если угодно — эссеиста.

Кундера действительно блестяще излагает ряд современных идей. Самый любимый лекторский прием: для разъяснения чужого тезиса привести свой пример. И Кундера рассказывает о своем моравском деде, о полученных им письмах и придуманных персонажах[1]. Потому, когда читаешь его романы, совершенно не хочется размышлять, откуда он что позаимствовал: размышления легко «ложатся», но не выглядят популяризацией. Во многом это происходит благодаря умению коснуться актуальных и модных тем, избежав прямых ссылок и использования навязших в зубах терминов, широкая известность которых только затрудняет понимание их подлинного смысла. Так, излагая в «Бессмертии» целый ряд идей Бодрийара, Кундера прекрасно обошелся без модных слов «симулякр» и «гиперреальность», вполне подробно описав комплекс феноменов, с ними обычно ассоциируемых. То, что автору «Бессмертия» удается объяснять достаточно сложные идеи, не прибегая к специальной терминологии, могло бы послужить лучшим доказательством глубины их понимания, если бы подобное соображение не было излишним в случае Кундеры.

Сравнивая Кундеру с другим столпом постмодернистского романа — Умберто Эко, — можно видеть различие в их манере подавать чужие идеи. Эко открыто вводит фигуру лектора — напрямую, как в «Имени розы», или разбив ее на три, как в «Маятнике Фуко», где каждому из героев «выдан» свой кусок мировой культуры. Этот ход как бы подчеркивает неоригинальность излагаемых мыслей; когда речь идет об истории, Эко не брезгует

[1] Не могу удержаться от автоиллюстрации. Например, к вопросу о случайностях и закономерностях: в этом же номере — про того же Кундеру — печатается статья Игоря Кузнецова, который не только не родственник, но даже и не знакомый. Классическая случайность. Но, с другой стороны, фамилий (как и жестов) меньше, чем людей, так что, если бы не опасность затянуть сноску, можно было бы рассуждать про эту случайность, пока в ней не отыщется хоть какой-то смысл.

и прямыми ссылками. Кундера же не стесняется излагать большую часть идей от собственного лица, избегая называть первоисточник[1]. Поэтому, читая Эко, временами чувствуешь, что имеешь дело с писателем-популяризатором, а читая Кундеру — что слушаешь оригинального мыслителя. Забавно то, что как раз Кундера является профессиональным писателем в большей степени, чем Эко, который большую часть своей жизни занимался вполне академическими семиотическими и медиевистскими исследованиями.

Возможно, впрочем, лекторская природа подводит Кундеру в другом: в его романах слишком заметна привычка по пять раз повторять одну и ту же мысль, чтобы она дошла до самого тупого слушателя в аудитории. Отсюда бесконечное разжевывание, упорное — удар за ударом — долбление в одну точку.

Как бы то ни было, романы Кундеры — беспроигрышные книги, написанные очень умным человеком. Как известно, умными мы считаем людей, которые говорят то же, что и мы, а очень умными — тех, кто говорит то же, но лучше, чем мы могли бы формулировать.

Вне сомнения, Кундера не только очень умный, но и очень честный писатель. Идеи, о которых он пишет, продиктованы не столько интеллектуальной конъюнктурой, но и живой болью автора. Притом он не скрывает от читателя сконструированности «Бессмертия», напротив, охотно ее подчеркивает. Так его честность превращает выстроенность, заданность и схематичность романа в достоинство.

Выходец из великого алхимического города, Кундера описывает в своем романе поиски знаменитого эликсира бессмертия. Но не оборачивается ли это бессмертие бессмертием Голема, который движется и живет только до тех пор, пока чувствует во рту деревянный шар — свою душу, — положенный туда его создателем? Поставив в романе точку, Кундера вынимает шар, и персонажи застывают как статуи на Карловом мосту, застывают, подняв руку в бесконечно отражающем себя жесте, описанном на страницах романа столько раз, что читателю кажется — еще немного, и он сможет повторить его сам.

■

[1] Помню, как меня удивило, когда, рассказывая о чешке, проводившей в своем городке сеансы с созерцанием обнаженных женских тел в зеркале, Кундера назвал Лакана. Только потом я сообразил, что на Западе французский психоаналитик уже давно стал общеизвестным классиком со статусом Гёте — Хайдеггера.

ПИТЕР АКРОЙД

Дэн Лино и Голем из «Лаймхауса»

Peter Ackroyd. Dan Leno and the Limehouse Golem. «Sinclair-Stevenson»

В произведениях современного английского писателя Питера Акройда (о его предыдущем романе, «Дом доктора Ди», см. «ИЛ», 1994, №5) самым причудливым образом переплетаются факты и вымысел. В новом романе действие разворачивается в Лондоне конца прошлого века. Среди персонажей — Бернард Шоу, Оскар Уайльд, а также Карл Маркс и Джордж Гиссинг. Эти и другие экзотические личности бок о бок сидят в читальном зале Британского музея, изучая очерк Де Куинси «Убийство, рассматриваемое как одно из искусств».

Главный герой Дэн Лино — реально существовавший знаменитый артист мюзик-холла. Он оказывается в центре криминальной истории, которая будоражила Лондон той поры (здесь не обошлось без влияния загадки Джека-Потрошителя). На сей раз несколько жутких убийств, произошедших в «Лаймхаусе», молва приписывает Голему (в еврейском фольклоре Голем — это чудовище, питающееся человеческой кровью). Подозрение падает на Дэна Лино; между тем его артистическое чутье подсказывает ему истинную разгадку. Однако автор предоставляет читателю возможность самому интерпретировать факты и поработать сыщиком, ибо здесь такового нет, в отличие от традиционного детектива.

ДЖ.Г.БАЛЛАРД

Скорее в рай

J.G.Ballard. Rushing to Paradise. «Flamingo»

Роман американского писателя Дж.Г.Балларда тематически перекликается с его предыдущими произведениями: экологические катастрофы (первый роман, «Затонувший мир») и примитивное насилие («Привет, Америка»). В центре этой антиутопии — провал одной идеалистки, пытавшейся поставить свое «я» на службу обществу.

Доктор Барбара Рафферти, ярая защитница окружающей среды, организует кампанию по спасению странствующего альбатроса. Ареал его обитания, тихоокеанский атолл Сент-Эспри, французские военные собираются использовать для новых ядерных испытаний. Доктору Рафферти помогает шестнадцатилетний Нил Демпси: он, рискуя собой, привлекает внимание средств массовой информации к атоллу. Вслед за скандалом французов изгоняют, альбатрос возвращается в родные места, а доктор Рафферти объявляет Сент-Эспри заповедником, куда начинают поступать редкие виды животных, а также всевозможное оборудование и средства.

Однако благим намерениям Барбары не суждено сбыться. Из экологического рая остров постепенно превращается в закрытую и почти неуправляемую территорию, стремящуюся изолироваться от цивилизации. Эксперименты в области евгеники приводят к вырождению самцов; Нил, добывая пропитание в море, приближается к состоянию амфибии; а Барбара искала рай и убежище лишь для себя самой.

ГОНСАЛО ТОРРЕНТЕ БАЛЬЕСТЕР

Роман Пепе Ансуреса

Gonzalo Torrente Ballester. La novela de Pepe Ansúrez. «Planeta»

Этот роман о романе критики считают творческим увеселением старейшего галисийского писателя, создавшего карикатуру на отношения между литераторами и сильными мира сего, пародию на сочинительство.

Действие происходит в захолустном городишке. Там, в местном банке и вокруг него, разворачиваются основные события, кипят страсти, сталкиваются амбиции, эхом отзываясь в дремотной провинциальной жизни. Служащий банка Пепе Ансурес, он же высокочтимый местный поэт-пророк, задумывает написать роман, дабы обрести и славу прозаика. Его творческий порыв всячески поддерживает (и даже предлагает свои варианты книги) президент банка дон Леонидас — в надежде увековечить себя, послужив прототипом главного героя. Однако Пепе пишет роман о себе самом и о своей возлюбленной. Среди персонажей есть и еще один банковский служащий и литератор-неудачник Педро Лопес, по прозвищу Педри-

то-между-баб, со своей обожаемой супругой.

За творческое самоуправство Пепе уволен; следует череда интриг местного значения, довершающая сюжет романа. В отличие от своего героя, Гонсало Торренте Бальестер удостоился за «Роман Пепе Ансуреса» испанской премии Асорина.

НАДИН ГОРДИМЕР
Бреду одиноко

Nadine Gordimer. None to Accompany Me. «Bloomsbury»

Действие в новом романе Нобелевского лауреата происходит в последний год правления белых в ЮАР. В этот переходный период многое меняется в стране, где прежде была узаконена расовая ненависть. Писательницу, как всегда, интересует философский вопрос: как история влияет на конкретного человека, активно ее творящего или же равнодушного к ней?

В центре повествования — две супружеские пары, белая и негритянская. Белые — Вера и Беннет Старк — женаты сорок пять лет; Вера — юрист, много лет она профессионально боролась за равноправие ЮАР. Беннет все эти годы любит ее, но Вера тяготится его постоянством; она изменяет мужу, их старший сын, возможно, не от него. Кроме того, Вера занимается разработкой новой конституции и все больше погружается в общественную жизнь; брак с Беннетом в конце концов распадается.

Вторая чета, Сибонджайл и Дидимус Макома, напротив, сохраняет верность друг другу и общему делу. На их долю выпали тюрьма и ссылка, а политической активистке Сибонджайл угрожают и после падения системы апартеида. Н.Гордимер затрагивает не только проблему жестокости, насилия и несправедливости — каждодневных примет жизни в ЮАР того периода, но и трудного пути южноафриканцев к осознанию себя как единой нации.

Ф.Д.ДЖЕЙМС
Первородный грех

P.D.James. Original Sin. «Faber»

Ф. Д. Джеймс давно заняла подобающее ей место в списке мастеров английского детектива (перевод ее романа «Неестественные причины» см. «ИЛ», 1992, №11—12). В своей тринадцатой книге, «Первородный грех», писательница осталась верна излюбленному жанру.

Действие — несколько убийств и их расследование — разворачивается вокруг (в прямом и переносном смысле) издательства «Певерелл пресс». Это милое старомодное частное заведение публикует поэзию и научно-популярные книги по истории, а также заботится о своих престарелых сотрудниках. Нарушить идиллию пытается новый исполнительный директор — жесткий и холодный сторонник модернизации. В конце концов его обнаруживают в наполненном газом кабинете с кляпом в виде чучела змеи.

Не менее печальна участь и другого действующего лица романа: в Темзе выловлен труп автора детективов Эсме Карлинг; ее задушили, а на шею повесили отвергнутую рукопись ее последнего криминального романа «Смерть на райском острове». Ключи к разгадке загадочных убийств ищут инспектор Далглиш и инспектор Кейт Мискин.

ЭРИКА ДЖОНГ
Страх пятидесятилетия

Erica Jong. Fear of Fifty. «Harper Collins»

Американская писательница и поэтесса Эрика Джонг (перевод ее книги «Ведьмы» см. «ИЛ», 1992, №3) стала автором международных бестселлеров начиная с первого своего романа, «Страх полета», опубликованного двадцать лет назад и переведенного на 27 языков. Вышедшая недавно книга ее мемуаров «Страх пятидесятилетия» также получила международную известность.

Эрика Джонг считает себя вполне обычной женщиной, чья судьба похожа на судьбы ее ровесниц. Впрочем, подробно описанная в мемуарах личная жизнь писательницы не совсем типична: четыре замужества, многочисленные экзотические любовники, пристрастие к алкоголю и транквилизаторам, крупные финансовые и семейные проблемы.

С другой стороны, Э.Джонг принадлежит к тому поколению женщин, чья молодость пришлась на бурные 60-е, которые круто изменили роль женщины в обществе. Социальные потрясения той поры повлияли на Эрику Джонг: она начала борьбу с мужским засилием в литературе и стала в каком-то смысле рупором феминизма. Сравнивая себя с французскими писательницами Колетт и Жорж Санд, она с горечью констатирует, что именно женщины — критики и литературоведы — оказались самыми суровыми судьями ее произведений. И не случайно одна из глав мемуаров названа «Страх славы».

ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЭР
Билет в один конец

Didier Van Cauwelaert. Un aller simple. «Albin Michel»

Молодой герой нового романа Дидье ван Ковелэра — личность весьма оригинальная,

без рода без племени. Имя — Азиз — ему дали цыгане, переиначив название машины «ами-сис», в которой и нашли его. Азиз стал достойным представителем клана бродяг и нищих, специализируясь на кражах авторадиоаппаратуры, а затем и автомобилей. Когда пришло время обзавестись каким-никаким паспортом, он купил себе фальшивый и сделался марокканцем, резонно рассудив, что так спокойнее, ибо арабов на свете много.

Но надежды на спокойную жизнь не оправдались. В самый разгар трапезы по случаю своей помолвки он был арестован по ложному обвинению в краже перстня. Судья определил ему наказание — высылку на родину, то есть в Марокко, где Азиз сроду не был. Однако на требования точно указать место рождения «марокканец», озаренный воспоминаниями о некогда услышанных легендах, назвал мифическое племя. На поиски этого племени он отправлен из Марселя вместе с приставленным к нему чиновником. Описание их трагикомического путешествия и составляет дальнейшее повествование.

За этот роман Дидье ван Ковелэр, тридцатичетырехлетний уроженец Ниццы, удостоен Гонкуровской премии. Для талантливого романиста, киносценариста и драматурга эта награда — высочайшая в его послужном списке, где есть премии Дель Дюка, Нимье, Гутенберга, а также театральная премия Французской академии.

ДЖЕЙМС КЕЛМАН
Как поздно это было, как поздно

James Kelman. How Late It Was, How Late. «Secker Warburg»

Крупнейшая британская литературная премия «Букер» за 1994 год присуждена роману шотландского писателя Джеймса Келмана «Как поздно это было, как поздно». Однако эта книга сильно отличается от романа в традиционном понимании, ибо весь сюжет состоит из нескольких эпизодов, которые вполне уложились бы в рассказ.

Главный герой Сэмми — бездомный, безработный шотландец; он живет у своей подружки Хелен (она в романе практически отсутствует). Немногочисленные события разворачиваются в шотландском городе Глазго, который опять-таки не описан и представлен лишь в воспоминаниях главного героя. Сэмми слеп: он потерял зрение во время допроса в полиции после учиненной им пьяной драки на улице. Таким образом, у него остался только голос, и этот голос — в виде внутреннего монолога Сэмми — звучит на протяжении всей книги.

Рассуждения Сэмми о своей жизни и жизни вообще окрашены в горькие тона; эти философствования позволяют автору представить своего героя как стоически страдающего человека, столь типичного для его края и класса. Речь Сэмми — фактически главный элемент книги — являет собой весьма разговорный вариант с диалектными вкраплениями и невероятным количеством нецензурных слов.

САЛЬМАН РУШДИ
Восток, Запад

Salman Rushdie. East, West. «Cape»

Название нового сборника новелл Сальмана Рушди (перевод его романа «Стыд» см. «ИЛ», 1989, № 8—9) символично: он состоит из трех частей — «Восток», «Запад» и «Восток, Запад», причем запятая в его названии подчеркивает неразрывную связь того, что обычно противопоставляют, и отказ С.Рушди выбрать что-то одно.

Новеллы в «восточной» части причудливы, полны магического реализма. Страстный коллекционер Хашим, пытаясь вернуть себе волос пророка Мухаммада, пронзает мечом свою дочь и отправляет жену в сумасшедший дом (новелла «Волос пророка»). Тема фетишизма проходит и через другие рассказы сборника: в обмен на стерилизацию юноша — конечно же, тщетно — ожидает обещанный подарок от правительства («Бесплатный радиоприемник»); молодая женщина безуспешно стремится раздобыть британский паспорт — пропуск на Запад — у пакистанского чиновника («Хороший совет дороже рубинов»). В рассказе «Рубиновые туфли на аукционе» весь мир представлен гигантским рынком, где правят не люди, а вещи.

В «западном» рассказе «Привратник» также присутствует восточный персонаж — индиец. Автобиографическая новелла «Гармония полушарий» — это воспоминания о первых годах С.Рушди в Англии. Полон юмора рассказ «Йорик» — пикантная пародия на «Гамлета».

ФРАНСУАЗА САГАН
Последняя печаль

Françoise Sagan. Un chagrin de passage. «Plon/Julliard»

Главный герой нового романа Франсуазы Саган (о ее предыдущей книге см. «ИЛ», 1994, №3) предстает поначалу самым заурядным парижанином. Архитектор Матье — завсегдатай доброго десятка кафе, он непритязателен в выборе сигарет и одежды, терпеть не может свою тещу и неверен жене. Размеренное течение его жизни внезапно превращается в головокружительный водоворот, когда однажды сентябрьским утром Матье узнает от своего врача, что смертельно болен. Охваченный паникой, он мучительно размыш-

ляет о прошлом подводя безрадостные итоги, затем — уже хладнокровнее — оценивает теперешнее свое положение, ощущая бессмысленность существования и одиночество.

В надежде найти опору Матье идет к одной из своих бывших любовниц. И действительно, Матильда становится для него спасительной соломинкой, тем человеком, перед которым он впервые плачет, не стыдясь слез. Теперь он не столь страшится смерти, смотрит на все философски и принимает мир во всем его многообразии. Печаль угасающего Матье не удручает, ибо она — печаль умудренного жизнью у последней черты.

КВЕТОСЛАВ ХВАТИК
Мир романов Милана Кундеры

Květoslav Chvatík. Svet romanu Milana Kundery. «Atlantis»

Как ни странно, один из крупнейших чешских литераторов современности Милан Кундера все еще мало известен у себя на родине. Помимо многолетней эмиграции и запрета на публикацию его произведений при прежнем режиме, есть и другая причина: по желанию самого автора его книги выходят в Чехии постепенно, и на сегодняшний день опубликовано лишь три романа.

Помочь чешским читателям погрузиться в мир романов Милана Кундеры решил университетский преподаватель, представитель младшего поколения пражских структуралистов Кветослав Хватик. Свое обширное литературоведческое исследование он посвятил всему творчеству М.Кундеры — от раннего сборника «Смешные любовные истории» до недавнего романа «Бессмертие» (перевод напечатан в «ИЛ», 1994, №10). Анализ К.Хватика построен на восприятии всех книг как единого целого, как особого мира, в котором реальность отражается и при этом творчески переосмысливается. Исследователь подробно разбирает повествовательные, тематические, композиционные, стилистические и прочие аспекты каждой книги. К.Хватик не разделяет расхожего мнения, согласно которому М.Кундера — писатель, ориентированный на запросы и вкусы западного читателя. Напротив, мир его романов уходит корнями в национальную культуру Чехии, в частности, в книге отмечен интерес М. Кундеры к творчеству чешского писателя первой половины XX века Владислава Ванчуры.

ДЖОЗЕФ ХЕЛЛЕР
Время закрытия

Joseph Heller. Closing Time. «Simon & Schuster»

Около тридцати лет назад американский писатель Джозеф Хеллер опубликовал роман, принесший ему известность, — «Поправка-22». Теперь, много лет спустя, вышло в свет продолжение этой знаменитой книги.

Структура романа замысловата: тридцать четыре главы в тринадцати частях. Действуют в нем те же герои, что и в первой книге дилогии, но постаревшие на пятьдесят лет. Эти бывшие солдаты второй мировой войны вспоминают былое, отчего временные пласты в романе постоянно смещаются.

Сначала повествование ведет Сэмми Сингер, бывший пулеметчик, затем его сменяет его давний приятель Лев Рабиновиц, умирающий от рака. После главы, рассказанной от лица вдовы Льва, повествование берет в свои руки некий персонаж, похожий на самого Хеллера. Он подробно описывает жизнь еще одного героя — шестидесятивосьмилетнего Йоссариана, который не по годам крепок, деятелен и даже готовится стать отцом. С помощью старого приятеля Мило он успешно продает новейший военный самолет и устраивает грандиозную свадьбу сына Мило в нью-йоркском автобусном парке. В книге высмеиваются недалекий президент-республиканец и вице-президент под стать ему, на ее страницах появляется Курт Воннегут, мелькают персонажи различных литературных произведений, а также сам автор.

РЕНЕ ДЕ ЧЕКАТТИ
Сопровождение

Ren de Ceccatty. L'Accompagnement. «Gallimard»

Современный французский писатель, издатель и переводчик Рене де Чекатти — автор десяти романов и сборников рассказов, литературоведческих работ, а также многочисленных переводов с итальянского и японского (см. о нем «ИЛ», 1993, №3). Вместе с Дианой де Маржери и Эктором Бьянчотти он осуществил посмертную публикацию дневников их общего друга, талантливого французского литератора Жиля Барбедетта (см. о них «ИЛ», 1993, №10). Ему же (точнее, последним неделям его жизни) посвящена книга «Сопровождение».

Жиль Барбедетт скончался 30 марта 1992 года; смертельный диагноз даже не назван, ибо эти четыре буквы знает сегодня весь мир. До последнего дня и часа Рене де Чекатти оставался с другом, и он взял на себя труд рассказать за умирающего о его чувствах, мыслях, тревогах, надежде и отчаянии. Это оказалось невероятно сложно: страху, боли и одиночеству умирающего надо было противопоставить спокойствие, мужество, неизменное терпение. И при этом загнать в угол и держать там собственный страх и бессилие. Гово-

ря о своем пациенте, один из врачей заметил: «Теперь мы — его постоянное сопровождение», тем самым он подсказал название будущей книги.

КИНГСЛИ ЭМИС

Что-нибудь одно

Kingsley Amis. You Can't Do Both. «Hutchinson»

Одна из наиболее частых тем ранних романов старейшего британского писателя Кингсли Эмиса — насколько характер человека определяется тем, как его воспитывали в детстве. Эта же тема является основной и в новом романе.

В 1930-е годы в южном пригороде Лондона живет мальчик по имени Робин Дейвис. Его брат и сестра уже покинули отчий дом, и четырнадцатилетний Робин становится как бы единственным ребенком в семье. Он буквально задыхается от неуемной родительской любви и заботы, мечтая хотя бы иногда быть предоставленным самому себе. Но когда он, например, хочет пойти в гости к приятелю, вдруг выясняется, что в это же время он должен сопровождать куда-то родителей. Их принцип «что-нибудь одно» подразумевает, что «одно» — это всегда они, родители.

Страдающий от такой опеки Робин тем не менее не восстает открыто; вместо этого он всеми способами старается ставить родителей в неловкое положение. Так, зная, что отец — атеист, Робин (после визита к набожным родственникам в Уэльс) некстати задает ему вопросы о религии. Даже после смерти отца Робин не прекращает своего безмолвного бунта, и его взрослая жизнь превращается в бесконечные попытки сменить «что-нибудь одно» на «все сразу».

УМБЕРТО ЭКО

Остров предыдущего дня

Umberto Eco. L'isola del giorno prima. «Bompiani»

Новый бестселлер Умберто Эко насыщен побочными историями, темами, притчами со всевозможными отступлениями. Проследить главную сюжетную линию можно, пожалуй, лишь ориентируясь на заявленный в названии утопический остров.

Италия середины XVII века. Мелкопоместный дворянин Роберто де ля Гриве, едва вступив во взрослую жизнь, попадает в ее бурный водоворот: войны, столкновения науки и религии, новые веяния в философии, богема парижских салонов. Юноша оказывается замешан в бунте, получает прощение от кардинала Маццарино при условии, что выведает у англичан тайну 180-го меридиана — границы отсчета времени на Земле, которая якобы находится где-то в южной части Тихого океана.

Главный герой отправляется вслед за британским кораблем в экспедицию, но его судно терпит крушение, а сам он спасается на крышке стола и причаливает к другому кораблю, застрявшему на рифах. Это — английское судно «Дафна». Люди с «Дафны» таинственно исчезли, но остались диковинные растения и животные, а главное, много провизии, что во второй раз спасает итальянского Робинзона. Роберто не умеет плавать, поэтому, так и не добравшись до виднеющегося на горизонте заветного острова, остается на своем острове-корабле, где коротает время за размышлениями о сути бытия и небытия, за дневниками и посланиями даме сердца. Именно здесь, между ним и берегом вдали, и пролегает та самая граница, и когда на «Дафне» настает новый день, на острове еще царит предыдущий.

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС (JORGE LUIS BORGES; 1899 — 1986) — аргентинский прозаик и поэт. Автор тринадцати поэтических сборников, в том числе: «Создатель» («El hacedor», 1960), «Золото тигров» («El oro de los tigres», 1972), «Сокровенная роза» («La rosa profundo», 1975), «Железная монета» («La moneda de hierro», 1976), и др.; книг рассказов и эссе: «Вымышленные истории» («Ficciones», 1944), «Сообщение Броуди» («El informe de Brodie», 1970), «Книга песка» («El libro de arena», 1975). По-русски произведения Борхеса публиковались в книгах: «Проза разных лет» (М., 1984 и 1989), «Поэты Аргентины» (М., 1987), «Сочинения», т. 1 - 3 (Рига, 1994) и др. и на страницах «ИЛ» (1984. № 3; 1988, № 10; 1990, № 3, 12; 1995, № 1).
Публикуемые рассказы взяты из сборника «Книга вымышленных существ» («The Book of Imaginary Beings». London, Harmondsworth, 1969).

МАРСЕЛЬ СЕН-МАРТЕН (MARCEL SAINT-MARTIN; род в 1923 г.) — французский поэт и художник. Автор четырех сборников стихов: «Неф. Поэтический юмор» («La Nef. L'humour poétique», 1950), «Звездный конь» («Le cheval étoilé», 1956), «День отсутствия» («Absent pour la journée», 1982). Работы Марселя Сен-Мартена — художника экспонировались на многих международных выставках в Париже, Стокгольме и Германии (с 1969 по 1982 г.)
Публикуемые стихи взяты из сборника «Сверкание времени» («L'éclair du temps». Les cahiers des brisants, 1988).

ЭЛЬЗА МОРАНТЕ (ELSA MORANTE; 1918 — 1985) — итальянская писательница. Ее первый сборник новелл «Тайная игра» («Il gioco segreto») вышел в 1941 году. Литературную известность Э.Моранте принес роман «Ложь и колдовство» («Menzogna e sortilegio», 1948; премия «Виареджо»). Затем вышли романы «Остров Артуро» («L'isola di Arturo», 1957), «История» («La storia», 1974), принесший писательнице мировую славу, «Аракоели» («Aracoeli», 1982). Перу Э.Моранте принадлежат также книги стихов «Алиби» («Alibi», 1958), «Мир, спасенный детьми» («Il mondo salvato dai ragazzini», 1968) и ряд сборников рассказов, в том числе «Андалузская шаль» («Lo csialle Andaluso». Torino, Einaudi, 1961), из которого взят публикуемый рассказ.

РОБЕРТ ГРЕЙВЗ (ROBERT GRAVES; 1895 — 1985) — английский поэт, романист, критик, историк. Начиная с двадцатых годов, выходили однотомники его стихотворений, в том числе «Избранные стихи» («Collected Poems», 1938), «Стихи» («Poems», 1938 — 1945) и др. Перу Р.Грейвза принадлежат исторические романы о Древнем Риме «Я, Клавдий» («I, Claudius», 1934), «Божественный Клавдий» («Claudius the God», 1934), переводы Гомера, Апулея, Теренция, Омара Хайяма; философские, эстетические и антропологические трактаты и эссе, автобиографический роман «Прощание со всем» («Good-bye to All That», 1929).
Публикуемые стихотворения взяты из книг «Poems 1965 — 1968», «Poems 1968 — 1970». London, Cassell, 1970.

ДЖУЛИАН БАРНС (JULIAN BARNES; род. в 1946 г.) — английский писатель. Окончил Оксфордский университет, живет в Лондоне. Автор романов: «Метроленд» («Metroland», 1980), «До того, как мы встретились» («Before She Met Me», 1982), «Попугай Флобера» («Flaubert's Parrot», 1985), «Глядя на солнце» («Staring at the Sun», 1986). «ИЛ» познакомила читателей с творчеством Дж.Барнса, напечатав перевод его романа «История мира в 10 1/2 главах» (1994, № 1).
Роман «Дикобраз» издан в Англии в 1992 году («The Porcupine». London, Jonathan Cape).

ДЁРДЬ КОНРАД (KONRÁD GYÖRGY; род. в 1933 г.) — венгерский прозаик и эссеист. Автор романов: «Посетитель» («A látogató», 1969; по-русски опубликован под названием «Тяжелый день» в «ИЛ», 1991, № 4), «Градооснователь» («A városalapító», 1977), «Соучастник» («A cinkos», 1983 — самиздат; 1989 — легальное издание), «Бал в саду» («Kerti mulatság», 1987 — самиздат; 1989 — легальное издание); книг эссе: «Антиполитика» («Antipolitika», 1989), «На пупе Европы» («Európa köldökén», 1990), «Меланхолия возрождения» («Az újjászületés melankóliája», 1991).
Книга эссе «91 — 93», откуда взяты «Весенние заметки» («Tavaszi jegyzetek»), вышла в Будапеште в 1993 году (Budapest, Pesti szalon könyvkiadó).

АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ (ADAM ZAGAJEWSKI; род. в 1945 г.) — польский поэт, прозаик, публицист. Окончил философский факультет Краковского университета. С 1983 года живет в Париже. Автор сборников стихов «Сообщение» («Komunikat», 1972), «Мясные лавки» («Sklepy mięsne», 1975), «Письмо. Ода множественности» («List. Oda do wielości», 1983; стихи из этого сборника печатались в «ИЛ», 1993, № 3), «Ехать во Львов» («Jechać do Lwowa», 1985).
Публикуемые стихи взяты из книги «Огненная земля» («Ziemia ognista». Poznań, Wydawnictwo a 5, 1994), эссе «Перемены на Востоке» — из книги «Два города» («Dwa miasta». Paryż — Kraków, Oficyna literacka, 1991).

ЮЛИАН КОРНХАУЗЕР (JULIAN KORNHAUSER; род. в 1946 г.) — польский поэт, прозаик, литературовед. Исследователь сербской и хорватской литератур XX века. Окончил факультет славянской филологии Краковского университета. Автор сборников стихов «Настанет праздник и для лентяев» («Nastanie święto i dla leniuchów», 1972), «Едоки картофеля» («Zjadacze kartofli», 1978), «148 стихотворений» («148 wierszy», 1982), «Стихи восьмидесятых годов» («Wiersze z lat osiemdziesiątych», 1991).

По-русски его стихи печатались в «ИЛ» (1979, № 7 и 1993, № 3). Публикуемые стихи получены от автора в рукописи в конце 1994 г.

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ (VÁCLAV HÁVEL; род. в 1936 г.) — президент Чешской Республики, драматург, публицист, философ, лауреат многих международных премий. Автор пьес «Торжество в саду» («Zagradni slanost», 1963), «Уведомление» («Vyrozumění», 1965), «Аудиенция» («Audiencje», 1975), «Вернисаж» («Vernisáž», 1975), «Искушение» («Pokoušení», 1985) и др., многих публицистических эссе, в том числе «Письма Ольге» («Dopisy Olze», 1983), «В разные стороны» («Do různých stran», 1983—1989).
В «ИЛ» напечатана его пьеса «Протест» (1990, № 7).

ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ (ESTERHÁZY PÉTER; род. в 1950 г.) — венгерский прозаик. Начал печататься в середине семидесятых годов. Автор книг: «Фанчико и Пинта» («Fancsikó és Pinta», 1976; рус.пер. в сборнике «Посвящение», М., 1990), «Производственный роман» («Termelésiregény», 1979), «Дэзи» («Daisy», 1984), «Краткая венгерская порнография» («Kis Magyar Pornografia», 1984), «Книга Грабала» («Hrabal könyve», 1987) и др., сборников рассказов и эссе «Введение в художественную литературу» («Bevezetés a szépirodalomba», 1986), «В папских водах не пиратствуй!» («Pápai vizeken ne kalózkodj!», 1977), «Чучело лебедя» («A kitömött hattyú», 1988).
Публикуемые эссе взяты из книги «Записки синего чулка» («Egy kékharisnya följegyzéseiből». Budapest, Magvető könyvkiadó, 1994).

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ (род. в 1941 г.) — болгарский писатель-сатирик, драматург. Окончил филологический факультет Софийского университета. Автор комедий «Римская баня» («Римска баня»), «Замшевый пиджак» («Сако от велур»), «Автобус» («Рейс»), «Гардероб», «Мамонт» («Мамут»), которые с успехом шли в болгарских театрах. «Замшевый пиджак» был поставлен также в Московском театре сатиры. Повести С.Стратиева «Одинокие ветряные мельницы», «Недолгое солнце», «Дикие пчелы» печатались в русском переводе в различных сборниках. В последние годы изданы сборники рассказов писателя «Подробности пейзажа» («Подробности от пейзажа», 1988), «Последний сеанс» («Последно кино», 1991), «Болгарская модель» («Българският модел», 1991).
Публикуемые миниатюры взяты из сборника «Попытка стать другими» («Упражнения по другост». София, издательский дом «Еркюл», 1993).

ЯН ПЕТРАНЕК (JAN PETRANEK; род. в 1931 г.) — независимый журналист, политический обозреватель чешского радио. В шестидесятые годы был корреспондентом чехословацкого радио в Индии, затем в Москве. Один из активных участников «пражской весны» 1968 года. Автор двух книг юмористических рассказов «Под звездным шапито» и «Про чертей и ангелов», вышедших в самиздате.
Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР (HANS MAGNUS ENZENSBERGER; род. в 1929 г.) — немецкий поэт, эссеист, публицист, переводчик, издатель. Лауреат премии имени Бюхнера. Автор сборников стихов: «Защита волков» («Verteidigung der Wölfe», 1957), «Язык страны» («Landessprache», 1960), «Шрифт слепых» («Blindenschrift», 1964), «Мавзолей, 37 баллад из истории прогресса» («Mausoleum. Siebenunddreissig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts», 1975), «Музыка будущего» («Zukunftsmusik», 1992), книги очерков «Ах, Европа!» («Ach, Europa!», 1987) и др. В «ИЛ» в № 10 за 1960 г. напечатаны стихи Х.М.Энценсбергера «Стихи мои — тени»; в 1994 г., № 9 опубликована его книга «Великое переселение» («Тридцать три фрагмента с одним примечанием о некоторых особенностях охоты на людей»).
Книга «Предчувствие гражданской войны» вышла в Германии в 1993 году («Aussichten auf den Bürgerkrieg». Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag).

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1966 г.) — переводчик с английского. Автор работ, посвященных творчеству Иосифа Бродского, Т. Пинчона и проблемам культуры. В «ИЛ» (1994, № 8) опубликована его статья о романе Дж.Барнса «История мира в 10 1/2 главах».

КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ РОБЕРТОВИЧ (род. в 1959 г.) — прозаик, литературный критик. В периодической печати выступает со статьями о современной литературе.

■ Переводчики:

ЛЫСЕНКО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА — переводчик с испанского, польского и французского языков. В ее переводе издавались произведения испанских писателей «золотого века»: «Хромой бес» Л.Велеса Гевары, повесть «Алеф» Х.Л.Борхеса, роман «62. Модель для сборки» Х.Кортасара, с польского — романы «Камо грядеши» Г.Сенкевича, «Красный щит» и повесть «Мать Иоанна от Ангела» Я.Ивашкевича, с французского — статьи Ж.Руссо, письма Г.Флобера. В «ИЛ» в ее переводе публиковался рассказ Т.Боровского «У нас в Аушвице» (1988, № 10), роман «Книга Мануэля» Х.Кортасара (1994, № 3). Лауреат премии «ИЛ» (1988).

ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ (род. в 1953 г.) — переводчик с французского и польского языков, прозаик. Переводил стихи А.Рембо, Г.Аполлинера, Ж.Превера, Ж.Кокто, М.Жакоба, Ч.Милоша и др.

СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.) — переводчик прозы и поэзии с английского. В его переводах издавались книги избранных стихотворений Р.Фроста, Т.С.Элиота, Э.А.Робинсона. Переводил Э.Спенсера, Дж.Донна, У.Вордсворта, У.Уитмена и др. В «ИЛ» печатались его переводы стихов К.Сэндберга, Р.Лоуэлла, А.Гинзберга, романы Айи Квеи Армы «Целители», В.Шойинки «Интерпретаторы» и «Аке, годы детства», пьеса Д.-Уолкотта «День поминовения» и др.

ХРАМОВ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ (род. в 1932 г.) — поэт и переводчик. Автор книг стихов «Ощущение цвета» (М., 1963), «Городская жизнь» (М., 1983), «Стихи» (М., 1987) и др. Переводил стихи поэтов народов СССР, а так-

же Галчинского, Рильке, Христова.

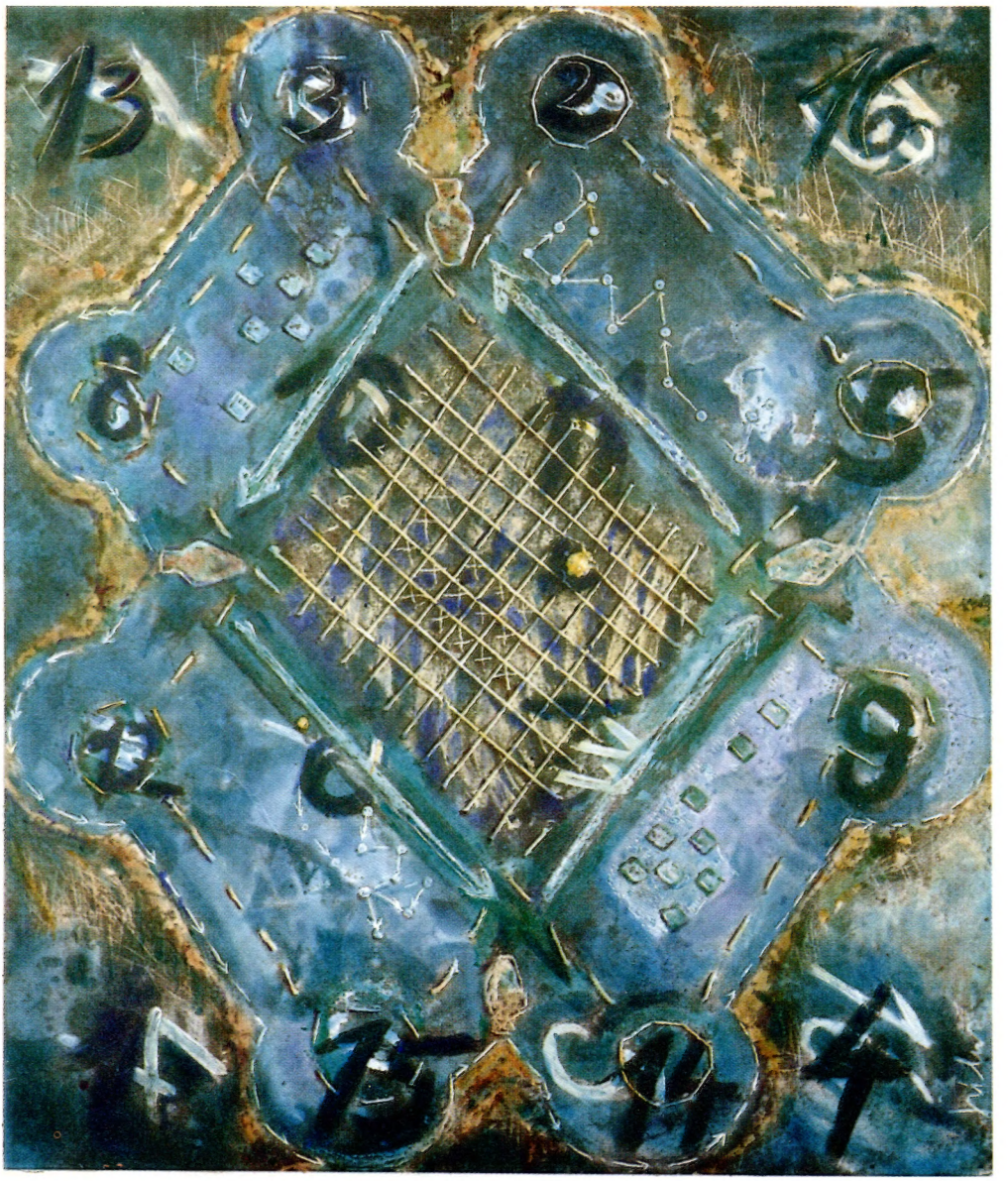
СЕРЕДА ВЯЧЕСЛАВ ТИМОФЕЕВИЧ (род. в 1951 г.) — литературовед и переводчик. Автор статей о современной венгерской литературе. В его переводах издавались повести венгерских писателей П.Надаша, Ш.Раффаи, М.Мункачи, пьесы Д.Шпиро. В «ИЛ» печатались переводы новелл и эссе Петера Эстерхази (1992, № 4), рассказ А.Бодора «Музей природных редкостей, округ Синистра» (1993, № 9), статьи.

БРИТАНИШСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ (род. в 1933 г.) — писатель, переводчик, полонист. Автор книг стихов, прозы, многих статей о польской литературе. Лауреат польских переводческих премий ЗАиКС и ПЕН-клуба, лауреат премий «ИЛ» (1988 и 1991 г.). В «ИЛ» печатались его статьи, переводы из польских и американских поэтов: У.К.Уильямса, Дж.Берримена, Э.Э.Каммингса, З.Херберта, С.Е.-Леца, Т.Ружевича, Я.Ивашкевича, Т.Боровского, Ч.Милоша и др.

ТАРАСОВА МАЯ ВИКТОРОВНА — переводчик с болгарского. В ее переводах издавались: романы «Прощай, Акрополь!» И.Давидкова, «Двойная игра» А.Карасимеонова, «Дикие рассказы» Н.Хайтова и др. В «ИЛ» напечатаны повести «Барьер» П.Вежинова (1978, № 1), «Черные лебеди» Б.Райнова (1979, № 9), «Баллада о Георге Хениге» В.Паскова (1989, № 11), стихи Константина Павлова (1994, № 2) и др.

ЕГОРШЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1935 г.) — журналист-германист, переводчик, сотрудник газеты «Нойес лебен» (Москва). Переводит главным образом с русского языка на немецкий. В «ИЛ» напечатан его перевод книги Х.М.Энценсбергера «Великое переселение» (1994, № 9).

■



Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный "ИНДЕКС" с 500 000 ссылками, бесплатный "ЕЖЕГОДНИК" с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические "ЕЖЕГОДНИКИ".

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последнем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.
Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.
"GREAT BOOKS" - "Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Оруэлла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA". Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.
CD-ROM, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - **"Britannica Discovery Library"** в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.
"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.
"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма

"Мир Знаний",
эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"
Телефон в Москве: (095) 161 0775, 161 4049
Факс : (095) 161 0675
E.-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1995, №6, 1-224